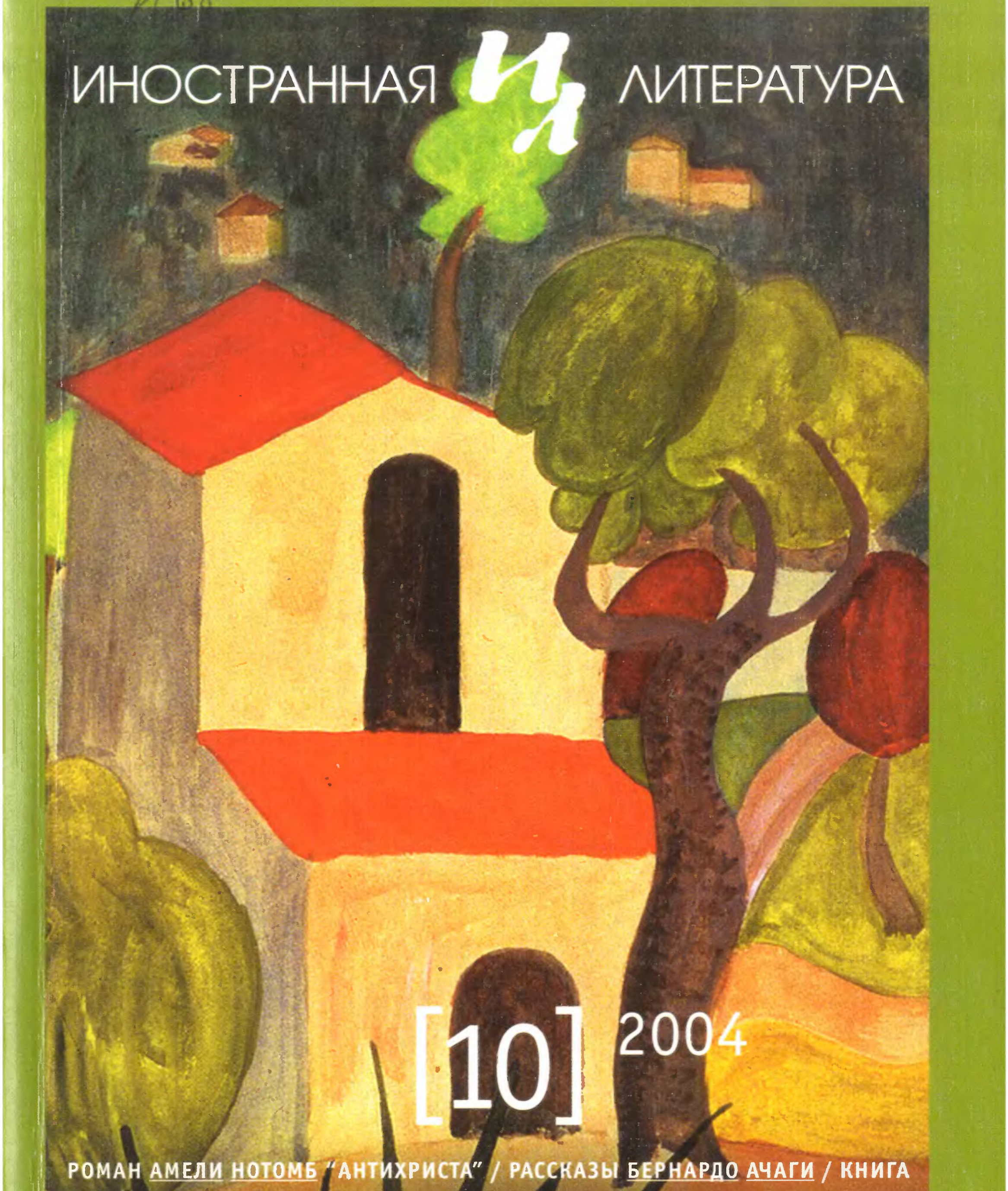
9.5+83
И 6.8

ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



[10] 2004

РОМАН АМЕЛИ НОТОМБ "АНТИХРИСТА" / РАССКАЗЫ БЕРНАРДО АЧАГИ / КНИГА ПАБЛО НЕРУДЫ "ДОМ НА ПЕСКЕ" / РАССКАЗ Э. Л. ДОКТОРОУ "ДОМ НА РАВНИНЕ"/ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА": "ТЫ БУДТО КАМНИ ГРЫЗЛА..." ВОЙЦЕХА ТОХМАНА / "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА": ПЯТЬ ЭССЕ О КНИГАХ И ЧИТАТЕЛЯХ ГЕРМАНА ГЕССЕ / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД : "В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОЙ ПОЭЗИИ" / СТАТЬЯ "СТРАННЫЕ СБЛИЖЕНИЯ" СЕРГЕЯ ГАНДЛЕВСКОГО В НОВОЙ РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE"

Основан в 1891 году

[10]
2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Амели Нотомб. *Антихриста.* Роман. Перевод с французского Натальи Мавлевич

54 Э. Л. Доктороу. *Дом на равнине.* Рассказ. Перевод с английского Ольги Федосеевой

71 Бернардо Ачага. *Рассказы из книги "Обабакоак".* Перевод с испанского и вступление Надежды Мечтаевой

К 100-летию Пабло Неруды

110 Пабло Неруда. *Дом на песке.* Перевод с испанского и вступление Э. Брагинской. Перевод стихов Ю. Гирина

Документальная проза

144 Войцех Тохман. *Ты будто камни грызла...* Перевод с польского Ирины Адельгейм. Вступление Сергея Романенко

Из классики XX века

210 Герман Гессе. *Пять эссе о книгах и читателях.* Перевод с немецкого Г. Снежинской

Галерея "ИЛ" Гессе-художник

232 Герман Гессе. *Акварель.* Эссе. *"Рисовать – это чудо".* Фрагменты книги "Магия красок". Перевод с немецкого и вступление Н. Васильевой

Carte blanche

241 Сергей Гандлевский. *Странные сближения*

Литературный гид "В поисках утраченной поэзии"

264 *О современной зарубежной поэзии.* Круглый стол

298 Август Кляйнзалер. *Нет поля для игры, или Мир как кондоминиум по-американски.* Перевод с английского Антона Нестерова

302 Антон Нестеров. *Поэзия и картография*

БиблиофИЛ

312 *У книжной витрины* с Константином Мильчиным

Курьер "ИЛ"

314

Авторы номера

317

© "Иностранная литература", 2004

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

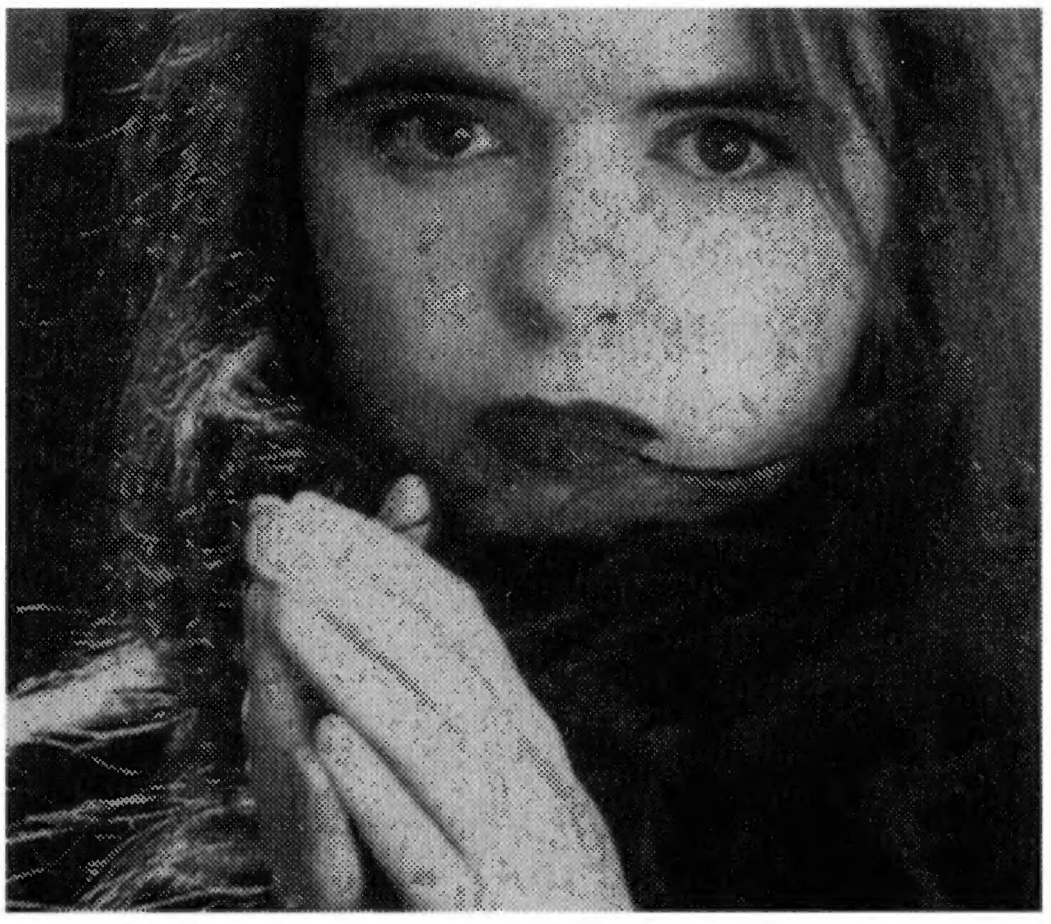
Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Е. В. Тарасова
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Амели Нотомб



Антихриста

Роман

Перевод с французского Натальи Мавлевич

Я заметила ее в первый же день — такая улыбка! И сразу захотелось познакомиться.

Хоть я наверняка знала, что не получится. Подойти к ней — куда там! Я всегда дожидалась, чтобы другие подошли ко мне сами, а никто никогда не подходил.

Таким оказался мой университет: вместо того, чтобы окунуться в универсум, очутилась в одиночестве.

Прошла неделя, и однажды взгляд ее упал на меня.

Я подумала, что она тут же и отвернется. Но нет — она не отводила глаз и внимательно меня изучала. Взглянуть на нее в ответ я не решалась, у меня задрожали поджилки, и я замерла чуть дыша.

Мука не кончалась и стала наконец невыносимой. Тогда, впервые в жизни расхрабрившись, я посмотрела ей прямо в глаза — она помахала мне рукой и засмеялась.

А секунду спустя уже болтала о чем-то с ребятами.

На следующий день она подошла ко мне и поздоровалась.

Я вежливо ответила, но больше не произнесла ни слова. Стояла и проклинала свою застенчивость.

— На вид ты младше других, — сказала она.

— Так и есть. Мне месяц назад исполнилось шестнадцать.

— Ну и мне тоже. Только три месяца назад. Но по мне не скажешь, а?

— Да уж.

© Éditions Albin Michel S. A., 2003
© Н. Мавлевич. Перевод, 2004

Ее уверенный вид перекрывал разницу в два-три года, которая отделяла нас обеих от однокурсников.

– Как тебя зовут? – спросила она.

– Бланш. А тебя?

– Христа.

Необычное имя. Я снова замешкалась. Она заметила мое удивление и пояснила:

– В Германии это имя не такое редкое.

– Ты немка?

– Нет. Я из восточных кантонов[1].

– Но ты говоришь по-немецки?

– Конечно.

Я посмотрела на нее с восхищением.

– Ну пока, Бланш.

И не успела я ответить, как Христа сбежала по ступенькам к самым нижним рядам аудитории. Ее уже на все лады окликали из шумной стайки студентов. Христа, сияющая, подошла к ним.

"Здорово она вписалась", – подумала я.

Это слово имело для меня огромное значение. Я сама не вписывалась никуда и никогда, а те, кому это удавалось, вызывали у меня смешанное чувство презрения и зависти.

Я всегда была одна, что, в общем, вполне бы меня устраивало, будь это по моему собственному выбору. Но это было не так. И мне страшно хотелось "вписаться", хотя бы ради того, чтобы потом с удовольствием "выписаться".

Пределом моих мечтаний стало подружиться с Христой. Но само по себе желание иметь подругу казалось невыполнимым. А уж такую, как Христа, – да нет, нечего и надеяться.

В какой-то миг я задумалась о том, почему, собственно, я жаждала именно ее дружбы. Ясного ответа я не нашла: в этой девушке было что-то особенное, но точно определить, что именно, я бы не могла.

Но вот однажды, выходя из ворот университета, я вдруг услышала, что меня окликнули по имени.

Такого не было еще ни разу, и с непривычки я перепугалась. А когда обернулась, увидела, что меня догоняет Христа. Не может быть!

– Ты куда? – спросила она, зашагав рядом со мной.

– Домой.

– А где ты живешь?

– Здесь рядом, в пяти минутах ходьбы.

– Вот бы мне так!

– А ты где живешь?

– Я ж тебе говорила: в восточных кантонах.

– Ты что, каждый день ездишь туда и обратно?

– Ну да.

– Это же далеко!

– Еще бы – два часа на поезде в один конец. Не считая автобуса. Но иначе не получается.

– Думаешь, выдержишь?

1. В восточных кантонах Бельгии, принадлежавших до 1919 г. Пруссии, преобладает немецкоязычное население. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

— Посмотрим.

Чтобы не ставить ее в неловкое положение, я не стала больше ни о чем спрашивать. Наверное, у нее не было денег на общежитие.

Мы дошли до моего дома, и я остановилась.

— Ты живешь с родителями? — спросила она.

— Да. А ты?

— Тоже.

— В нашем возрасте это нормально, — зачем-то пробормотала я.

Христа расхохоталась, как будто я сказала что-то жутко смешное. Я вспыхнула.

Я не могла понять, подруга я для нее или нет. Где тот таинственный критерий, по которому можно судить, приняли тебя в подруги или нет. У меня никогда не бывало подруг.

Вот, например, она посмеялась надо мной — что это, признак дружбы или презрения? Мне было неприятно. Потому что я-то уже дорожила ее мнением.

Иногда, в трезвую минуту, я пыталась понять почему. Каким образом то немногое, совсем немногое, что я знала о Христе, объясняло мое желание понравиться ей? Или всему причиной то незначительное обстоятельство, что она, одна-единственная, обратила на меня внимание?

Во вторник занятия у нас начинались в восемь утра. Христа пришла с синяками под глазами.

— У тебя усталый вид, — заметила я.

— Я встала в четыре часа.

— В четыре? Ты же говорила, что на дорогу уходит два часа.

— Я живу не в самом Мальмеди, а в поселке, это еще полчаса от станции. Чтобы успеть на пятичасовой поезд, мне надо встать в четыре. Да и в Брюсселе от вокзала до университета еще надо добраться.

— Но вставать в четыре часа — это же кошмар!

— Ты можешь придумать что-нибудь другое? — раздраженно спросила Христа.

Она круто развернулась и ушла. Я готова была себя убить. Надо было как-то помочь ей.

Вечером я рассказала о Христе родителям. И назвала ее, чтобы добиться, чего хочу, своей подругой.

— У тебя есть подруга? — спросила мама с плохо скрытым удивлением.

— Да. Можно она будет ночевать у нас по понедельникам? Она живет очень далеко, в каком-то поселке в восточных кантонах, и во вторник ей приходится вставать в четыре часа, чтобы к восьми быть на занятиях.

— Ну разумеется. Поставим раскладушку в твоей комнате.

Назавтра я собралась с духом и заговорила с Христой:

— Если хочешь, можешь по понедельникам ночевать у меня.

Она посмотрела на меня с радостным изумлением. Это была лучшая минута в моей жизни.

— Правда?

И надо же было мне тут же все испортить:

— Мои родители не против, — сказала я.

Христа прыснула. А я сморозила еще одну глупость — спросила:

— Ты придешь?

Все вывернулось наизнанку. Я уже не предлагала Христе услугу, а упрашивала ее.

— Так и быть, приду, — ответила она так, как будто соглашалась, только чтобы сделать мне приятное.

Но все равно я обрадовалась и с нетерпением стала ждать понедельника.

Я в семье единственный ребенок, с друзьями мне не везло, так что гостей у меня никогда не бывало, и уж тем более никогда никто не спал в моей комнате. Одна мысль о таком чуде наполняла меня восторгом.

Настал понедельник. Христа держалась так же, как обычно. Но я с замиранием сердца заметила, что она пришла с рюкзачком — захватила свои вещи.

Занятия в тот день кончились в четыре часа. А потом я целую вечность прождала у дверей аудитории, пока Христа попрощается со своими многочисленными приятелями. Наконец она не спеша подошла ко мне, но заговорила — с вынужденной любезностью, словно оказывая мне великую милость, — только тогда, когда другие студенты уже не могли нас видеть.

Сердце неистово колотилось у меня в груди, когда я открывала дверь в квартиру. Христа вошла, осмотрелась и присвистнула:

— Ничего!

Я почувствовала дурацкую гордость.

— А где твои родители? — спросила она.

— На работе.

— Они у тебя кто?

— Учителя в коллеже. Папа преподает греческий и латынь, мама — биологию.

— А-а, ясно!

Я хотела спросить, что именно ей ясно, но не решилась.

Дома у нас не слишком роскошно, но красиво и приятно.

— Покажи мне свою комнату!

Ужасно волнуясь, я провела ее в свою берлогу. Ничего интересного в ней не было.

— Так себе комнатка, — Христа презрительно скривилась.

— Тут очень уютно, вот посмотришь, — как бы оправдываясь, сказала я.

Она улеглась на мою кровать, предоставив мне раскладушку. Конечно, я и так собиралась уступить кровать ей, но предпочла бы, чтобы предложение исходило от меня. Однако я постаралась отбросить эти мелочные мысли.

— Ты всегда здесь спала?

— Да. Я тут живу с рождения.

— А братья и сестры у тебя есть?

— Нет. А у тебя?

— У меня два брата и две сестры. Я самая младшая. Покажи мне свой гардероб.

— Что-что?

— Открой шкаф!

Сбитая с толку, я повиновалась. Христа соскочила с кровати и подошла к платяному шкафу.

Осмотрев все, что там висело, она сказала:

– У тебя тут только одна приличная вещица.

Она вытащила мой единственный красивый наряд – облегающее китайское платье – и быстро стянула с себя майку, джинсы и туфли. Я смотрела на нее, онемев от изумления.

– Платьице в обтяжку, – сказала Христа, присмотревшись. – Сниму, пожалуй, и трусики.

Миг – и она очутилась передо мной в чем мать родила. Надела платье и посмотрелась в большое зеркало. Ей очень шло. Налюбовавшись на себя, она сказала:

– Интересно, как оно сидит на тебе.

Этого-то я и боялась. Она сняла платье и бросила его мне:

– Надень!

Я пришибленно молчала, но не шевелилась.

– Надень, говорю!

И снова я не выжала из себя ни звука.

Христа весело прищурилась, будто до нее дошло наконец, в чем дело.

– Тебе неудобно, что я голая?

Я отрицательно мотнула головой.

– Тогда почему ты сама не раздеваешься? Давай!

Я снова помотала головой.

– Давай-давай! Так надо!

Кому надо?

– Что за дурь?! Раздевайся!

– Нет.

Это "нет" стоило мне большого труда.

– Я-то разделась!

– Я не обязана делать, как ты.

– "Не обязана делать, как ты!" – передразнила она противным голосом.

Я что, так разговариваю?

– Ну, Бланш! Мы же обе девчонки!

Тишина.

– Смотри, я голая – и ничего! Мне плевать!

– Это твои проблемы.

– Проблемы у тебя, а не у меня! Ты зануда!

Она засмеялась и изо всех сил пихнула меня. Я полетела на раскладушку и сжалась в комок. Христа стащила с меня кроссовки, проворно расстегнула на мне джинсы, потянула их вниз, прихватив и трусы. К счастью, на мне была длинная, почти до колен, майка.

Я заорала.

Она остановилась и удивленно уставилась на меня:

– Ты что, ненормальная?

Меня трясло.

– Не трогай меня!

– Ладно. Тогда раздевайся сама.

– Не могу.

– Тогда я тебе помогу! – пригрозила она.

– Зачем ты меня мучаешь?

– Дуреха! Никто тебя не мучает! Подумаешь, перед девчонкой!

– Зачем тебе надо, чтобы я разделась?

Ответ был самый неожиданный:

– Чтобы мы были в равном положении!

Как будто я могла с ней равняться! Я не нашлась что возразить, и она торжествующе изрекла:

– Видишь, значит, ты должна!

Я поняла, что мне не отвертеться, и сдалась. Взялась за низ майки, но поднять ее у меня никак не получалось.

– Нет, не могу.

– Ну я подожду, – сказала Христа, насмешливо глядя на меня.

Мне было шестнадцать лет. У меня не было ничего: ни материального, ни духовного богатства. Ни любви, ни дружбы, ни опыта. Не было интересных идей, а была ли душа, я сильно сомневалась. Единственное, что мне принадлежало, это мое тело.

В шесть лет раздеться ничего не стоит. В двадцать шесть – это давно привычное дело.

В шестнадцать же – страшное насилие.

"Зачем тебе это надо, Христа? Знаешь, что это для меня значит? А если б знала, то стала бы заставлять? Или потому и заставляешь, что знаешь?

И почему я тебя слушаюсь?"

За шестнадцать лет в моем теле накопился груз одиночества, ненависти к себе, невыговоренных страхов, неудовлетворенных желаний, напрасных страданий, подавленной злости и неистраченной энергии.

Бывает красота силы, красота грации и красота гармонии. В некоторых телах удачно сочетаются все три ее вида. В моем же не было ни на грош ни одного. Оно было ущербно от природы, напрочь лишено и силы, и грации, и гармонии. Похоже на голодный вопль.

Зато к этому вечно спрятанному от солнечного света телу подходило мое имя: Бланш[1], бледная немочь, бледная и холодная, как холодное оружие – плохо отточенный и обращенный внутрь клинок.

– Ты будешь тянуть резину до завтра? – спросила Христа. Она валялась на моей кровати и, кажется, упивалась моими терзаниями.

Тогда, чтобы покончить с этим разом, я резко, точно выдергивая чеку из гранаты, сорвала с себя майку и бросила на пол – ни дать ни взять Верцингеториг, швыряющий свой щит к ногам Цезаря.

Все во мне кричало от ужаса. Я потеряла даже ту малость, которой обладала: моя жалкая нагота перестала быть моим интимным достоянием. Это была жертва в полном смысле слова. Но хуже всего, что она оказалась напрасной.

Христа разок кивнула – и только. Окинула меня с ног до головы беглым взглядом и, видимо, не нашла ничего интересного. Лишь одна деталь привлекла ее внимание:

– Да у тебя есть сиськи!

Мне хотелось умереть. Пряча слезы ярости, которые сделали бы меня еще смешнее, я огрызнулась:

– А ты как думала?

1. Бланш по-французски – "белая".

– Цени свое счастье. В одежде ты плоская, как доска.

После такого ободряющего замечания я нагнулась за майкой, но Христа меня остановила:

– Нет! Я хочу посмотреть, как тебе идет китайское платьице.

Она протянула платье мне, и я его надела.

– На мне сидит лучше, – заключила Христа.

Мне вдруг показалось, что платье не прикрывает, а усиливает мою наготу. И я поскорее сняла его.

Христа спрыгнула с кровати и стала рядом со мной перед большим зеркалом.

– Смотри! Какие мы разные! – воскликнула она.

– Ладно, хватит!

Я была как в камере пыток.

– Не отворачивайся, – велела Христа. – Посмотри на меня и на себя.

Сравнение было удручающее.

– Ты должна развивать грудь, – наставительно сказала она.

– Мне всего шестнадцать лет, – возразила я.

– Ну и что? Мне тоже! Но у меня – вон, есть разница, а?

– У каждого свой ритм.

– Ерунда! Я покажу тебе одно упражнение. Моя сестра была как ты. Полгода позанималась – и теперь совсем другое дело. Смотри и повторяй: раз-два, раз-два...

– Оставь меня в покое, Христа! – сказала я и нагнулась за майкой.

Но Христа схватила ее и отпрыгнула в другой конец комнаты. Я стала за ней гоняться. Она задыхалась от хохота. А я настолько потеряла голову от унижения и ярости, что не сообразила взять другую майку из шкафа. Христа носилась по комнате и бесстыдно дразнила меня своим безукоризненным телом.

И тут пришла с работы моя мать. Она услышала дикие вопли в моей комнате, побежала туда, без стука открыла дверь и увидела двух голых девиц, которые носились друг за другом как сумасшедшие. Того, что одна из них, ее собственная дочь, чуть не плакала, она не заметила. Взгляд ее приковала смеющаяся незнакомка.

Стоило взрослому человеку появиться на пороге моей обители, как смех Христы разительно изменился: из сатанинского он мгновенно стал хрустальным, веселым, здоровым, как ее тело. Она остановилась, шагнула навстречу маме и протянула ей руку.

– Здравствуйте, мадам. Извините меня, я просто хотела посмотреть, как сложена ваша дочь.

Она улыбнулась милой шаловливой улыбкой. Мама ошарашенно смотрела на голую девушку, которая без малейшего смущения пожимала ей руку. Минуту она колебалась, а потом, видимо, склонилась к тому, что перед ней просто ребенок, забавный ребенок.

– Так это вы – Христа? – спросила она и рассмеялась.

Теперь они смеялись вдвоем и никак не могли перестать, как будто в этой сцене было что-то невероятно комичное.

Я смотрела на маму и чувствовала себя преданной.

Я-то знала, что все было совсем не смешно, а ужасно. Что Христа никакой не ребенок, а только прикидывается, чтобы влезть маме в душу.

Но мама, не подозревая ничего дурного, видела перед собой стройное, полное жизни, цветущее тело моей подруги и — уж это я знала точно! — с сожалением думала, почему я не такая, как она.

Мама ушла, и, едва дверь за ней закрылась, смех Христы как обрезало.

— Скажи мне спасибо, — сказала она. — Я тебя избавила от комплекса.

Я подумала, что для всех было бы лучше, если бы я поверила в такую версию этого болезненного эпизода. Но понимала, что это мне вряд ли удастся: когда мы с Христой стояли голышом перед зеркалом, я слишком хорошо почувствовала ее злорадство: она наслаждалась моим унижением, своей властью, а особенно тем, как я мучилась стыдом; как настоящий вивисектор, она упивалась моим страданием.

— А мать у тебя ничего, красивая, — одобрительно сказала Христа, подбирая с пола свою одежду.

— Ну да, — согласилась я, удивленная ее доброжелательным тоном.

— Сколько ей лет?

— Сорок пять.

— Ей столько не дашь.

— Да, она отлично выглядит, — с гордостью подтвердила я.

— Как ее зовут?

— Мишель.

— А отца?

— Франсуа.

— А он какой из себя?

— Сама увидишь. Он вернется вечером. А у тебя какие родители?

— Совсем не такие, как у тебя.

— Что они делают?

— Слишком ты любопытная!

— Но... ты-то про моих спрашивала!

— Нет. Ты сама похвасталась, что твои родители учителя.

Что было сказать на такую бесстыдную ложь? Кроме того, ей, видно, почудилось, что я страшно горда профессией моих родителей. Какая дичь!

— Тебе надо одеваться по-другому. Чтоб было видно фигуру.

— Тебя не поймешь. То ты восхищаешься, что у меня есть грудь, то возмущаешься, что она маленькая, а теперь советуешь ее демонстрировать. Иди разбери!

— Какие мы обидчивые!

Христа ухмыльнулась.

Обычно каждый у нас дома ест где хочет: кто за кухонным столиком, кто перед телевизором, кто с подносом в кровати.

Но в тот вечер, в честь гостьи, мама приготовила особенный ужин и все собрались в столовой. Когда она позвала к столу, я с облегчением вздохнула: конец этой пытке, разговору наедине с моей мучительницей.

— Добрый вечер, мадемуазель, — поздоровался папа.

— Зовите меня просто Христой, — непринужденно, с сияющей улыбкой ответила она.

А потом подошла к отцу и, к великому его — и моему — изумлению, поцеловала его в обе щеки. По папиному лицу было видно, что он удивлен и покорен.

— Я вам очень признательна за то, что вы позволили мне переночевать сегодня у вас в квартире. Она такая чудесная!

— Ничего особенного. Просто мы постарались привести ее в порядок. Видели бы вы, в каком виде она нам досталась двадцать лет назад! Мы с женой...

Отец пустился в бесконечный, нудный рассказ и описал весь процесс переустройства, не упуская ни одной технической детали. Христа смотрела ему в рот, как будто все это ей было жутко интересно.

Когда же мама подала еду, она попросила добавки:

— Очень вкусно!

Родители были в восторге.

— Бланш говорит, что вы живете под Мальмеди?

— Да, каждый день четыре часа на поезде, не считая автобуса.

— А почему бы вам не снять комнату в студенческом общежитии?

— Я так и хочу. Вот как заработаю побольше денег.

— Вы работаете?

— Да. Официанткой в баре у нас в Мальмеди. По выходным, а иногда и среди недели, если возвращаюсь не очень поздно. Я ведь сама плачу за учебу.

Родители с восхищением посмотрели на нее и тут же перевели укоризненный взгляд на дочь, которая в свои шестнадцать лет была абсолютно не способна достичь финансовой самостоятельности.

— Чем занимаются твои родители? — спросил папа.

Я предвкушала, что Христа отошьет его, как меня: "Слишком вы любопытны!"

Увы, Христа выдержала тщательно продуманную паузу и выговорила с трагической простотой:

— Я из неблагополучной среды.

И опустила глаза.

Ой, акции ее поднялись разом на десять пунктов.

Тоном скромной трудолюбивой девушки она прибавила:

— По моим подсчетам, я смогу что-нибудь снять к концу весны.

— Но это будет перед самыми экзаменами! Нельзя же так надрываться! — воскликнула мама.

— Придется, — смиренно ответила Христа.

Мне хотелось залепить ей пощечину. Но я приписала это своему дурному характеру и устыдилась.

Христа продолжала с милой улыбкой:

— Знаете, мне было бы очень приятно, если бы мы перешли на "ты". Конечно, с вашего позволения. Нет, правда, вы такие молодые, что мне кажется как-то глупо говорить вам "вы".

— Что ж, давай! — сказал отец и расплылся до ушей.

По-моему, предложение было нахальнее некуда, но моих родителей как будто околдовали.

Уходя спать в нашу комнату, Христа чмокнула сначала маму:

— Спокойной ночи, Мишель!

А потом папу:

— Спокойной ночи, Франсуа!

Я жалела, что сказала ей их имена: так подпольщик раскаивается, что выдал под пыткой свою ячейку.

— Отец у тебя тоже что надо, — сказала мне Христа.

Но теперь, как я заметила, меня ее похвалы уже не радовали.

— И вообще мне у вас нравится, — заключила она, укладываясь на мою кровать.

Положила голову на подушку и мгновенно уснула.

Эти ее последние слова растрогали и смутили меня. Может, я зря так плохо думала о Христе? Что она такого сделала?

Видела же мама нас обеих раздетыми догола, и ничего, отнеслась к этому нормально. Или она заметила, что я комплексую, и подумала, что мне такая встряска полезна?

А что Христа так резко ответила на мой вопрос о ее родне, так это, наверное, ее комплекс — происхождение из низов. И неадекватное поведение — просто болезненная реакция.

Какая она в самом деле молодец — в таком возрасте сама зарабатывает на учебу. Мне бы уважать ее за это и брать с нее пример, а не обижаться по-дурацки. Я кругом неправа. Теперь мне было стыдно: как я могла не понять, что Христа — потрясающая девушка и быть ее подругой — невероятное счастье.

Эти мысли утешили меня.

На другое утро Христа горячо поблагодарила родителей:

— Спасибо вам! Сегодня я спала на целых три часа больше, чем обычно!

По пути в университет она не сказала ни слова. Наверно, была еще сонная.

Как только мы переступили порог аудитории, я перестала для нее существовать. Весь день я провела в привычном одиночестве. Иногда до меня издали доносился смех Христы. И я уже не была уверена, действительно ли она ночевала в моей комнате.

Вечером мама провозгласила:

— Твоя Христа — просто сокровище! Веселая, умная, жизнерадостная — что-то невероятное!

— А какая зрелость! — перебил ее отец. — Какое мужество! Какая рассудительность! И как тонко она разбирается в людях!

— Да, конечно... — промямлила я, припоминая, что уж такого тонкого сказала Христа.

— У тебя долго не было подруг, но теперь, глядя на ту, кого ты наконец-то выбрала, я понимаю: ты поднимала планку очень высоко, — сказала мама.

— К тому же она хороша собой, — прибавил отец.

— Да уж! — подхватила его половина. — Это ты еще не видел ее голышом!

— Я — нет. Ну и как она?

— Одно слово — лакомый кусочек.

Я не знала, куда деваться от смущения, и взмолилась:

— Хватит, мам, ну пожалуйста!

— Да что ты жмешься! Твоя подруга держалась передо мной совершенно естественно и правильно делала! Было бы отлично, если б она могла и тебя излечить от твоей болезненной стеснительности.

— Вот-вот. И это не единственное, в чем она могла бы послужить тебе примером!

Я с трудом сдержала раздражение и сказала только:

— Я рада, что Христа вам понравилась.

— Да она просто прелесть! Пусть приходит, когда захочет! Передай ей наше приглашение.

— Хорошо.

У себя в комнате я разделась перед большим зеркалом и оглядела себя с ног до головы — кошмар! Христа, можно сказать, меня еще пощадила.

Я стала противна себе с тех пор, как обнаружились первые признаки полового созревания. Теперь же, после того как меня обозрела Христа, я и сама увидела себя ее глазами, отчего неприязнь превратилась в ненависть.

Больше всего девочка-подросток озабочена своей недавно выросшей грудью, к которой так трудно привыкнуть. Бедра — это не так страшно. Они просто постепенно меняют форму. А этих бугров на ровном месте раньше не было, с ними еще надо освоиться.

Недаром Христа заговорила именно об этой, а не о какой-нибудь другой части моего несчастного тела; это лишний раз доказывало, что грудь — мой главный дефект. Я сделала опыт: прикрыла ее руками и посмотрела — так гораздо терпимее и даже вполне ничего. Но стоило опустить руки — и снова жалкий, позорный вид, как будто это уродство портило сразу все.

Внутренний голос пытался меня образумить:

"Ну и что такого? Ты еще растешь. И вообще, маленькая грудь — тоже неплохо. Тебя это не волновало, пока не влезла эта девчонка. Почему тебе так важно мнение какой-то Христы?"

Но мои руки и плечи в зеркале уже приняли позу, которую показала Христа, и начали упражнения, которые она велела делать.

Внутренний голос вопил:

"Нет! Не слушай ее! Прекрати!"

А тело покорно продолжало гимнастику.

Я дала себе слово, что это было в первый и последний раз.

На следующий день я решила не подходить к Христе. Видимо, почувствовав это, она подошла ко мне сама, обняла и выжидательно посмотрела в глаза. Мне стало так неловко, что я невольно сказала:

— Родители просили тебе передать, что ты им очень понравилась и что ты можешь приходить к нам еще, когда захочешь.

— Мне они тоже страшно понравились. Передай им спасибо.

— Так ты придешь?

— В следующий понедельник.

Ее уже звали ребята из ее компании. Она побежала к ним, села одному из парней на колени, а остальные ревниво взвыли.

Это было в среду. До понедельника оставалась почти неделя. Но на этот раз я как-то не очень торопилась. Может, без Христы мне лучше, чем с ней?

Увы, не совсем так. Без нее мне было теперь совсем невмоготу. С появлением Христы мое одиночество стало нестерпимым. Когда она не замечала меня, я страдала уже не просто от одиночества, а от чего-то похожего на богооставленность, чувствовала себя покинутой. Хуже того — наказанной. Раз Христа не подходит ко мне, не разговаривает со мной, значит, я в чем-то виновата? И я часами ломала себе голову, пытаясь по-

нять, что именно сделала не так, чем заслужила такое наказание; и хотя повода для него не находила, но в справедливости не сомневалась.

В следующий понедельник родители радостно встретили Христу. На стол поставили шампанское – Христа сказала, что ни разу в жизни его не пробовала.

Вечер проходил очень оживленно: Христа щебетала без умолку, задавала папе и маме кучу вопросов на самые разные темы, смеялась до упаду их ответам и восхищенно хлопала меня по ляжке. От этого общее веселье становилось еще более бурным, а мне все неприятнее было принимать в нем участие.

Верхом всего было, когда Христа, намекая на мамину элегантность, запела битловскую песенку о Мишель. Я уже открыла рот, дабы сказать, что всякая пошлость имеет предел, но вдруг заметила, что мама просто млеет. Ужасно видеть, как твои родители теряют чувство собственного достоинства.

Только из того, что моя псевдоподруга рассказывала им, я и сама хоть что-то узнавала о ее жизни:

– Да, у меня есть парень, его зовут Детлеф, он живет в Мальмеди. Тоже работает в баре. Ему восемнадцать лет. Я бы хотела, чтобы он получил профессию.

Или вот:

– Все мои одноклассники поступили работать на завод. Только я одна пошла учиться. Почему на социологию? Потому что я мечтаю о справедливом обществе. Хочу понять, как помочь другим таким, как я.

(Это высказывание подняло ее рейтинг еще на десять пунктов. И почему она всегда говорила, как на предвыборном митинге!)

Тут на Христу снизошло жестокое озарение. Она посмотрела на меня и огорошила вопросом:

– А кстати, Бланш, ты никогда не говорила мне, почему ты пошла учиться на социологический факультет?

Если бы я не так растерялась, то могла бы ответить: “Я никогда не говорила, потому что ты никогда не спрашивала”. Но почти потеряла дар речи: чтобы Христа обратилась ко мне – это было такой редкостью!

Глядя на мою ошарашенную физиономию, отец досадливо подтолкнул меня:

– Ну же, Бланш, отвечай!

– Мне хочется научиться общению с людьми...

Может быть, я нескладно сказала, но в принципе сказанное отражало суть того, что я думала, и, по-моему, могло служить приемлемой мотивировкой. Мама с папой вздохнули. И я поняла, что Христа задала свой вопрос нарочно, чтобы унизить меня перед ними. Это ей отлично удалось: в глазах родителей я не выдерживала никакого сравнения с “этой замечательной девочкой”.

– Бланш всегда была слишком правильной, – сказала мама.

– Вот бы ты нам ее пообтесала, почаще бы вытаскивала ее из дома! – продолжил папа.

Я похолодела: в этой грамматической цепочке “ты нам ее” заключался весь ужас нашей новой жизни вчетвером. Обо мне говорили в третьем лице. Как будто меня тут не было. А меня и правда не было. Все решалось между теми, кого обозначали местоимения “ты” и “мы”.

– В самом деле, Христа, научи ее жизни, – прибавила мама.

— Попробую, — согласилась гостья.

Я была в нокдауне.

Через несколько дней Христа подошла ко мне в университете и с обреченным видом сказала:

— Я дала слово твоим родителям, что познакомлю тебя с ребятами.

— Спасибо, но это вовсе не обязательно, я обойдусь.

— Нет уж, идем, обещание есть обещание.

Она схватила меня за руку и поволокла к своей кодле.

— Народ, это Бланш.

К моему облегчению, никто из здоровенных лбов не обратил на меня внимания. Но дело сделано: я представлена.

Выполнив свой долг, Христа повернулась ко мне спиной и принялась болтать с приятелями. А я стояла среди них пень пнем, изнемогая от неловкости. Пока не отошла в сторону, успев покрыться холодным потом.

Какой же дурой я выглядела! Разумеется, вся эта минутная история не стоила выеденного яйца. Но я никак не могла избавиться от тягостного ощущения.

Наконец вошел преподаватель и студенты разошлись по местам. Христа, проходя мимо меня, наклонилась и прошипела:

— Ну хороша! Я ради нее из кожи вон лезу, а она не желает рта раскрыть и смывается, плевать ей на всех!

Она скользнула дальше и села через два ряда от меня, я же чувствовала себя совершенно раздавленной.

Я потеряла сон.

Теперь я и сама себя убедила, что права была Христа — в этом случае получалось не так обидно. Конечно, я должна была с кем-нибудь заговорить. Но о чем? И с кем? Мне нечего сказать этим типам, да я и не хотела с ними общаться!

“Вот видишь, — думала я, — ты ничего не знаешь об этих ребятах, а уже уверена, что не желаешь с ними общаться. Слишком гордая, все тебе нехороши. Другое дело Христа, она к людям всей душой, идет к ним так же, как пришла к тебе и твоим родителям. И каждому ей есть что дать. У тебя же нет ничего ни для кого, даже для самой себя. Ты пустое место. Может, Христа и резковата, но она настоящая, она живет в реальном мире. Лучше быть какой угодно, только не такой, как ты”.

Разноречивые чувства раздирали меня на части. Внутренние голоса спорили между собой. “Чушь! — скрипел один. — Да как она смеет говорить, что лезет ради тебя из кожи вон! Когда кого-то знакомят, представляют и тех и других, а она тебе никого не назвала. Да она тебя ни в грош не ставит!”

“Подумаешь, барыня какая! — гремел другой. — Ее-то, Христу, никто никому не представлял. Она сама, одна, приехала из своего захолустья, ей столько же лет, сколько тебе, и ей не требуется ничья помощь. Это ты, ты сама ведешь себя как последняя кретинка!”

“Ну и ладно! — не сдавался первый голос. — Я что, кому-нибудь жалуюсь? Может, мне нравится быть одной. Все лучше, чем ошиваться в толпе. Это мое право”.

Насмешливый хохот в ответ: “Вранье! Сама знаешь, что врешь! Ты всегда мечтала вписаться в компанию, и до сих пор тебе это ни разу не

удавалось. Христа — это твой шанс, единственный за всю жизнь! И ты его упустишь, идиотка, бестолочь...”

Потоки отборной брани лились на мою голову.

Так проходили бессонные ночи. Я ненавидела себя, готова была себя придушить.

В ночь с понедельника на вторник, когда мы обе уже лежали в темноте в моей комнате, я попросила Христу:

— Расскажи мне про Детлефа...

Я боялась, что она отошьет меня своим железным “не твое дело!”. Но она, глядя в потолок, задумчиво проговорила:

— Детлеф... Он курит. Ему очень идет. Классный парень. Высокий, блондин. Смахивает на Дэвида Боуи. Жизнь его не балует, он много выстрадал. Когда он куда-нибудь входит, все сразу замолкают и смотрят на него. Он неразговорчивый, редко улыбается. Привык скрывать свои чувства.

Мне портрет этого мрачного красавца показался жутко смешным, любопытной была только одна деталь:

— Он правда похож на Дэвида Боуи?

— Особенно в постели.

— А ты видела Дэвида Боуи в постели?

— Дура ты, Бланш! — сердито выдохнула Христа.

А по-моему, вопрос был вполне логичным. В отместку Христа ядовито сказала:

— Ты, ясное дело, еще девственница.

— Откуда ты знаешь?

Вот уж этот вопрос — глупее некуда. Христа фыркнула. Опять я упустила возможность вовремя промолчать.

— Он тебя любит? — спросила я.

— Да. Даже слишком.

— Как это?

— Конечно, где тебе знать, каково это, когда на тебя смотрят как на богиню.

Сколько презрения было в этом ее “где тебе знать”! Но продолжение прозвучало как пародия: бедненькая Христа, как ей, должно быть, тяжело терпеть восхищенные взгляды Дэвида Боуи! Вот ломака!

— Ну так прикажи ему, как богиня, чтобы он любил тебя поменьше, — посоветовала я, ловя ее на слове.

— Думаешь, я без тебя не додумалась? Но он не в силах.

Я сделала вид, что меня осенила светлая идея:

— Высморкайся и покажи ему свой платок. Тогда у него поубавится любви.

— Бедняжка! У тебя в самом деле серьезные проблемы! — сокрушенно сказала Христа и выключила ночник, давая понять, что беседа окончена — она хочет спать.

На меня же напустился мой внутренний оппонент: “Пусть она пошлая кривляка, тебе все равно хотелось бы быть на ее месте. Ее любят, у нее уже есть опыт, а ты рохля, и с тобой ничего такого не случится”.

Детлеф не просто любил Христу, а был ее любовником. Немудрено, что у меня в мои шестнадцать лет никого еще не было. Да мне хватило бы и меньшего — хоть бы кто-нибудь просто полюбил меня, все равно какой любовью! Конечно, родители хорошо ко мне относились, но разве

происходящее не показало цену их любви: стоило появиться в доме смазливенькой девушке, как для меня не осталось места в их сердцах!

Я лежала и пыталась вспомнить, любил ли меня хоть один человек на свете, ребенок или взрослый — не важно? Ощутила ли я хоть раз на себе это чудо — когда тебя выбирают и любят? У меня не было, как у других девчонок, закадычных подружек в десять лет, хоть мне ужасно хотелось; ни один учитель в лицее не питал ко мне нежных чувств. Ни в чьих глазах не зажигалось из-за меня то пламя, ради которого только и стоит жить.

Вот и выходило, что я могла сколько угодно смеяться над Христой: и хвастливая она, и самолюбивая, и недалекая, но она умела внушить к себе любовь. Мне вспомнились слова, кажется, из псалма: "Благословенны внушающие любовь".

Да, именно благословенны, потому что, сколько бы ни было у них недостатков, они все равно соль земли, я же на этой земле никому не нужна, никто меня даже не замечает.

За что мне такое наказание? Оно было бы справедливым, если б я сама не любила. Но я-то, наоборот, всегда была готова полюбить. Не помню уж, скольким девчонкам с самого раннего детства я предлагала свое сердце, но все они меня отвергали. Как сохла по одному мальчишке, уже когда была постарше, а он и не смотрел в мою сторону! Что там любовь — меня упорно обделяли даже самым обычным вниманием.

Правильно Христа говорит — наверно, у меня что-то не в порядке. Только что? Я не такая уж уродина. Да и видала я совсем некрасивых девчонок, которых еще как любили!

Мне вспомнился один случай, который, возможно, давал ключ к загадке. Это происходило совсем недавно, всего год назад. Мне было пятнадцать лет, и я очень страдала от того, что у меня нет друзей. У нас в старшем классе была неразлучная троица: Валери, Шанталь и Патрисия. Они не выделялись ничем особенным, кроме того, что всегда ходили вместе и им было хорошо.

Я мечтала, чтобы они приняли в компанию и меня. И стала всюду увязываться за ними. Куда они, туда и я, и так день за днем. Да еще я постоянно встревала в их беседы. Видела, конечно, что они никогда не отвечают на мои вопросы, но довольствовалась тем, что имела — правом быть рядом, для меня и это уже немало.

Так прошло полгода, и вот однажды в веселую минуту Шанталь, отсмеявшись, произнесла убийственную фразу:

— До чего мы втроем здорово спелись!

А ведь я тоже была тут, с ними, как всегда. Мне словно всадили нож в самое сердце. Я поняла страшную истину: я никто. Меня нет и никогда не было.

Я перестала к ним липнуть. А они и не заметили, что я исчезла, как не замечали моего присутствия. Как будто я невидимка. Вот оно в чем дело!

Не важно, чего во мне не хватало: яркости или просто жизни. Факт оставался фактом: меня для них не существовало.

Вспоминать об этом было больно и противно. Но еще противнее сознавать, что с тех пор ничего не изменилось.

Хотя нет — появилась Христа. Она-то меня увидела? Нет, это было бы слишком хорошо. Она увидела не меня, а мое больное место. И сыграла на нем.

Увидела девушку, которая дико мучается из-за того, что ее не существует. И поняла, как с толком использовать эту болячку, которая нарывает уже шестнадцать лет.

Она успела завладеть моими родителями, их квартирой. И наверняка не остановится на столь удачно начавшемся пути.

Снова наступил понедельник. Но Христа не пришла на занятия, и я вернулась домой одна.

Увидев, что Христы нет, мама засыпала меня вопросами:

— Она заболела?

— Не знаю.

— Как это ты не знаешь?

— Очень просто. Она мне ничего не говорила.

— И ты ей даже не позвонила?

— Я не знаю ее телефона.

— Почему же ты не спросила?

— Она не любит, когда я суюсь в ее домашние дела.

— Но телефон-то можно было спросить!

Вот уже получалось, что виновата я.

— Она сама могла позвонить, — сказала я. — Ведь у нее-то есть наш номер.

— Наверно, для ее родителей это слишком дорого. — У мамы всегда находился довод в оправдание моей, как она считала, подруги. — Адреса у тебя тоже нет? И как называется ее деревня, не знаешь? Умница, нечего сказать!

Не желая отступаться, мама попробовала прибегнуть к справочной службе:

— Семейство Билдунг в районе Мальмеди... Нет таких? Благодарю вас.

Когда пришел с работы отец, мама поведала ему о своих поисках и моей тупости.

— Чего от тебя ждать! — сказал мне родитель.

Вечер был безнадежно испорчен.

— Надеюсь, вы не поссорились? — инквизиторским тоном спросила мама.

— Нет.

— В кои-то веки у тебя появилась подруга! Чудесная девушка! — продолжала она все так же осуждающе.

— Мама, я же сказала: мы не ссорились.

Про себя я подумала: "Значит, если когда-нибудь мы с Христой действительно поссоримся, родители мне этого не простят, — придется учесть".

Папе кусок в рот не лез — ведь угощения были приготовлены для Христы.

— Может, она попала в аварию? — предположил он после долгого молчания. — Или ее похитили?

— Ты думаешь? — ужаснулась мама.

Это было выше моих сил — я ушла к себе. Родители этого не заметили.

На следующее утро Христа как ни в чем не бывало верховодила своей оравой.

— Где ты была? — напустилась я на нее.

— В каком смысле?

— Вчера вечером. Это был понедельник, мы тебя ждали.

— Ах, да! Мы с Детлефом слишком поздно пришли домой, и я проспала.

— Почему же ты нас не предупредила?

— Ох! Это что, так важно? — вздохнула она.

— Родители беспокоились.

— Как мило! Извинись за меня, ладно? — бросила она и отвернулась, показывая, что не намерена больше терять время на разговоры со мной.

Вечером я как могла объяснила все любящим родителям. Они проявили безграничную снисходительность и сочли, что Христа поступила вполне естественно. А главное, осведомились, придет ли она в следующий понедельник.

— Наверное, — ответила я.

Родители облегченно вздохнули.

— Вот видишь, — сказала мама папе, — она жива и здорова.

Через неделю Христа действительно явилась вместе со мной. Родители встретили ее с особым радушием.

"Ловко она все рассчитала", — подумала я и оказалась права.

Но насколько права, выяснилось только за ужином. Слово взял отец.

— Христа, мы с Мишель подумали и решили предложить тебе перебраться к нам на всю неделю. Будешь жить вдвоем с Бланш, у нее в комнате. А на выходные возвращаться домой, в Мальмеди.

— Франсуа, не распоряжайся, Христа решит все сама! — перебила мама.

— Да, правда, я увлекся. Ты, конечно, можешь отказаться, Христа. Но мы все трое были бы очень рады.

Я не верила своим ушам.

А наша Христа, как хорошая актриса, скромно опустила глазки и прошептала:

— Я не могу принять ваше предложение...

Я затаила дыхание.

— Почему? — огорченно спросил отец.

Она выдержала долгую паузу, а потом, будто бы с трудом преодолевая смущение, выговорила:

— Я... я не сумела бы платить за жилье...

— Ни о какой плате не может быть и речи! — возразила мама.

— Нет... я не могу. Это слишком большое одолжение...

Я была с ней согласна.

— Да что ты! — сказал отец. — Это ты сделаешь нам одолжение, если согласишься! Мы так рады, когда ты здесь. Бланш прямо не узнать! Ты для нее как сестра!

Ого! Тут уж я еле сдержалась, чтобы не расхохотаться.

Христа робко посмотрела на меня.

— Но я буду стеснять тебя, Бланш, ты же лишишься собственной комнаты.

Ответить я не успела — меня опередила мама:

— Ты бы видела, как Бланш расстроилась, когда в прошлый раз ты не пришла. Она не очень общительная, и до сих пор у нее не было друзей. Так что, если ты согласишься, для нее это будет невероятным счастьем.

— Ты осчастливишь нас всех! — увещевал отец.

— Ну, тогда я не могу отказаться, — сдалась Христа.

Ей надо было дождаться, чтобы ее еще и стали благодарить.

Мама обняла благодетельницу, а та морщила нос от удовольствия. Отец сиял.

Ну а я осиротела.

Да, осиротела и получила лишнее подтверждение этому, когда после ужина мыла на кухне посуду на пару с родителем. Христа не могла нас там услышать, и я сказала:

— Почему ты не спросил моего согласия?

Я ждала, что он ответит мне просто-напросто: "Я здесь хозяин, кого хочу, того и приглашаю".

Но он выразился иначе:

— Это ведь не только твоя подруга, но и наша тоже.

Я едва не сказала: "только ваша, а не моя", но тут вприпрыжку, как резвое дитя, вошла сама Христа.

— Я так счастлива! — воскликнула она.

И бросилась на шею папе, а потом расцеловала в обе щеки меня.

— Франсуа, Бланш, теперь вы моя семья!

Вошла мама, чтобы сполна насладиться прелестной сценой. Хорошенькая, как картинка, девушка радостно смеялась, скакала на месте и обнимала обоих моих родителей, они же любовались ее девической свежестью. Только мне все это казалось дешевой комедией и было больно, что я опять осталась в одиночестве.

— А как же Детлеф? — сухо спросила я.

— Мы будем видеться по выходным.

— И тебе этого достаточно?

— Конечно.

— И он тоже будет не против?

— По-твоему, я должна у него спрашиваться?

— Браво, Христа! — одобрила мама.

— У тебя устарелые понятия! — бросил отец.

Они ничего не поняли. Я говорила не о свободе или разрешении. Просто я представляла себе, что, будь у меня страстная любовь, для меня мысль о разлуке, даже самой недолгой, была бы нестерпима. Только меч может разделить влюбленных. Но высказывать эти соображения вслух я поостереглась — засмеют.

И отчужденно смотрела, как новые родители Христы радовались моему несчастью.

Во вторник интриганка должна была съездить к себе за вещами.

А в ночь со вторника на среду я лежала в своей комнате и, упиваясь горечью предстоящей потери, в последний раз наслаждалась уединением. Увы, даже тем малым, что нам принадлежит, мы на самом деле не владеем, или, вернее, владение это столь эфемерно, что мы неизбежно всего лишаемся. Вот и у меня отнимали последнее сокровище одинокой души — свой уголок, где можно спокойно мечтать.

Спать я не могла. Все думала о том, как дорого мне то, что у меня отнимали. Эта комната была для меня заветным убежищем с самого младенчества, храмом детских игр, сценой отроческих трагедий.

Христа говорила, что моя комната ни на что не похожа. Так оно и было, и именно поэтому она была похожа на меня. В ней не висело ни

портретов знаменитых певцов, ни постеров с прозрачными воздушными красавицами, пустые стены — интерьер моего внутреннего мира. Это не нарочитая строгость, не признак того, что я старше своих лет; я вовсе не старше. О моей сущности говорили не стены, а лежащие повсюду книги.

И этим крошечным, но драгоценным для меня убежищем я должна была пожертвовать якобы во имя дружбы — никакой дружбы не было в помине, но признаться в этом я не могла, если не хотела потерять последние крохи родительской любви.

"Какой у тебя узкий мирок, какие ничтожные беды — стыдись! Подумай о тех, у кого нет и не было своей комнаты! И потом, Христа научит тебя жизни, а это многого стоит!" — ругала я себя.

Бесполезно: разумные доводы не приносили утешения.

В среду вечером захватчица вторглась в мои владения с огромным пакетом, не предвещавшим ничего хорошего. Так и оказалось: сначала оттуда было извлечено дикое количество тряпок, потом — гетто-бластер с набором компакт-дисков, от одних названий которых мне стало плохо — это, значит, ее любимые вещи! — и, в довершение кошмара, постеры.

— Вот теперь у тебя будет комната, как у нормальной девчонки! — сказала Христа с довольным видом.

Для начала она украсила стены попсовыми физиономиями, которых до той поры я имела счастье не знать. Теперь я буду лицезреть их каждый день. На будущее я дала себе слово при первой же возможности выбросить из головы их имена.

Потом пространство моей комнаты огласили тошнотворные завывания с мещански-пошленькими словами. А для полноты картины Христа и сама стала подпевать.

Начало было многообещающим.

Христа имела обыкновение, не дослушав один альбом, ставить другой. Это усугубляло муку: когда она выключала диск, обычно на середине песни, я каждый раз начинала робко надеяться, что ей, возможно, наконец надоел этот грохот, — увы, она тут же запускала новый вокальный перл, и после первых же тактов я сожалела о предыдущем, но силилась найти в нем достоинства, представляя себе, каков будет следующий.

— Нравится? — спросила Христа после получаса непрерывной пытки.

Вопрос показался мне издевательским. С каких это пор палачи интересовались мнением жертв?

Неужели я смогу так чудовищно солгать? Смогла.

— Очень! Особенно немецкий рок, — с ужасом услышала я собственный голос.

Из всего того, чем Христа терзала мой слух, хуже всего, бесспорно, был немецкий рок. Выходит, я такая мазохистка, что нарочно выбираю самое для себя омерзительное? Нет, тут, скорее, было другое. Во-первых, если уж слушать пакость, так самую отборную — лучше сразу нырнуть на дно, чем постыдно барахтаться на поверхности. А во-вторых, при всем безобразии немецкого рока у него было огромное преимущество перед шедеврами французских менестрелей: тут я, по крайней мере, не понимала слов.

— Ага! Немецкий рок — это супер! — загорелась Христа. — Мы с Детлефом тоже от него балдеем!

И она врубила на всю катушку шлягер с миленьким названием "So schrecklich"[1]. "Лучше не скажешь", – подумала я. Что могло стрястись с немецкой культурой, давшей миру гениальнейших композиторов, чтобы тевтонская муза докатилась до такого убожества? А любовь Христы и Детлефа, если она протекает под аккомпанемент этих убийственно идиотических песнопений, уж наверное имеет мало общего с высотами Лоэнгрина.

В дверь робко постучали. Это папа.

– Привет, Франсуа! – Христа расплылась до ушей. – Как дела?

Я никак не могла привыкнуть к тому, что она звала моих родителей по именам и на "ты"

– Спасибо, нормально. Извини, нельзя ли сделать немножко потише?

– Конечно, – сказала Христа и убавила громкость. – Это я специально для Бланш, она ужасно любит эту музыку.

– А-а! – протянул папа, посмотрел на меня с сожалением и ушел.

Выходит, мало того, что я должна была насиловать свой слух, но я же оказывалась главным изувером в глазах окружающих.

В университете Христа активней прежнего сводила меня со своими приятелями. И мне уж было не отвертеться.

– Я теперь живу у Бланш. Ей тоже шестнадцать лет, как и мне.

– А тебе шестнадцать, Христа? – спросил один студент.

– Ну да.

– На вид больше.

– Зато Бланш на вид ровно столько, сколько есть, верно?

– Угу, – кивнул парень, которому явно было плевать на мой вид. – А как это ты ухитрилась в шестнадцать лет поступить в университет, а, Христа?

– Ну, мне в жизни пришлось несладко. Так что все время хотелось поскорее вырасти, встать на ноги и вырваться, понимаешь?

Меня ужасно злила ее манера вставлять свои "понимаешь?" в самые простые фразы, как будто глубокий смысл ее слов мог ускользнуть от собеседника.

– Ага, – отозвался ее приятель.

– Ты молодчина, – сказал другой, длинноволосый.

– А с Бланш – другой коленкор, – не унималась Христа. – У нее отец с матерью учителя, и она всегда прилежно занималась. А потом, у нее до меня никогда не было подружек. Вот она от скуки и стала отличницей.

Балбесы жалостливо усмехнулись.

Я постаралась не показать виду, что меня объяснения Христы больно задели. С какой стати она бралась судить о моей жизни? Какое имела право выставлять меня на посмешище? И зачем ей самой это нужно?

Впрочем, я уже поняла, что больше всего Христа была занята самоутверждением. Наверное, она решила, что на моем блеклом фоне, по контрасту, будет эффектнее выделяться.

Я была для нее настоящей находкой: благодаря мне ей было где жить, что есть, а вдобавок она легко могла блистать за мой счет: унижать меня при всем честном народе, да еще якобы для моей же пользы.

При этом она выглядела такой замечательной, самостоятельной, умной-разумной, а я рядом с ней – полной дурой и размазней, балованной

1. "Такая жуть" *(нем.)*.

дочкой "обеспеченных" родителей, — каким-то непостижимым образом ей удавалось всем внушить, будто учителя купаются в роскоши.

Вечером после того милого разговора обо мне с приятелями она торжественно мне объявила:

— Ну вот, благодаря мне ты вписалась в компанию.

Она, наверное, рассчитывала на благодарность. Но у меня отнялся язык.

Раньше, до пришествия Христы, одним из моих любимейших занятий было чтение: я укладывалась на диван с книжкой и погружалась в нее с головой. Если она была хорошая, я в ней растворялась. Если так себе, все равно, приятно было отмечать изъяны и скептически усмехаться в неудачных местах.

Чтение — удовольствие полноценное, а не возмещающее отсутствие других. Возможно, внешне моя жизнь представлялась довольно скудной, если же посмотреть изнутри, то она напоминала квартиру без мебели, но с роскошной библиотекой: кто умеет сполна наслаждаться излишествами и не очень дорожит необходимым, обозревает ее с восхищением и завистью.

Никто не видел меня изнутри и не подозревал, какая я счастливая, — никто, кроме меня, ну и отлично. Незаметность была мне только на руку — никто зато и не мешал читать сколько влезет.

Единственными свидетелями моего запойного чтения были родители и постоянно меня за это пилили. Мама как биолог возмущалась тем, что я нисколько не забочусь о своей физической форме, папа обстреливал меня латинскими и греческими цитатами — mens sana in corpore sano и все такое прочее, — рассказывал мне про Спарту и, наверно, воображал, что есть такой гимнасий, куда я могу ходить на тренировки по дискоболу. И вообще его бы больше устроило иметь своим отпрыском какого-нибудь там Алкивиада, а не витающую в облаках книгожору-отшельницу вроде меня.

Возражать я и не пыталась. Как объяснишь, что ты невидимка? Родители считали, что я корчу из себя взрослую и презираю нормальные развлечения своих ровесников, а я и рада была бы развлекаться наравне с другими, но как это сделать, если на меня никто не смотрит? Родители и сами меня давно в упор не видели, раз навсегда постановив и припечатав, что я тихоня, мямля и т. д. Смотреть по-настоящему значит смотреть непредвзято. Непредвзятый взгляд увидел бы во мне атомный реактор, туго натянутый лук, который томится без стрелы и цели.

И однако, хотя все, чего мне мучительно хотелось, оставалось недоступным, я не чувствовала никакой ущербности в том, что жила в книгах, просто я дожидалась своего часа, а пока распускала лепестки, впитывая Стендаля и Радиге — не худшее, что есть на этом свете. И на гроши не разменивалась.

С вторжением Христы чтение стало похоже на прерванный половой акт: если она заставала меня с книгой в руках, то сначала устраивала мне выволочку ("Опять носом в книжку!"), а потом принималась болтать как заведенная о каких-то нескончаемых и никчемнейших пустяках, повторяя каждый по четыре раза — под этим градом мне ничего не оставалось делать, как только считать эти повторы и дивиться неизменному четверичному циклу.

— Нет, представляешь, Мари-Роз мне говорит... а я и говорю ей, Мари-Роз... А она, Мари-Роз-то, говорит... А я, значит, ей говорю, Мари-Роз то есть...

Иногда, из чистой вежливости, я заставляла себя изображать интерес, спрашивала, например:

— Кто такая Мари-Роз?

Получалось некстати.

— Да я уж тебе тысячу раз говорила! — возмущалась Христа.

Я ей верила: наверняка она уже упоминала это имя, да не одну, а четыре тысячи раз, я же четыре тысячи раз пропускала его мимо ушей и четыре тысячи раз забывала.

В общем, гораздо лучше было пережидать словоизвержение молча и только изредка мычать и кивать головой. Я часто думала, что́ заставляло Христу так себя вести. Она была не так примитивна, чтобы бесконечное переливание из пустого в порожнее могло доставлять ей удовольствие. И пришла к выводу, что причиной всему — патологическая зависть. Ей было нестерпимо видеть, как мне хорошо с книгой, а раз забрать себе это счастье она не могла, то всеми силами старалась его разрушить. Отняв моих родителей и мой дом, она желала отнять и мои радости. Но я была готова поделиться:

— Погоди, я дочитаю и дам тебе.

Нет, ждать она была не в состоянии, вырывала книгу у меня из рук, открывала наобум, в середине или в конце (я не высказывала вслух, как мне противно было на это глядеть), и с недоверчивой гримасой принималась читать с этого места. Я бралась за другую, но только успевала втянуться, как возобновлялась эпопея о Мари-Роз или о Жан-Мишеле. Это было невыносимо!

— Тебе не нравится роман? — спрашивала я.

— Я, кажется, его уже читала.

— Что значит “кажется”? Это же все равно, что ты съела, ну... какой-нибудь фрукт, что ли, и сама не знаешь, съела ты его или нет.

— Сама ты фрукт! — отвечала она и покатывалась со смеху, в восторге от собственного остроумия.

Мой удрученный вид она считала признаком своей победы и думала, что здорово меня срезала. На самом деле меня потрясала ее глупость.

Она ухитрялась поймать двух зайцев сразу и демонстрировала маме и папе свою липовую начитанность. Они легко попадались на удочку и захлебывались от восторга:

— Ты учишься, работаешь да еще и находишь время для чтения! Невероятно!

— Не то что Бланш — та, кроме чтения, ровным счетом ничего не делает.

— Сделай доброе дело, Христа, оторви ее от книжек, научи ее жить!

— Раз вы просите, обещаю попробовать.

Она всегда умела повернуть дело так, что мы все у нее оставались в долгу. А уж как она обработала моих родителей, чтобы они настолько поглупели, один Бог знает! Я смотрела на них и не могла понять: неужели они не сознают, что ежесекундно отрекаются от меня? За что так унижать собственное чадо? Или у них не осталось ко мне ни капельки любви?

А я ведь была на редкость легким ребенком. За шестнадцать лет никто ни разу на меня не пожаловался, и сама я никогда не упрекала их за

то, что они подарили мне жизнь, прелести которой я что-то пока не распробовала.

Мне вдруг вспомнилась притча о блудном сыне: если уж сам Христос хвалил родителей, которые предпочитают неблагодарного ребенка, то что спрашивать с Христы! Может, они оба, и Христос и Христа, лили воду на свою мельницу — они ведь и сами блудные дети. А я — несчастный послушный ребенок, которому не хватило сообразительности обеспечить себе любовь отца и матери хулиганскими выходками, побегами из дома, хамством и руганью.

Интриганка сдержала слово и потащила меня с собой на студенческую вечеринку. Такие чуть не каждый вечер устраивали разные факультеты. Сборище происходило в обшарпанном помещении, то ли нарочно отведенном для этих целей, то ли когда-то служившем для свалки старых шин.

Дело было в ноябре, я дрожала от холода в своих хилых джинсиках. Грохот стоял ужасающий, шлягеры один страшней другого рвали барабанные перепонки. К тому же нечем было дышать. Приходилось выбирать одно из двух: или задыхаться в табачном дыму, или зарабатывать воспаление легких, стоя у открытой двери. Тусклый свет не прибавлял красоты мелькавшим вокруг и без того не слишком привлекательным лицам.

— Полный отстой! — сказала Христа.

— По-моему, тоже. Пошли отсюда?

— Нет.

— Но ты сама сказала, что тут полный отстой.

— Я обещала твоим родителям вытащить тебя из дома.

Я хотела возразить, но не успела. Христа заметила каких-то своих приятелей, а они увидели ее и ринулись навстречу, дико улюлюкая, как у них было принято. Вся кодла повалила пить и танцевать.

Я чувствовала себя как на бойне, но, поскольку ноги совсем застыли, тоже стала пританцовывать. Христа уже забыла о моем существовании. И слава богу!

Многие студенты изрядно набрались. Я тоже была бы не прочь выпить, но не в одиночку же. Оставалось топтаться на месте. Прошло несколько часов бессмысленного самоистязания.

В какой-то момент пытка стала менее мучительной, как будто кнут милостиво заменили мокрой тряпкой, — завели какую-то медленную бодягу. Парни повисли на девушках. Один, на вид вполне нормальный, обнял и повел меня. Я спросила, как его зовут.

— Рено. А тебя?

— Бланш.

Видимо, он счел, что этого вполне достаточно для близкого знакомства, поскольку в следующую минуту приклеился своими губами к моим. Такие манеры показались мне довольно странными, но поскольку до сих пор я ни с кем не целовалась, то решила изучить этот феномен.

Это было забавно. Чужой язык змеился у меня во рту, доставая до нёба, как чудовище озера Лох-Несс. Чужие руки шарили по спине. Меня обследовали как достопримечательность.

Экскурсия затянулась, и я входила во вкус.

Но тут еще чья-то рука впилась мне в плечо и оттащила назад. Это была Христа.

— Уже поздно, нам пора, — сказала она.

Рено мотнул головой на прощанье, я ответила тем же.

Выходя, я заметила, что там и тут на бетонном полу лежали попарно и весьма откровенно оглаживали друг друга парни и девушки. Как знать, если бы не вмешалась Христа, может это постигло бы и меня.

Во всяком случае, произошло нечто значительное. Меня здорово трясло. Случай классический, романтический и комический: шестнадцатилетняя девушка переживает первый поцелуй. Верх идиотизма!

Я шла молча. Христа, отлично все видевшая, исподтишка наблюдала за мной — представляю, каким смешным казалось ей мое состояние. Я была согласна с ней, но надеялась, что она хотя бы промолчит. Каждый человек имеет право на свою небольшую порцию простого счастья, мне наконец перепала крошечка, но оно так непрочно, что может улетучиться от одного слова.

Ждать пощады от Христы! Она, конечно же, заговорила:

— Эти студенческие вечеринки — настоящие благотворительные акции! Там даже самым безнадежным хоть что-нибудь да достанется! — Она хохотнула.

Оглоушенная, я посмотрела на нее. Она преспокойно встретила мой взгляд, явно наслаждаясь моим унижением. И снова закатилась глумливым смехом.

Тогда-то в голове у меня блеснуло: "Имя ей не Христа, а Антихриста!"

Ночью, когда Антихриста сладко спала на моей бывшей кровати, я пыталась хоть немного разобраться в разноречивых мыслях. В голове все кипело.

"Ей мало отнять все, что у меня было, надо окончательно отравить мне жизнь! — вопил один голос. — Она прекрасно знает мои уязвимые точки и метит прямо туда. Она обожает причинять боль другим и меня выбрала своей жертвой. Я делаю ей только добро, а она мне — только зло. Но это плохо кончится. Ты слышишь меня, Антихриста? Ты — само зло, и я уничтожу тебя, как змия!"

"Бред! Ты просто мнительная дура! — урезонивал другой. — Пошутили над тобой, ну и что? Если б ты побольше понимала в дружбе, то знала бы, что это нормально, и ведь именно Христа, не забудь, привела тебя на вечеринку, сама бы ты ни за что не решилась туда пойти, а теперь небось довольна! Может, она и любит повредничать, зато научит тебя жизни, а это тебе, как ни крути, необходимо!"

И тут же новый всплеск негодования: "Давай-давай, она тебя мучит, а ты ей подыгрываешь! Всему находишь оправдание! Сколько еще раз надо тебя приложить, чтобы ты зашевелилась? А если ты сама себя не уважаешь, то чего же хочешь от нее?"

Конца спору не предвиделось:

"Что ж теперь, требовать от нее извинений? Здорово ты будешь выглядеть! Лучше уж не показывать обиды. Будь выше этого! Не зацикливайся на комплексе жертвы!"

"Ты просто трусишь и прячешь трусость за умными словами!"

"Надо реально смотреть на вещи. Христа вовсе не дьявол. У нее есть хорошие и дурные стороны. Да и как ты от нее отделаешься, раз она прочно окопалась у тебя дома? А главное, у нее есть неоспоримое преимущество: она живет настоящей жизнью, она это умеет, а ты нет. Нельзя сопротивляться жизни, надо идти туда, куда она влечет. А ты отбива-

ешься, потому тебе и больно. Смирись! Прими жизнь такой, как она есть, и твои страдания кончатся!"

Не в силах прекратить внутреннюю распрю, я постаралась перевести мысли в другое русло и подумала о парне, который меня поцеловал — невероятно! Он что, не заметил, что я с дефектом? Отрадная новость: значит, это не всегда бросается в глаза!

Я пыталась вспомнить лицо Рено, но не смогла. Вульгарный, дешевый флирт, ни капли романтики — ну и ладно, я не привередливая.

На другой день Христа объявила маме и папе:

— Вчера на вечеринке Бланш первый раз поцеловалась!

Родители посмотрели на меня недоверчиво. Меня распирала злость.

— Нет, правда, Христа? — переспросила мама.

— Я сама видела!

— А что за молодой человек? — поинтересовался отец.

— Нормальный, — коротко ответила я.

— Первый попавшийся, — уточнила Христа.

— Ну и отлично! — маму такая рекомендация почему-то привела в восторг.

— Для Бланш, разумеется, — согласился родной отец.

И все трое дружно засмеялись. Какая идиллия!

На секунду мне ясно представилась газетная заметочка в колонке "Происшествия": "Шестнадцатилетняя девушка зарезала родителей и лучшую подругу. Объяснить свой поступок она отказалась".

— Ну и как, Бланш, тебе понравилось? — спросила мама.

— Это мое дело, — любезно ответила я.

— Тайны девичьего сердца! — прокомментировала Христа.

Новый взрыв хохота.

— Во всяком случае, скажи спасибо Христе. Этим опытом ты обязана ей, — сказал папа.

Я мысленно подредактировала газетное сообщение: "Шестнадцатилетняя девушка зарезала лучшую подругу, приготовила из нее жаркое и подала на обед своим родителям. Несчастные отравились и умерли".

Оставшись наедине с Антихристой, я неожиданно для себя выпалила:

— Я бы попросила тебя не рассказывать моим предкам то, что их не касается.

— Ого, мадемуазель изволит гневаться!

— Представь себе! А если тебя что-то не устраивает, скатертью дорожка!

Она явно удивилась и возражать не стала:

— Ладно, Бланш, не пыли! Заметано, я больше ничего не скажу.

Я сочла, что одержала внушительную победу. Что же мешало мне заговорить с ней в таком духе раньше? Скорее всего, страх сорваться с катушек. Зато теперь я убедилась, что в состоянии одернуть интриганку, не выходя из себя. Что ж, намотаем на ус и при случае повторим этот подвиг.

Вышеописанный героический эпизод воодушевлял меня в течение нескольких дней. И дома, и в университете я гордо игнорировала супостатку. Если же поглядывала на нее исподтишка, то лишь для того, чтобы наконец уяснить, красавица она или уродина.

Вопрос как будто бы несложный, но мне никак не удавалось найти на него однозначный ответ. Обычно, чтобы сказать, красив кто-нибудь или нет, не приходится долго думать — это видно само собой, и ломать голову не надо. К тому же не в красоте интерес. Внешность — не самая загадочная сторона человеческой личности.

Но с Христой — случай особый. Фигура у нее была безупречной, это бесспорно, а вот лицо... сразу не скажешь. Поначалу она производила совершенно ослепительное впечатление, даже тени сомнения не возникало, что перед вами самая красивая девушка на свете — так лучились ее глаза, так сияла улыбка, такой свет исходил от всего ее облика, так покоряла она всех и каждого. Никому не приходило в голову, что это пленительное создание может быть некрасивым.

А мне теперь приходило. Я одна знала страшную тайну, которая, хоть сама Христа об этом и не догадывалась, открывалась мне каждый день. Эта тайна — лицо Антихристы, проявлявшееся, когда рядом не было никого, а потому не было нужды никого обольщать и ослеплять, — что же до меня, то я была для нее меньше, чем никто. Поэтому, когда мы оставались вдвоем, я замечала, как она меняется до неузнаваемости: теряют блеск и оказываются маленькими и блеклыми глаза, сползает улыбка и поджимаются губы, сходит сияние с лица, и становится видно, что черты его тяжеловаты и грубоваты, шея неизящна, а низкий лоб выдает уровень ума и красоты.

Она вела себя со мной как жена с мужем после многих лет брака, которая не стесняется ходить перед ним с бигуди на голове, в засаленном халате и вечно не в духе, а для других приберегает пышные локоны, кокетливые наряды и милые ужимки. “Но опостылевший муж, — с горечью думала я, — может в утешение вспоминать время, когда волшебное создание старалось покорить его; я же получила парочку мимолетных улыбок, и точка — зачем тратить обаяние на такую рохлю!”

Но стоило войти кому-нибудь еще, как в мгновение ока происходила обратная метаморфоза. Снова загорались глаза, растягивались губы, оживлялось лицо, тупая рожа Антихристы исчезала, и появлялась свежая, воздушная, приветливая, идеальная юная девушка, подвижная и хрупкая, этакий полураскрытый розовый бутон, воплощение мифа, который выдумала цивилизация, чтобы хоть как-то примириться с человеческим уродством.

Соблюдалась некая пропорция: насколько Христа была прекрасна, настолько Антихриста — отвратительна. Я не преувеличиваю, “отвратительно” — слово самое подходящее и для презрительной гримасы, которую она мне корчила, и для смысла, который в нее вкладывала: ты — ничтожество, ты меня не стоишь, будь довольна тем, что я вытираю об тебя ноги и самоутверждаюсь за твой счет.

Наверное, у нее внутри был рубильник, позволявший моментально переключать Христу на Антихристу. Промежуточного положения не существовало. Я даже сомневалась, есть ли хоть что-то общее между вариантами on и off.

В выходные я получала свободу и всю неделю жила ожиданием благословенного часа — вечера пятницы, когда супостатка отбывала в Мальмеди.

Я могла наконец улечься на собственную кровать. Ко мне возвращалось счастье владеть собственной планетой — своей комнатой, где мож-

но наслаждаться полным покоем. Флоберу нужно было уединенное место, чтобы кричать, мне же — место, чтобы мечтать, такое место, где никто и ничто не мешает мне витать в эмпиреях и где есть такая роскошь, как окно, потому что окно — это право на кусочек неба. Это ли ни предел желаний?

Я передвинула захваченную Христой кровать так, чтобы, лежа на ней, видеть небо, и часами валялась, повернув голову набок и созерцая свои домашние облака. Нахалка, которая лишила меня моего ложа, никогда не смотрела в окно, то есть она отняла у меня любимое сокровище зря — сама она им не пользовалась.

Несправедливо было бы отрицать, что Христа научила меня еще больше ценить то, что она у меня отбирала, — отрадное одиночество, тишину, возможность читать целый вечер и не слышать трескотню про Жан-Мишелей и Мари-Роз, блаженный отдых от шума и особенно от немецкого рока.

Да, за это я была ей благодарна. Но теперь, когда урок усвоен и я уверена, что никогда его не забуду, не пора ли ей убраться восвояси?

С вечера пятницы до вечера воскресенья я сидела у себя, делая лишь необходимые вылазки в ванную и на кухню. Причем на кухне старалась не задерживаться, а набирала и уносила с собой что-нибудь такое, что можно есть не вставая с кровати. Видеть предателей-родичей мне не хотелось.

Они сочувствовали мне: "Бедная девочка, она просто жить не может без подружки!"

В действительности только без нее я и могла жить. Стоило же ей появиться — необязательно совсем рядом, пусть даже за сто метров, пусть даже я ее не видела, а только ощущала ее присутствие, — как я каменела и чуть ли не задыхалась. Сколько бы я себя ни уговаривала: "Она в ванной и выйдет нескоро, ты свободна, ее как будто нет!" — парализующее действие Христы было сильнее всякой логики.

— Какое у тебя самое любимое слово? — спросила она меня однажды.

— Стрелия. А твое?

— Справедливость, — ответила она, отчетливо выговаривая каждый слог, будто разглядывая это свое слово со всех сторон. — Видишь, какие показательные результаты: ты выбрала слово просто потому, что оно красиво звучит, а мое — девиз всех, кто вышел из неблагоприятной среды.

— Ну да, — хмыкнула я и подумала, что, если бы от безвкусицы можно было умереть, этой пошлячки уже давно не было бы на свете.

Но в одном я была с ней согласна: результаты и впрямь показательные. Ее выбор действительно определялся не любовью к языку, а тщеславием и ханжеством.

Зная Христу, можно было не сомневаться: она понятия не имеет, что такое стрелия, но скорей проглотит язык, чем спросит. Между тем это слово хоть и старинное, как "поприще" или "ристалище", но самое простое: стрелия — это расстояние, которое покрывает стрела. Оно, как никакое другое, дает простор воображению: так и представляются натянутый лук, тугая тетива и наконец божественный миг, когда стрела взмывает в небо, целясь в бесконечность; но эта рыцарская доблесть обречена на поражение: как бы ни напрягался лук, дальность полета ограничена, известна заранее, и сила, сообщенная стреле, иссякнет в апогее. Стре-

лия — это и сам порыв, и весь пролет от рождения до смерти, и мгновенно сгорающая чистая энергия.

Тут же я придумала слово "христия", то есть дальность действия Христы, протяженность пространства, которое она способна отравить. В одной христии укладывалось несколько стрелий. Но была и другая мера, еще больше — антихристия, это тот заколдованный круг, в котором я жила пять дней в неделю и площадь которого возрастала по экспоненте, так как завоевания Антихристы увеличивались не по дням, а по часам: моя комната, моя кровать, мои родители, моя душа.

В воскресенье вечером возобновлялась кабала: мама с папой радостно приветствовали Христу, "которой нам так не хватало!", и мои владения снова оккупировались.

Когда мы ложились и гасили свет, происходило одно из двух: или Христа тяжко вздыхала и раздраженно говорила: "Я что, обязана тебе все выкладывать? Обойдешься!" — хоть я ее ни о чем не спрашивала; или же — и это куда хуже! — как раз и принималась все выкладывать, опять-таки без всякой моей просьбы.

Во втором случае я должна была выслушивать нескончаемые рассказы о баре в Мальмеди, где она работала, и обо всех ее разговорах с Жан-Мишелем, Гюнтером и прочими клиентами, которые мне были нужны, как головная боль.

Мое внимание включалось только тогда, когда речь заходила о Детлефе — эта тема вызывала у меня тайный интерес. Я сочинила целую легенду об этом парне, которого представляла себе похожим на восемнадцатилетнего Дэвида Боуи. Детлеф в моих мечтах был безумно красив! Идеальный мужчина, только в него я могла бы влюбиться!

Я попросила Христу показать мне его фотографию.

— У меня нет, — ответила она. — Фотки — это фигня.

Мне показалось странным услышать такое суждение от девчонки, которая оклеила все стены моей комнаты постерами с изображениями своих кумиров. Наверно, ей просто не хотелось, чтобы я видела ее Детлефа.

На словесные описания она была не так скупа, но, на мой взгляд, говорила не так, как должно, не проявляла никакого благоговения. Рассказывала, во сколько они встали, что ели, — не заслуживала она такого, как Детлеф!

Теперь Христа часто водила меня на студенческие вечеринки. Все они проходили одинаково, и каждый раз повторялось чудо: я нравилась кому-нибудь из вполне нормальных ребят.

Но до решающей стадии никогда не доходило. Как только дело начинало клониться к этому, появлялась Христа и говорила, что нам пора, а я никогда не возражала. Собственно, в данном случае меня ее деспотизм вполне устраивал: я сама толком не знала, хочется ли мне продолжения. Ни рассудок, ни плоть не говорили по этому поводу ничего вразумительного.

Зато целоваться я была готова сколько угодно. Прекрасное занятие! Можно не разговаривать и в то же время общаться с человеком таким удивительным способом.

Все ребята целовались плохо, но каждый — плохо по-своему. А я не знала, что они не умеют, и когда после поцелуев нос у меня бывал мок-

рым, как после дождя, а губы пересохшими, потому что их засасывали слишком сильно, то думала, что так и надо. Засосно-слюнявые повадки здешнего народа меня нисколько не шокировали.

Я уже могла, как четки, перебирать в уме имена: Рено – Ален – Марк – Пьер – Тьерри – Дидье – Мигель... Внушительный список молодых людей, которые не замечали, что во мне вагон и маленькая тележка несовместимых с жизнью дефектов. Ни один из них, я уверена, меня не запомнил. Как много они сами значили для меня, им было невдомек. Большое дело – поцеловаться! Но каждый поцелуй был двухминутным доказательством того, что я воспринимаема.

Нельзя сказать, чтобы мои кавалеры были уж очень галантны, трепетны, внимательны или хотя бы просто вежливы. Одному из них – которому? они были неотличимы друг от друга! – я все же задала вопрос, который меня мучил:

– Почему ты целуешься со мной?

Он пожал плечами:

– Да потому что ты не хуже любой другой девчонки.

Многие на моем месте съездили бы за подобный ответ по физиономии. Для меня же он прозвучал как музыка сфер. "Не хуже любой другой" – я о таком и не мечтала!

– С парнями у тебя полная лажа! – сказала мне как-то Христа, когда мы возвращались с очередного сборища.

– Угу, – послушно кивнула я.

Хотя про себя думала совсем наоборот: на фоне моих застарелых комплексов все происходящее казалось мне просто сказкой. У Золушки, покидавшей бал с двенадцатым ударом часов, так не кружилась голова от счастья, как у меня.

Скрыть это счастье было невозможно, Христа его почуяла и сочла своим долгом погасить:

– Ты просто доступная девка! Я ни разу не видела, чтоб ты хоть кому-то из ребят отказала!

– Отказала в чем? Что такого я с ними делаю? – резонно возразила я.

– Вот именно что ничего. И довольна такой ерундой?

Не могла же я признаться, что я и от этого на седьмом небе! Пришлось изворачиваться:

– Наверно, потому, что я не так уж доступна!

– Рассказывай! Ну, да тебе и нельзя корчить из себя недотрогу!

– Это почему же?

– Потому что тогда на тебя вообще никто не посмотрит. – Зачем-то ей непременно надо было хлестнуть по больному месту. – А тебе уж пора кое-чему научиться. Шестнадцать лет и все еще девственница – стыд какой!

Христа была по меньшей мере непоследовательна. Кто, как не она, оттаскивала меня от парня каждый раз, когда что-то могло получиться, и она же не упускала случая попрекнуть меня моей позорной девственностью. Мне было трудно с ней спорить, потому что я сама не понимала, чего хочу. Уступила бы я кому-нибудь, если бы не Христа, или нет? Неизвестно.

Нельзя сказать, чтобы у меня не было желаний: были, да еще какие необъятные! Знать бы только, в чем они заключались! Я пробовала

представить себе физическую близость с кем-нибудь из своих случайных приятелей: хочется мне этого? Как разобраться? Я была похожа на слепую, которая пытается распознать цвета. Может, в этой неизведанной области я не испытывала пока ничего, кроме любопытства?

— Ты меня с собой не сравнивай, — говорила я Христе. — У тебя есть Детлеф.

— Кто тебе мешает взять с меня пример и завести серьезного парня, вместо того чтобы обжиматься невесть с кем!

Сильно сказано: "завести серьезного парня"! Почему бы уж тогда не прекрасного принца? И потом, что она имела против "невесть кого"? Лично я — ничего. Я сама была невесть кто.

Видимо, я невольно бормотала себе под нос, потому что Христа спросила:

— Ты меня слышишь, Бланш?

— Слышу, Христа. Спасибо за совет.

Она приняла благодарность как должное. Открыто ответить мучительнице чем-нибудь, кроме абсолютной покорности, я была не в состоянии. Но, к счастью, внутренне я не прогибалась. Колкости Антихристы ничуть не умаляли восторга от поцелуев с кем попало — мои скромные радости защищала неприступная стена.

Хорошо хоть она больше не рассказывала о моих похождениях родителям — это была моя единственная победа.

Иной раз я корила себя за то, что не люблю Христу: ведь благодаря ей я худо-бедно начала существовать в университете. Правда, большинство студентов не удосуживались запомнить мое имя, а называли "Христиной подружкой". Но и это лучше, чем ничего. С появлением такого, пусть и слабого, опознавательного признака ко мне даже иной раз стали обращаться. Правда, всегда с одним вопросом:

— Христу не видала?

Я стала естественным спутником Христы.

И вот у меня родилась идея, так сказать, завести побочную связь. Я стала искать среди сокурсниц такую же неприкаянную особь, как я сама.

Самой подходящей кандидатурой показалась мне одна девушка по имени Сабина. Я узнавала в ней себя: в ней была какая-то такая зажатость, что все ее сторонились, никому неохота было преодолевать барьер неловкости. Она смотрела на всех умоляющим взглядом голодной кошки, ее же никто словно не видел. Я и себя поймала на том, что ни разу не сказала ей ни слова.

Собственно говоря, такие, как Сабина и я, сами виноваты в своих бедах: им бы надо искать себе подобных и притираться друг к другу, но их запросы превосходят их возможности, они тянутся к таким, как Христа, компанейским, блестящим, развязным. А потом удивляются, почему такая дружба оборачивается катастрофой, как будто можно ожидать чего-нибудь хорошего от дружбы тигра с мышкой или акулы с сардинкой.

Исходя из этой логики я и решила найти объект привязанности по своей мерке. Подошла мышка к сардинке и сказала:

— Привет, Сабина. У тебя нет конспектов последних лекций? Я кое-что пропустила.

Рыбешка в панике затрепетала, глаза полезли из орбит. Я подумала, что она меня не расслышала, и повторила вопрос. Она лихорадочно затрясла головой: нет-нет-нет! Но я не отставала:

— Ты же была на лекциях, я тебя видела!

Глаза Сабины налились слезами. Я ее увидела? Потрясение было слишком сильно.

Наверно, я не с того начала и надо подойти с другой стороны:

— Ну и зануда этот Вильмот, правда?

Вильмот был одним из лучших наших преподавателей, и мне он очень нравился, но надо ж было как-то завязать беседу!

Сабина страдальчески закрыла глаза и схватилась за сердце: у нее началась тахикардия! Может, потому с ней никто и не разговаривал — чтобы не доводить человека до обморока?

Но у меня и тут не хватило ума отстать:

— Тебе нехорошо? Ты больна?

Хватая жабрами воздух и собрав все свои силенки, сардинка простонала:

— Что тебе надо? Оставь меня в покое!

Слабенький, дрожащий голосок двенадцатилетней девочки. Но возмущенный взгляд предупреждал меня, что, если я не откажусь от своих агрессивных намерений, рыбешка пустит в ход крайние средства: забьет хвостом, поднимет муть со дна, и гнев ее будет страшен.

Я отошла в полном недоумении. Должно быть, недаром мелкие зверушки не дружат между собой. Я ошиблась, предполагая, что Сабина — мой двойник: умолять-то она умоляла, но не о том, чтоб к ней подошли, а чтоб не трогали. Любые контакты были для нее пыткой.

"С чего такую недотрогу понесло на социологию, — подумала я. — Шла бы лучше в монахини". И тут увидела, что за мной иронически наблюдает Христа. Она засекла мое изменническое поползновение. Не выйдет, без меня не обойдешься, говорили ее глаза.

В декабре началась сессия. Христа провозгласила новый лозунг: "Хватит валять дурака! За работу!" Хотя, по-моему, я и так дурака не валяла.

Христа выпендривалась как могла. Салоном Вердюренов[1] служили лекции по истории философии: она сидела с вдохновенным видом, показывая, как тонко разбирается в Канте, не то что мы. И врала без зазрения совести:

— Философия — моя стихия!

Я долго принимала это за чистую монету. Она ведь знала немецкий, а потому сам Бог велел ей ориентироваться в мире Шопенгауэра и Гегеля. Наверное, Ницше читала в подлиннике. Я, правда, никогда сама не видела, но это ничего не значит. Когда Христа произносила какой-нибудь философский термин по-немецки, у меня мурашки бежали по коже: это было так внушительно!

В определенном смысле сессия была счастливым временем: Христа не запускала свою музыку, мы занимались в тишине, поделив пополам мой стол. Поднимая голову от конспектов, я видела ее сосредоточенное лицо и проникалась к ней еще большим уважением. Мое прилежание было не в пример меньше.

Наступил день письменного экзамена по философии, длился он четыре часа. Выйдя из аудитории, Христа воскликнула:

— Красотища!

1. Салон Вердюренов изображен в романе М. Пруста "По направлению к Свану".

Остальные экзамены были устные. Христа сдала их намного лучше меня. Неудивительно: она умела гладко говорить, умела подать себя.

На устных преподаватель объявлял оценку сразу, а результатов письменного по философии надо было ждать две недели. Наконец их вывесили, и Христа послала меня на факультет узнать, кто что получил, причем не только мы с ней, а вся группа, то есть двадцать четыре человека. Это было довольно нудно, но отказаться я не посмела.

Всю дорогу я фыркала про себя: "Обязательно ей надо убедиться, что она лучше всех! До чего противно!"

В списке я первым делом нашла себя: Дрот — 18 из 20. Ого! Куда лучше, чем я ожидала. Потом отыскала Христу: Билдунг — 14 из 20. Я так и прыснула, представив, как у нее вытянется физиономия. Переписав, как обещала, все 24 фамилии, я выяснила, что 18 из 20 — самая высокая оценка и что получила ее одна я.

Такого не могло быть! Это, наверное, ошибка. Ну конечно ошибка! Я побежала в канцелярию, и мне сказали, что профессор Виллемс у себя в кабинете. Я пошла туда.

Завидев меня, профессор раздраженно проворчал:

— Вы, наверное, хотите опротестовать оценку?

— Да.

— Как ваша фамилия?

— Дрот.

Виллемс сверился со списком.

— У вас, однако, большие претензии. Вам мало восемнадцати из двадцати?

— Наоборот. Мне кажется, что вы по ошибке поставили мне такую высокую оценку.

— И вы явились ко мне из-за этого? Невероятная глупость!

— Дело в том, что... мне кажется, вы перепутали две оценки: мою и мадемуазель Билдунг.

— Понятно. Вы, надо полагать, помешаны на справедливости, — профессор вздохнул.

Он придвинул к себе кипу тетрадей и нашел работы студентки Дрот и студентки Билдунг.

— Никакой ошибки нет, — сказал он. — Когда мне пересказывают лекцию слово в слово, я ставлю 14, а когда излагают собственные мысли — 18. А теперь ступайте, или я действительно поменяю оценки.

Я выскочила, не чуя под собой ног от счастья.

Но веселье было недолгим. Как сказать про это Христе? В конечном счете решающего значения эта оценка не имела: учитывался средний балл. Но я понимала, что для Христы это не аргумент. Ведь речь шла о философии, "ее стихии"!

Когда я пришла домой, Христа спросила с самым беспечным видом:

— Ну что?

Вместо ответа я протянула ей листок, на который выписала отметки всей группы. Она схватила его, пробежала глазами и изменилась в лице. Не знаю почему, мне вдруг стало неловко. Огорчение Христы внушило мне не радость, а жалость. Я уже открыла рот, чтобы сказать ей что-нибудь утешительное, но не успела.

— Это только доказывает, — произнесла она, — что все эти оценки — сплошная чушь. Все знают, что я по философии первая, а у тебя знания поверхностные.

Это уж было слишком. Какова наглость?!

В тот же миг в голове у меня созрел коварный план, который я немедленно стала приводить в исполнение.

— Скорее всего, это ошибка, — смиренным голосом предположила я. — Виллемс, наверно, перепутал наши оценки.

— Ты думаешь?

— Я слышала, что так бывает...

— Поди спроси у него.

— Нет, лучше ты. Ты же знаешь Виллемса — если я приду и скажу, что он неправильно поставил мне хорошую отметку, он просто разозлится.

Христа что-то промычала. Прямо она не сказала, что пойдет к профессору. Как же! Она выше таких мелочей!

Но я заранее злорадно потирала руки, предвкушая, как примет ее Виллемс.

Через два часа Христа налетела на меня как фурия:

— Ты нарочно меня подставила!

— О чем ты?

— Виллемс сказал, что ты у него уже была!

— А, так ты к нему все-таки ходила? — невинно спросила я.

— Зачем ты мне устроила эту гадость?

— Да какое это имеет значение? Все знают, что ты у нас по философии первая, а у меня знания поверхностные. Все эти оценки — сплошная чушь. Не понимаю, что ты так волнуешься.

— Дура несчастная!

Она вылетела из комнаты и хлопнула дверью.

— Что там у вас стряслось? — услышала я голос отца.

Ему-то что за дело?

— Ничего, — отвечала Христа. — Бланш задирает нос, потому что у нее по философии отметка лучше, чем у меня.

— Какие пустяки! — сказала мама.

Иной раз пожалеешь, что не родилась глухой, слушать такие вещи — радости мало.

Сессия закончилась, и на другой день Христа уехала на Рождество к родным. Ни адреса, ни номера телефона она нам не сказала.

— Только бы она вернулась! — вздыхал папа.

— Вернется. Она половину своих вещей оставила, — заметила я.

— Да она выше этого! — воскликнула мама. — Не то что ты. У нее по всем предметам оценки лучше твоих, но она ими не кичится. А ты расхвасталась своей философией!

Ну и пусть! Я и не подумала объяснять, что между нами произошло. Мне стало окончательно ясно: что бы я ни сказала, родители все равно сочтут, что права святая Христа.

Антихриста вернется — я знала точно. Не столько ради своих вещичек, сколько ради нас. Она нас еще недограбила. Я не знала, что еще можно сорвать с наших голых скелетов, но она, Антихриста, несомненно знала.

Две недели без мучительницы — райская жизнь! Долгих две недели сладостного покоя.

Ну а родители ныли, как маленькие:

— Кто только придумал эти праздники! Хочешь не хочешь — веселись! Да еще придется идти в гости в тете Урсуле!

Я уговаривала их:

– Да сходим, ничего! Она такая смешная, такие плюхи выдает!

– Можно подумать, тебе сто лет. Молодежь терпеть не может Рождество!

– Ничего подобного! Христа, между прочим, со своими немецкими корнями, обожает Weihnachten![1] И вообще это ее праздник – вспомните, как ее зовут.

– В самом деле! А мы даже не сможем ее поздравить. Она уехала в такой обиде! Знаешь, Бланш, если ты опять получишь отметку лучше, чем она, не вздумай радоваться при ней. Она из неблагополучной среды, у нее комплекс...

Я старалась не слышать эти навязшие в зубах благоглупости.

Тетя Урсула, наша единственная родственница, жила в доме престарелых. Любимейшими ее занятиями было тиранить персонал и комментировать новости.

– Что у вас у всех такие унылые рожи – прямо покойники! – встретила нас милая старушка.

– Мы скучаем по Христе, – сказала я.

Мне было занятно послушать, что она скажет по этому поводу.

– Что это за Христа?

Отец, едва не прослезившись, описал замечательную девушку, которая теперь живет у нас.

– Она твоя любовница?

– Она ровесница Бланш, ей всего шестнадцать лет, – возмутилась мама, – и она нам как дочь.

– Но за квартиру-то она вам платит?

Отец объяснил тетушке, что это девушка из бедной семьи и мы не берем с нее денег.

– Девчонка не промах! Таких лопухов нашла!

– Ну что вы говорите, тетушка! Девочка приезжает издалека, из восточных кантонов...

– Ах, вот что! Так она еще и немка в придачу? И вы не брезгуете?

Бурное негодование. Как можно говорить такие вещи, тетя Урсула! Теперь все по-другому! С тех пор как ты была молодой, много воды утекло! К тому же восточные кантоны – часть Бельгии.

Я слушала и потешалась.

Родители покидали тетушку морально уничтоженные.

– Христе об этом ни слова, ладно?

Да уж конечно. А жаль!

Это было в самый сочельник. Мы как неверующие ничего не праздновали. Просто выпили ради удовольствия подогретого вина. Папа вдохнул его аромат и сказал:

– Она, наверное, тоже пьет сейчас вино.

– Наверное, – сказала мама. – Немцы это любят.

Я отметила, что мама даже не уточнила, кто "она".

Оба любовно держали бокалы в ладонях и, закрыв глаза, наслаждались запахом. Я знала, что в корично-гвоздично-лимонно-мускатном букете им мерещится еще один компонент – Христа, а прикрытые веки

1. Рождество *(нем.)*.

служат экраном, на котором они видят цветущую девушку в кругу домашних, кто-то играет на пианино, она поет со всеми вместе Weihnachtslieder[1] и смотрит в окно — в ее далекой провинции крупными хлопьями падает снег.

Насколько эти образы совпадали с реальностью, было совершенно не важно. Я диву давалась, как ухитрилась Христа так прочно завладеть душами моих родителей, а заодно и моей.

Хоть я ее и ненавидела, но избавиться от ее власти не могла. Она все время была во мне, я натыкалась на нее ежесекундно. По сравнению с родителями мой случай был еще тяжелее: они хоть любили свою поработительницу.

Если бы и я могла ее полюбить! Тогда мое рабство оправдывалось бы возвышенным чувством. Впрочем, в иные минуты я была недалека от этого: я страстно желала любить Христу, и ведущая к любви спасительная или губительная бездна уже раскрывалась передо мной, но что-то — прозорливость? здравый смысл? — удерживало на самом краю. Или мне не хватало душевной широты? Или мешала зависть?

Я не хотела быть как Христа, но хотела, чтобы меня так же все любили, как ее. Не колеблясь отдала бы я всю оставшуюся жизнь за то, чтобы глаза хоть одного, пусть самого ничтожного, человеческого существа загорелись ради меня несказанной силой и прекрасной слабостью, самозабвением, преданностью, радостной покорностью и слепым обожанием.

Итак, рождественская ночь превратилась в ночь Антихристы, хотя ее и не было с нами.

Она снова заявилась к нам накануне Богоявления. Родители обрадовались ей так, что неловко было смотреть.

— А вот и пирог! — возгласила Христа с порога, протягивая пакет из кондитерской.

С нее сняли пальто, умилились ее отдохнувшему виду, расцеловали в обе щеки, пожаловались на то, как долго тянулась двухнедельная разлука, а пирог и золоченые картонные короны торжественно водрузили на стол.

— Отличная идея! — воскликнула мама. — Мы почему-то никогда не вспоминаем про этот веселый обычай[2].

Христа разрезала небольшой пирог на четыре части, и каждый принялся есть, осторожно пережевывая куски.

— У меня боба нет, — сказала Христа, доев свою порцию.

— У меня тоже, — сказал папа.

— Значит, он у Бланш, — уверенно сказала мама, тоже не найдя боба.

Все с нетерпением уставились на меня, ожидая, пока я дожую последний кусок.

— Нет, мне тоже не попался, — сказала я, заранее чувствуя себя виноватой.

— Но этого не может быть! Осталась только ты! — возмутился папа.

— Может, я купила пирог без боба? — предположила Христа.

1. Рождественские песни *(нем.)*.
2. В Европе праздник Богоявления посвящен поклонению волхвов, в этот день принято запекать в пирог боб. Тот, кому этот боб попадется, провозглашается королем вечера, и ему на голову надевают корону.

– Да нет! – сердито сказала мама. – Просто Бланш страшно быстро ест. Я уверена, она проглотила боб и не заметила.

– Если я ем так быстро, то почему же осталась последней?

– Ну, просто у тебя кукольный рот. Как можно быть такой невнимательной! Христа хотела устроить праздник, так мило придумала, а ты все испортила!

– Вот интересно! Если кто-то проглотил боб, то почему обязательно я? Может, это ты сама, или папа, или Христа?

– Христа слишком деликатно ест, чтобы проглотить боб и не заметить! – окончательно разозлилась мама.

– Ну да, а я жру, как свинья, заглатываю оловянных солдатиков и не давлюсь! Но от кого же мне передались такие манеры, как не от родителей? Выходит, вы оба, ты и папа, могли проглотить боб не хуже меня!

– Ладно, Бланш, прекрати эту глупую ссору! – сказала Христа тоном миротворца.

– Как будто я ее начала!

– Христа права, – сказал папа. – Перестань бузить по пустякам, Бланш.

– Все равно наша королева – Христа! – провозгласила мама и надела Христе на голову корону.

– Это почему же? – запротестовала я. – Если все уверены, что боб случайно проглотила я, значит и корона моя!

– Пожалуйста, раз ты так хочешь, я тебе отдам, – сказала Христа, выразительно закатывая глаза, и с раздраженным вздохом протянула мне корону.

Но мама перехватила ее руку и вернула корону на прежнее место.

– Нет-нет, Христа! Ты слишком добра! Королева – ты!

– Но Бланш права! Это несправедливо! – сказала Христа, как будто хотела вступиться за меня.

– У тебя благородное сердце, – восхищенно глядя на нее, сказал папа. – Но не стоит подыгрывать Бланш, она позорно скандалит.

– Заметь, что начала скандал не я, а мама!

– Да хватит, Бланш! Уймись! – прикрикнула мама. – Сколько тебе лет?

Перед моим мысленным взором вновь предстал газетный лист, заметка в рубрике "Происшествия": "Шестнадцатилетняя девушка зарезала кухонным ножом своих родителей и лучшую подругу, не поделив с ними королевский пирог".

Христа решила разрядить обстановку и громко шутливо-торжественным тоном произнесла:

– Ну, раз я королева, мне нужен король! Я выбираю Франсуа!

Она возложила корону на голову отца. Он просиял:

– О, спасибо, спасибо, Христа!

– Надо же, какая неожиданность! – проскрипела я. – Было столько претендентов!

– Какая ты злюка! – сказала Христа.

– Не обращай внимания, – посоветовала мама. – Ты же видишь, она лопается от зависти.

– Странно, – заметила я, – когда ты говоришь о Христе в ее присутствии, то называешь ее по имени, а я у тебя просто "она".

– По-моему, у тебя просто с головой не в порядке, – глубокомысленно изрек отец.

— Вы уверены, что у меня, а не у вас? — спросила я.

— Абсолютно, — ответила мама.

Тут юная дева вскочила, подбежала ко мне и с ангельской улыбкой облобызала:

— Мы все тебя любим, Бланш!

Родители встретили трогательную сцену бурными аплодисментами. Я снова пожалела, что от безвкусицы не умирают.

Так или иначе, состоялось формальное примирение, и импровизированный праздник продолжился. К Богоявлению он имел весьма странное отношение. Мама, папа и я изображали трех олухов, явившихся на поклонение самозваной спасительнице. Евангельская история диковинным образом вывернулась наизнанку. Поскольку роль Христа играла Антихриста, то черным царем Бальтазаром, следуя этой логике, оказывалась я, Бланш.

Согласно христианской традиции, черный царь символизирует безграничность милосердия Христа. Это вполне подходило ко мне: Антихриста милостиво принимала поклонение Бланш, этого второсортного создания. Я должна бы рыдать от радости, видя такую снисходительность, а мне хотелось рыдать от смеха.

Зато Гаспар с Мельхиором... надо было видеть, с какой готовностью приносили они к ногам самозванки свои дары: золото пошлого умиления, мирру похвал и ладан восторгов.

В Евангелии от Иоанна сказано, что явление Антихриста будет предвестием конца света.

Что ж, вероятно, Апокалипсис не за горами.

Год начался ужасно и продолжался в том же ключе. Царство Антихристы все разрасталось. Она нигде не встречала препон: и дома, и в университете все и вся охотно признавали ее господство.

Мои же владения неуклонно сокращались. Христа изгнала меня даже из платяного шкафа: все мои вещи были вытеснены в ящик для носков — мой последний оплот.

Но территориальные претензии этого изверга рода человеческого шли еще дальше: раскладушка, убогое ложе, отведенное мне для ночного сна, была вечно завалена ворохом Антихристиных одежек.

Родителей между тем обуяла страсть принимать гостей. Они откапывали адреса знакомых, с которыми не встречались сто лет и которых теперь им загорелось пригласить на ужин. Гостей заманивали под любым предлогом, лишь бы иметь возможность продемонстрировать Христу.

Трижды в неделю наша квартира, еще недавно ласкавшая душу благословенной тишиной, наполнялась шумными толпами посторонних людей, перед которыми мои кровные отец с матерью на все лады расхваливали Антихристу.

Она же, скромно улыбаясь, разыгрывала роль молодой хозяйки: спрашивала каждого, что он будет пить, разносила закуски. Гости не сводили глаз с волшебного создания.

Иной раз кто-нибудь из замороченной компании случайно замечал меня и рассеянно спрашивал, кто еще такая эта вторая девица.

— Да это же Бланш! — досадливо отвечали мои родители.

Гости понятия не имели, кто такая Бланш, и не слишком об этом задумывались. Возможно, шестнадцать лет тому назад они и получили кар-

точку, извещавшую их о моем рождении, но тут же выкинули в мусорную корзинку.

Рекламируя Христу, родители делали рекламу самим себе, ставя себе в заслугу, что у них поселилась такая юная, прекрасная, обаятельная, неотразимая девушка. Они как бы говорили: "Раз она согласилась жить с нами, значит, мы того достойны!" Наш дом превратился в салон, еще бы — в нем теперь было кого показать.

Меня это мало трогало. Я отлично знала, что не отношусь к числу детей, которые составляют гордость своих родителей. И мне было бы плевать на такое положение вещей, если бы потом, у нас в комнате, Антихриста не бахвалилась передо мной с наглостью, переходящей все границы. Трудно было поверить, что такая ловкая особа может быть настолько бестактной.

"Ты заметила? Друзья твоих родителей от меня без ума", — говорила она.

Или:

"Гости думают, что хозяйская дочка я, а на тебя и не смотрят".

Я глотала все эти гадости молча.

Однако терпению моему пришел конец, когда однажды Христа выдала следующее:

— Твои родители весь вечер не закрывают рта! А мне и словечка не дают вставить. Они меня используют, чтобы привлечь к себе внимание!

Я онемела и лишь минуту спустя нашлась что сказать:

— Возмутительно! Ну ты скажи им, чтоб они помолчали.

— Не придуривайся, Бланш! Сама знаешь, я не могу этого сделать из вежливости. Но будь твои предки поделикатнее, они бы сами поняли, тебе не кажется?

Я не ответила.

Как у нее язык повернулся сказать мне такую гнусность? И как она не побоялась, что я расскажу маме или папе? Впрочем, они бы мне не поверили, и Христе это было известно.

Итак, Христа презирала своих благодетелей. Я могла бы догадаться об этом и раньше, но ничего не замечала, пока не услышала этих слов. Это открытие прорвало плотину, и моя ненависть выплеснулась наружу.

До сих пор я старалась подавить ее и даже испытывала некоторые угрызения совести. "Все, кроме меня, дружно обожали Христу, так, может, — думала я, — причина этой неприязни во мне самой? Меня гложет зависть, или я плохо разбираюсь в человеческих отношениях, а будь у меня побольше опыта в общении с людьми, меня бы, вероятно, не коробили ее манеры. Просто надо быть терпимее".

Но теперь сомнений не оставалось: Антихриста — редкостная дрянь!

Несмотря ни на что я любила родителей. Они хорошие люди, и привязанность к Христе только доказывала это. Пусть она не стоила их любви, пусть этому чувству сопутствовало множество человеческих слабостей, но все же это была настоящая любовь. А кто любит, тот спасен.

Христа же спасения не заслуживала. Любила ли она вообще хоть кого-нибудь? Обо мне не стоило и говорить. Долгое время я думала, что она любит моих родителей, но выяснилось, что это вранье. Оставался Детлеф, но, судя по тому, с какой легкостью она обходилась без него, великой страсти она к нему не питала. Толпа университетских приятелей,

которых она называла друзьями? Скорее всего, и они были нужны ей, лишь чтобы обеспечивать культ собственной личности.

Было только одно существо, которое она совершенно точно любила: это она сама. И выражала свою любовь весьма откровенно. Уму непостижимо, как она себя расхваливала, причем заводила эту тему некстати, без всякого повода. Например, однажды, когда никто и не думал беседовать о ботанике, она меня спросила:

– Тебе нравятся гортензии?

Я замешкалась от неожиданности, но, подумав и представив себе эти довольно приятные цветы, похожие на красующиеся посреди сада купальные шапочки, ответила:

– Да.

– Я так и знала! – возликовала Христа. – Грубые натуры всегда любят гортензии. А я вот их терпеть не могу! Мне нравится все изящное, утонченное, потому что я сама очень утонченная. У меня буквально аллергия на все неизящное. Из цветов я переношу только орхидеи и каменные розы... Да что я! Ты же наверняка никогда не слыхала о каменных розах!

– Почему же, слыхала...

– Да? Странно. Этот цветок не дается художникам, он как я. Если бы какой-нибудь художник захотел меня нарисовать, он бы тоже пришел в отчаяние – так трудно передать мою утонченность. Это мой любимый цветок.

Как же может быть иначе, драгоценная Христа, ты же у себя самая любименькая!

Такого нарочно не придумаешь. Чтоб кто-нибудь буквально сам себя забрасывал цветами! Кстати говоря, если она и похожа на какой-нибудь цветок, так это на нарцисс, символ самолюбования.

Каждый раз, когда Христа произносила эти монологи – по сути, к ним сводился каждый разговор, – я еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Она же была абсолютно серьезна – ни тени шутки, ни намека на иронию. Какие шутки, когда речь идет о самом сокровенном, о предмете благоговейной страсти, нежной любви – о мадемуазель Христе Билдунг.

В начале знакомства все это казалось мне смешным и не больше. Я еще верила, что наша барышня хоть кого-то на свете любит. А если человек способен любить других, то в нарциссизме нет особого греха. Но теперь я увидела, что область любви для Антихристы ограничена зеркалом, ее любовь подобна стреле, которую стрелок пускает в самого себя. Стрелия, дальность полета, – меньше нéкуда. Как можно жить на таком пятачке?

Но это уж Христина забота. У меня была другая – открыть глаза родителям. Затронута их честь: раз у Христы хватает совести говорить о них такие гадости при мне, то как она распоясывается, когда меня рядом нет? Допустить, чтобы мама и папа расточали внимание и ласку девчонке, которая их ни в грош не ставит, я не могла.

В феврале нас на неделю распустили, и Христа поехала домой "попользоваться снежком" – выражение вполне в ее духе, даже из снега ей нужно было извлечь пользу.

Случай был подходящий, я решила действовать.

Как только Христа уехала, я сказала родителям, что иду на весь следующий день заниматься к друзьям и вернусь только к вечеру, а сама с утра пораньше отправилась на вокзал и купила билет до Мальмеди.

Христиного адреса у меня не было. Но я собиралась отыскать бар, в котором она работала вместе с Детлефом. Уж наверное, в городке с десятком тысяч жителей баров не так уж много. Я захватила с собой одноразовый фотоаппарат.

Чем ближе подъезжал поезд к восточным кантонам, тем больше меня лихорадило. Это путешествие было для меня грандиозным, почти метафизическим событием. Впервые в жизни я по собственному почину отправлялась так далеко, в незнакомое место. Зачарованно разглядывая билет, я вдруг заметила, что последние буквы в слове "Мальмеди" отпечатались бледнее, первые же складывались в зловещее "Маль". Пусть доморощенные психоаналитики думают что хотят, но я не могла не увидеть в этом "Маль" корень латинского слова "малум", зло. Я ехала в город зла.

Никакого удовольствия то, что я задумала, мне не доставляло. Но сделать это было необходимо. Положение стало просто нестерпимым, пора было навести хоть какие-то справки об Антихристе.

Мальмеди не Брюссель – тут лежал снег. С пьянящей легкостью в душе я пошла от вокзала по городу куда глаза глядят.

Из метафизической моя экспедиция становилась эксцентрической. Я заходила во все питейные заведения, которые попадались мне на пути, подходила к стойке и важно осведомлялась:

– Детлеф не здесь работает?

И каждый раз на меня удивленно таращились и отвечали, что даже имени такого никогда не слыхали.

Сначала меня это даже обнадеживало. Если имя такое редкое, тем больше шансов безошибочно найти его обладателя. Но, протаскавшись по забегаловкам часа два, я приуныла: может, никакого Детлефа и вовсе нету? Может, Христа его выдумала?

Я вспомнила, как мама пыталась узнать телефон Билдунгов по справочной, – ей ответили, что в этом районе таких абонентов не значится. Мы тогда решили, что у них просто нет телефона, по бедности.

А что если Христа и фамилию свою тоже выдумала?

Нет, этого не могло быть! При поступлении в университет надо ведь предъявлять удостоверение личности, аттестат. Ее фамилия Билдунг, это точно. Если, конечно, она не подделала документы.

Постепенно снег на улочках типично немецкого городка превращался в черную грязь. Я уже не понимала, зачем меня сюда понесло. Мне было холодно, я чувствовала себя отброшенной за сотни световых лет от дома.

Одна улица, другая... Я совалась во все бары, кафе и т. п. Их оказалось куда больше, чем я думала. Наверно, у людей, живущих в местечке с таким зловещим названием, часто возникает потребность как-то развеяться.

Вот еще одна забегаловка. На двери табличка: "Открывается в 17 часов". Слишком долго ждать, это меня не устраивало. Уж больно захудалый вид, вряд ли это то, что я ищу. Все же для очистки совести я решила зайти.

Нажала на звонок. Тишина. Но я не отпускала кнопку и наконец вызвонила какого-то упитанного белобрысого парнишку, похожего на гладенького подсвинка.

– Простите, я ищу Детлефа.

– Это я.

Я еле устояла на ногах.

– Вы – Детлеф? Вы уверены?

– Вполне!

– А Христа здесь?

– Нет, она у себя.

Значит, правда он. Просто смех! Мне стоило большого труда сохранить серьезный вид.

– Вы не могли бы дать мне ее адрес? Я ее подруга, хочу к ней зайти.

Ничего не подозревая, юный свин принес клочок бумажки. Пока он записывал на нем адрес, я достала аппарат и несколько раз щелкнула эту легендарную личность. Да, этакого Дэвида Боуи из восточных кантонов стоило поискать! Он так же похож на знаменитого певца с разноцветными глазами, как я на Спящую Красавицу.

– Вы меня фотографируете? – удивился он.

– Хочу сделать сюрприз Христе.

Добродушно улыбаясь, он протянул мне листок. Довольно приятный тип. Я шла и думала, что он-то Христу, конечно, любит. А вот она его... если она так про него наврала, значит, она его стыдится, значит, не любит. Будь у него внешность получше, Антихриста использовала бы его, чтобы поднять свой престиж. Но поскольку он вот такой, толстый и неказистый, она сочла за лучшее не демонстрировать его, а вместо этого наплела с три короба. Жалкая игра.

Оказывается, Христа жила в самом Мальмеди. Полное метафизическое соответствие: она и должна была жить в таком буквально зловещем месте.

Ну а очередное вранье, будто она живет в деревне, что ж, одно к одному: видно, старалась запутать следы.

Интересно, что она скрывала? Какой смысл выдумывать такую ерунду? Чем ближе я подходила к ее кварталу, тем сильнее сгорала от любопытства. А когда нашла дом, не поверила своим глазам. Если бы на почтовом ящике не стояло имя Билдунг, я бы решила, что ошиблась. Передо мной был роскошный особняк XIX века, настоящее родовое гнездо какого-нибудь буржуазного семейства из романов Бернаноса.

Теперь ясно, почему в справочнике не указан телефон владельцев этой махины: они наверняка занесены в красный список. Такие люди не любят, чтобы их беспокоила разная мелкая сошка.

Я позвонила. Дверь открыла какая-то женщина в фартуке.

– Вы мать Христы? – спросила я.

– Нет, я приходящая прислуга, – ответила она, несколько опешив.

– А доктор Билдунг дома? – наобум продолжала я.

– Он не доктор, а директор заводов Билдунга. А вы кто?

– Я подруга Христы.

– Так вы хотите видеть мадемуазель Христу?

– Нет-нет! Я готовлю ей сюрприз.

Если бы я выглядела повзрослее, она бы, наверное, вызвала полицию.

Дождавшись, пока дверь закроется, я украдкой сделала несколько снимков фасада.

Потом зашла в один из тех баров, которые успела обойти, и сказала, что мне надо позвонить. Около телефона взяла справочник и в желтых страницах нашла: "Заводы Билдунга: фосфаты, химикаты, удобрения". Одним словом, процветающий отравитель окружающей среды. Я переписала все эти сведения, включая перечень и местонахождение заводов.

Почему маме сказали в справочной, что в этом районе нет никого по имени Билдунг? Может, заводы Билдунга здесь так знамениты, что само слово перестало восприниматься как фамилия живого человека и превратилось в марку фирмы, как Мишлен в Клермон-Ферране?

Больше мне было нечего делать в этом городе зла, и я села в брюссельский поезд. День прошел не зря. За окном вагона валил снег.

Через два дня снимки были готовы.

Мне было как-то стыдно выкладывать родителям всю правду. Противно быть ищейкой, и я никогда не стала бы уличать Христу во лжи — не всякий обман достоин порицания, — если бы это не было единственным средством помешать ей подмять под себя нас всех.

Я позвала маму с папой в свою — бывшую! — комнату, все им рассказала и показала фотографии внушительного дома Билдунгов.

— Ты что, частный сыщик? — презрительно сказал папа.

Я заранее знала, что окажусь виноватой.

— Я бы и не подумала копаться в Христиных делах, но она распускает о вас гнусные сплетни.

Мама была потрясена.

— Это просто ее однофамилица, — сказала она. — Тоже Христа Билдунг, но другая.

— У которой есть дружок Детлеф, но другой? — ответила я. — Какое совпадение!

— Возможно, у нее есть свои причины, чтобы скрывать правду, — предположил папа.

— Какие же? — спросила я, почти восхищаясь про себя его стремлению оправдать Христу.

— Надо спросить у нее.

— Чтобы она опять наврала?

— Больше она не будет лгать.

— Врала-врала и вдруг перестанет, с чего бы это?

— Мы ее поставим перед фактом.

— И это, по-вашему, на нее так подействует? А по-моему, наоборот, она еще чего-нибудь наврет.

— Может, у нее своеобразный комплекс, — рассуждал папа. — У богатых людей это тоже бывает. Мы не выбираем свое происхождение. Наверное, она его стесняется. И вообще, это не такая страшная ложь.

— Тогда как же Детлеф? — возразила я. — Концы с концами не сходятся. Вот уж кто был бы при таком раскладе в самый раз: простой парень, симпатяга, уж он-то точно не из буржуазной среды. Если у нее такой комплекс, как ты говоришь, зачем ей надо было что-то про него придумывать? Сочинять этакого прекрасного, благородного и загадочного рыцаря? Нет, прибедняться из чистой скромности — на Христу это не похоже.

Я показала им фотографию Детлефа. Папа разглядывал ее с кривой усмешкой. А мама, взглянув на физиономию Детлефа, с отвращением вскрикнула и громко возмутилась:

— Зачем же она нас обманывала?

Так, одну союзницу Христа потеряла. Но, значит, в маминых глазах выбрать себе в дружки парня с поросячьим рылом — гораздо хуже со стороны Христы, чем петь песни о своем пролетарском происхождении, чтобы нас разжалобить!

— Ну, россказни про Детлефа — просто смешные детские фокусы. А что касается остального, Христа, может быть, не так уж и солгала. Вполне вероятно, что она сама зарабатывает на учебу, чтобы ни в чем не зависеть от своего отца-фабриканта. Доказательство тому — что ее избранник не из буржуазного круга.

— Но живет-то она у родителей, — сказала я.

— Ей всего шестнадцать лет. Может, она привязана к матери, к братьям и сестрам.

— А что, если не гадать и не выдумывать романтические истории, а взять и позвонить ее отцу?

По папиному молчанию мама поняла, что ему эта идея не по душе.

— Если ты не позвонишь, я позвоню сама! — сказала она.

Когда месье Билдунг подошел к телефону на другом конце провода, папа включил громкую связь.

— Вы тот самый месье Дрот, отец Бланш, — проговорил ледяной голос. — Понятно.

Что ему понятно? Во всяком случае, он знает о нашем существовании. Учитывая пристрастие его дочери врать всем и обо всем, я этому удивилась.

— Простите, что тревожу вас на работе, — бормотал, умирая от неловкости, папа.

Они обменялись парой вежливых фраз, а затем фабрикант Билдунг резко сказал:

— Послушайте, месье Дрот, я, конечно, рад, что моя дочь устроилась у вас, в семейной обстановке. В наше время это гораздо спокойнее, чем знать, что она живет одна и предоставлена самой себе. Но я все же считаю, что вы несколько злоупотребляете сложившейся ситуацией. Вы заломили дикую плату! Любой другой отказался бы снимать за такие деньги раскладушку в комнате прислуги. Да и я согласился только потому, что дочь очень просила. Вы же знаете, она обожает Бланш. Я понимаю: вы учитель, а я крупный предприниматель. Но все имеет предел, и, пользуясь случаем, заявляю вам, что прибавку, которую вы запросили после Рождества, я платить не собираюсь! Всего хорошего.

Он бросил трубку.

Отец побелел. Мама расхохоталась. А я не знала, ужасаться или смеяться.

— Представляете, сколько она огребла денег благодаря нам? — спросила я.

— Может, они ей очень нужны для какой-то неизвестной нам цели? — робко сказал папа.

— Ты и сейчас ее защищаешь? — возмутилась я.

— После унижения, которое ты вытерпел по ее милости? — прибавила мама.

– Мы не владеем всей информацией, – упрямо сказал папа. – А вдруг Христа переводит эти деньги какому-нибудь благотворительному обществу?

– А то, что она тебя выставляет этаким Тенардье, тебе все равно?

– И все же не надо торопиться осуждать девочку. Да, мы теперь знаем, что у нее был выбор. Она могла жить, где захочет. И предпочла жить у нас, в нашем скромном доме. Значит, зачем-то мы ей нужны? Может это крик о помощи.

Ну, в этом я сильно сомневалась. Однако сам вопрос вполне резонный: почему Христа выбрала наш семейный мирок? Вряд ли главной причиной были легкие деньги.

Родители повели себя очень достойно. Над ними жестоко посмеялись, их это, конечно, оскорбило, но не озлобило. Меньше всего их волновал вопрос денег – об этом даже не заговаривали. Маму почему-то особенно задела внешность Детлефа. А папа был столь великодушен, что он попытался понять, что двигало Христой.

И лишь одно умеряло мое восхищение родителями: я понимала, что, будь на месте Христы я, мне бы снисходительности не видать. Такой у них был принцип: для себя, то есть для них самих и для меня, – только одни обязанности, а для других – одни права и даже оправдания. Если Христа поступила дурно, они будут искать объяснение, неизвестную причину, смягчающие обстоятельства. А случись провиниться мне, я получу порядочную взбучку. Обидно!

Оставалось ждать возвращения блудного дитяти.

Мы больше не говорили о Христе. Ее имя стало табу. По молчаливому соглашению, ничего не обсуждалось, пока ее нет и она не может за себя заступиться.

Знала ли Христа, что произошло? У меня не было такой уверенности. Детлеф и прислуга, скорее всего, не проболтаются, чтобы не испортить мой сюрприз. А месье Билдунг не станет пересказывать неприятный разговор, чтобы не расстраивать дочь.

Отец прав: в этой истории было много темных мест. И важнее всего было выяснить, какую роль обманщица отводила нам.

Мне еще страшно хотелось разгадать тайну Детлефа: почему особа с такими запросами и претензиями, как Христа, выбрала именно его? В ее распоряжении была уйма завидных поклонников, а она предпочла этого толстячка. Правда, по-своему он был симпатяга, но, насколько я знала Христу, она это качество ни в грош не ставила. Я терялась в догадках.

Блудная дочь прибыла в воскресенье вечером. Я с первого взгляда поняла, что она ничего не знает. И когда она, по своему обыкновению, бросилась с нами обниматься, меня обожгло стыдом.

Тучного тельца родители не закололи. Но стол был накрыт, и все сели ужинать.

– Христа, мы звонили твоему отцу. Зачем ты нас обманывала? – в лоб спросил папа.

Христа напряглась и не произнесла ни слова.

– Зачем рассказывала нам сказки? – мягко, но настойчиво повторил он.

– Вы хотите денег? – презрительно бросила Христа.

– Мы хотим узнать правду.

– По-моему, вы ее уже знаете. Чего же вам еще?

– Мы хотим знать, почему ты нам лгала, – терпеливо сказал папа.

– Из-за денег, – вызывающе ответила она.

– Неправда, деньги ты легко могла получить и без этого. Так почему же?

Кажется, Христа решила корчить из себя маркизу д'О[1], но у нее это выходило довольно жалко. С видом оскорбленного величия она сказала:

– Я вам верила! А вы, вы за мной шпионили – какая низость!

– Не передергивай!

– Кого любишь, тому доверяешь до конца!

– Вот именно. Поэтому мы и хотим знать, почему ты лгала.

– Ничего вы не понимаете! – взвилась Христа. – Доверять до конца – значит совсем наоборот, не требовать объяснений.

– Очень хорошо, что ты читала Клейста. Но мы не такие возвышенные натуры, как ты, поэтому нуждаемся в информации.

Никогда не думала, что мой отец может быть таким хладнокровным.

– Это несправедливо! Вас трое, а я одна! – воскликнула бедная мученица.

– Я такое каждый день терплю, с тех пор как ты тут поселилась! – не утерпела я.

– И ты туда же! – трагически сказала Христа, как Цезарь Бруту в мартовские иды. – Ты, которая мне всем обязана! А я-то считала тебя подругой.

Удивительнее всего был ее искренний тон. Казалось, она совершенно убеждена в своей правоте. Опровергнуть весь этот абсурд было нетрудно, но я решила предоставить ей увязнуть еще глубже и не раскрывала рта, сначала потому, что мое молчание ее раззадоривало, а потом потому, что наслаждаться тем, как она тонет, было приятнее в тишине.

– Если ты не можешь объяснить, почему лжешь, – спокойно сказал папа, – может быть, у тебя мифомания? Это довольно распространенная болезнь, когда человек патологически врет. Вранье ради вранья...

– Ерунда! – заорала Христа.

Меня поразило, как неуклюже она обороняется. Не видит, что ли, легкого пути? Уперлась и огрызается – глупее не придумаешь. Отец так привязался к ней, что принял бы любую, даже самую неправдоподобную версию. А она зачем-то безжалостно сжигала свои корабли.

Мама с самого начала разговора не произнесла ни слова. Я достаточно знала ее, чтобы понять, что с ней происходит: глядя на Христу, она видела теперь толстомордого Детлефа. Поэтому брезгливо молчала.

Наконец, в последнем приступе ярости, Христа выкрикнула нам в лицо:

– Эх вы, идиоты несчастные, вы меня не достойны! Я ухожу! Кто меня любит, пусть идет за мной!

И ринулась в мою комнату. Но за ней никто не пошел.

Через полчаса она вышла со своими пожитками. Мы все это время просидели неподвижно.

– Вы еще пожалеете! – отчеканила она и вышла, громко хлопнув дверью.

1. Маркиза д'О – героиня одноименной новеллы Г. фон Клейста.

Приговор главы семьи остался прежним: воздерживаться от оценок.

– Христа ничего не объяснила, – сказал он. – Не зная всего, нельзя ее осуждать. Раз мы не понимаем, что заставило ее так себя вести, не будем дурно о ней говорить.

С тех пор о Христе никто у нас в семье не упоминал.

Мы с ней продолжали видеться в университете, но я ее гордо игнорировала.

Однажды, убедившись, что нас никто не видит, она подошла ко мне и сказала:

– Детлеф и прислуга мне все рассказали. Это ты все разнюхала.

Я холодно посмотрела на нее и не ответила.

– Ты меня обокрала! – продолжала она. – Влезла в мою личную жизнь! Это насилие, понимаешь?

Опять это ее "понимаешь?".

И это она говорит о насилии, та самая Христа, которая силком заставила меня раздеться и издевалась, разглядывая меня голой?

Я молчала и только улыбалась.

– Так что ж ты всем до сих пор не раструбила? – не унималась Христа. – Представляю, как тебе будет приятно обливать меня грязью перед моими родными и друзьями!

– Я – не ты, Христа, у меня таких привычек нет.

Казалось бы, такой ответ должен был ее успокоить – она, конечно, жутко боялась, что я расскажу всю правду ее отцу или всей ее компании. Но ничего подобного: теперь, когда она была уверена, что я до такого не опущусь, сознание моего превосходства приводило ее в ярость.

– Ох-ох, принцесса крови! – сказала она с кривой усмешкой. – А кто устроил за мной подлую слежку? Как же надо было хотеть мне нагадить, чтобы докатиться до такого?!

– Зачем мне нужно гадить тебе, когда ты сама себе умеешь нагадить лучше всех, – равнодушно сказала я.

– Вы там у себя небось только и делаете, что косточки мне перемываете. Ладно, хоть есть чем заняться!

– Представь себе, мы о тебе вообще никогда не говорим.

С этими словами я повернулась и пошла, упиваясь своей победой.

Прошло несколько дней, и папа получил письмо от Билдунга, в котором говорилось:

Вы позволили себе бесстыдно шантажировать мою дочь. Христа правильно сделала, что покинула ваш дом. Радуйтесь, что я не пожаловался в полицию.

– Она из кожи вон лезет, чтобы добиться от нас хоть какой-то реакции, – сказал папа, прочитав нам вслух это послание. – Что ж, я так никогда и не узнаю, в чем состоял мой шантаж.

– Ты не хочешь позвонить ее отцу и рассказать всю правду? – мама пылала негодованием.

– Нет. Именно на это Христа напрашивается.

– Но зачем? Ей же хуже будет.

– Вот именно, она и хочет, чтоб ей было плохо. А я не хочу.

– А что она такой поклеп на тебя возводит, тебя не волнует?

– Нисколько. Я-то знаю, что мне не в чем себя упрекнуть.

Мне стало казаться, что ребята из компании Христы смотрят на меня как-то особенно злобно. Сначала я списывала это на свою паранойю.

Но однажды утром ко мне подошел ее лучший приятель и плюнул в лицо. Тогда я поняла, что мания преследования тут ни при чем. Первым моим побуждением было удержать его и спросить, чем я заслужила плевок.

Но тут я поймала на себе насмешливый взгляд Христы — она ждала моей реакции. Раз так, я сделала безучастный вид и притворилась, будто не вижу ее.

Инсинуации не прекращались. Маме пришло письмо от мадам Билдунг:

Моя дочь Христа сказала мне, что вы заставили ее раздеться догола. Очень жаль, что такой безнравственной особе доверено воспитание детей!

Я же удостоилась ругательного послания от Детлефа. Он сулил мне, что я умру старой девой, потому что на такую страхолюдину, как я, никто не польстится. Это особенно пикантно звучало в устах такого аполлона, как он.

Мы научились даже извлекать некоторое удовольствие из собственной невозмутимости под градом этих мерзостей. Без комментариев, с легкой усмешкой передавали мы друг другу очередную корреспонденцию из восточных кантонов.

Да, о Христе перестали говорить, но перестать думать о ней я не могла. Я считала, что изучила ее намного лучше, чем отец, и потому имею право вынести суждение. Вот к каким выводам я пришла: я знаю то, чего никто не знает, она зовется Антихристой. И она выбрала своей мишенью нас, поскольку в этом испорченном мире мы менее других заражены злом. Она явилась, чтобы подчинить и нас своей власти, но это ей не удалось. Как ей смириться с поражением! Она готова погубить себя, лишь бы и мы погибли с нею вместе. Вот почему ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации.

Бездействие требует гораздо больше сил, чем бурная деятельность. Не знаю, что Христа наговорила всем на курсе, но, судя по тому, с какой брезгливостью от меня отворачивались, видимо, приписала мне какие-то умопомрачительные грехи.

Все были возмущены до предела, даже Сабина однажды высказалась:

— Подумать только, ты ведь и меня хотела подцепить! Какая гадость!

Сардинка отплыла, подрагивая плавниками, а я глядела ей вслед и думала, какой смысл могла она вложить в глагол "подцепить".

Ловкость Христы в том и заключалась, чтобы держать жертвы в неведении. Ни я, ни мои родители не имели ни малейшего понятия о том, в чем же нас обвиняют, и строили самые худшие предположения.

Те, кто казнил нас презрением в университете или где-нибудь еще, не подозревали, что мы не только ни в чем не повинны, но и не знаем, что нам инкриминируется, они невольно участвовали в циничном фарсе. Смысл его состоял в том, чтобы заставить нас по-настоящему стыдиться преступлений, которых мы не совершали и о тяжести которых могли лишь гадать. Что это: воровство? изнасилование? убийство? некрофилия? И все затем, чтобы вынудить нас потребовать объяснений.

Мы держались стойко. Это было нелегко, особенно мне — ведь я нигде, кроме университета, не бывала. Надо же быть такой невезучей: единственный раз за шестнадцать лет жизни у меня появилась подруга, и это обернулось такими страшными испытаниями. А конец несчастьям, как говорило мне предчувствие, еще не настал.

Как низко может опуститься Христа? Этот вопрос не давал мне спать по ночам.

Я разделяла убеждение отца, что делать ничего не надо. Вернее, спасением могла бы стать какая-то чрезвычайная мера, но только не на уровне разговоров. Заговорить значило подать сигнал к атаке. Пока я молчала, меня было не схватить, как кусок мыла: клевета с меня соскальзывала.

Однако Антихристу наше бездействие не разоружало. Упорство ее не знало границ. Надо было срочно придумать некое экстраординарное средство. Но мне ничего не приходило в голову.

Если бы я хоть до конца понимала свою соперницу! Я же только смутно догадывалась о ее намерениях. И все еще не знала главного: зачем ей понадобилось врать. Ведь ей с ее обаянием ничего не стоило завоевать нас без всяких россказней. А она громоздила одну ложь на другую.

Может быть, она была до такой степени не уверена в себе? Думала, что не может понравиться такой, как она есть на самом деле, и сочиняла для себя другой образ, ложный от начала до конца? Ее можно было бы даже пожалеть, если бы не постоянная злонамеренность. В конце концов, я не страдаю фанатичной страстью к истине, и все мифоманские Христины бредни могли бы показаться мне забавными, будь они невинными. Ну, например, разве это ни трогательно, когда она расписывала Детлефа киногероем? Врала бы себе на здоровье, но ведь ее целью было унизить, раздавить меня. Ей непременно нужно было во всем мериться силами и одерживать верх, в том-то все и дело.

Мне же отношения, построенные на господстве и подчинении, всегда были глубоко противны. Может, потому у меня и не было друзей и подруг. Слишком уж я насмотрелась в лицее да и везде вокруг на то, как под благородным именем дружбы скрываются порабощение, систематическое унижение, дворцовые перевороты, пресмыкательство и даже травля.

Мне дружба представлялась чистой и высокой, такой, как союз Ореста и Пилата, Ахилла и Патрокла, Монтеня и Ла Боэси — "потому что это был он, потому что это был я"[1], — на меньшее я была не согласна. Не нужно мне дружбы, в которой есть хоть намек на соперничество, подлость, зависть, хоть самое маленькое пятнышко.

С чего я вообразила, что такое чувство — "потому что это она, потому что это я" — могло связать нас с Христой? Что во мне предрасполагало к тому, чтобы она завладела моей душой как покоренной страной? Мне было стыдно за то, как легко она меня заморочила.

Но к стыду примешивался оттенок гордости. Да, меня обманули, но только потому, что на какое-то, пусть краткое, время я полюбила. Мое дело любовь, а не ненависть, — говорит Антигона у Софокла. Лучше не скажешь.

1. Цитата из "Опытов" Мишеля Монтеня (кн. 1, гл. 28 "О дружбе"). Приведенные слова — ответ на вопрос, почему он любил своего друга Этьена де Ла Боэси.

Клеветническая кампания Христы разворачивалась вовсю, от меня все отвернулись. Меня иной раз разбирал смех при мысли о том, в каких жутких красках она, должно быть, описала чудовищные нравы семьи — нет, секты! — Дрот.

Нежданно-негаданно я превратилась в важную персону. Стоило мне появиться, как на меня устремлялись все взоры — на меня, неприметную песчинку с соцфака.

— А ну исчезни, ты, извращенка! — крикнул мне как-то раз один парень с нашего курса.

Но "извращенка" не исчезала. Бедным студентам приходилось терпеть ее мерзостное соседство. Изредка во мне просыпалось чувство юмора, я по-людоедски вращала глазами, что всегда производило должный эффект. Но чаще такая обстановка меня страшно угнетала.

Зато — поистине нет худа без добра! — я снова стала хозяйкой в своей комнате и могла наслаждаться чтением. Столько, сколько тогда, я, кажется, в жизни своей не читала, буквально проглатывала книги одну за другой. Отчасти чтобы наверстать упущенное, отчасти чтобы пережить трудное время. Напрасно думают, что чтение — это бегство от жизни, наоборот, это встреча с квинтэссенцией реальности, и, как ни странно, концентрат оказывается не так страшен, как жиденький раствор будней.

Я каждый день хлебала горькую микстуру, и тяжелее всего в этих испытаниях было то, что не получалось схватиться со злом врукопашную. Драгоценную поддержку я нашла в Бернаносе, которого как раз тогда для себя открыла: ничего случайного в том, что мы читаем, нет, это еще одно расхожее заблуждение.

В "Обмане" мне попалась такая фраза: "Посредственность — это равнодушие к добру и злу". Вот оно что!

В то утро я опаздывала и влетела в аудиторию запыхавшись. Но преподаватель еще не пришел, вместо него за кафедрой стояла Христа и о чем-то разглагольствовала.

Я поднялась на самый верх, села на свое обычное место. И тут заметила, что в зале повисла тишина — Христа замолкла, как только я вошла.

Все студенты смотрели на меня, и я поняла, каков был предмет ее обличений. Остаться равнодушной к такому беззастенчивому натиску я не могла.

Все произошло само собой. Я не раздумывая встала и спустилась обратно вниз. Уверенно, заранее смеясь про себя тому, что должно было произойти, я подошла к Христе.

Она довольно улыбалась и ждала, что я наконец сделаю то, чего она так долго добивалась: начну обороняться, кричать на нее, может даже ударю. И это будет ее триумфом.

Я же обхватила ладонями ее лицо и прижалась губами к ее губам. Жалкие уроки Рено, Алена, Марка, Пьера, Тьерри, Дидье, Мигеля и прочих пошли впрок, на помощь им пришло внезапное озарение инстинкта, и я блистательно исполнила самый нелепый, самый никчемный, самый бестолковый и самый прекрасный трюк из всех, какие только изобрело человечество, — смачный кинематографический поцелуй.

Ни малейшего сопротивления не последовало. Правда, я застигла врага врасплох, а внезапность — залог успеха.

Изложив свои аргументы самым наглядным образом, я оттолкнула Христу. Полная победа. Я повернулась лицом к сборищу разинувших рты дегенератов и звонким голосом спросила:

— Еще желающие есть?

Стрелия этого жеста превзошла все ожидания. Мне ничего не стоило бы метнуть разом сотню дротиков и сразить наповал всю орду. Но, по безграничному своему милосердию, я лишь обвела неприятельские ряды разящим, как меч, победным взглядом, рубанула походя по самым гнусным рожам и покинула зал, оставив поверженного врага грызть землю.

Это было перед самой Пасхой.

Христа уехала на каникулы к своим. А я с удовольствием представляла ее себе в Мальмеди пригвожденной к кресту — фантазия на пасхальные мотивы. Гнусных писем ни я, ни родители больше не получали.

Через две недели снова начались занятия. Но Христа в университет не вернулась. И никто меня о ней не спросил. Как будто и не было никогда никакой Христы.

Мне все еще было шестнадцать лет, я все еще не стала женщиной, но отношение ко мне радикально переменилось. Во мне уважали бесспорного чемпиона по лобзаниям.

Настало лето. Июньскую сессию я завалила: голова была занята другим. Родители уехали отдыхать, а меня предупредили, что, если экзамены не будут пересданы в сентябре, ничего хорошего меня не ждет.

Я сидела дома. Раньше мне еще никогда не приходилось так долго жить одной, и я вошла во вкус; если бы не осточертевшая зубрежка, то я бы сказала, что лучше таких каникул не придумаешь.

Странное это было лето. В Брюсселе стояла неправдоподобная, тропическая жара, я наглухо закрывала все ставни и сидела в тишине и темноте. Как спаржа в теплице.

Очень скоро я приучилась видеть в полумраке и никогда не зажигала лампу — мне хватало тусклого света, процеженного сквозь жалюзи.

О смене дня и ночи можно было судить только по тому, как прибывало или убывало это скудное освещение. На улицу я не выходила, потому что зачем-то дала сама себе зарок продержаться все два месяца затворничества на домашнем запасе продовольствия. И без свежих продуктов становилась еще худосочнее.

Все, что я учила, было мне совершенно неинтересно. Я собиралась сдать экзамены, только чтобы доказать, что могу, а потом уйти из университета и попробовать себя в чем-то другом. Я примерялась к самым разным профессиям: гробовщика, лозоходца, торговца старинным оружием, цветочницы, художника по надгробиям, учителя стрельбы из лука, печника, мастерицы по ремонту зонтиков, штатной утешительницы, камеристки, продавца индульгенций.

Телефон молчал. Да и кто бы мог мне позвонить, кроме родителей? А они любовались живописными речными берегами, фотографировали шотландцев в кильтах, смотрели на сорок веков с вершин пирамид, наслаждались папуасскими кушаньями из мяса последних каннибалов — в общем, развлекались по полной программе.

Тринадцатого августа мне исполнилось семнадцать лет. Телефон не звонил и в тот день. Ничего удивительного: летние дни рождения никогда не отмечаются.

Я и сама осталась равнодушной к этой незначительной дате и с утра, вместо того чтобы работать, впала в прострацию, то есть вроде бы листала учебник политэкономии, а на самом деле мои мысли засасывало в какую-то черную дыру.

Так прошло полдня, и вдруг я почувствовала острое желание увидеть человеческое тело. В пределах моей досягаемости было только одно.

Я встала, лунатическим шагом дошла до шкафа и открыла дверцу, с внутренней стороны которой было большое зеркало. В нем отразилось что-то длинное, спаржеобразное, одетое в широкую белую рубашку.

Тела как такового видно не было, я сняла рубашку и посмотрела еще раз.

Чуда не случилось. Обнаженная в зеркале не внушала никакой любви. Что ж, мне не привыкать, я никогда себя и не любила. И потом, неизвестно, может, когда-нибудь все еще изменится. Впереди много времени.

Вдруг у меня на глазах в зеркале стали происходить ужасающие вещи.

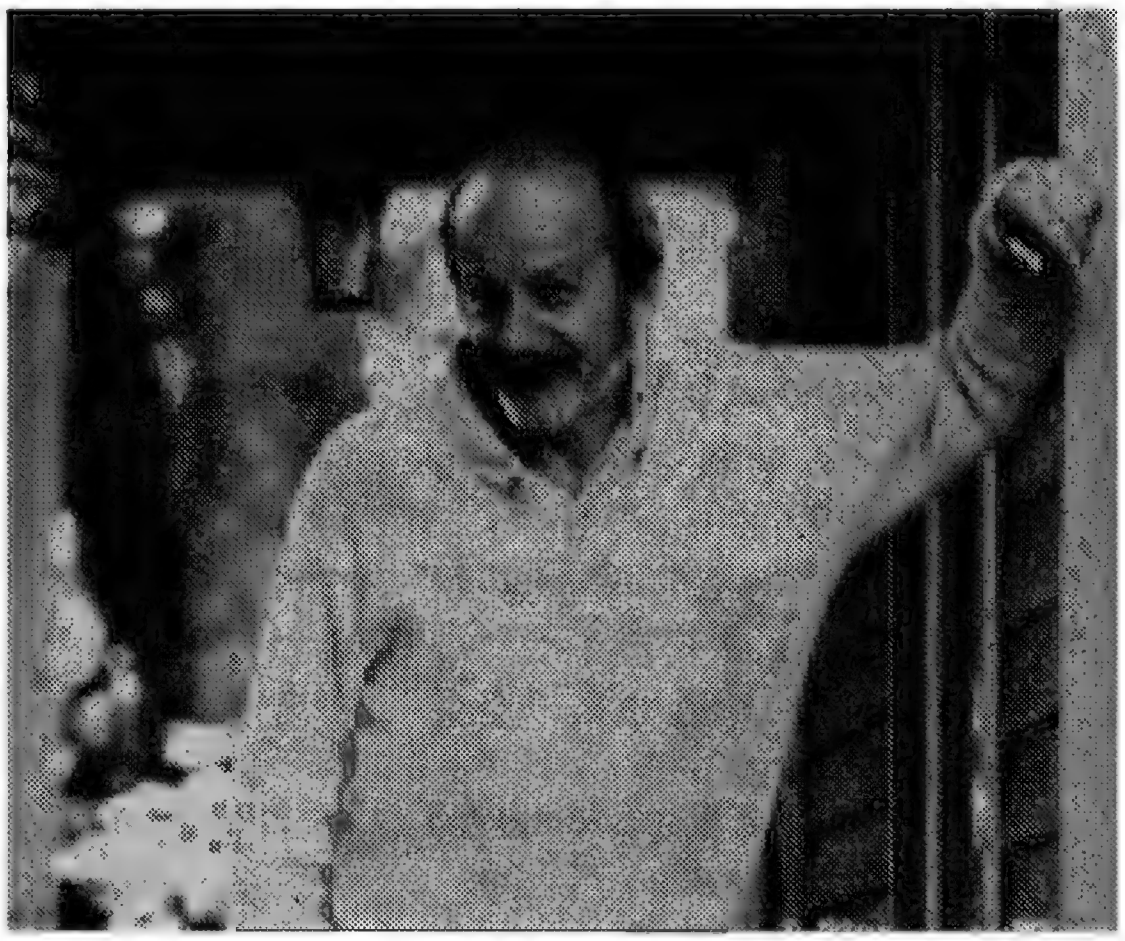
Прошлое овладело настоящим.

Я увидела, как мои руки сначала раскинулись в стороны, точно на распятии, потом согнулись, ладони тесно прижались одна к другой, будто кто-то насильно сложил их в молитвенном жесте.

Потом сцепились пальцы, напряглись, как натянутый лук, плечи, выпятилась от усилия грудь. Мое тело больше мне не принадлежало, посрамленное, оно выполняло гимнастические упражнения, которые велела делать Антихриста.

Так свершилась воля ее, а не моя. Аминь.

Э. Л. Доктороу



Дом на равнине

Рассказ

Перевод с английского Ольги Федосеевой

МАМА сказала, что отныне я стану ее племянником и должен называть ее тетя Дора. Она сказала, что богатство вряд ли на нас свалится, если у нее восемнадцатилетний сын, который выглядит на все двадцать. Скажи "тетя Дора", попросила она. Я сказал. Ей не понравилось. Она заставила меня повторить еще несколько раз. Она говорила, что в эти слова я должен вкладывать всю свою признательность ей за то, что она взяла меня после смерти своего овдовевшего брата Хораса. Я не знал, что у тебя есть брат Хорас, сказал я. Ну конечно, нет у меня никакого брата, сказала она, хитро взглянув на меня. Но мы сможем состряпать недурную историю, главное теперь, чтобы сын покойного в нее поверил.

Я не обиделся, а смотрел на маму, пока она прихорашивалась перед зеркалом, поправляя волосы, как это делают все женщины — хотя никаких изменений в прическе после этого обычно не происходит.

На деньги со страховки она купила ферму в пятидесяти милях к западу от города. Кому там какое дело, родной я ей сын или нет? Но у нее были свои, далеко идущие планы. А у меня не было никаких планов, я вообще никогда ничего не планировал: так, иногда мелькнет что-то — а что именно, я и сам не знал. Согнувшись под тяжестью чемодана, привязанного веревкой к спине, я спустился вниз. На улице, у крыльца, с ободранными коленками и сползшими до щиколоток гольфами стояли соседские ребятишки. Они пели детскую песенку, вставляя в нее неприличные словечки. Я шуганул их, и они с гиканьем и хохотом бро-

© 2001 by E. L. Doctorow
© О. Федосеева. Перевод, 2004

сились врассыпную, но потом, конечно же, вернулись, стоило мне только снова подняться наверх за остальными вещами.

Мама стояла у окна, с которого уже успели снять занавески. Здесь, сказала она, мы с одной стороны под неустанным надзором следователей, а с другой — под неусыпным надзором соседей. А за городом некому будет делать поспешные выводы. Можно не запирать дверь и не задергивать шторы. За городом все будет гладко и безупречно.

Что ж, я мог это понять, но все равно единственным местом, где я хотел бы жить, оставался Чикаго с его роскошными отелями, ресторанами и мощеными улицами, обсаженными деревьями и застроенными особняками. Конечно, не весь Чикаго являл собой подобную картину. Из наших окон на четвертом этаже мало что можно было увидеть, кроме ряда доходных домов через дорогу. А летом люди более утонченные воротили нос от запаха со скотных дворов, хотя мне он совсем не мешал. Нареканий удостаивалась и зима, что опять-таки не находило у меня поддержки. Холод мне никогда не докучал. Зимний ветер, дувший с озера, поднимал и развевал женщинам юбки, словно пляшущий вокруг их ног чертенок. И зимой, и летом всегда можно было от нечего делать просто покататься на трамвае. Больше всего я любил этот город за то, что он был наполнен людской суетой, стуком копыт и повозок, гулом и лязгом товарных поездов, фургонами, телегами и разносчиками, которые доставляли, развозили и разносили. И я прямо-таки обожал, когда с запада надвигались черные тучи, обрушивающие на нас грозы, которые с легкостью заглушили бы все крики и проклятия человечества. Чикаго мог выдержать худшее из Господнего арсенала испытаний. Я понимал, зачем он был построен, — безусловно, как важный центр торговли и промышленности с железными дорогами и морскими судами, но главным его предназначением было наделить нас всех могучей силой неповиновения, что не под стать одинокому дому на равнине. А ведь именно с равнин приходили к нам эти бури.

Кроме того, я знал, что буду скучать по своей подруге, Уинифред Червински, которая вышла на лестничную площадку, когда я спускался с чемоданами вниз.

Зайди на минутку, сказала она, у меня кое-что для тебя есть. Я зашел, и она захлопнула за мной дверь. Можешь пока их поставить, показала она на чемоданы.

В присутствии Уинифред мое сердце трепетало, и она знала об этом и была счастлива. Она положила руку мне на грудь и приподнялась на цыпочки, чтобы поцеловать меня, а ее ладонь под моей рубашкой чувствовала, как колотится мое сердце.

Посмотрите-ка на него — пиджак, галстук! О, что же я буду делать без моего Эрли? — сказала она со слезами на глазах. Но улыбка не покидала ее лица.

По своему сложению Уинифред была полной противоположностью моей мамы. Хрупкая и худенькая, она, словно птичка, легко сбегала вниз по лестнице. Она не пользовалась ни духами, ни пудрой, разве что сахарная пудра из булочной, где она работала за прилавком, то и дело тонким слоем припорашивала ее кожу. У нее были сладкие прохладные губы, но одно веко ее голубых глаз всегда оставалось полуприкрытым, и этот изъян немного портил ее прелестную внешность. И, конечно, грудок будто и вовсе не было.

Ты можешь написать мне письмо, и я обязательно тебе отвечу, сказал я.

А что ты там напишешь?

Придумаю что-нибудь.

Она затащила меня на кухню, где развела ноги и оперлась руками о спинку стула, чтобы я смог задрать платье и взять ее так, как ей самой хотелось. Все это заняло не так уж много времени, но пока Уинифред ерзала и попискивала, словно котенок, я услышал, что мама зовет меня сверху, недоумевая, куда я пропал.

Мы заказали экипаж, который должен был доставить нас на вокзал вместе с багажом. Конечно, дешевле обошлось бы отправить нашу поклажу через "Американ экспресс", а самим взять извозчика. Но идея была не моя. Только мама знала, сколько у нас осталось денег после покупки дома. Она спустилась по лестнице в своей широкополой шляпе и вдовьей вуали и приподняла юбки, когда кучер помогал ей сесть в экипаж.

Отъезд наш был обставлен с театральной торжественностью. Мама подняла вуаль и бросила полный презрения взгляд на соседей, глядевших на нас из окон, — и в этом была вся моя мама. А что до их противных деток, то они порядком притихли от изысканного зрелища, которое мы собой являли. Я вскочил в экипаж вслед за мамой, захлопнул дверцу и по ее указанию бросил горсть мелочи на тротуар. Уже отъезжая, я видел, как ребятишки, толкаясь и лягаясь, попáдали на колени.

Когда мы свернули за угол, мама открыла шляпную коробку, которую я поставил на сиденье. Она сняла свою черную шляпу и вместо нее надела синюю, украшенную искусственными цветами. Поверх траурного платья набросила полосатую, сверкающую всеми цветами радуги шаль.

Ну вот, сказала она. Теперь я чувствую себя намного лучше. Как ты, Эрли?

Порядок, мам, сказал я.

Тетя Дора.

Да, тетя Дора.

Какой ты рассеянный, Эрли. Тебе бы следовало побольше прислушиваться к Доктору при его жизни. Конечно, у нас случались разногласия. Но для мужчины он был очень умен.

Железнодорожная станция Ла-Виль, Иллинойс, представляла собой бетонную платформу с навесом для ожидающих; на билетную кассу даже намека не было. От платформы вниз бежал переулочек, врезавшийся в местную главную улицу — на ней был продуктовый магазин, почта, белая деревянная церковь, банк из гранитного камня, галантерея и небольшая площадь с четырехэтажной гостиницей, а на заросшем травой пятачке в центре площади возвышался памятник погибшим героям Армии Союза[1]. Все эти достопримечательности можно было легко пересчитать, благо каждая из них имелась лишь в одном экземпляре. Мужчина, вызвавшийся подвезти нас на телеге, показал нам и другие улицы; поначалу там в основном попадались дома состоятельных людей, среди которых затерялась пара церквушек. Но чем дальше мы отъезжали от центра, тем больше на пути встречалось покосившихся одноэтажных, крытых дранкой домишек с темными верандами, маленькими палисадниками и бель-

1. Армия Северных штатов в Гражданской войне в США (1861—1865) против рабовладельческого Юга. *(Прим. перев.)*

евыми веревками, в несколько рядов натянутыми на заднем дворе. Уж не знаю, как мама определила, что население этого местечка насчитывает свыше трех тысяч человек. А потом, через пару миль фермерских земель с беспорядочно разбросанными там и сям силосными ямами, вдали от дороги, ведущей сквозь кукурузные поля прямо на запад, моим глазам предстало то, чего уж я совсем не ожидал: трехэтажный дом из красного кирпича с плоской крышей и каменными ступеньками перед входом. Я бы скорее поверил, что дом аккуратно перенесли с чикагской улицы, чем кому-то пришло в голову построить его на ферме. Я прикрыл глаза рукой от солнца, ослепительно сверкавшего в оконных стеклах, чтобы убедиться, что зрение не подводит меня. Нет, никакой ошибки — это действительно был наш новый дом.

Времени не хватало ни самому все как следует обдумать, ни обсудить с мамой, поглощенной нашим обустройством. Мы сразу же принялись за работу. Дом был затянут паутиной, повсюду лежала пыль и мышиный помет. На верхнем этаже, где мне отвели комнату, обитали дрозды. Казалось, делам не будет ни конца ни края, но уже вскоре под маминым руководством работа кипела вовсю: целые кортежи фургонов доставляли из города мебель, а поток мужчин, желавших наняться на денек в помощники с надеждой получить нечто большее от восхитительной женщины с пальцами, унизанными кольцами, не иссякал. И вот вокруг курятника вырос забор, за ним вспахивалось и пропалывалось заросшее сорняками поле, углублялся пруд для полива и сооружался новый туалет. На несколько дней мама превратилась, пожалуй, в самого крупного во всей округе работодателя.

Но ведь еще кто-то должен был носить воду из колодца, стирать и печь хлеб? С переездом на ферму многое изменилось. День проходил за днем; лежа в постели в своей комнатке под крышей на третьем этаже и глядя сквозь маленькое окошечко на звезды, я ощущал тепло ушедшего дня и свою беззащитность — чувство, неведомое мне в том краю, который мы покинули. Да, думал я, мы как будто сбежали от цивилизации, — и впервые за всю жизнь усомнился в правильности маминого решения. Во всех наших переездах из штата в штат, несмотря на всяческие препятствия, то и дело возникавшие на пути, у меня и мысли не было подвергать ее идеи сомнению. Но мы с ней были такими же фермерами, как наш дом — фермой.

Как-то вечером мы стояли на крыльце и смотрели, как далеко-далеко за холмы садится солнце.

Тетя Дора, зачем мы здесь? — спросил я.

Я все понимаю, Эрли. Но иногда нужно запастись терпением.

Она заметила, что я смотрю на ее покрасневшие от работы руки.

На днях к нам приедет эмигрантка из Висконсина. Она будет жить в комнате за кухней.

Зачем? — спросил я. А жены этих работников, которые приезжают к нам из Ла-Виля на денек помочь? Они бы уж наверняка смогли найти деньгам применение.

Мне не нужна в доме женщина, которая сразу же растрезвонит по всему городу о том, что она здесь видит и слышит. Подумай сам, Эрли.

Пытаюсь, мам.

Тетя Дора, черт возьми.

Тетя Дора.

Да, сказала она. Особенно здесь, в этом захолустье, когда поблизости ни живой души.

На ней был свободный комбинезон, надетый прямо на голое тело, а свои густые волосы она от жары собрала в пучок.

Чувствуешь, как сладко пахнет воздух? — спросила она. Я собираюсь построить застекленную веранду и поставить туда диван и несколько кресел-качалок, чтобы мы могли со всеми удобствами любоваться, как природа разворачивает перед нами свои великолепные полотна.

Она взъерошила мои волосы. И не нужно дуться, сказала она. Я допускаю, что тебе многое здесь не нравится — этот спокойный воздух, щебечущие птички и вокруг ничего не происходит. Но мы тут по делу, Эрли. Поверь мне.

И, конечно же, она меня убедила.

Вскоре мы купили лошадь и старомодную маленькую двухместную коляску и ездили в ней по разным делам в Ла-Виль — в банк, на почту или за продуктами. Я был и извозчиком, и конюхом. Но с лошадью мы ни в какую не могли поладить. Я даже имени ей не дал. Выглядела она ужасно: спина вогнутая, ноги, если она переходила на рысь, заплетались. Клячи, которых мне приходилось забивать на скотобойне в Чикаго, смотрелись куда лучше. Как-то раз, когда я устраивал ее в сарае на ночлег, она принялась чавкать прямо у меня над головой.

Еще одной головной болью стал Бент — помощник, которого мама взяла на постоянную работу. Как только она стала приглашать его после обеда к себе наверх, он тотчас же возомнил себя хозяином фермы. Вот что меня больше всего настораживало. И неудивительно, что однажды он нагло попытался препоручить мне одну из своих обязанностей. По-моему, это *тебя* наняли, заметил я в ответ. Выглядел он, как и лошадь, ужасно, словно состоял с ней в близком родстве. А его маленький рост никак не соответствовал непропорционально длинным рукам с огромными кистями.

Давай работай, сказал я ему.

Его глаза налились злобой, он схватил меня за плечо и заорал прямо в ухо: Видал я это! Да-да-да! Видал я все это и плевать хотел!

С той поры я начал придумывать возможные варианты гибели Бента-помощничка. Но он был столь беспросветно туп, что у мамы на его счет, очевидно, имелись какие-то планы, в противном случае вряд ли бы она терпела рядом с собой подобного типа. Так что мне пришлось попридержать свои кровожадные намерения.

Между тем меня стала преследовать мысль, что на ферме, затерявшейся посреди бескрайних равнин, что-то назревает. Что же не давало мне покоя? Обостренное и тревожное ожидание чего-то страшного, будто нахлынувшее на меня откуда-то из прошлого. Да. Я почуял: чему бы ни предстояло здесь случиться, это уже началось. И доказательством тому был не один только Бент-помощник. Еще были сироты. Мама взяла троих из нью-йоркского благотворительного приюта, в который собирали детей с улицы, где их мыли, одевали и отправляли на поезде в приемные семьи центральных штатов. Наши — два мальчика и девочка соответственно шести, шести и восьми лет, как значилось в бумагах, которые им дали, — казались вполне милыми ребятишками, вот только слишком уж бледными. Когда я вез их на ферму, они сидели сзади и безмолвно смотрели по сторонам.

Мы разместили их в дальней спальне на втором этаже. Они совсем не походили на мерзких детей наших чикагских соседей. Малыши были очень тихими и спокойными, если не считать редких всхлипываний по ночам. Да и вообще всегда беспрекословно нас слушались. Мама по-настоящему полюбила и Джозефа, и Кальвина, и в особенности Софи. Хотя никаких предписаний на предмет веры, в которой должны воспитываться приемные ребятишки, не существовало, а у нас самих на этот счет не было определенного мнения, каждое воскресенье мама непременно отправлялась в методистскую церковь в Ла-Виле и брала с собой всех троих, нарядив в купленные по случаю обновки. Ей явно доставляло удовольствие выставлять их напоказ — ведь тут было чем гордиться. Поскольку, как я уже знал, даже, казалось бы, самые отдаленные и недоступные уголки сельской местности имеют глаза и уши.

И, руководствуясь своим грандиозным планом, моя тетя Дора настаивала, чтобы Джозеф, Кальвин и Софи считали ее своей матерью. Скажите "мама", требовала она. И они говорили.

Что ж, вот такое у нас было хозяйство — скроенное под нас и готовое к употреблению, точно полуфабрикат из магазина. В нашем доме теперь появилась кухарка и экономка Фанни, которая, по маминому замыслу, не говорила по-английски, но отлично понимала, что нужно делать. Она была, как и мама, плотного сложения и обладала недюжинной работоспособностью. Помимо Бента, изображавшего бурную деятельность под прикрытием заборов и стен сараев, в поле у нас работал настоящий фермер, который арендовал акр нашей земли и выращивал на нем кукурузу. А дважды в неделю к нам приезжала вышедшая на пенсию местная учительница и обучала детей чтению и арифметике.

Однажды вечером мама сказала: У нас тут целое предприятие, ей-богу! Конечно, такую преуспевающую семью в этих краях надо еще поискать. Но не исключено, что скоро мы будем едва сводить концы с концами: если не подыщем к зиме подходящий источник дохода, кроме детских пособий у нас ничего не останется.

Она зажгла керосиновую лампу на столе в гостиной, сочинила объявление и, начисто переписав, зачитала его мне: "Вдова ищет надежного партнера. Процветающее фермерское хозяйство. Необходимы посильные вложения". Что скажешь, Эрли?

Нормально.

Она перечитала текст. Нет, сказала она. Не совсем то. Наша задача — заставить их поднять задницу и выйти из дома, чтобы выписать кредит, а потом сесть на поезд до Ла-Виля. И передать все это нужно в нескольких словах. А если так: "Срочно требуется!" По-моему, неплохо — свидетельствует о крайней необходимости. И разве найдется на земле такой мужчина, который бы не думал о себе, что он — тот единственный, который крайне необходим? "Срочно требуется! Недавно овдовевшая женщина с чудесной фермой в райском уголке ищет мужчину нордического происхождения с приличным достатком для совместного ведения фермерского хозяйства".

Что такое нордический? — спросил я.

Ну, это всего лишь маленькая хитрость, Эрли. В тех штатах, где будет напечатано объявление, полно шведов и норвежцев, только что сошедших с корабля. Должна же я обозначить свои предпочтения.

Понятно. А что такое: "с приличным достатком"? Какой норвежец, только что сошедший с корабля, поймет, о чем речь?

Повисла пауза. Да, Эрли, временами ты меня просто поражаешь. Она послюнявила карандаш. Ну что ж, напишем просто "при деньгах".

Мы выбрали по одной газете в каждом городе Миннесоты, а затем и Южной Дакоты и поместили в них наше объявление. Начали приходить письма с предложениями, и мама завела тетрадку, куда аккуратно записывала имена кандидатов и даты их приезда, чтобы каждому уделить достаточно времени. Мы всегда советовали приезжать первым утренним поездом, когда город еще не проснулся. К моим регулярным домашним обязанностям теперь прибавился прием гостей. Всех встречали в гостиной: мама подавала кофе на столике на колесиках, а Джозеф, Кальвин и Софи — ее дети — и я — ее племянник — сидели на диване и внимали изложению наших биографий, которые она непременно завершала счастливым концом, то есть сегодняшним днем. Мама так красноречиво говорила, что и я, как эти бедные иностранцы, сам бы с легкостью попался на удочку ее скромности и благопристойности, — видимо, где-то глубоко внутри она и вправду верила в свое великодушие. На ее счастье, ни один из кандидатов не обладал даром ясновидения. А кроме того, она была очень недурна собой. По случаю первого знакомства она одевалась очень просто — в прямую плиссированную юбку из серого хлопка и белую накрахмаленную блузку, из украшений на ней был только золотой крестик на цепочке, лежавший на ее пышной груди, а волосы были зачесаны наверх и собраны на затылке с пленительной небрежностью.

Я — их рай на земле, сообщила она мне после третьего или четвертого претендента. Только посмотри, как загораются их глаза, когда, стоя рядом со мной, они окидывают взором свои новые владения. Попыхивая трубкой, бросают на меня взгляды, затуманенные мыслями о выгодной женитьбе, — а кто говорит, что и я в свою очередь к ним не присматриваюсь?

Ну, можно и так сказать, согласился я.

Не будь занудой, Эрли. Тебе ли судить. Назови мне более простой путь к благословенным небесам, чем тот, что начинается на земле. Лично я такого не знаю.

И скоро наш счет в местном сберегательном банке начал уверенно расти. Дожди, прошедшие в конце лета, сделали свое благое дело, и урожай кукурузы порадовал нас неожиданным пополнением семейного бюджета еще на несколько долларов. Омрачал картину лишь этот придурок Бент. Мало того, что он был безнадежно туп, он был опасен. На первых порах мама мирилась с его ревностью; я слышал, как они спорили наверху: он орал как сумасшедший, а она успокаивала его так тихо, что мне едва удавалось разобрать слова. Но все без толку. Как только приезжал очередной норвежец, Бент занимал удобную позицию для наблюдения во дворе. Как-то раз в окне веранды показалась его мерзкая физиономия. Достаточно было едва заметного маминого кивка, и я быстро встал и опустил шторы.

Без сомнения, маме случалось перегибать палку. Она могла вовсю кокетничать с одним, равно как напускать на себя вдовье благочестие с другим. Но всегда интуитивно находила к каждому правильный подход. На крючок их удавалось подцепить без особого труда; у меня об этих бе-

долагах сложилось в целом такое мнение: все они были не то чтобы глуповаты, но довольно простецкого и незатейливого склада и явно не в ладах с языком. Однако независимо от пропорций добродетельности и игривости в мамином поведении, в нем никогда не было ничего личного, и все подчинялось только ее деловой стратегии — неуклонно пополнять наш банковский счет.

А недоумок Бент считал, что среди заявлявшихся к нам в дом мужчин мама ищет себе мужа. Его самолюбие было уязвлено. Он часто приходил по утрам на работу уже вдрызг пьяным, и если случалось, что мама не приглашала его наверх для послеполуденной сиесты, он, исступленно бранясь и грозя кулаком нашим окнам, своей расхлябанной походкой отправлялся домой.

Мама как-то призналась: у этого идиота ко мне чувства.

И хотя мне самому все это виделось в несколько ином свете, с тех пор я перестал судить Бента-помощника слишком строго. Не то чтобы он стал менее опасным. Очевидно, он никогда и не подозревал, что смысл жизни заключается как раз в стремлении улучшить свое в ней положение. Нет, до такого он своим умишком дойти не мог. Кем ты родился — тем и умрешь. Посему в этих иностранцах, с трудом изъяснявшихся по-английски, он видел не только успешных конкурентов — они со своими устремлениями подчеркивали его убогость. Будь я на его месте, я бы нашел чему поучиться у этих эмигрантов и прикинул бы, как собрать сумму, необходимую для покупки собственной фермы. Каждому нормальному человеку это пришло бы в голову. Но не ему. Единственное, что могло родиться в его тупых мозгах, так это догадка, что, в отличие от самого последнего иностранца, в отношении мамы ему ничего не светит. Поэтому когда я привозил очередного клиента со станции и парень, выходя из коляски, демонстрировал своим костюмом из шотландки, щегольским галстуком и котелком все признаки приличного достатка, Бента охватывал озноб, словно от упавшей на него тени черной тучи, ведь бедняге в очередной раз становилось ясно: теперь ему путь заказан без дураков.

И уж чтобы вы окончательно убедились в его скудоумии: он не понимал, что и им путь был тоже заказан.

Тем временем вся зелень полиняла до желтизны, летние дожди остались далеко позади, а ветер с прерии поднимал над высохшей пашней пыльные вихри, которые взмывали вверх и оседали, как волны на грязно-буром море. По ночам от ветра дребезжали стекла. А с первым морозом мальчишки подхватили простуду.

Мама отозвала свое объявление из газет, чтобы немного перевести дух. Хотя содержание маминой тетрадки оставалось для меня тайной, все говорило за то, что наше финансовое положение упрочилось. Для фермерских семей, как я полагал, зима была временем отдыха.

Не то чтоб уж я очень его жаждал. Каково оно — целыми днями слоняться без дела?

Я написал в Чикаго своей подруге Уинифред Червински. Все это время я был настолько занят, что и думать забыл об одиночестве. Я писал, что скучаю по ней и надеюсь скоро перебраться обратно в город. И тут на меня вдруг нахлынула жалость к самому себе, и я чуть не захлюпал носом от всплывших в памяти картин вагонов надземки и театральных огней и от зазвучавшего в голове звона трамваев и даже мычания со ско-

тобойни, где я подрабатывал. Но я ограничился тем, что жду от нее ответа.

Думаю, что и приемные ребятишки тоже тосковали в этом холодном обиталище. Ведь их привезли сюда издалека, из города гораздо более крупного, чем Чикаго. И лежи они сейчас, свернувшись калачиком где-нибудь на мостовой у дышащей паром решетки люка, они бы продрогли не больше, чем здесь, под натянутым до подбородка одеялом. Со дня своего приезда они не отходили друг от друга ни на шаг, и Софи, хотя была здорова, ни за что не хотела покинуть комнату, где теперь болели два мальчика, и, несмотря на их кашель и сопли, на ночь укладывалась в кресле. Фанни готовила им на завтрак овсянку, а на обед суп, а я взял на себя новую обязанность: относить поднос с едой им наверх — так я мог хоть немного с ними пообщаться, ведь все мы, в каком-то смысле, оказались связаны, и дети видели во мне такого же приемыша, только постарше. Однако они не выказывали желания вступить в разговор, а лишь опасливо, не сводя с меня глаз, своими тоненькими голосками отвечали на мои дружелюбные вопросы да или нет. Мне это не нравилось. Я знал, что между собой они болтают без умолку. Кроме того, они были очень смышленые. К примеру, хорошо усвоили, что не следует попадаться на пути пьяному Бенту. Но когда он был трезв, ходили за ним по пятам, как хвостики. А однажды я пошел в конюшню запрячь лошадь и заметил, что они шпионят за мной: и нездорового любопытства им хватало. Потом между мной и одним из мальчиков, Джозефом — самым маленьким и темненьким, — случилось небольшое недоразумение. Он нашел во дворе карманные часы и футлярчик для них, и когда я сказал, что часы мои, он сказал, что нет. Чьи же они тогда? — спросил я. Знаю, что не твои, сказал он, но все же протянул их мне. Раздувать из этого ссору было бы глупо, поэтому я промолчал, но и забыть не забыл.

Какими бы средствами нам с мамой ни приходилось добиваться намеченных целей, мы всегда осмотрительно и расчетливо старались не давать окружающим повода для подозрений, но дети, мне кажется, обладают каким-то особым чутьем — знают даже то, о чем понятия не имеют. Возможно, и у меня в детстве была такая способность. С возрастом она, конечно, пропадает, — наверное, это какая-то специальная особенность, которая помогает детям выжить и вырасти.

Но о плохом думать не хотелось. Я убеждал себя, что, будь я заброшен далеко от родных улиц в логово к чужакам, с которыми отныне должен был жить одной семьей — посреди бескрайней глади пустых полей, которые для кого угодно являлись бы воплощением бездушия и безмолвия мира природы, — я бы и сам вел себя не лучше этих ребятишек.

Как-то морозным декабрьским днем я поехал на почту за посылкой. Нам пришлось выписать из Чикаго кое-какие вещи, которых было не достать у местных лавочников. Кроме посылки, меня ждало письмо от моей подружки Уинифред Червински.

Я улыбнулся, увидев ее почерк; буковки были мелкие и тонкие, а строчки то ползли вверх, то постепенно, но неуклонно сползали вниз, как будто на бумаге отражалась суть характера Уинифред. По застрявшей в сгибах листков сахарной пудре я понял, что писала она мне в булочной.

Она была ужасно рада получить мое письмо и наконец узнать, где я. Она уж думала, я ее забыл. Она написала, что скучает по мне. Написала,

что ей надоела ее работа. Ей удалось скопить немного денег, и она намекала, что ей не терпится потратить их на что-нибудь интересное вроде билета на поезд. Тут я почувствовал, что мои уши горят. В своем воображении я видел, как Уинифред смотрит на меня щурясь, и почти физически ощущал под рубашкой ладошку у себя на груди, куда она любила ее класть, чтобы почувствовать взволнованное биение моего сердца.

А на следующей странице она писала, что, возможно, мне будет любопытно узнать кое-какие местные новости. Там собирались то ли возбудить еще одно дело, то ли возобновить старое.

Я сразу же понял, что речь идет о Докторе, мамином чикагском муже. Родственники Доктора запросили тело покойного для захоронения. Уинифред узнала обо всем этом от полицейского, который обходил квартиры нашего дома. Оказывается, в полиции пытались выяснить, куда мы с мамой уехали.

К тому времени я еще не получила твоего письма, сообщала Уинифред, так что мне не пришлось врать насчет твоего местонахождения.

Я помчался домой. Почему Уинифред думает, что в противном случае ей пришлось бы соврать? Неужели она поверила всем этим грязным слухам о нас? Неужели она такая же, как все? Я думал, она другая. Она меня разочаровала, и я вдруг жутко на нее разозлился.

Но мама истолковала письмо иначе. Твоя мисс Червински — наш друг, Эрли. Это даже больше, чем любимый человек. Если не дай бог ее дефект — я про глаз говорю — передастся детям, мы просто обратимся к хорошему хирургу.

Каким детям? — спросил я.

Детям от вашего счастливого союза с мисс Червински, пояснила мама.

Не подумайте только, что мама сказала это, просто чтобы отвлечь меня от чикагской проблемы. Она замечает все намного раньше других, ее планы разворачиваются во всех направлениях вселенной, нет — ограниченным человеком мою тетю Дору никак не назовешь. Меня так взволновали эти ее намерения, будто я сам их вынашивал. Вероятно, они давно и тайно жили во мне, а мама обнаружила их и полностью одобрила. Потому что я и вправду был без ума от Уинифред Червински, губки которой на вкус напоминали пирожные и которая с радостью мне отдавалась. И вот теперь все встало на свои места. И мама не только узнала о моих чувствах, но и раскрыла их мне самому — оставалось только сообщить юной леди о нашей помолвке.

Я подумал, что тогда ее запланированный визит к нам придется очень кстати, тем более что она собирается сама оплатить поездку. Но мама сказала: Не сейчас, Эрли, весь дом знал, что ты в нее влюблен, и если она сейчас бросит работу в булочной, соберет вещи и отправится на станцию, то даже чикагская полиция, из каких бы идиотов она ни состояла, смекнет, в чем дело.

Конечно, с этим трудно было поспорить, хотя я не сомневался, что полиция в любом случае нас найдет. Мы повсюду наоставляли следов в виде банковских переводов и почтовых отправлений — и уж не бог весть какие они были запутанные, чтобы оказаться по зубам только самым проницательным детективам. Почему бы, к примеру, в памяти кучера, который отвозил нас на вокзал, не запечатлелись наши особы, и уж конечно мы запомнились кассиру, продавшему нам билеты, — полагаю, не

каждый день ему встречалась такая обворожительная и незаурядная женщина, как мама.

Но лишь неделю спустя в маминых речах зазвучала тревога. Нельзя никому доверять, сказала она, это все его чертова сестра, которая слезинки на похоронах не уронила. Ведь она даже призналась мне, как повезло Доктору, что он свои последние годы провел со мной.

Я помню, сказал я.

И как я о нем заботилась.

Что истинная правда, сказал я.

Родственники — ложка дегтя в бочке меда, Эрли.

И все-таки мама не очень сильно волновалась, поскольку полагала, что у нас еще есть время. Наши зимние будни шли как обычно, но ее одолевали напряженные раздумья. Я был не прочь подождать, даже несмотря на то, что в последние дни мама стала уделять Бенту гораздо больше внимания, регулярно приглашая его пообедать, словно он соседский фермер, а вовсе не наемный рабочий. А за обедом мне приходилось сидеть за столом на детской половине и созерцать его отчаянные попытки удержать в руках столовые приборы и справиться с супом. Противно было смотреть, как он старательно приглаживал волосы и заправлял в штаны рубашку и как поджимал пальцы, если замечал под ногтями грязь. Вкусно, громко говорил он, не обращаясь ни к кому конкретно, и даже Фанни, подававшая на стол, не могла удержаться, чтобы не хмыкнуть. Ей совсем не нужно было знать английский, чтобы заметить, насколько нелепо он смотрится за нашим столом.

Однако оказалось, что кое о чем я и не догадывался. Например, что малышка Софи привязалась к Бенту или, скорее, приручила его, словно неразумное животное. В общем, они спелись, и она докладывала ему обо всем, что слышала в доме. Может быть, она рассудила, что раз уж вынуждена признать маму своей матерью, то, видимо, в несчастном бездельнике должна найти себе отца — не знаю. Так или иначе, их союз красноречиво свидетельствовал о том, что она никогда не избавится от отвратительных качеств маленькой бродяжки. Со своим крошечным, мягко очерченным ротиком, бледным личиком, серыми глазками и волосами, которые мама каждое утро заплетала в длинную косу, она походила на сущего ангела. Но у этого ангелочка был слух летучей мыши, так что, стоя на лестничной площадке второго этажа, она слышала каждое слово из наших с мамой разговоров в гостиной. Конечно, обо всем этом мне стало известно только потом. Это мама узнала, что Бент трепал своим городским собутыльникам, будто его любовница мадам Дора — никакая не леди, а давно не в ладах с чикагской полицией.

Мама, сказал я, мне никогда не нравился этот придурок, хоть я и подавлял желание с ним разобраться. Мы ему платим, мы его кормим, а он такое себе позволяет?

Тише, Эрли, не сейчас, не сейчас, сказала она. Ты хороший сын, и я горжусь, что в одиночку смогла воспитать в тебе столь высокое чувство фамильной чести. Она видела, как я был расстроен. Она обняла меня. Разве не ты — мой рыцарь Круглого стола? — сказала она. Но это меня не утешало; я представлял, что вооруженные до зубов войска медленно, но неотвратимо наступают на нас. Мне это не нравилось. Да и как могло понравиться — ведь только-только начало казаться, что наша жизнь потихоньку налаживается; мы даже устроили в сочельник ужин и пригласи-

ли из Ла-Виля несколько семей, с которыми мама успела познакомиться. Словно день стоял на дворе — так ярко освещала луна снежные равнины, — когда все они: местный банкир, лавочники, пастор Первой методистской церкви и другие важные особы со своими женами — в собственных экипажах под вечер начали съезжаться к нашему дому. Елку, которую мы установили в гостиной и украсили свечами, привезли прямо из Миннесоты, а трое ребятишек, нарядно одетые, подносили собравшимся яичный коктейль. Я знал, как упорно мама стремилась закрепить за собой репутацию человека, чья принадлежность к обществу делает этому обществу честь, но все наши гости раздражали меня. Столько упряжек во дворе и столько ног, расхаживающих по дому или направляющихся в туалет, — это уже было чересчур. Конечно, я понимал, что причина тут в моей неуверенности в себе, опаснее которой, по словам мамы, вряд ли что-нибудь может быть, потому что неуверенность отражается на мимике и движениях и в итоге приводит к полной беззащитности. Но я ничего не мог с собой поделать. Я помнил о карманных часах, которые однажды нашел плакса Джозеф и, вынув из кармашка, отдал мне. Да, иногда я совершал ошибки: я — человек, и кто знал, к каким еще ошибкам суждено меня кому-нибудь подтолкнуть.

Но сейчас мама поймала мой взгляд поверх голов гостей. Ребячья учительница притащила в дом фисгармонию, и мы все, усевшись перед камином, принялись петь рождественские гимны. Встретившись с мамой глазами, я запел громче всех. У меня хороший тенор, но я попробовал взять выше, чем обратил на себя внимание гостей и вызвал их улыбки. И тут я подумал, с каким удовольствием я завалил бы комнаты хворостом и спалил весь дом к чертям.

Сразу после Нового года на пороге нашего дома появился еще один швед, с кожаным саквояжем в руке. Мы сняли наше объявление из газет вплоть до весны, и мама никого не ждала, но парень оказался братом одного из прошлогодних кандидатов. Он представился Генри Лундгреном и сказал, что от его брата Пера Лундгрена нет никаких вестей с тех пор, как тот покинул Висконсин и отправился взглянуть, стоящее ли у нас тут дело.

Мама пригласила его войти, предложила присесть и попросила Фанни принести гостю чай. Едва на него взглянув, я вспомнил его брата. Пер Лундгрен был сама активность и предприимчивость. Ни краснеть от смущения в присутствии мамы, ни жадно пожирать ее глазами в его намерения не входило — он задавал конкретные вопросы. Ему также удалось сразу увести разговор в сторону от своих личных доходов и семейного положения — мерок, которыми мама мерила каждого соискателя. Семьи большинства эмигрантов, если таковые имелись, как правило, оставались на родине, но проверить все же никогда не мешало. Пер Лундгрен не собирался откровенничать, хотя признался, что не женат. В общем, и он в конце концов получил добро.

А тут откуда ни возьмись появился какой-то Генри — о котором и знать никто не знал, но который сидел теперь застыв в вольтеровском кресле с хмурым видом, скрестив руки на груди. У обоих братьев была слегка красноватая кожа, тяжелая челюсть, редеющие светлые волосы и тусклые печальные глаза с бесцветными ресницами. Я бы сказал, что Генри на пару лет помладше своего брата, но он оказался таким же смекалистым, как и Пер, если не смекалистей. И он не поверил, что мама

искренне встревожена. Он рассказал, что брат отправился в Ла-Виль с намерением затем заглянуть еще на пару ферм — одна из них находилась в двадцати милях к западу от нас, а другая в Индиане. Генри побывал и там, и там — вот как он узнал, что запланированные братом встречи так и не состоялись. Он сказал, что у Пера в поясе было две с лишним тысячи долларов.

Боже мой, это же огромные деньги, сказала мама.

Наши общие сбережения, сказал Генри. И вот брат едет посмотреть на вашу ферму. У меня есть объявление, добавил он, доставая из кармана газетную вырезку. Первым делом брат направляется именно к вам.

Даже не уверена, появлялся ли он вообще, сказала мама. У нас было столько посетителей.

Появлялся, уверенно сказал Генри Лундгрен. Он приехал накануне вечером, чтобы утром быть у вас вовремя. Таков уж мой брат. Пунктуальность для него превыше всего, даже если приходится потратиться. Он ночевал в Ла-Виле.

Откуда вы знаете? — спросила мама.

Заглянул в книгу постояльцев в местной гостинице — там есть его подпись, сказал Генри Лундгрен.

Ладно, Эрли, сказала мама, у нас еще куча дел перед отъездом.

Мы уезжаем?

Что у нас сегодня, понедельник? Я хочу уехать не позже четверга. Хотя суд и возобновил наше дело, я рассчитывала, что времени у нас по меньшей мере до весны. А эта история с братьями заставляет поторопиться.

Я готов.

Знаю, что ты готов. Тебе здесь никогда не нравилось, верно? Если бы тот швед сказал, что у него есть брат, не был бы сейчас там, где находится. А то ишь какой умный — на свою беду. Где Бент?

Она вышла во двор. Бент стоял у сарая и мочился — на снегу расплывалось желтоватое пятно. Мама приказала ему заложить повозку, съездить в Ла-Виль и взять в лавке в кредит полдюжины фляг керосина.

Я подумал: ведь зимнего запаса керосина у нас еще предостаточно, но промолчал — мама взялась за дело, и по опыту я знал, что скоро все станет ясно.

А поздно вечером, когда я был в подвале, мама прокричала, что Бент сейчас спустится и поможет мне.

Да нет, я сам справлюсь! Спасибо, тетя Дора! — отозвался я. Вот уж чего я не ждал — у меня просто во рту пересохло.

Но они оба уже спустились по лестнице и прямиком к ящику для картофеля, с которым я возился. Бент как всегда скалил зубы, недвусмысленно давая мне понять, что у него тут особые права.

Покажи ему, сказала мама. Давай, все в порядке, заверила она меня.

И я ему показал. Я показал ему, что́ отнести наверх. Я приоткрыл мешок из грубой джутовой ткани, и он заглянул внутрь.

Ухмылка сползла с небритого лица недоумка, он побледнел и разинул рот. Задыхаясь, начал судорожно глотать воздух. Издал слабый стон, взглянул на меня, на мой резиновый фартук, колени его подкосились, и он упал без сознания.

Мы с мамой стояли над его неподвижным телом. Теперь он все знает, сказал я. Он всем расскажет.

Возможно, сказала мама, но я так не думаю. Теперь он один из нас. Мы только что превратили его в сообщника.

Сообщника?

По факту. Но к тому времени, когда я с ним разделаюсь, его роль в нашем деле станет главной.

Мы побрызгали Бенту в лицо водой, поставили его на ноги и отвели на кухню, где мама дала ему пару глотков спиртного. Бент был до смерти напуган и, когда я пошел наверх и велел ему следовать за мной, вскочил со стула как ошпаренный. Я вручил ему мешок, который такому здоровяку уж точно был под силу. Бент держал мешок на вытянутой руке, будто тот мог его укусить. Я отвел его за дом к старому высохшему колодцу, куда он сбросил свою ношу. Затем я насыпал туда негашеной извести, сверху мы набросали камней и гвоздями прибили крышку колодца на место. Бент-помощничек за все это время так и не проронил ни слова, а просто стоял, дрожа мелкой дрожью, в ожидании дальнейших распоряжений.

Мама продумала все до мелочей. За дом она расплатилась наличными, а потом каким-то образом умудрялась получать под него ссуды в банке Ла-Виля, так что, когда дом сгорел, с ним сгорели и денежки банка. Всю зиму она понемногу снимала с нашего счета и теперь, когда мы сворачивали лавочку, похвалилась мне, что истраченные на приобретение фермы деньги вернулись к нам все без остатка. Раньше я был слишком расстроен переездом, чтобы она сразу стала посвящать меня во все тонкости.

Но это было не единственное свидетельство маминой гениальности. Скажем, она тотчас же приметила, что занявшийся расследованием брат Генри ненамного выше меня. Да и в качестве экономки она наняла женщину — Фанни — своей комплекции. Между тем, по ее наставлению, я начал отпускать бороду. Наконец, прежде чем приказать Бенту обойти дом и полить каждую комнату керосином, она убедилась, что он здорово пьян. Все оставшееся время он вовсю храпел в конюшне, обняв, словно любовницу, пустую флягу из-под керосина, — там его позже и нашли.

По плану я должен был задержаться здесь еще на несколько дней и проследить за развитием событий. Мы провернули нечто совершенно невероятное — о таком будут писать в книгах, сказала мама. Однако случившееся привлечет кучу любопытных, и тогда можно ожидать каких угодно сюрпризов. Конечно, все и так пройдет без сучка без задоринки, но уж коли обстоятельства потребуют от нас каких-то дополнительных действий, ты должен быть в курсе.

Да, тетя Дора.

Тети Доры больше нет, Эрли.

Да, мама.

Кроме того, даже если нужды приглядывать за всем за этим не возникнет, тебе все равно надо будет дождаться мисс Червински.

Я не понял, что она имеет в виду. Был у нашего предприятия один минус: Уинифред, конечно же, узнает о случившемся из чикагских газет. И безопасного способа связаться с ней отныне, когда меня не будет в живых, не найти. Вот и все, вот и конец всему. Но мама сказала, что связываться с Уинифред нет никакой необходимости. Это замечание жутко меня разозлило.

Ты говорила, она тебе нравится, сказал я.

Так и есть, сказала мама.

Ты называла ее нашим другом, продолжал я.

Она и есть наш друг.

Понятно, ничего уже не поделаешь, но я хотел жениться на Уинифред Червински. Что ей теперь остается — осушить слезы, возможно даже свечку за упокой моей души поставить, ну и подыскать себе нового жениха.

Эх, Эрли, Эрли, сказала мама, ничего-то ты не знаешь о женском сердце.

Так или иначе, но, следуя плану, я еще на несколько дней задержался в окрестностях Ла-Виля. Темная щетина, новая шляпа и длинное пальто значительно упростили дело. В возбужденной толпе вряд ли кто-нибудь мог заметить что-либо помимо того, что притягивало всеобщее внимание. В повозках, на телегах, пешком — только ленивый не отправился взглянуть на место трагедии. За любое колесное средство, на котором можно было добраться до злополучной фермы, платили хорошие деньги. А как только историю подхватили газеты, за жителями Ла-Виля и соседних ферм на автомобилях и поездах потянулись любопытные из Индианаполиса и Чикаго. Вслед за толпами в свою очередь хлынули лоточники с сандвичами и горячим кофе и продавцы шаров, флажков и детских вертушек. Кто-то сфотографировал разложенные на земле скелеты с налипшими на них остатками мешковины и напечатал с этими снимками почтовые открытки, которые расходились, как горячие пирожки.

Обугленные останки, обнаруженные в подвале, подтолкнули полицию осмотреть колодец и затем перекопать куриный загон и разобрать настил в конюшне. На ферму доставили шлюпку, чтобы обследовать дно пруда. Тщательно изучая каждый уголок, полицейские делали все новые и новые открытия и складывали найденное аккуратными рядами внутри сарая. Чтобы хоть как-то управиться с неиссякающей толпой, к месту паломничества вызвали окружного шерифа, который со своими подчиненными выстраивал народ в организованную очередь, так что все получили возможность по разу пройти мимо распахнутых дверей сарая — это был единственный способ предотвратить беспорядки. И все равно многие неугомонные зеваки возвращались в хвост процессии и наново обходили место драматических событий. Всеобщее внимание приковывали к себе два безголовых тела — мадам Доры и ее племянника и, конечно же, узлы с тельцами малышей.

От столпившихся людей шел такой жар, что снег растаял — и на дороге, и во дворе, и за домом, и даже на полях, где были оставлены грузовики и легковые автомобили; земля превратилась в грязь: казалось, зима закончилась раньше времени. Я лишь с удивлением наблюдал за происходящим. Вся эта охваченная счастливым ощущением весны толпа походила на сборище живых существ, восставших из грязи по случаю скорого пробуждения природы. В воздухе стоял смрад, но, похоже, никто этого не замечал. Вид самого дома поверг меня в уныние — от него остались одни дымящиеся развалины, сквозь которые проглядывало небо. Я успел полюбить этот дом. С третьего этажа, где была моя комната, свисали половицы. Я с негодованием смотрел, как люди растаскивают остатки стен по кирпичикам, чтобы увезти с собой в качестве сувениров, отовсюду слышались возгласы и смех, но я, конечно же, мог только молча все это созерцать. Однако мне удалось, не привлекая к себе внимания, осмотреть развалины и найти нечто без сомнения очень важное — шприц, за который, я знал, мама будет мне очень благодарна.

Краем уха я услышал обрывок разговора о маме: какой ужасный конец замечательной женщины, для которой главным в жизни была любовь к детям. Я подумал, что со временем мое имя и вовсе исчезнет из этой истории. Газеты будут скорбеть по маме и вспоминать ее благие дела, а меня разве что упомянут разок как погибшего племянника. Даже если прошлое опозорит мамино доброе имя и ее обвинят в нескольких замужествах с целью получения страховки за несчастных супругов, я по-прежнему останусь в тени. С учетом моего личного вклада в наше предприятие, такой исход казался мне несправедливым, и на мгновение я почувствовал себя обиженным. Что у меня впереди теперь, когда я мертв? Ничего нет и не будет. Даже Уинифред Червински, которая бы за меня помолилась.

Вернувшись ночью в город, я подошел сзади к тюрьме и подкрался к окошку камеры, в которую поместили Бента. Встав на ящик, я тихонько позвал его и, когда в окне появилось его растерянное лицо, отпрыгнул в сторону, чтобы он не мог меня увидеть, и прошептал такие слова: “Вот теперь ты все видел, Бент. Теперь ты видел все”.

Я оставался в городе и встречал каждый поезд, приходящий из Чикаго. Мне ничто не угрожало — вокруг было оживленное движение, сплошной поток людей, слишком взбудораженных и суетливых, чтобы обращать внимание на кого-то, спокойно стоящего в дверях или сидящего на краю тротуара в переулке за станцией. И, как мама и говорила, я действительно ничего не знал о женском сердце, потому что неожиданно из вагона с чемоданом в руке вышла Уинифред Червински. На минуту я потерял ее в облаке паровозного пара, окутавшего платформу, но вот она появилась вновь — в своем темном пальтишке и маленькой шляпке. Безутешное горе отпечаталось на ее милом личике. Я подождал, пока прибывшие пассажиры не разошлись, и приблизился к ней. Боже мой, какой несчастной она выглядела, стоя с чемоданом на опустевшем перроне. По ее лицу катились крупные слезы. Несомненно, она не представляла себе, что делать дальше, куда идти, к кому обратиться. Страшные новости подкосили ее и опустошили. И о чем еще могло свидетельствовать то, что ее потянуло ко мне после моей смерти, как не о том, что она по-настоящему любила меня при жизни. Она казалась такой маленькой и такой с виду обыкновенной — как замечательно было мне одному знать, что под одеждой в ее маленькой груди бьется большое любящее сердце.

Первые несколько мгновений были невыносимы. Мне пришлось усадить ее. Я здесь, Уинифред, все хорошо, повторял я вновь и вновь и обнимал ее содрогающиеся от рыданий плечи.

Видите ли, мне хотелось, чтобы мы вдвоем последовали за мамой в Калифорнию. Я надеялся, что посвященная во все подробности Уинифред согласится стать сообщницей по факту.

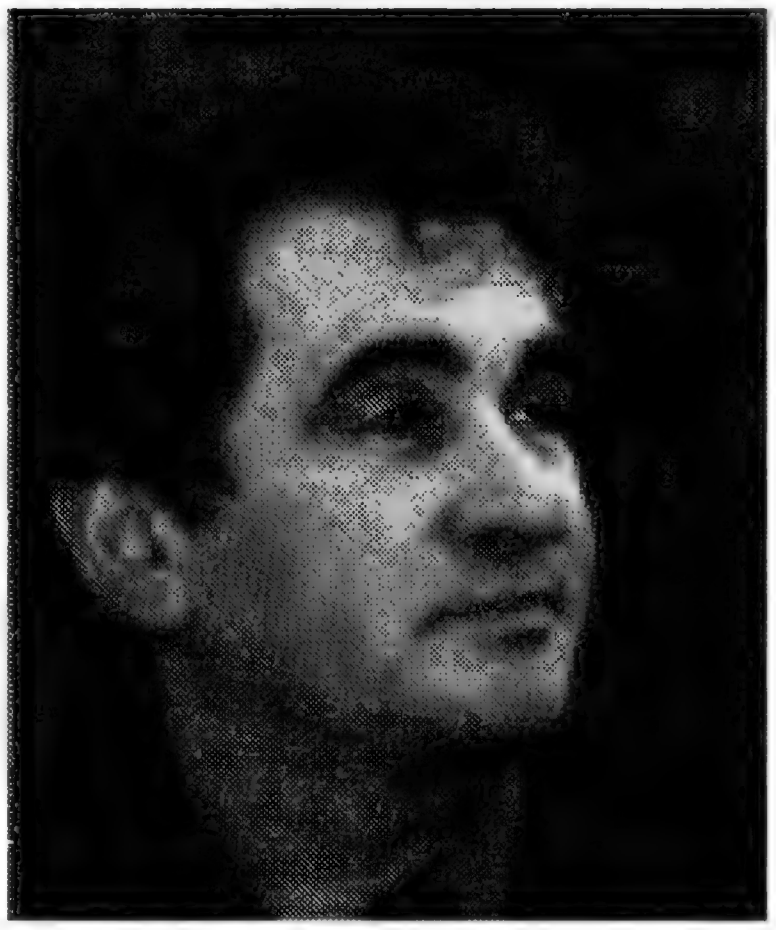
* * *

В основе этого рассказа — история из бульварной газеты. В Чикаго в конце позапрошлого века эмигрантка из Норвегии Белла Паульсон убивала своих родственников, предварительно приобретя страховку на их жизнь. Затем, решив расширить рамки своей деятельности, она отправилась в Ла-Порт, штат Индиана. И по сей день жители Ла-Порта вспоминают о тамошней “ферме смерти”. Мне ка-

залось, вряд ли кто-либо способен столь длительное время совершать такие жестокие преступления — разве что какой-то подсознательный механизм позволял Белле Паульсон расценивать свои поступки как необходимые и нормальные. Подобное криминальное безумие, становящееся прямо-таки мировоззрением, несомненно, должно обладать колоссальной притягательной силой. Мой рассказ написан от лица восемнадцатилетнего Эрли. Конечно, его мать, Дора, — не эмигрантка Белла Паульсон (у которой были дочери и не было сына), и события в рассказе не совпадают с подлинными. На мой взгляд, главное в повествовании — отношения матери и сына, хотя я не уверен, что, задумывая Эрли, хотел рассказать лишь о существовании в недавнем прошлом реальной семейной шайки. Заглавие рассказа несет в себе нечто большее, чем может показаться на первый взгляд, — не в каждом из наших домов все в порядке. И будь этот дом на равнине или в пригороде, он неизбежно видится неотъемлемой частью американского пейзажа.

Э. Л. Доктороу

Бернардо Ачага



Рассказы из книги "Обабакоак"

Перевод с испанского и вступление Надежды Мечтаевой

Имя баскского писателя Бернардо Ачаги русскому читателю, к сожалению, пока еще ничего не говорит, хотя в других странах этот писатель давно и по достоинству оценен. Он лауреат престижных международных премий, его произведения переведены на многие иностранные языки и не раз назывались критиками разных стран лучшими книгами года, а у себя на родине, в Стране Басков, он давно стал классиком.

Бернардо Ачага (литературный псевдоним Йосебы Ирасу Гармендиа) родился в селе Астеасу провинции Гипускоа в 1951 году. В Бильбао получил диплом экономиста, позднее изучал философию в Барселоне.

Отказавшись от перспективного места в банке и перепробовав множество профессий (рабочий типографии, продавец книг, преподаватель баскского языка, редактор на радио), в начале 80-х решил посвятить себя литературе.

Писать он начал еще в двадцать лет — в 1971 году опубликовал рассказ "О чем трудно пишется". В 1976 году вышла его первая повесть "О городе", а в 1978 году — первый сборник стихов "Эфиопия". И рассказ, и повесть, и стихи вызвали большой интерес у читателей и критиков. По мнению исследовательницы творчества Бернардо Ачаги Мари Хосе Оласиреги Алустиса, "Эфиопия" "коренным образом изменила поэтическую панораму эпохи" и (а это уже мнение Йосебы Габилондо из университета штата Невада, США) "определила канон баскской поэзии".

Но подлинная слава пришла к нему после того, как в 1988 году появился на свет сборник рассказов "Обабакоак", удостоенный Премии критики (1988), Национальной премии за лучшее прозаическое произведение (1989), премии Эускади[1] (1989). Эта книга стала началом всемирного признания автора, она была переведена на двадцать шесть языков и получила престижную премию "Три короны атлантических Пиренеев" (1995).

© EDICIONES BSA, 1994
© Н. Мечтаева. Перевод, вступление, 2004

1. Литературная премия в Стране Басков. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

"Можно сказать, что Ачага стал послом, а "Обабакоак" — визитной карточкой баскской литературы на всех пяти континентах", — считает испанский литературовед Хосе Анхель Аскунсе.

"Obabakoak" означает "люди из Обабы" или более точно — "мы, люди из Обабы", или еще точнее — "о нас, людях из Обабы".

Название "Обаба" появлялось уже в нескольких ранних рассказах Ачаги. Это слово взято из колыбельной песни провинции Бискайя. Ачага слышал ее, когда жил в Бильбао. Но самое главное и самое привлекательное для автора в этом слове — звук "б".

"Дети начинают входить в культуру не тогда, когда произносят звук "а", а тогда, когда произносят звук "б", поэтому и "младенец" по-баскски — "obabatxu", по-испански — "bebé" и по-итальянски — "bambino". И большинство предметов, с которыми человек имеет дело в детстве, содержат в названии букву и звук "б". Поэтому и первая буква нашей культуры — это буква "б"... И я решил, что тот географический пункт, который я создам, должен иметь в своем названии букву "б". Вот так и родилось селение под названием Обаба", — рассказывает писатель в "О книге 'Обабакоак'".

Бернардо Ачага создал и заселил Обабу, написал ее историю и мифологию. Обаба — вполне узнаваемое баскское селение, но проблемы, волнующие его жителей, с неменьшей силой волнуют людей в разных уголках земного шара. Наверное, это потому, что, как написал Бернардо Ачага в послесловии к своей книге, "в наши дни уже нелегко найти какие-то национальные особенности. Мир един, и Эускаль Эрриа[1] уже не просто Эускаль Эрриа, а, как сказал бы Селсо Эмилио Феррейро[2], "то место, в котором мир называется Эускаль Эрриа".

Переводя книгу на испанский язык, автор (здесь нужно отметить, что Бернардо Ачага — билингв: он пишет на двух языках — на баскском и на испанском — и переводит свои книги чаще всего сам; кстати сказать, в свое время он пробовал себя и как переводчик: в 1974 году, например, перевел на баскский язык "Робинзона Крузо" Даниэля Дефо) сохранил название, данное им оригиналу на баскском языке и объяснил это так: "Мне нравятся короткие заглавия... Возможные варианты перевода — *В местечке под названием Обаба* или *Люди Обабы* — звучат для меня по-иному, не так как Обабакоак..."

Примеру автора последовали многие переводчики его книг, правда, чаще всего они сопровождали это название пояснениями, содержащими намек на ту или иную идею автора. Так на нидерландском языке книга вышла под названием "Обабакоак, или Игра в гуся": переводчица Иоханна Вюйк-Боздриш, вероятнее всего, имела в виду метафору самого Ачаги, сравнившего (в послесловии к изданию книги на испанском языке) жизнь с очень популярной в Испании настольной игрой в гуся.

А вот переводчица на немецкий язык Джованна Вэккерлин Индуни назвала свою версию "Обабакоак — литературная головоломка", подчеркнув другую особенность этой книги, в которой искушенный читатель уловит и литературную игру, и богатую аллюзивность, и (вообще присущую произведениям Ачаги и не раз отмечаемую критиками) транстекстуальность.

Имена и названия тоже не случайны. Эстебан Верфель — намек на австрийского писателя Франца Верфеля (1890—1945), одного из ярких представителей немецкого экспрессионизма начала XX века. Верфель, как и Франц Кафка, принадлежал Пражской школе. В своих произведениях оба писателя часто затрагивают тему конфликта поколений, которая выступает на первый план в рассказе "Эстебан Верфель".

1. Эускаль Эрриа – Страна Басков.
2. Селсо Эмилио Феррейро (1914–1979) – испанский поэт.

В 1991 году Ачага публикует "Воспоминания одной коровы". Повесть сразу становится хрестоматийной: ее изучают в баскских школах, она есть почти в каждой семье.

Бернардо Ачага часто повторяет, что книги не должны делиться на детские и взрослые, книги должны быть просто хорошие. В одном из интервью он сказал: "Я собирался (не знаю, осуществлю ли это намерение) предпослать повести следующий эпиграф: 'Эта книга написана для серии, предназначенной читателям в возрасте 14—15 лет. Но я, человек НАМНОГО СТАРШЕ, перечитал ее уже трижды'". И подпись: "Автор". В повести переплетаются три линии: рассказ о жизни коровы Мо, рассказ о жизни Полин Бернадетт, к которой в конце концов попадает Мо, и рассказ о событиях, связанных с гражданской войной.

Следующая книга, "Одинокий человек" (1993), закрепила успех предыдущих: Премия критики (1993), номинация на Aristerion e IMPAC (1996), она переведена на пятнадцать языков и названа журналами "Эль Урогальо" и "Элле" лучшей книгой года. Но это уже другая проза, обозначившая поворот писателя к событиям сегодняшнего дня, к тому, что происходит сейчас в Стране Басков, где он живет.

После повести "Эти небеса" (1995) Ачага надолго замолкает.

Молчание было столь длительным, что популярный испанский писатель Энрике Вила-Матас посвятил Ачаге несколько страниц в своей знаменитой книге "Бартлеби и компания" — книге о писателях, отказавшихся писать. "Судя по всему, — говорит Вила-Матас, — Ачага собирается выпустить еще одно произведение и навсегда перестать писать. И этот финал вовсе не представляется ему драматическим. Он даже заявляет, что снова будет зваться Йосебой Ирасу. Меня восхищает ДУХ НЕПОКОРНОСТИ, который чувствуется в его решении. Я вспоминаю слова Камю: "Что значит НЕПОКОРНЫЙ человек? Это человек, который говорит "нет".

В декабре 2003 года в издательстве "Памьела", в Памплоне, вышло то самое "еще одно произведение" Ачаги, оно называется "Сын музыканта".

Сбудутся ли прогнозы Вила-Матаса? Станет ли эта книга последней или будут еще и другие? Это покажет время. Как бы то ни было, все, что Ачага уже написал, — достойный вклад и в баскскую, и в мировую литературу.

Я бы выходила гулять каждый вечер

Говорит Катарина

Я бы выходила гулять каждый вечер, но мне страшно, и я не решаюсь. Иногда я набираюсь храбрости, выхожу из дома и иду в сторону станции, повторяя все время: "Катарина, не будь дурой, ничего, что улица пустынна, ты иди спокойно и не думай о тех случаях, о которых пишут в газетах, потому что газеты всегда преувеличивают и им, похоже, просто нравится рассказывать об убитых женщинах и тому подобном". Но я уже не могу думать ни о чем, кроме тех самых случаев, и поворачиваю назад к дому.

И к тому же как-то стыдно гулять одной. Сосед посоветовал мне купить собаку, потому что тогда, если бы кто-то спросил меня: "Что это вы так поздно гуляете, уже ночь совсем", я могла бы ответить: "Это из-за пса. Не хочу, чтобы этот лентяй весь день бока отлеживал и растолстел, как тюлень". И кроме того, собака бы меня защищала, потому что если бы я купила собаку, то выбрала бы обученную, из тех, что сразу впиваются в шею, — добермана или что-нибудь в этом роде.

Если бы в нашем городе не так часто шли дожди, я бы так и сделала: купила бы собаку. Я назвала бы пса Кларком, и ему бы у меня было очень хорошо: у него всегда был бы на обед рис с мясом и был бы удобный уголок, чтоб отдыхать. Но дни здесь такие дождливые и холодные, что просто невозможно иметь животных. Я не хочу заводить собаку, которая бы потом заболела из-за того, что сидела все время в четырех стенах.

Так что мне не остается ничего другого, как забыть о прогулках и ложиться в постель, но не для того, чтобы спать, а для того, чтобы просто лежать и наслаждаться последними минутами уходящего дня. К тому же я все очень хорошо организовала: сначала проверяю тетради детей, которым даю частные уроки математики, потом включаю радио и читаю журналы, в которых пишут про любовниц Ага Хана и тому подобные истории. Глупые и легковесные истории, но вполне подходят в тех случаях, когда хочешь заставить себя не думать ни о чем серьезном. Позднее, уже часа в два, я берусь за вязание: вяжу свитер, вернее, вяжу и распускаю, потому что я и в этом человек нерешительный и никак не могу выбрать наконец цвет и фасон.

И даже когда заканчиваются все радиопередачи, я все равно нахожу себе занятие — продолжаю вязать или делаю еще что-нибудь, не тороплюсь засыпать: частные уроки я даю по вечерам, так что мне не нужно подниматься рано. Но самое главное — я жду поезд.

Я иногда самой себе не решаюсь в этом признаться, но если уж говорить откровенно, то это правда: я его жду. В конце концов, то, что со мной происходит, — это из-за поезда. Из-за него я перестала спать и все такое прочее.

Поезд проходит через наш город без двадцати пяти четыре. И чем ближе эта минута, тем напряженнее вслушиваюсь я в звуки ночи — в голоса и шумы, к которым уже привыкла и которые поэтому сразу узнаю. Вот, например, последний автобус. Он останавливается на нашем углу чуть позднее трех, и с него сходит последний пассажир — мужчина, который, похоже, очень любит свистеть, потому что всегда свистит, когда проходит под моими окнами, и иногда насвистывает одну и ту же мелодию целую неделю. Потом, примерно в три с четвертью, приходят подметальщики улиц, а в половине четвертого наступает очередь Фанхио. Это я его так прозвала, потому что он проносится по улице на бешеной скорости и, когда он приближается, его мотор яростно ревет, а потом, когда он удаляется на достаточное расстояние, стонет, как больное или раненое животное. Потом проходит еще несколько минут, и наконец появляется поезд.

О его появлении предупреждает железный мост. До этого момента я не могу быть абсолютно уверена, потому что можно ошибиться и перепутать шум поезда с шумом ветра или каким-нибудь другим шумом. А железный мост никогда не ошибается, ему по штату не положено, и к тому же колеса поезда стучат по мосту, как огромные молотки.

Обычно поезд приходит вовремя, без двадцати пяти четыре, но иногда он запаздывает, и тогда я (ничего не могу с собой поделать!) начинаю волноваться. Я вся обращаюсь в слух, считаю секунды и даже встаю, чтобы посмотреть в окно. Однажды его не было до восьми утра, и я плакала: у меня было предчувствие, что произошло крушение. Потом я узнала, что он опоздал из-за осыпания железнодорожного полотна. По крайней мере, так было написано в газете.

В этом поезде двадцать вагонов, и идет он в Гамбург. Не знаю, всегда ли он перевозит один и тот же груз, но в тот раз, когда я на нем ехала, он

вез лошадей. Мне сказали, что лошадей отправляют в Америку, и поэтому разгружаться поезд должен был в порту. Что стало с теми лошадьми? Не знаю и, по правде сказать, не хочу знать. Возможно, в конце того долгого пути их ждал нож мясника.

Въезжая на мост, поезд сбавляет скорость, и начинается самое главное. Именно в эту минуту я зажигаю сигарету, которую держу наготове на тумбочке возле кровати, и начинаю мечтать.

Вначале я представляю себе локомотив и обоих машинистов. Они молчат, каждый думает о своем. Первое время, когда они только начинали работать вместе, им наверняка было что рассказать друг другу, но потом, когда они уже все рассказали о своих семьях и друзьях, им стало все труднее находить темы для разговора. Они могли бы, конечно, поговорить о футболе и других подобных глупостях, только вряд ли они об этом говорят. Тем более в четыре утра, после пяти часов напряженной работы.

Я представляю себе, как они молча смотрят на огоньки пульта управления или на рельсы. По крайней мере, так было в тот день, когда я ехала с ними. Лошади в вагонах ржали не переставая, они были напуганы, и я, правду сказать, тоже боялась сначала, пока не привыкла к скорости и мне не перестало казаться, что один из рельсов вот-вот убежит в сторону. Но даже когда я перестала бояться, я все равно продолжала смотреть вперед — со мной случилось то, что всегда случается со мной, когда я еду на море: я была как загипнотизированная, не могла оторвать взгляд от рельсов, которые то сбегались, то снова разбегались, потому что, когда едешь на поезде со скоростью сто сорок километров в час, рельсы всегда играют в эту игру.

Рельсы — это не единственное, что внушает страх, когда едешь на локомотиве.

Ты вдруг понимаешь, что из темноты в любую секунду может возникнуть другой поезд, который мчится тебе навстречу и может врезаться в тебя. Но машинисты не такие, как я. Они не боятся. Может быть, в первый раз они тоже боялись, но сейчас уже не боятся, они привыкли, и я представляю себе, что они просто молчат и смотрят в окно, равнодушно провожая глазами селения, мимо которых проносятся.

Каждый думает о своем, так я их себе представляю. Один из них женат, и у него двое детей. Он вспоминает о них каждый раз, когда видит свет в окне какого-нибудь дома, потому что свет наводит его на мысль, что в этом доме есть, должно быть, ребенок, который заболел или просто не спит. И ему хочется тут же позвонить жене, чтобы узнать, как там дети, а вдруг они тоже заболели или не могут уснуть, — и скорее всего, именно это он и сделает, как только поезд прибудет в Гамбург: позвонит домой. А если и не позвонит — неважно. Важно, что он вспомнил про свой дом.

Я заканчиваю с первым машинистом и начинаю представлять себе, что делает второй, о чем думает Себастьян. И представляю, что думает он обо мне и что ему очень хочется прийти сюда, в эту комнату, где я сейчас курю, и что он очень огорчен из-за того, что это никак невозможно.

Но я знаю, что обманываю сама себя. Себастьян забыл обо мне. Если бы он обо мне помнил, он дал бы три гудка — короткий-короткий-длинный, — как только поезд проехал бы по железному мосту. Так, как он делал сорок четыре ночи подряд после той нашей поездки, когда отвозили в Гамбург лошадей.

Говорит Мари

Я бы выходила гулять каждый вечер, потому что вечер — это прекрасное время суток, такое же прекрасное, как час сумерек, и раньше в это время мы всегда и выходили на прогулку, все четверо: дедушка, Тоби, Кент и я; закончим все дела до того, как солнце закатится совсем, — и в долину, на прогулку. Дедушка ехал верхом на Кенте, а я брала маленький белый посох — тот, что мне купили на ярмарке, — а Тоби начинал носиться и прыгать, а еще, дурачок такой, лаять на ласточек, а ласточки над ним только смеялись: проносились прямо у него перед носом со свистом — всем ведь известно, что ласточки свистят, когда в сумерки вылетают охотиться на комаров. Ловят комаров и прячут их в крыльях и между перьями. Особенно весной стараются, из-за птенцов, понятное дело, потому что у них обычно большая семья бывает. И когда наступала эта пора, дедушка всегда помогал той семье ласточек, что жила у нас в конюшне: раскрывал птенцам клювы и запихивал туда хлебные крошки, намоченные в молоке, потому что в этом семействе всегда было много ртов — пять птенцов, не меньше, попробуй прокорми всех! У нас в доме постоянно повторяют, что для жизни нужно всего очень много и что наше хозяйство, к примеру, никогда нас не вытащит из нужды, и я, когда закончу школу, не смогу учиться дальше, и это при том, что я в семье одна, но, во-первых, это не важно, а во-вторых, мне всего одиннадцать лет, и пока я школу закончу, еще ой-ой-ой сколько времени пройдет!

Вот так, значит, мы и делали всегда: выходили из дома в час ласточек и медленно-медленно направлялись в сторону долины, и дедушка обычно брал с собой сантиметр, которым пользуется мама, когда шьет, потому что моя мама — портниха и иногда шьет платья, и один раз сшила одно такое очень красное, для учительницы из нашего села, и мне оно очень понравилось, очень-очень, а этому противному Винсенту не понравилось, и он смеялся над этим платьем и говорил, что учительница его купила, потому что влюбилась, и что она в этом платье похожа на помидор в очках, и он даже рисунок такой на доске нарисовал, а учительница потом нас наказала всех.

Ну вот, значит, как я уже говорила, дедушка брал с собой мамин сантиметр, и этим сантиметром он измерял рост растений, и в один день мы измеряли люцерну, а в другой — клевер, и дедушка был уже старый, так что это мне приходилось вставать на коленки и приставлять ноль на сантиметре к тому месту, где растение выходит из земли, а дедушка что-то подсчитывал и говорил: “Можем быть спокойными, Мари. Этот кустик подрос на семь миллиметров со вчерашнего дня. Жизнь продолжается”.

И я очень радовалась, когда дедушка так говорил, и часто даже смеялась. Особенно один раз я очень смеялась, потому что мы были на лугу, где растет эта вкусная трава, которая называется пажитник, и измеряли ее, понятное дело, и тут подходит Кент, вытягивает шею и съедает весь кустик, тот самый, который был у нас отмечен белой ниткой, потому что мы, понятное дело, измеряли одно растение, а потом привязывали к нему белую нитку, чтобы знать, какое растение нужно снова измерять, когда мы придем в следующий раз. И дедушка рассердился на Кента и сказал, что пора бы ему уже научиться уважать чужой труд и что если не научится, то дедушка ему все зубы повышибает. Но дедушка недолго сер-

дился, потому что Кент — конь хороший, очень хороший, и когда мы его ругали, он становился такой печальный-печальный и смотрел на тебя своими большими глазами, и мы ему тогда все прощали.

И вот так мы измеряли растения то тут то там и добирались потихоньку до моста, где жил Гордон. Гордон был летучая мышь, а дедушка говорил, что он птица, только очень нерешительная, и потому летает так странно — зигзагом: всегда меняет направление и в конце концов снова оказывается в том месте, откуда начал полет. И потому он никогда нигде не бывает, даже в церкви никогда не бывает, хотя до нее всего два километра от нашего дома. И была еще одна птица, которая тоже жила около моста, — Артур. Этот Артур был ужасный копуша: летает-летает над полями, а потом, когда уже становится поздно, давай торопиться домой, чтобы успеть до наступления ночи на свое дерево! И дедушка задирал голову и бранил его: "Опять припозднился, Артур! Вечно заставляешь домашних волноваться!"

Артур мне нравился больше, чем Гордон, но и Гордон мне тоже нравился, я к летучим мышам хорошо отношусь, не то что этот противный Винсент, который их просто ненавидит и однажды поймал одну и принес в школу, а потом засунул ей в рот зажженную сигарету, и бедный зверек — летучие мыши ведь не умеют выпускать дым — начал раздуваться и раздуваться, и в конце концов у него лопнул живот и он умер. И он был совсем как Гордон, поэтому я тогда расплакалась, а этот гадкий Винсент надо мной смеялся.

После того как мы переходили через мост, мы обычно поднимались на холм, с которого видны огни села и железная дорога, и тогда дедушка вынимал ужин из корзинки, и сначала я ела вареное яйцо, потом белый хлеб с салом, а на сладкое — яблоко. Обычно за ужином мы молчали, отдыхали, а Тоби и Кент валялись по траве очень довольные, они всегда были очень довольные, особенно когда наступало лето и на дорогах было много людей и ветер дул с юга. И прогулки наши летом становились длиннее, иногда мы не останавливались, пока не доходили до железной дороги, и один раз мы видели там нашу учительницу, и учительница с дедушкой поговорили о звездах, потому что была уже почти ночь, и о том, какая стоит жара, и дедушка посоветовал учительнице остерегаться змей.

Дедушка очень боялся змей, и поэтому в жаркие дни мы выходили на прогулку впятером: брали с собой еще и курицу Франки. С ней, правда, было немного трудно, потому что она не хотела идти впереди, и, понятное дело, если она не идет впереди, то как она будет убивать змей, которые нам могут встретиться?

— Франки! Иди вперед! — кричал ей дедушка.

Но Франки была курица упрямая и совсем его не слушалась, и дедушка ужасно сердился.

— Франки! — кричал он на нее. — Я не затем взял с собой специалиста, чтобы он плелся у нас в хвосте!

Это потому, что дедушка верил, что змеи очень злые и коварные, что они убивают птиц, пугают лошадей, сосут молоко у коров, но с курицей они ничего поделать не могут, потому что куры — специалисты по убиванию змей.

Вот так мы и гуляли впятером прошлым летом: дедушка верхом на Кенте, а я с белым посохом, который мне купили на ярмарке. А потом пришла осень, и мы снова стали гулять вчетвером, потому что змей уже

можно было не бояться и Франки оставалась дома. И мы гуляли и гуляли, до того дня, как учительница повела нас на станцию.

В тот день мы целое утро решали задачи по арифметике и все себя очень хорошо вели, даже Винсент себя хорошо вел, и учительнице это очень понравилось, и она сказала, что в награду у нас не будет последнего урока, а вместо этого мы пойдем на железнодорожную станцию смотреть на лошадей, которых там собрали.

И мы пошли, и я никогда не видела столько лошадей вместе. Их было не меньше чем двести, и было холодно, и от них шел пар, и время от времени то одна, то другая начинала ржать. Я к ним внимательно приглядывалась, смотрела то на одного коня, то на другого и мысленно сравнивала с Кентом, и мне казалось, что ни один из них и сравниться с Кентом не мог.

А потом ко мне подошел Винсент. Понятное дело, этот противный мальчишка нигде меня в покое не оставляет, ни в школе, ни в каком другом месте, и в тот день тоже подошел ко мне и начал болтать глупости про учительницу: что он уже знает, в кого она влюбилась, — в машиниста, в машиниста того поезда, который повезет лошадей, что он это знает потому, что видел, как они целовались, и тут я забыла, что я с ним не разговариваю, и задала ему вопрос:

— А куда этих лошадей повезут?

— Их повезут в Гамбург, — сказал он и засмеялся.

— А зачем их повезут в Гамбург?

— Чтобы погрузить на корабль и отправить в Америку.

— В Америку? — я очень удивилась. Это у меня в голове не умещалось.

И Винсент мне сказал, что, когда я удивляюсь, мне не надо брови поднимать, потому что тогда у меня морщится лоб и я не такая красивая, как всегда. Выдал эту глупость, потом посмотрел на лошадей и сказал:

— В Америку, в Америку. Американцы очень любят конину.

И в тот момент я поняла, что всех этих лошадей отправляли на бойню, что они проделают долгий путь и потом их убьют, и мне стало их очень жалко, и я больше не захотела оставаться на станции. Я вернулась в школу, взяла свой портфель и медленно-медленно пошла домой, и по пути все время останавливалась и собирала сухие листья, потому что была осень, и дорога была усыпана сухими листьями. Через час я пришла домой и увидела, что дедушка сидит на крыльце. И дедушка тоже меня увидел. И он был какой-то странный — опустил голову, даже не поздоровался со мной, только опустил голову. И вдруг я вспомнила про Кента, и про всех тех лошадей на станции, и про то, что мне сказал Винсент. И я бросила портфель на землю и побежала в конюшню. И там был Тоби, и была Франки, но Кента уже не было.

— Вы продали Кента! — закричала я, и дедушка тоже закричал, и отец закричал, и тут я услышала гудок, который подает поезд перед тем, как тронуться.

Поэтому сейчас я не гуляю по вечерам, потому что у нас нет Кента, а дедушка уже очень старый, чтобы гулять без Кента, и раз он остается дома, то и я остаюсь дома, и даже в школу не хожу, потому что и уроков у нас теперь нет: учительница уехала с машинистом поезда и до сих пор не вернулась. И сейчас я ужинаю каждый день на кухне и не знаю, как там люцерна и клевер, как Гордон и Артур, и мне очень горько всякий раз, как подумаю, что Кента съел какой-то американец.

Эстебан Верфель

ПОЧТИ все в кожаных переплетах, в строжайшем порядке расставленные по своим полкам, книги Эстебана Верфеля занимали чуть ли не полностью весь зал: десять или двенадцать тысяч томов, жизнь самого Эстебана и жизнь его отца, теплый уголок, стена, отделявшая его от остального мира, защищавшая его всякий раз, когда он, как и в тот февральский день, садился за письменный стол. Стол — старый дубовый — тоже, как и многие книги, напоминал ему об отце: еще в молодости он перевез этот стол из отчего дома, из Обабы.

В стене из страниц и слов, была, однако, щелка: окно, через которое Эстебан Верфель, когда писал, мог видеть небо, ивы, пруд с домиком для лебедей в главном городском парке. Не нарушая уединения Эстебана, окно давало ему возможность вырваться из темноты книжных полок, смягчало эту темноту, так часто порождающую страх в сердцах людей, которые не научились жить в одиночестве.

Несколько мгновений Эстебан Верфель смотрел на затянутое облаками серо-белое февральское небо. Потом открыл один из ящиков своего письменного стола, вынул оттуда тетрадь в твердом переплете, которая значилась у него под номером двенадцать и была как две капли воды похожа на другие, уже исписанные, одиннадцать тетрадей его дневника.

Красивые тетради в твердых переплетах. Они ему нравились. Не раз ему казалось, что он их портит, записывая в них свои истории и мысли, и что любая тетрадь (а тем паче тетради в твердых переплетах) заслуживает лучшей участи.

Наверное, не следует всерьез задумываться над такими банальными вещами, как тетрадь. Наверное. Но он не мог не думать об этом, а в тот день, когда начинал новую тетрадь, и подавно. И почему он всегда думал о том, о чем не хотел думать? Его отец однажды сказал ему: “Меня беспокоит не то, что у тебя в голове ветер, а то, что этот ветер дует всегда в одну и ту же сторону”. Это была правда, хотя объяснить, почему так, почему он всю жизнь совершал одни и те же глупости, он и сам не мог бы.

Эстебан Верфель не удержался от соблазна и поднял глаза к той полке, где стояли, спрятанные между трактатами по географии, уже исписанные одиннадцать тетрадей — правдивый рассказ о его жизни: о самых прекрасных минутах, которые он пережил, о важных поступках, которые совершил. Но он не смотрел на них как на сокровище. Они для него давно утратили всякий блеск. Перечитывать их было бы все равно что рассматривать листы бумаги, посыпанные пеплом: это было стыдно, это могло вызвать только желание заснуть и обо всем забыть.

— Мертвые письмена, — вздохнул он. Выражение это тоже давно утратило новизну.

Но он не мог позволить, чтобы подобные мысли помешали ему сделать то, ради чего он сел за письменный стол, или чтобы заставили его одну за другой вспоминать и снова переживать печальные минуты его жизни, углубляясь все дальше и дальше, доходя до воспоминаний о той земле, которую он с очень давних времен, когда еще был студентом и изучал географию, называл Мысом Безнадежности. Он был уже зрелым человеком, он умел бороться. Он будет бороться, он заполнит еще одну тетрадь.

Эстебан Верфель взял ручку — деревянную ручку, которой он пользовался только для того, чтобы делать записи в своем дневнике, — и обмакнул перо в чернила.

"17 февраля 1958 года", — написал он. Почерк у него был красивый, каллиграфический.

Небо за окном стало совсем серым, плющ, увивавший лебединый домик на пруду, потемнел от мелкого, почти невидимого дождя. Картина была грустная. Он вздохнул: он предпочел бы другую погоду, ему не нравилось, когда парк был пуст.

Он снова вздохнул, потом снова обмакнул ручку в чернильницу и склонился над тетрадью.

"Я вернулся из Гамбурга, — начал он, — с намерением написать историю своей жизни. Но я не собирался излагать свою жизнь последовательно и в малейших подробностях, как сделал бы это — и, возможно, с полным на то основанием — человек, считающий себя зеркалом эпохи, в которую ему довелось жить, или общества, к которому ему довелось принадлежать. Это не мой случай, и так писать я не буду. Я расскажу лишь об одном очень далеком (мне было тогда четырнадцать лет) дне и о тех последствиях (очень серьезных), какие этот день для меня имел. Не слишком много для человека, жизнь которого уже клонится к закату, и займет рассказ всего несколько часов, но в моей жизни это единственное, о чем стоит рассказать. Впрочем, возможно, это не так уж и мало: я всю жизнь преподаю, а мы, преподаватели, как известно, тяготеем к спокойному образу жизни, и приключений на нашу долю выпадает мало".

Он распрямил спину: нужно было подождать, пока высохнут чернила. День за окном был все такой же серый, только дождь усилился, и он отчетливо мог слышать его шум — глухой шелест падающих в траву капель.

На пруду и вокруг него тоже кое-что изменилось: лебеди покинули свой домик и яростно били по воде крыльями. Он никогда не видел, чтобы лебеди так себя вели. Им нравилось мокнуть под дождем? Или они радовались отсутствию вокруг них зевак? Он этого не знал, и у него не было времени искать ответы на глупые вопросы. Лучше было перечитать уже написанное.

Начало ему никогда не удавалось. Слова отказывались точно передавать тот смысл, который он пытался в них вложить, словно у них не хватало на то сил или им было лень. Его отец часто повторял: "Наши мысли — песок, и, когда мы пытаемся захватить горсть этого песка, бóльшая часть песчинок просыпается у нас между пальцев". И это было правдой. Например, он заявлял, что собирается писать историю жизни, хотя скорее следовало бы говорить о размышлениях, потому что сделать он собирался именно так: взять за основу то, что случилось когда-то, в дни его юности, и порассуждать на эту тему.

Можно было бы зачеркнуть написанное и начать заново, но он не хотел. Это было против его правил. Ему нравилось, чтобы страницы (исписанные кем угодно, не только им самим) выглядели безупречно, и он гордился тем, что за это пристрастие ученики наградили его прозвищем — названием известного сорта мыла. Кроме того, к чему заботиться о хорошем начале? В новом варианте тоже обнаружится какой-нибудь недочет. Недочетов все равно не избежать. Так что лучше уж продолжать, уточняя, исправляя постепенно неудачное начало.

Он снова посмотрел в окно. Лебедей на пруду уже не было: спрятались в свой домик. Нет, им тоже не нравился февральский дождь.

"Как бы то ни было, — продолжал он, — попытка выделить из событий нашей жизни какие-то особые моменты сама по себе ошибочна. Возможно, жизнь следует оценивать только в целом, *in extenso*[1], а не по кусочкам, и нельзя брать один день и не брать другой, нельзя разделять годы (как нельзя разделять фрагменты в головоломке) и говорить, что вот этот был хороший, а вот тот — плохой. Мы живем как река течет: не прерываясь, не останавливаясь.

Но, с другой стороны, нельзя не принимать во внимание и почти-противоположную особенность нашей памяти. Ей, как и всякому хорошему свидетелю, милы моменты конкретные, ей нравится выбирать. Чтобы с чем-то ее сравнить, я сказал бы, что она работает, как глаз. И никогда не действует как счетовод, специализирующийся на инвентаризации.

Вот, например, сейчас я могу видеть домик для лебедей в парке — увитый плющом, сам по себе темный, а в дождливые дни, такие, как сегодняшний, тем более. Я могу видеть этот домик, но, строго говоря, я его никогда не вижу: всякий раз, когда я поднимаю глаза, мой взгляд скользит по монотонной зелени листьев и не задерживается, пока не натыкается на красное пятно на одном из углов крыши. Я даже не знаю, что это за пятно, — возможно, клочок бумаги, или примула, которой вздумалось там расцвести, или кусок черепицы, проглядывающий сквозь плющ. Что бы это ни было, глазам моим все равно — среди темноты они ищут светлое пятно".

Эстебан Верфель нашел глазами красное пятно. Однако так и не смог понять, что это такое. То могла быть и примула, и клочок бумаги, и кусок черепицы. Но, в конце концов, не важно. Выражение "нашей памяти нравится выбирать" — неточное. Дело не во вкусах. Речь идет о необходимости.

"Так устроен глаз, — продолжал он, — и так же, если моя идея верна, устроена память: забывает дни ничем не примечательные и ищет свет — чем-то отмеченные дни, напряженные моменты, — ищет, как в моем случае, день из далекого-далекого прошлого.

Но довольно рассуждений. Пришло время приступить к рассказу".

Эстебан Верфель завершил первую страницу и с облегчением поставил точку. Готово. Вступление к той истории, которую он хотел рассказать, написано. Он и сам не мог бы объяснить, почему так поступает, почему сначала всегда долго ходит вокруг да около, но это было для него очень характерно. Он во всем был такой — никогда не приступал прямо к делу: и когда писал, и когда говорил — не был до конца искренним с людьми, которые его окружали. Он давно уже смирился со своим недостатком — со своей робостью, со своей трусостью, но ему было больно думать о том, сколько возможностей он из-за этого упустил. Так и прожил всю жизнь — молча, пассивно, замкнувшись в себе.

Но он отклонился от темы. Сейчас речь шла не о том, как он жил, а о том, как он писал. И в конце концов, не так уж и важно, приступает он к делу прямо или сначала долго ходит кругами: никто никогда его днев-

1. Полностью (*лат.*).

ник читать не будет. Иногда он фантазировал: представлял себе своего читателя, сидящего, уже после его смерти, за этим самым столом и читающего его тетради, но в эти фантазии он и сам не верил. Никакого читателя не будет, и смешно беспокоиться о стиле.

Опуская перо в чернильницу, он снова посмотрел на парк. Под дождем, без прогуливающихся вокруг пруда посетителей, парк выглядел как никогда пустынным. Ручейки шелестели в траве, журчали, перекатываясь по гальке дорожек.

"*Hic inscripit*, — написал он, — здесь начинается рассказ о том дне, когда меня впервые в жизни привели в церковь. Мне было четырнадцать лет, и мы с отцом жили очень далеко отсюда — место, где мы тогда жили, называлось Обаба.

Было воскресенье, и мы со школьными товарищами собирались пойти в кинотеатр, который построили в нескольких километрах от Обабы, возле железной дороги. Но мои друзья, впервые нарушив правила, появились в нашем доме намного раньше назначенного часа. И как только я открыл им дверь, обратились ко мне с совершенно неожиданной просьбой.

— Пожалуйста, — сказали они, — пойдем сегодня с нами в церковь петь псалмы. Попроси инженера Верфеля, чтобы он тебя отпустил. Скажи ему, что для того, чтобы петь псалмы, не нужно быть верующим.

Очень странно они себя вели. Очень дерзко. Именно дерзко, потому что в Обабе ходить в гости, то есть смотреть на чужой дом изнутри, почиталось неприличным, все равно что глазеть на человека, который раздевается догола. Кроме того, мой отец был иностранцем, чужим, врагом, и все знали, как он ненавидел церковь и религию.

Сейчас я уверен, что эта идея пришла в голову местному канонику, недаром он был из иезуитов. С его точки зрения, нужно было немедленно спасать душу ребенка, который, оставшись без матери (она умерла вскоре после моего рождения), попал в полную зависимость от ужасного человека, способного и сына своего ввергнуть в ту же бездну, в которой уже давно пребывал сам. Каноник, должно быть, полагал, что лучший способ привлечь меня к церкви — это прибегнуть к помощи моих друзей.

Мой отец и каноник друг друга ненавидели, но не только в силу разницы в воззрениях (инженер Верфель, как только вступил в должность управляющего шахтами Обабы, проявил себя ярым богоборцем): была еще одна, особая причина, и этой причиной был я. Выражаясь словами одного из моих учителей, я "не был плодом законного брака". Дело в том, что мои родители жили в гражданском браке, что в те времена и в тех местах было совершенно недопустимо. Но это другая история, не для этой тетради".

Парк по-прежнему казался покинутым, и деревья, еще не знающие о скором приходе весны, выглядели унылыми и утомленными.

Он оторвал взгляд от окна и перечитал написанное. Нет, история его родителей не для этой тетради. Возможно, для следующей, тринадцатой. И это должна быть прежде всего история молодой женщины, которая решается на то, чтобы жить с иностранцем, из-за чего становится жертвой клеветы и подвергается остракизму. "Твоя мать спала со всеми

подряд", "Твоя мать не носила нижнего белья", "Твоя мать умерла молодой в наказание за все свои грехи", — ему до сих пор больно вспоминать эти фразы, не раз слышанные им в Обабе во время школьных перемен.

Он еще не знал, станет ли когда-нибудь писать тринадцатую тетрадь, но знал, что если станет ее писать, то это будет нелегко. Как бы то ни было, история его родителей — дело будущего. Сейчас он пишет другую историю, ту, что привез из поездки в Гамбург.

Эстебан Верфель склонился над столом. Он снова перенесся мыслями в тот вечер, когда к нему неожиданно явились его школьные товарищи.

"Увидев, в какое изумление привела меня их просьба, мои друзья — ни словом не обмолвившись о канонике — принялись довольно неубедительно объяснять мне ее причину. По их словам, правильнее было бы проводить воскресенье всем вместе, иначе теряется много времени, потому что иногда они кончают петь на десять-пятнадцать минут раньше и могли бы использовать эти драгоценные минуты, чтобы вовремя добраться до кино, но никогда не могут этими минутами воспользоваться по моей вине, разумеется: я же их друг, и они вынуждены меня ждать.

— И всегда приходим, когда фильм уже начался, — подвел итог один из них, — и мне кажется, что это просто глупость: проехать пять километров на велосипеде, чтобы потом сидеть и ничего не понимать. Так что лучше нам в воскресенье быть весь день вместе.

Доводы звучали, как я уже сказал, неубедительно, потому что чаще всего было наоборот: служба длилась дольше положенного. Но я не стал спорить. В глубине души я хотел побывать в церкви. И не только потому, что это было запретное для меня (и оттого желанное) место, но и потому, что я хотел быть нормальным, хотел быть как все. Мы с отцом были единственными в Обабе, кто ни разу не переступал порог этого здания, а мне ведь было всего четырнадцать лет, и мне очень не хотелось, чтобы на меня показывали пальцем.

Так что предложение отвечало моим желаниям, и я не стал спорить, а просто показал на дверь, ведущую в библиотеку. Там был мой отец. Это у него они должны были просить разрешения. Я? Нет, я не смею. Лучше вы.

Я никак не ожидал, что отец даст согласие, что именно в то воскресенье он поступит вопреки тем принципам, которые отстаивал всю жизнь.

— Пусть идет, если хочет, — услышал я и сначала удивился, а потом испугался, как если бы в одну секунду все оконные стекла разлетелись в мелкие осколки. Почему он согласился? Ни одно объяснение не приходило мне в голову".

Один из лебедей отчаянно кричал возле своего домика, казалось, он бранил дождь, который все лил и лил, прибивая к земле траву, заполняя водой все углубления, какие только находил, образуя все более глубокие лужи и угрожая превратить весь парк в большое болото.

Эстебан Верфель положил обе ладони на тетрадь. Нет, в четырнадцать лет он не мог понять своего отца, потому что в то время смотрел на него не своими глазами, а глазами других людей, тех, кто (это он понял

намного позднее) были заклятыми врагами инженера Верфеля. В Обабе говорили, что он заносчивый гордец, что с ним невозможно иметь дело, и то же самое думал Эстебан. Говорили — он слышал это от одной девочки, с которой они вместе играли на площади, — что его отец жестокий, что бьет шахтеров кнутом, а он улыбался и утвердительно кивал. Он принимал этот образ, потому что другого не было. Кто был его отец? Он был его отец. А еще кто? А больше никто. А, да: он был еще горный инженер.

Но те времена давно позади. Он больше не подросток, а зрелый мужчина. И сейчас ему кажется, что он понимает, почему инженер Верфель уступил просьбе его друзей.

— Он просто устал, — вздохнул Эстебан. Дождь начинал ему нравиться, он помогал вспоминать.

Инженер Верфель устал, он жалел, что покинул родной Гамбург и приехал в те места, где его идеи казались смешными. Вначале он мечтал вернуться: "Мы вернемся, Эстебан, и ты будешь учиться в том же университете, где учился я", — сколько раз в детстве он слышал эти слова! Но потом дела пошли плохо. Сначала в один прекрасный день закрылась шахта, потом упали в цене акции, почти разорив его, потом пришло письмо из Гамбурга, от старого друга Теодора Штайнера, в котором тот сообщал, что "Клуб Айхендорф" — ассоциация, к которой они оба принадлежали, — запрещен в Германии, что его идеи сейчас преследовались и на его родине.

К тому времени, когда Эстебану исполнилось четырнадцать, отец уже покорился судьбе: он умрет в Обабе, он никогда не вернется в Германию, его сын не будет учиться в немецком университете. Так что отказ от борьбы за то, чтобы прививать сыну свои идеалы, был вполне естественным. "Пусть идет, если хочет". Было уже все равно. Битва была проиграна.

Лебедь возле домика снова закричал, и на этот раз его поддержали остальные, те, что были внутри. Их гвалт отвлек его от воспоминаний.

— Да замолчите вы! — крикнул он.

Почему он был таким гордецом? — задал себе вопрос Эстебан. Он не хотел терять нить, соединявшую его в эти минуты с отцом.

Если бы инженер Верфель был проще, его жизнь в Обабе сложилась бы по-другому. Или если бы он был умнее. Быть умным — значит уметь приспосабливаться к любым обстоятельствам. Жизнь того, кто умеет приспосабливаться, никогда не будет адом, он всегда будет счастлив. Что хорошего принесли отцу книги, знания, идеи? Помогли ему прийти к полному краху. "Только ничтожества приспосабливаются к жизни", — часто повторял отец. Но сейчас Эстебан с ним не согласился бы. Как не соглашался со старой максимой, объединявшей знание и страдание, утверждавшей, что, чем больше знает человек, тем больше он страдает. Он тоже повторял ее своим ученикам, но знал, что делать это можно, только когда они на первых ступенях лестницы, ведущей к вершинам знания. Потом обязательным условием будет победа над страданием.

Лебеди наконец успокоились. Эстебан Верфель снова обмакнул перо в чернильницу и начал заполнять своим каллиграфическим почерком новую страницу. Он решил записать свои размышления.

"Даже в критических ситуациях есть моменты, когда прекращение сопротивления представляется блаженством. Так потерпевший кораблекрушение всегда в конце концов примиряется с морем, даже если он изнемог, пытаясь спасти свой корабль, а потом всю ночь сра-

жался с волнами, совершенно один под звездами, окруженный только рыбами. Неважно, сколько времени он боролся, неважно, насколько дорога ему жизнь, которую он теряет, — финал всегда сладок. Он понимает, что силы его иссякли, знает, что никто не придет на помощь, что, сколько ни смотри, не увидишь никакого берега, — и смиряется, дает себе отдохнуть, отдается морю, как ребенок, который хочет только одного: спать.

Но мой отец был слишком горд. Да, он потерпел крушение, и у него не оставалось иного выхода, как смириться с этим, но он не смирялся со своим поражением, не желал сладкого конца. "Пусть идет, если хочет", — ответил он резко и заперся в библиотеке, "*единственном в Обабе месте, которое ему нравилось*". Когда я постучал, чтобы попросить у него денег на кино, он молча просунул монету под дверь. Сейчас мне стыдно за ту радость, которую я тогда испытал.

Когда я добыл деньги, мы гурьбой вывалились на улицу, толкаясь так же, как после разрешения учителя выйти из класса, и зашагали, ведя велосипеды за руль, по круто поднимавшейся вверх улице, которую в Обабе прозвали "Улица Каноников".

Был холодный весенний день с затянутым облаками небом и порывистым ветром, и придорожные кюветы были полны воды. В тех местах, где вода, переполнив канавы, выплескивалась на дорогу, земля была белой от лепестков принесенного водой яблоневого цвета. Мы шли по ним, как по белому ковру.

Шагали мы быстро, хотя нам приходилось толкать велосипеды, которые, как говорил мой друг Андрес, всегда весят больше, когда нужно подниматься в гору. На самом верху горы, в конце улицы, виднелась остроконечная башня церкви.

Мы были охвачены радостным возбуждением. Мы смеялись не переставая и звонили в велосипедные звонки, сравнивая их звучание. "Ты рад, Эстебан?" — и я говорил, что, конечно, я очень рад, что это для меня большое событие, что мне будет очень интересно. "Ты волнуешься? Волнуешься немного?" — и я отвечал, что нет, что не волнуюсь. Но на самом деле я волновался все больше и больше. Заветная минута приближалась. Как сказал бы мой отец, скоро я окажусь на Другой Стороне.

Через миг я впервые в жизни переступал порог церкви.

Дверь была огромная и очень тяжелая, и, чтобы открыть ее, мне пришлось навалиться всем телом.

— Прежде чем войти, надо перекреститься, — сказал мне Андрес. Я ответил, что не знаю, как это делается. Тогда он обмакнул в чашу у входа свои пальцы, смочил ими мои и, взяв мою руку в свою, перекрестил меня.

— Как здесь темно, — воскликнул я, едва оказавшись внутри. После улицы полумрак церкви ослепил меня, и я не различал даже центральный проход, начинавшийся прямо передо мной.

— Говори тише, — попросили мои друзья, обгоняя меня.

Далеко впереди, где, как я полагал, кончался проход, горела большая свеча. Я сделал несколько шагов в том направлении, но потом снова остановился. Я не знал, куда нужно идти, а мои товарищи куда-то исчезли.

Я не отрывал взгляда от свечи в конце прохода, но постепенно глаза мои привыкли к темноте, и я начал различать и другие вещи, например витражи голубого стекла и золотые отблески, которые огромная свеча бросала на ближайшую к ней колонну. Двинуться вперед я не решался.

— Не бойся, Эстебан, это я, — произнес голос за моей спиной. Я вздрогнул, но не успел ни вскрикнуть, ни обернуться, как худая костлявая рука обняла меня за плечи. Это был каноник.

— Пойдем, Эстебан. Не бойся, — повторил он, приближая ко мне свое лицо. От одежды его пахло странно. — Огонь этой свечи никогда не гаснет, Эстебан, — прошептал он, указывая вперед свободной рукой. — Когда свеча догорает, мы зажигаем новую от предыдущей. Подумай, что это означает, Эстебан. Как ты думаешь, что это означает?

Я был слишком напуган, я был не в состоянии думать, и мне становилось стыдно всякий раз, когда каноник произносил мое имя. Я молчал.

— Это означает, — начал он, — что свет, который мы с тобой видим сейчас, — тот же самый свет, который видели наши деды, и деды наших дедов. Это тот же свет, на который смотрели все наши предки. Сотни лет этот дом объединяет нас всех — тех, кто живет сейчас, и тех, кто жил раньше. Это и есть Церковь, Эстебан. Вневременная общность людей.

Такое объяснение шло вразрез с моим жизненным опытом: церковь не только объединяла, она и разъединяла, и мое присутствие в ней сейчас было тому подтверждением. Но я не возразил канонику. На самом деле я чувствовал себя униженным, словно то, что я не принадлежал к этой общности, было недостатком или грязным пятном. Я весь покрылся холодным потом.

Каноник, улыбаясь, сказал мне, что до начала службы есть еще несколько минут и я, если хочу, могу осмотреть алтарь и всю церковь. Он повернулся и направился к боковой двери, ведущей на хоры. Шуршание его одежды я слышал и после того, как он исчез из вида.

Иногда нам кажется, что предметы бывают большими или маленькими сами по себе, мы не всегда осознаем, что размер определяется соотношением с размерами других предметов. Но дело именно в соотношении, и именно поэтому я сейчас могу сказать, что никогда прежде я не видел такого огромного помещения, как церковь в Обабе. Она была в сто раз больше школы, в тысячу раз больше моей комнаты. Кроме того, полумрак раздвигал стены и возвышал своды, и все казалось намного большим, чем было в действительности.

В одной из книжек с картинками, которые я в то время читал, рассказывалось о приключениях участников экспедиции, провалившихся внутрь полой горы, и помещение, где я сейчас оказался, вызывало у меня ассоциации с иллюстрациями из той книжки. Сходство было не только внешнее: как и герои той истории, я начинал задыхаться. Я продолжал идти по проходу, но мне казалось, что я задохнусь, не дойдя до алтаря со свечой. Я увидел пожилую женщину в черном, которая прошла в глубь алтаря и подняла какой-то рычаг. И вдруг вся церковь осветилась.

Мне сразу стало лучше, я задышал легче. Это не полая гора, подумал я с облегчением. Это больше похоже на то, о чем рассказывал

мне отец, — он там не раз бывал, когда жил в Гамбурге, — на здание, в котором поют оперы и которое называется театр.

Воспоминания моего отца чаще всего были связаны с театром, и я знал наизусть либретто и хореографию всех постановок, которые он когда-то смотрел в Оперном театре на Бушштрассе, так же как и множество анекдотов об актерах и актрисах того времени. Сходство между театром, каким я представлял его себе по рассказам отца, и тем местом, где я сейчас находился, было очевидным. Да, церковь была театром: с большой сценой в центре, с картинами, изображавшими бородатых мужчин, со стульями и скамьями для публики. И все было покрыто позолотой, все сверкало.

Музыкальный звук, низкий, слегка дрожащий, раздался под сводами церкви. Я обернулся и увидел стоящих на коленях женщин. Их было не меньше двадцати, они беззвучно двигали губами и пристально смотрели на меня. Под этими взглядами я побежал к двери, за которой скрылся каноник. Через мгновение я уже поднимался по лестнице туда, где были мои товарищи".

Эстебан Верфель устал. Он положил ручку и поднял глаза. Он смотрел в окно невидящим взглядом, не замечая ничего, не слыша гомона лебедей, и думал, имело ли смысл писать двенадцатую тетрадь. К чему вспоминать? Зачем ворошить прошлое?

"Только молодые любят вспоминать", — думал он. Но когда молодые говорят о прошлом, то на самом деле они говорят о будущем: о надеждах, которые с ним связывают, и страхе, который перед ним испытывают, о том, чего хотят от жизни. И кроме того, никогда не делают этого в одиночестве, как он сейчас. Он никак не мог понять, почему им так нравится вспоминать, и это, наверное, было тревожным сигналом, означавшим, что все уже кончилось, что больше он не хочет жить.

Он тряхнул головой, словно хотел отогнать дурные мысли, и наконец увидел то, что происходило за окном: какой-то человек, прячась от дождя, пристроился под крышей домика и бросал лебедям хлебные крошки. Лебеди носились за ними по всему пруду и гоготали как сумасшедшие. "Сегодня в парке никто не гуляет, и они голодные, — подумал он. — Но вернемся на хоры".

"Как только я поднялся на хоры, каноник, сидевший за органом, встал со своей скамейки и протянул ко мне руки.

— Маленький Верфель наконец-то вместе с нами. Возрадуемся и возблагодарим Бога, — произнес он почти нежно, потом сложил ладони и принялся громко молиться. Мои товарищи последовали его примеру.

— Добро пожаловать, Эстебан. С этой минуты ты один из нас, один из избранных, — обратился потом каноник ко мне. Мои товарищи смотрели на меня так, будто видели в первый раз.

Андрес раздал сборники псалмов. Мне он дал почти новенький экземпляр.

— Не тушуйся, Эстебан. Придешь сюда с нами пару раз и будешь петь, как мы. Даже лучше нас, я уверен, — шепнул мне он. Книга была с золотым обрезом, листы в ней были тонкие, страница с псалмами, которые нужно было петь в тот день, была заложена красной ленточкой.

Когда каноник пригласил меня сесть рядом с ним, мои товарищи посмотрели на меня очень внимательно. Я медлил. Я понимал, что удостоился особой привилегии, но не хотел слишком приближаться к канонику: я помнил тот неприятный запах, что исходил от его одежды.

— Не бойся, Эстебан, садись рядом, — повторил приглашение каноник и начал играть. Деревянный настил хоров начал слегка вибрировать. Меня удивило, что у органа было две клавиатуры и что играть на нем нужно было не только руками, но и ногами. Иногда капризная мелодия требовала брать подряд то очень низкие, то очень высокие ноты, и тогда казалось, что каноник танцует сидя. Он подпрыгивал, изгибался и толкал меня, так что я никак не мог сосредоточиться и мне было очень трудно петь.

На третьем псалме я уже закрыл книгу и просто сидел и смотрел на то, что происходило вокруг меня: на моих товарищей, которые то открывали, то закрывали рты, на коленопреклоненных женщин внизу, на свечу вдали, бросавшую вокруг оранжеватые отблески.

Вдруг язычок огня стал подниматься. Вначале мне показалось, что он поднимается сам по себе, словно вдруг оторвался от свечи и полетел, но потом, когда огонек находился уже над ступенями, ведущими в алтарь, я увидел, что перемещался он не сам по себе, что его несла в ладони белокурая девочка-подросток. Это она летела, плавно, почти паря в воздухе.

"Она летит ко мне", — подумал я. Огонь в ее руке слепил меня.

Девочка пролетела через всю церковь и остановилась передо мной: замерла в воздухе метрах в двух от хоров. Орган онемел.

— Ты знаешь, что такое любовь, Эстебан? — нежно спросила меня девочка.

Я только утвердительно кивнул и попытался подняться со скамейки, чтобы разглядеть ее лицо, но свет огня, который она держала в ладони, не давал мне пошевелиться.

— Ты мог бы полюбить меня? — задала она новый вопрос, и я на миг смог увидеть ее нос и слегка приоткрытые губы.

— Да, — ответил я. Мне казалось, что это единственно возможный ответ.

— Тогда отыщи меня, Эстебан. Приезжай в Гамбург. Улица Йохамесхольф, два. Мария Фокель.

Сказав это, она развернулась и полетела в сторону алтаря.

Я закричал, что да, да, что я отправлюсь в Гамбург и отыщу ее, только пусть она не покидает меня, пусть останется еще немного.

— Все в порядке, Эстебан, все в порядке, успокойся, — услышал я затем. Я лежал на полу, надо мной склонился каноник. Андрес махал над моим лицом листом с нотами псалма.

— Мария Фокель! — воскликнул я.

— Успокойся, Эстебан. Ты просто упал в обморок, — ласково сказал каноник и попросил Андреса вывести меня на улицу и погулять со мной, пока я окончательно не приду в себя.

— Лучше тебе не ходить сегодня в кино, Эстебан, лучше поберечься, — дал он мне совет на прощанье. — Ты ведь не пойдешь, правда?

Но я мог думать только о белокурой девочке. И у меня не было сил ответить.

Андрес ответил за меня:

— Он не пойдет, сеньор, и я тоже не пойду. Останусь с ним на всякий случай, — пообещал он.

Каноник сказал, что очень хорошо, и вернулся на скамейку перед органом. Нужно было продолжать службу.

На улице мне стало лучше, в голове у меня прояснилось. Очень скоро образ белокурой девочки начал блекнуть и стираться из памяти, как стираются из памяти сны, как исчезают пылинки, едва погаснет или переместится солнечный луч. Но рядом был Андрес, мой школьный товарищ, и благодаря ему случившееся со мной на хорах не исчезло из моей памяти окончательно. Андрес был года на два-три старше меня, и его очень волновало все связанное с девочками, так что забыть женское имя он не мог.

— Кто такая Мария Фокель? — спросил он.

И как только я услышал это имя, я все вспомнил. Я снова увидел летящую девочку, услышал вопросы, которые она мне задавала. Я рассказал все Андресу.

— Как жалко, что ты не разглядел лица, — сокрушался Андрес. Он очень переживал, что в портрете девочки отсутствовала именно эта деталь.

— Только нос и губы. Но думаю, что она красивее всех девочек в Обабе, — я сказал то, что думал, с горячностью четырнадцати лет.

— Не думаю, что она красивее девушки из бара, — насупился Андрес.

— Извини, я не хотел тебя обидеть. — Я забыл, что у Андреса были свои представления о женской красоте. С его точки зрения (она уже в то время казалась мне довольно глупой), ни одна женщина не могла сравниться с официанткой, сердце которой он пытался завоевать. Все свое свободное время он тратил на то, чтобы раздобыть денег, которые потом, в субботу вечером, позволили бы ему провести несколько часов, пристроившись со стаканом в руке у стойки бара, где он пил и страдал, потому что она, как и следовало ожидать, говорила с кем угодно, только не с ним.

— Прости меня, — еще раз попросил я. Я не хотел, чтобы он уходил. Мне необходим был собеседник.

— Хорошо, — сдался он.

— Погуляем? — предложил я. Мне не хотелось сразу идти домой, мне нужно было время, чтобы привести в порядок обуревавшие меня чувства.

— Может, на велосипеде покатаемся?

— Давай лучше пешком? Мне нужно о многом поразмыслить.

Мы пошли по тропе, которая начиналась от церкви и огибала долину, в которой сливались все три маленькие речки Обабы. Тропа была узкой, идти по ней вдвоем, да еще с велосипедами, было трудно, но с нее открывался замечательный вид: зеленая долина, усеянная белыми домиками, — редкий юноша не воспоет подобный пейзаж в своих первых стихах.

— Эта долина кажется игрушечной, — сказал я.

— Да, правда, — не очень уверенно поддержал меня Андрес.

— Она похожа на вертеп, который вы ставите на Рождество, — добавил я, останавливаясь. Мной овладевала эйфория. Видение, явившееся мне на хорах, опьянило мое сердце".

Дождь наконец перестал, и лебеди воспользовались этим, чтобы выйти в поисках крошек на берег пруда. Добрый прохожий, кормивший их под дождем, теперь удалялся по центральной дорожке парка в сторону города, зажав под мышкой сложенную холщовую сумку из-под хлеба.

Небо посветлело, все вокруг изменилось. Эстебан Верфель отложил тетрадь, встал и подошел к окну. "Какими же мы были юными!" — вздохнул он, снова вспоминая свой тогдашний разговор с Андресом.

Он был тогда совсем юным и мучительно переживал разговоры о своем отце, инженере Верфеле, и о матери. Он искал в иллюстрированных книжках заботу и ласку, которых не давали ему ни школа, ни улица, и сердце его было маленьким Мысом Безнадежности и благодатной почвой для фантазий, таких, как Мария Фокель. Он хотел верить, что та белокурая девочка существовала на самом деле, хотел верить ее словам. Ну и что, что она явилась ему таким необычным образом? Разве не так же (или почти так же) являлись героини романов, которые он читал?

Даже по прошествии стольких лет Эстебан Верфель вспоминал Марию Фокель как свою первую любовь. В тот день, шагая по тропе, огибавшей маленькую долину, он был таким же романтичным мечтателем, как и Андрес. Ему казалось, что он, впервые в жизни, понимал те чувства, которые его друг испытывал к официантке из бара.

— Ты хотя бы можешь ее видеть. Я не увижу ее никогда.

Вспоминая те свои слова, он улыбнулся. Это было смешно, как и почти все, что он в те дни записывал в свой дневник. Но отказываться от своего прошлого тоже смешно.

— А почему бы тебе не поехать в Гамбург? Ведь твой отец оттуда, — рассудил Андрес. Его волновали детали, а не тот факт, что девочка мне привиделась, — в этом, как раз, он не находил ничего странного. Он слышал, что влюбленные, для того чтобы встречаться, прибегали и к гораздо более странным способам: превращались в сов, например. Если Мария Фокель поступила так, как она поступила, у нее были на то основания.

Отвлекшись на минуту от своих воспоминаний, Эстебан Верфель открыл окно и выглянул в парк. Небо все больше прояснялось, и поздние посетители прогуливали своих собак или кормили лебедей.

На другом берегу пруда мальчишки играли в футбол.

"В любом случае, — думал он, опираясь локтями на подоконник и возвращаясь к воспоминаниям о том дне, — Андрес не был исключением: жители Обабы на удивление легко принимали странные явления. Отец над ними смеялся".

"Они тупы и необразованны, Эстебан", — не раз говорил ему отец и всякий раз приводил какой-нибудь забавный пример.

Но ему эти примеры не нравились, он считал, что его отец несправедлив к жителям Обабы, что он их презирает, не имея на это никакого права.

"Но как бы то ни было, я тоже был Верфель, — продолжал он, закрывая окно и возвращаясь к столу, — а потому, как бы ни хотелось мне верить в реальность того видения, мозг мой верить в это отказывался: речь шла о жизни, а не о романе, и верить в то, что все это случилось со мной на самом деле, было смешно. Никакой Марии Фокель не существовало, она никогда не жила в доме номер два по улице Йохамесхольф".

Эстебан Верфель закрыл глаза и увидел себя четырнадцатилетним подростком, шагающим по дороге к дому и повторяющим самому себе, что голова его забита историями, случившимися в Гамбурге, именами певиц и актрис и что это оттуда взяты слова, слышанные им в церкви на хорах.

Перед тем как снова начать писать, он сосчитал, сколько чистых страниц осталось в тетради. Оставалось еще много, достаточно для того, чтобы поддержать в нем желание закончить начатую историю. Если он закончит быстро, то у него еще будет время выйти в парк, туда, где мальчишки играют в футбол, и посмотреть, чем закончится матч. Но он отогнал соблазнительную мысль: историю нужно было рассказать со всеми подробностями, так, как он решил рассказать ее после своего возвращения из Гамбурга. Он снова обмакнул ручку в чернильницу и в последний раз взглянул в окно. Возле пруда ребенок махал зонтом, пугая лебедей.

"— Почему ты так рано вернулся? — спросил меня отец, как только я вошел.

— Мы не пошли в кино.

— Почему?

— Потому что я упал в обморок в церкви, — покраснев, признался я.

Я увидел, как испугался отец, и торопливо начал объяснять, что ничего страшного, что всему виной темнота в церкви и мигающее пламя свечи. Мне не нужно было смотреть на нее так пристально.

Отец вздохнул и показал рукой в сторону библиотеки:

— Дух следует искать в книгах, Эстебан, а не в церкви.

Я немного помолчал, а потом с трудом выговорил:

— Я хочу тебя спросить кое о чем.

Я не мог не открыть ему свою тайну. Мне необходимо было знать его мнение о Марии Фокель и о том, что со мной произошло.

— Спрашивай, — он сел в кресло и жестом пригласил меня последовать его примеру. Он заметно волновался, и мне показалось, что он смотрел на меня не как на ребенка, а как на взрослого человека, способного принимать самостоятельные решения.

Я рассказал все, что случилось со мной с того момента, как я перешагнул порог церкви. О моем разговоре с Марией Фокель во время обморока, о желаниях, которые я испытывал в те минуты, и о сомнениях, что терзали меня потом. Он слушал внимательно, не перебивая.

Когда я закончил рассказ, отец поднялся с кресла и заходил по комнате. Потом в задумчивости остановился у окна. 'Сейчас пойдет в библиотеку и принесет какую-нибудь книгу, которая мне все объяснит', — подумал я. Но он не двинулся с места.

— Может такое случиться? — спросил я. — Есть ли малейшая возможность, что Мария Фокель действительно существует?

— Есть только один способ проверить это, Эстебан: написать по этому адресу, — сказал он улыбнувшись. Я был очень рад, что он меня понял. — Я помогу тебе написать письмо, — он продолжал улыбаться. — Я еще не совсем забыл свой язык.

Тон его был доброжелательным, но слова насторожили меня. Отец потерпел полную неудачу в своих попытках научить меня немецкому. Даже дома я предпочитал говорить на том языке, на котором говорили мои друзья, и злился, когда он отказывался использо-

вать "*язык, который мы оба знали*". Но в то воскресенье слишком многое изменилось. Я раскаялся в своем поведении и пообещал сам себе наверстать упущенное и больше не обижать отца.

Отец выглядел счастливым, словно события того вечера заставили его вспомнить лучшие времена. Он взял меня за подбородок, заставив поднять голову. Потом разложил на столе старую карту Гамбурга и начал искать улицу Йохамесхольф.

— Вот она, в квартале Святого Георга, — ткнул он пальцем в точку на плане. — Напишем письмо прямо сейчас?

— Было бы здорово, — засмеялся я.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я понимаю, что то письмо означало вступление в новый этап моей жизни. Я и раньше был не таким, как другие дети в Обабе, а с того момента превратился в совершенного чудака, достойного последователя инженера Верфеля. Я перестал встречаться со школьными товарищами, никогда больше не был в церкви, начал много заниматься, готовиться к поступлению в университет.

После того как письмо было отправлено, начался период терзаний. Я то был уверен, что ответ обязательно придет, то мне казалось, что никакого ответа быть не может, что надеяться на него просто глупо.

Сомнениям пришел конец, когда однажды, в пятницу, отец бегом поднялся по лестнице, рывком открыл дверь в комнату, где я читал, и показал мне кремовый конверт.

— Мария Фокель! — закричал я, вскакивая со стула.

— Мария Фокель, Йохамесхольф, два. Гамбург, — вслух прочитал отец обратный адрес.

По спине у меня побежали мурашки. Случилось невозможное. И передо мной было подтверждение тому. Кремовый конверт был реальным, так же как и два исписанных листка внутри него.

— Если что-то будет непонятно, спроси меня, — сказал отец, выходя из комнаты. Я взял словарь, который он подарил мне на день рождения, и начал читать письмо".

За окном садилось солнце: ему так и не удалось пробиться сквозь облака, и закат был бледным. Темнота сгущалась, все труднее было разглядеть парк — траву, деревья, пруд. Только лебеди были хорошо видны и казались еще белее, чем раньше.

Эстебан Верфель зажег лампу и вынул из одного из ящиков стола письмо Марии Фокель. Потом тщательно начал переписывать его в свою тетрадь.

"Дорогой Эстебан!

Не нужно бояться того, что мы не в силах понять, особенно если, как в нашем случае, непонятное так прекрасно. То воскресенье, о котором ты рассказываешь, я провела в постели, потому что у меня немного болело горло. Мне было очень скучно и захотелось почитать. Но что-то случилось с электричеством, и весь дом остался без света. Так что пришлось мне встать с постели и пойти на кухню за свечой.

То, что нас обоих интересует, случилось чуть позже, когда я уже возвращалась в свою комнату с зажженной свечой в руке. Сначала я вдруг услышала звуки органа, потом увидела темноволосого мальчика, сидевшего на скамье рядом со стариком, который, сопя и раскачиваясь, играл на этом органе, а потом услышала те же слова, которые слышал и ты, и мне стало очень радостно, словно я видела прекрасный сон. С тобой было то же самое? Ты тоже испытал радостное чувство? Надеюсь, что это так.

Я рассказала все матери, но она сказала, что это жар, и велела мне снова лечь в постель.

Сейчас мы оба знаем, что произошло. С нами произошло одно и то же. Это не может быть случайностью".

Дальше Мария Фокель писала о своей жизни в Гамбурге, и жизнь эта совсем не была похожа на жизнь в Обабе, а была намного интереснее: Мария изучала языки, каталась на коньках, отправлялась на морские прогулки на парусниках. В кино она тоже ходила, но не на немые фильмы – немое кино уже давно ушло в прошлое. Заканчивалось письмо просьбой. Она хотела иметь его фотографию. Не мог бы он прислать? А она послала бы ему свою. "Волосы у меня намного светлее, чем ты себе представляешь", – утверждала она.

Эстебан Верфель улыбнулся, перечитав эту строчку. Потом сложил письмо и снова поместил его в ящик стола. Нужно было продолжать писать. И закончить как можно скорее, потому что за окном была уже почти ночь. Парк наполнялся тенями, и лебеди давно спали в своем домике.

"Письмо Марии Фокель произвело на меня такое впечатление, что я начал чувствовать себя на голову выше других обитателей Обабы. Со мной случилось нечто особенное, чего не случается с другими, и это делало меня по-настоящему *избранным*. Я стал сильным, я больше не пресмыкался перед другими *избранными*, что показывали на меня пальцем.

Еще некоторое время я продолжал встречаться с друзьями после уроков – отчасти потому, что мне нравилось быть с ними, но больше потому, что мои отношения с Марией Фокель были слишком важной новостью, чтобы я мог хранить их в секрете. И когда мы, подростки, встречались, чтобы поделиться самым заветным, я был самым разговорчивым. Даже Андресу было до меня далеко.

Но им не нравилась эта девочка из Гамбурга. Они говорили, что она, наверное, некрасивая и в очках, и к тому же зануда – слишком уж много пишет о книгах и занятиях.

– А о другом она тебе ничего не пишет? – смеялись они, делая неприличные жесты.

Я защищался: показывал им портрет белокурой девочки без очков, которая улыбалась, не размыкая губ, я стыдил их за грубость. Но они снова смеялись: они не верили в подлинность фотографии.

Очень скоро в наших отношениях наступило похолодание. Я больше не хотел показывать им письма, которые регулярно приходили мне из Гамбурга. Только в кино мы по-прежнему ходили вместе. И лишь когда, следуя примеру Андреса, они перестали ходить в ки-

но и начали ходить в бар, произошел окончательный разрыв. Я предпочитал сидеть дома: заниматься немецким и читать книги из библиотеки моего отца. Я хотел стать образованным, я ни в чем не хотел уступать Марии Фокель.

Отец не мог скрыть радость, видя, как я отдаляюсь от всего, что связано с Обабой.

— Вы сегодня с друзьями не встречаетесь? — чуть настороженно спрашивал он по воскресеньям.

— Нет, я лучше останусь дома.

Для него не было большего счастья, чем снова слышать этот ответ.

Когда мне исполнилось семнадцать, я покинул Обабу, чтобы поступить в университет. К тому времени мы с Марией обменялись не меньше чем сотней писем и обсудили все возможные темы. Собранные вместе, эти письма могли бы составить небезынтересное исследование о том, что заботит молодое поколение.

Обсуждали мы в письмах и наше будущее. Я просил ее подождать меня, писал, что очень скоро приеду в Гамбург, и просьба эта была ничем иным, как предложением руки и сердца.

Но не это будущее было нам уготовано.

Все изменилось, как только я поступил в университет. Наши отношения, раньше такие дружеские и искренние, стали сухими и натянутыми. Словно кто-то подал сигнал, и вдруг прекратилась музыка.

Мария Фокель каждый раз все больше задерживалась с ответом, и тон ее писем уже не был таким восторженным, чаще всего он был просто вежливым. Я не мог понять, в чем дело, не знал, как поступить. Просить объяснений? Повторить свое предложение? Дни шли. А я так ни на что и не решался.

Когда я вернулся в Обабу на рождественские каникулы, я увидел на столе в своей комнате кремовый конверт. Я сразу понял, что это прощальное письмо.

— Плохие новости? — спросил отец за ужином.

— Мария меня бросила, — ответил я подавленно. Я предвидел такой финал, и все-таки новость подействовала на меня очень сильно.

Отец улыбнулся:

— Ничего, Эстебан. Сердечные страдания — как зубная боль: сначала кажется, что хуже быть ничего не может, а потом проходит без следа и забывается.

И действительно, грустил я недолго. Какое-то время я был очень зол, хотел даже послать Марии резкое письмо, а потом вдруг как-то сразу все забыл. К концу учебного года Мария и все с нею связанное представлялись мне уже чем-то очень далеким, и я даже радовался, что эта история завершилась.

Окончив университет и получив место преподавателя географии, я женился на своей коллеге и забыл о кремовых письмах. Отец мой к тому времени уже покоился в земле Обабы".

Эстебан Верфель отложил ручку и стал просматривать написанное. "*Я вернулся из Гамбурга с намерением написать историю своей жизни*", – прочел он на первой странице.

Он с облегчением вздохнул: "история" была почти закончена. Оставалось только рассказать то, что случилось во время поездки в Гамбург.

Он снова склонился над столом, подумал, не написать ли "Эпилог" в начале следующей страницы. Потом решил просто провести черту и отделить таким образом финал истории.

Совсем стемнело. Парк освещали только фонари.

"На этом начавшаяся однажды в воскресенье история и закончилась бы, — написал он под чертой, — если бы не моя недавняя поездка в Гамбург. То, что я там узнал, снова заставило меня вернуться в далекие дни моей юности, к событиям, которые тогда происходили.

Я уже много лет собирался побывать в Гамбурге, городе моего отца, но политическая обстановка и прежде всего война помешали мне сделать это раньше. Я хотел почтить память отца: посетить те места, где он часто бывал до того, как отправиться в Обабу, пройти по Бушштрассе, купить билет и послушать оперу, погулять по берегу озера Биннен.

Была у меня, однако, и еще одна, второстепенная, цель. 'Если у меня будет время, — думал я, — я найду улицу Йохамесхольф. Может быть, Мария Фокель все еще живет там'.

Я пробыл в Гамбурге десять дней, первая задача была уже выполнена, и с каждым днем росло в моей душе желание посетить мою *первую любовь*. Но я говорил себе, что ни к чему хорошему мое любопытство не приведет и что, чем бы ни кончилась эта встреча, она разрушит светлое воспоминание о Марии Фокель. В глубине души я боялся этого шага.

Я промучился несколько дней. Я не выходил из отеля, долгие часы простаивал у окна, глядя в сторону квартала Святого Георга: там находилась улица, название которой я услышал на хорах церкви, те дома образовывали точку, которую показал мне на карте Гамбурга отец.

Оставалось всего несколько часов до поезда, когда я резко отшатнулся от окна, сбежал по гостиничной лестнице, выскочил на улицу и остановил такси.

'Если ты этого не сделаешь, потом будешь раскаиваться', — повторял мне внутренний голос.

Воспоминания нахлынули на меня, разом перенесли из настоящего в прошлое, во времена Марии Фокель. Странным образом мне снова было четырнадцать лет.

Таксист высадил меня перед домом номер два на улице Йохамесхольф. Это был старый дом с тремя балконами.

'Отсюда она посылала свои письма', — подумал я. Потом подошел к двери и позвонил. Сердце мое билось так, что, казалось, вот-вот вырвется из груди.

Дверь открылась, и на пороге возник старик лет восьмидесяти, очень худой, с морщинистым лицом.

— Что вам угодно? — спросил старик.

Вопрос вернул меня к действительности, и я почувствовал, что оказался в смешном положении. Я не знал, что ответить.

— Я хотел узнать, не живет ли в этом доме Мария Фокель, — выдавил я из себя наконец.

— Мария Фокель? — удивился старик. И вдруг, тыча в меня пальцем, закричал: 'Верфель!' Потом широко раскрыл глаза, словно припомнил что-то удивительное, и расхохотался. Я не знал, что и подумать.

— Я действительно Эстебан Верфель, — сказал я.

Старик, не переставая смеяться, жестом пригласил меня проследовать в дом.

— Верфель! Mein Kamerad! — повторял он, обнимая меня. Потом представился, и тут уже пришла моя очередь широко раскрыть глаза: старик был Теодор Штайнер, старый друг моего отца, его собрат по Клубу Айхендорфа.

— Я думал, вы уже никогда не придете, — восклицал старик, поднимаясь по лестнице.

Когда мы прошли в библиотеку, господин Штайнер попросил меня сесть, а сам стал искать что-то на книжных полках.

— Вот оно, — воскликнул он, доставая том 'Gedichte' Йозефа Айхендорфа. Между страницами книги лежал кремовый конверт. — Господин Верфель, Мария Фокель, о которой вы говорите, всего лишь плод воображения вашего отца. Была, правда, актриса с таким именем, она пела в Гамбургской опере. Но в этом доме она никогда не жила.

Господин Штайнер смотрел на меня очень серьезно.

— Позвольте мне прочитать письмо отца, — попросил я.

— Конечно, конечно, читайте. Оно ждало вас тридцать лет, — прошептал он и исчез в глубине коридора".

Письмо отца по-прежнему лежало в томе Айхендорфа, который, в свою очередь, лежал на столе перед Эстебаном Верфелем. Он открыл кремовый конверт и начал переписывать текст, которым должна была закончиться двенадцатая тетрадь.

"Дорогой сын, прости, что я тебя обманул.

Жизнь моя подошла к концу, но я до сих пор не знаю, прав ли я был в то далекое воскресенье, когда мне пришла в голову эта мысль. Мне страшно. Иногда я думаю, что я просто-напросто выживший из ума старик.

Мне хотелось бы посадить тебя рядом и рассказать тебе все открыто, не прибегая к помощи пера и бумаги, но я не решаюсь. Если когда-нибудь ты отправишься на поиски Марии Фокель, Теодор отдаст тебе это письмо, и ты узнаешь правду. Если нет, это останется моей тайной. Как бы ни получилось, прошу у тебя прощения еще раз, еще тысячу раз.

Все вышло совершенно неожиданно, я ничего специально не придумывал. Когда ты рассказал мне то, что видел и слышал во время обморока, я сразу увидел, что вся сцена была реконструкцией из обрывков наших с тобой разговоров. Дом номер два по улице Йохамесхольф, например, — это адрес единственного друга, который продолжал писать мне и рассказывать о том, что происходит на моей родине, а Мария Фокель — имя оперной певицы, которая мне очень нравилась.

И тогда у меня возникла идея. Я подумал, что мог бы превратиться в Марию Фокель и таким образом влиять на твою жизнь. Ты, возможно, этого не помнишь, Эстебан, но в то время мы с тобой были очень далеки друг от друга, и гораздо ближе тебе был образ жизни обитателей Обабы. Ты знаешь, что страшнее этого для меня не могло быть ничего. Я не хотел, чтобы ты превратился в одного из них, я считал своим долгом воспрепятствовать этому.

Я написал Теодору и попросил у него помощи. Мы разработали очень простой план: я писал письма здесь, дома, и отправлял своему другу. Теодор давал их переписывать девочке твоего возраста — все должно было выглядеть натурально — и отсылал их обратно в Обабу.

Игра продолжалась до тех пор, пока я не удостоверился, что ты в безопасности, — пока ты не поступил в университет. Я знал, что, как только ты станешь студентом, ты уже не захочешь вернуться в эти горы. Тем более с тем образованием, которое я дал тебе посредством писем. Я заставил тебя выучить мой язык, приучил тебя к чтению..."

Это был еще не конец письма, но дальше шли слова настолько интимные и нежные, что Эстебан не мог переписывать дальше.

И вот на этом история кончается, – написал он. Потом погасил свет и еще долго сидел в темноте, спокойный, счастливый.

М*истер* С*мит*

К скамейке, на которой мы сидели, шел человек, приветственно махая нам рукой. В аллее было темно, и сначала мы не разглядели его лица, а посему, исходя из того, что знакомых у нас здесь не было, решили, что это один из завсегдатаев праздников: уже слегка набрался, и теперь ему все люди — братья.

Человек приближался, силуэт его становился все более отчетливым, на голове можно было различить что-то белое.

— Очень высокий. Наверняка ростом выше двух метров, — сказал я другу.

— И шляпу в руке держит, — сказал мой друг.

— А голова седая. И борода тоже.

— Так это же...

— Старик из "restop'a", — закончили мы в один голос и засмеялись.

Старик приблизился и остановился, привалившись спиной к фонарному столбу возле нашей скамейки.

— У меня есть рассказ получше, — заявил он вместо приветствия.

— Похоже, он нас преследует, как смерть — слугу из Багдада, — шепнул я другу.

— Дело не в этом, — ответил мне друг, — дело в том, что он тоже готов на все, чтобы поведать свою историю. Вы с ним одной крови, сразу видно.

— Присаживайтесь, — обратился он затем к старику.

Тот чуть приблизился, но жестом показал, что предпочитает стоять.

— Хотите пива? — предложил мой друг.

Тот отрицательно качнул головой:

— Предпочитаю виски.

— Вы говорите, что у вас есть рассказ получше. Лучше чьего именно рассказа? — спросил я. Я хотел понять, до какой степени он отдает себе отчет в том, что говорит.

— Багдад, Исфахан... подумаешь!

Мы с другом переглянулись: старик не настолько уж не от мира сего.

— Кто вы? — спросили мы.

— Смит. Моя фамилия Смит, — сейчас был его черед засмеяться.

— Скажите хотя бы, откуда вы. Не похоже, чтоб вы были совсем уж иностранцем. Вы ведь уроженец здешних мест, правда?

— Silence! Smith! — воскликнул он, сделав испуганное лицо и поднося палец к губам.

— Садитесь, мистер Смит, — повторил предложение мой друг, — садитесь и поскорей начинайте рассказывать свою замечательную историю. Лучших слушателей вам не найти. И обещаем больше не спрашивать вашего настоящего имени.

Мой друг подвинулся, и старик сел, но не на скамью, а на ее спинку, как садятся тинейджеры.

— История действительно замечательная, но сейчас я не могу рассказать вам об обезьяне из Монтевидео. Sorry, my friends.

— Ничего страшного, расскажите любую другую. Что-нибудь из личного опыта. Это же просто нечестно — наобещать, а потом ничего не рассказать.

— Хорошо, my friends. Расскажу вам историю. Она не самая лучшая, зато все, о чем в ней говорится, — правда. Это случилось со мной. Много лет тому назад.

— Начинайте.

Он снова поднялся и стряхнул пыль с пиджака и брюк, словно хотел привести себя в порядок перед тем, как начать рассказывать. Потом достал из кармана свой маленький магнитофон и — после нескольких неудачных попыток — нажал кнопку записи.

Зажегся красный огонек, нужно было говорить. Мистер Смит еле заметно вздохнул и начал свою историю, скорее декламируя, чем рассказывая.

Путь к последнему слову долог. Я остановлюсь и запишу ту историю, что рассказал нам мистер Смит на бульварной скамейке. Не сделать этого было бы просто непростительно. Помните, кто-то говорил: “Не теряйте ни крупицы пережитого”.

Я записал историю на бумаге почти так, как она записана на пленке. Я только исправил или, лучше сказать, перевел с английского языка некоторые слова и выражения. Мне казалось, что они лишали изложение плавности. И еще одно: у рассказа не было названия, и мы с другом сами придумали его: “В девичестве — Лаура Слиго”.

Вот он, этот рассказ. Слово мистеру Смиту.

В *девичестве — Лаура Слиго*

Лаура Шелдон, в девичестве Лаура Слиго, смотрела на безбрежную сельву, окружавшую селение Аталайя, и слушала пение всех обитателей Верхней Амазонии: слушала, как поют *арамбаса*, как поют *папаси*, как поют *карачупауса*, как поет утка *марикинья*, как поет пугливая *пангуана*, кото-

рая умирает после того, как отложит пять яиц, и как поет голубой попугай, который называется *маракана*. И как поют *уапапа*, *ванкави* и большой *юнгуруру*. И безутешный *айаймаман*, тот, что плачет как потерявшийся ребенок.

Она слушала, как поют все эти птицы, и еще сотня птиц, и еще одна сотня.

Но она слушала не только птиц: она слушала рыб Унине, рыб Мануйа и других окрестных рек. Сидела у порога хижины в Аталайе, далеко от Икитоса, слушала хор обитателей сельвы и вглядывалась в эту сельву, особенно пристально – в зеленую Тьерра Альта, где рождается Унини и где терялись следы ее мужа, Тома Шелдона. Была уже почти ночь, а Лаура Шелдон, в девичестве Лаура Слиго, все пыталась угадать, что же произошло там, в сельве, и слушала пение птиц и рыб – слушала, как поет блестящий *акараваси*, как поет *гамитана*, как поют *шифипираре* и *пайчеа*, та, у которой костяной язык и которая достигает в длину трех метров, и угорь *аньяшуа*, что убивает одним разрядом, и *шуйюа*, которая может передвигаться по земле, и *панья*, или *пиранья*, и *малапатэ*, и вкусная *паломета*.

Она слушала, как поют все эти рыбы, и еще сотня рыб, и еще сотня.

Она слушала не одних рыб и птиц, она слушала и змей, что взбираются по стволам деревьев, а потом спускаются по ним вниз. Слушала, смотрела на сельву и думала о письме, которое год назад пришло к ней в Дублин: "If lost – return to sender – Doctor Thomas Sheldon – Napo – street – Iquitos – Peru"[1], – было написано на конверте, а в самом письме муж Лауры Шелдон писал ей о своем намерении навсегда уйти в сельву: он больше не хотел вспоминать лица солдат, погибших у него на глазах под Верденом и Аррасом, об ужасных штыковых ранах, которые он (God knows!) не умел лечить, он ужасно разочаровался во всем на свете и в себе самом, и прежде всего он собирался бросить в воды Амазонки медаль, полученную им за участие в боевых операциях в качестве капитана медицинской службы. Это письмо пришло год назад, и больше писем не было. Полное молчание. И Лаура Шелдон, в девичестве Лаура Слиго, боялась, что его уже нет в живых, что он погиб где-то там, где рождается Унини, в той самой Тьерра Альта, на которую она сейчас смотрела, слушая птиц, рыб и змей сельвы, слушая *афанингу*, которая свистит как мальчишка, и *мантону*, окрашенную в десять цветов, и *наку*, очень маленькую, но очень ядовитую, и черную *чусупе*, которая в длину достигает пяти метров и кусает, как собака, и *агуахемачуй*, которая по вкусу напоминает финики, и гигантскую толстую *йанабоа*, и *сачаману*, и *йакуману*.

Лаура Шелдон, в девичестве Лаура Слиго, слушала, как пение всех этих змей – и еще сотни змей, и еще сотни – сливалось с пением рыб и птиц. Она сидела на пороге хижины в Аталайе, слушала сельву. Думала о своем муже и не верила тому, что говорили ей мы с Сесаром Кальво.

– Я полагаю, что доктор поднялся по Укаяли, а потом взял влево, к Унини, – говорил Сесар Кальво, мудрый человек из Икитоса. – И если все так и было, то беспокоиться вам не о чем. В этом случае доктор сейчас во владениях племени ашанинка, а это племя доброе. Они не нападают на *виракоча* (именно к ним принадлежит ваш муж) – белых людей, которые приходят с миром.

1. Если нет адресата – вернуть Томасу Шелдону – Напо – улица – Икитос – Перу

Сесар Кальво был не только мудрым человеком, знатоком всего, что касается сельвы, он был еще и добрым человеком, и очень благоразумным к тому же. Он говорил об ашанинка, но ни словом не обмолвился о племени амауака, что обитало справа от Укаяли, по берегам Урубамбы. Оказаться в их владениях означало для *виракоча* неминуемую смерть, с какими бы намерениями он сюда ни явился.

— Сейчас тебе почти не о чем беспокоиться, Лаура. Впервые за три месяца мы уверены, что напали на след. Не завтра так послезавтра мы найдем твоего мужа. Я серьезно, — говорил Лауре я, человек, которого она наняла в помощники в Куско, когда была еще всего лишь *beautiful girl*, только что приехавшая из Дублина, а не утомленная и измученная. Я относился к ней с большим уважением, чувствовал себя ее другом и готов был на все, чтобы ее утешить.

Но она нас не слушала. Она слушала только обитателей сельвы — слушала, как поют *карачупауса, папаси, уапапа, юнгуруру, айаймаман, йанабоа* и *нака*, и обезьяна *макисапа*, и жаба *уапо*, и черепаха *купису*.

И вдруг сельва смолкла. Замолчали птицы, замолчали рыбы и змеи, замолчали и другие животные, и лишь время от времени эту тишину нарушал *айаймаман*, громко и жалобно всхлипывавший, словно потерявшийся ребенок. На Амазонию опустилась ночь.

Лаура Шелдон, в девичестве Лаура Слиго, повернула голову в ту сторону, откуда доносились эти всхлипывания, обхватила руками плечи и расплакалась. И долгое время среди окружавшей нас безбрежности слышались только эти звуки — плач Лауры и плач *айаймамана*.

Была уже глухая ночь, когда Сесар Кальво, добрый человек из Икитоса, подошел к Лауре и заговорил с нею как брат:

— Мы его найдем. А сейчас идите спать. Завтра будет очень длинный день: семь часов до Унини и еще столько же до владений ашанинка. Вам нужно выспаться. Я пойду посмотреть, готовы ли пирóги, и договорюсь с индейцами. Надеюсь, они не передумали грести, — и он направился в соседнюю хижину.

И тогда к Лауре подошел я и заговорил с ней уже не как брат, а как мужчина, который никогда прежде не встречал женщины лучше, чем она, — ни такой умной, ни такой отважной, ни такой *very nice*.

— Мужайся, Лаура. Завтра мы найдем твоего мужа, вот увидишь. И когда ты его обнимешь, ты, я надеюсь, засмеешься. Я еще никогда не слышал, как ты смеешься, и думаю, что уже пришло время. Она улыбнулась сквозь слезы и положила руку мне на плечо — не беспокойся, мне уже лучше.

Вскоре вернулся Сесар, сказал, что все в порядке, что у каждого из нас будет своя пирога с гребцами, которые проводят нас по крайней мере до Унини.

— Только до Унини? — спросил я.

— Именно так. Дальше придется рассчитывать лишь на себя. Индейцы из Аталайи и знать не хотят об ашанинка.

Мы еще постояли под темным беззвездным небом, глядя в сторону зеленой сельвы, через которую нам предстояло пройти, а потом вошли в хижину и улеглись спать, с головой завернувшись в огромные куски парусины, чтобы защититься от мелких летучих мышей *пири*, самых изощренных вампиров во всей сельве.

Но уснуть в ту ночь мне не давали не *пири*, а мысли о приближавшемся сезоне проливных амазонских дождей. Сесар Кальво, мудрый человек из Икитоса, никогда не затрагивал эту тему, но я чувствовал, что и он обеспокоен. Нужно было спешить, иначе ливни закроют нам дорогу назад и придется остаться вдали от цивилизации, среди ашанинка, до того дня, когда по реке снова можно будет сплавляться. Люди племени ашанинка, конечно, добрые, но в сельве все изменилось с появлением там винчестера и сборщиков каучука. Лучше было не рисковать и постараться обернуться как можно быстрее.

На следующее утро, распределившись по пирогам, которые нанял Сесар Кальво, мы начали подниматься по Укаяли. Пироги шли одна за другой, Лаура и два ее гребца были в центре. Через семь часов довольно спокойного пути мы различили почти желтые воды Унини, сливавшиеся с водами Укаяли, и поняли, что наступил решительный момент. Скоро мы окажемся во владениях ашанинка. Лаура узнает, наконец, о судьбе своего мужа.

Очень скоро индейцы-гребцы подняли весла, указывая на красные деревья на одном из островков посреди реки. Это были, как объяснил потом Сесар, *палосангре*, типичная для устья Унини растительность. Тревожно переговариваясь, наши гребцы снова опустили весла в воду и направили пироги к берегу — для них путь был окончен.

— Не хотите плыть с нами дальше? — спросил их Сесар после того, как расплатился с ними. — Если согласитесь, заплачу вдвойне.

Но уговаривать гребцов было бесполезно: они были очень напуганы. Наскоро попрощавшись с нами, они погрузились на две пироги и заработали веслами, быстро удаляясь в сторону своего поселка. Вокруг нас кричали обезьяны — сотни *макисара*, полусумасшедших обезьян Верхней Амазонии.

Сесар Кальво, мудрый человек из Икитоса, посмотрел на небо и произнес:

— Стемнеет еще не скоро. Нам лучше двигаться по берегу, так мы избежим опасных водоворотов в устье реки.

— Согласен, — сказал я и, достав мачете, начал прорубать дорогу в зарослях *палосангре*. Сесар и Лаура шли следом и несли пирогу, оставленную нам нашими гребцами.

Мы шли часа четыре, прислушиваясь к шуму реки и стараясь не отклоняться от берега. Потом нашли открытое место и приготовились расположиться там на ночлег, наш первый ночлег на земле ашанинка.

— Кто будет дежурить первым? — спросила Лаура Шелдон, в девичестве Лаура Слиго, когда мы натянули палатку и разложили костры вокруг нее.

— Я подежурю и за себя и за тебя, — ответил я.

Она отрицательно покачала головой и нахмурилась.

— Возражения не принимаются, — я уселся на пенек, давая понять, что мое дежурство уже началось.

— Он молодой и сильный. Выдержит, — улыбнулся добрый человек из Икитоса Сесар Кальво и тем поставил точку в споре. Через некоторое время они оба уже спали в палатке.

Тишину сельвы нарушали лишь шум реки и потрескивание веток в кострах, которые защищали палатку. Куда девались птицы и змеи, чье

пение сопровождало нас весь день? Где были неугомонные *макисапа*? Может быть, они прятались в окружавших нашу поляну зарослях *палоса-нгре* и следили за нами, подстерегали нас, выжидали, когда мы совершим какую-нибудь оплошность, чтобы напасть на нас. Но я не собирался предоставлять им такую возможность. Я не отрывал взгляда от сельвы, прислушиваясь к каждому шороху, к хрусту каждой сломанной ветки, и отвлекался лишь тогда, когда поднимался со своего места, чтобы размять ноги. Тогда я смотрел в сторону палатки, думал о Лауре и вновь ощущал прилив сил. Я был хранителем ее сна, и это наполняло меня счастьем.

Я думал о ней, когда торжествующий крик *макисапа* заставил меня вздрогнуть.

"Это рассвет", – подумал я, и в эту самую минуту ядовитая *нака* проползла между двух уже почти догоревших костров, защищавших меня, и впилась своими маленькими зубами прямо в мою правую лодыжку.

– Что случилось?!! – выскочил из палатки испуганный Сесар Кальво: я завопил от боли так, что разбудил его.

Я показал ему на лежавшую в метре от меня змею, разрубленную пополам моим мачете.

– Это же *нака*! – у него глаза расширились от ужаса. Потом он схватил мачете и сделал мне глубокий надрез на месте укуса.

– Что здесь происходит? – спросила, выходя из палатки, Лаура.

Но Сесар, склонившись, уже высасывал кровь из моей раны, и ее вопрос остался без ответа.

– Oh, my God! – воскликнула Лаура, когда до нее дошел смысл происходящего.

И воскликнула с такой горечью, что я на миг забыл о боли: я понял, что тоже не был ей безразличен.

– Думаю, что яда почти не осталось, – сказал Сесар через полчаса. Уже рассвело, и сельва снова пела голосами всех своих обитателей. Возле палатки на сухом прибрежном песке темнело грязное пятно – это была кровь из моей раны.

– Тебе больно? – спросила Лаура.

– Не очень, – солгал я.

Я не хотел, чтобы из-за меня мы потеряли драгоценное время, и начал сворачивать палатку и переносить вещи в пирогу. Я чувствовал необыкновенный прилив энергии, словно укус змеи придал мне сил.

– Ну что, вы готовы? – спросил я. Сесар и Лаура смотрели на меня так, будто ждали, что я вот-вот упаду в обморок. Но – Сесар оказался прав – я был молодой и сильный, и мне нипочем был тот яд, что еще оставался внутри меня.

Мы спустили пирогу на воду и втроем начали грести, двигаясь вверх по реке, к зеленой Тьерра Альта, где мы надеялись отыскать доктора Шелдона. Часа через два к привычному уже хору сельвы прибавился еще один голос, монотонный и заунывный.

Мудрый человек из Икитоса поднял голову и прислушался.

– Отсюда можно уже слышать *мангуаре*, – сказал он и объяснил, что так ашанинка называют свои деревянные барабаны.

– Значит, мы уже близко, – и я вздохнул с облегчением. Мне очень хотелось добраться поскорее. Я с каждой минутой все больше слабел, а

моя лодыжка сильно распухла. Я уже не был уверен в том, что мне нипочем яд змеи *нака*.

Добрый человек из Икитоса утвердительно кивнул. Да, ашанинка должны появиться с минуты на минуту. А потом он предупредил нас о том, о чем умалчивал до поры до времени.

— Ашанинка — храбрые и благородные воины. Они никогда не нападают исподтишка, — начал он. Мы с Лаурой молчали. — Яд, которым они пользуются, не такой, как яд кураре. Он не такой болезненный, как, например, яд, который применяют амауака. Ашанинка используют яд растения *тоэ*. Он убивает мгновенно и без боли.

Наверное, именно в тот момент мы с Лаурой поняли, какой опасности подвергались. Сесар Кальво знал, когда и что сказать.

— Но я не думаю, что они захотят причинить нам зло. Я уже не раз говорил, что они не нападают на миролюбивых *виракоча*, — закончил он.

Мангуаре между тем слышались все отчетливее. Русло Унини становилось все у́же.

Внезапно я почувствовал, что не могу больше грести. Мои руки совсем ослабли, а ногу при малейшем движении пронзала резкая боль. Но я не чувствовал себя несчастным, казалось, страдание было мне безразлично. В конце концов я был рядом с Лаурой, *beautiful girl*, с которой познакомился в Куско, женщиной, лучше которой на свете не было. И сейчас важно было только одно: чтобы она нашла доктора Шелдона до начала сезона дождей, чтобы не пришлось оставаться у ашанинка, потому что ашанинка очень шумные, все время бьют в свои барабаны, в свои *мангуаре*, а я не этого хотел для Лауры, мне не нравилось, когда она плакала, как *айаймаман*.

– Я не плачу, — сказала Лаура.

Я приподнялся и открыл глаза. Я был не в пироге — лежал на берегу. А Лаура действительно не плакала, она улыбалась и вытирала мне пот с лица белым платком.

— Мы дали тебе хинин, и жар немного спал, — Лаура продолжала улыбаться.

Мне стало стыдно. Что я наговорил в бреду? Я боялся, что выдал себя.

— Слышите барабаны? — спросил, склоняясь надо мной, Сесар Кальво.

Их нельзя было не слышать. Грохот *мангуаре* оглушал.

— Надеюсь, что ашанинка появятся скоро. Только *ширимпиаре* может спасти вам жизнь.

— *Ширимпиаре?* — переспросил я.

— Так они называют колдунов.

Я попытался подняться, но не смог. Силы покинули меня. Я подумал, что наступил час прощания.

— Лаура, Сесар, послушайте! Вам лучше оставить меня здесь. Идите вперед и отыщите доктора Шелдона, пока не начались дожди. Мне было очень приятно познакомиться с вами.

— *Crazy boy*! — рассмеялась Лаура, и добрый человек из Икитоса тоже засмеялся. Они и думать не хотели о том, чтобы бросить меня.

Я снова заснул, но на этот раз сон мой был приятным и освежающим, и мне снилось, что мы жарили мясо *макисапа*, потому что мы втроем — Лаура, Сесар и я — устроили праздник. Только это был очень шумный праздник, словно в нем принимали участие не только мы, но еще очень много других людей, и все они ели, пили и кричали.

Когда, обеспокоенный тем, что слышал, я снова открыл глаза, то понял, что гости, которых мы так ждали, наконец-то явились. Передо мной стояли трое ашанинка, а за ними — еще десять, еще сто, еще тысяча. Они усеяли весь берег Унини. Они размахивали луками и стрелами. Они были голые, а их лица и тела были разрисованы красным и черным. Сесар Кальво и Лаура пытались вести переговоры с тем из них, кто казался самым главным. Они то и дело указывали на меня, и мне показалось, что я различил два слова: *нака* и *ширимпиаре*. Потом я потерял сознание.

Я пришел в себя лишь через много дней, а потому обо всех событиях, что произошли после того, как ашанинка согласились отвести нас в свое селение, я узнал от Сесара Кальво. Он рассказал, что в селение мы входили, окруженные гурьбой ребятишек и при всеобщем ликовании. По всему было видно, что золотистые волосы Лауры вызывали у индейцев немалый интерес, и стоило одному прикоснуться к ним, как всю толпу сотрясал взрыв хохота.

Потом явился *ширимпиаре* Пулькапа Айумпари, величественный человек, единственный из ашанинка, который имел право раскрашивать лицо и тело в три цвета: не только в красный и черный, как все остальные, но и в белый.

— Я сразу понял, что он не причинит нам зла. Осматривая вашу лодыжку, он так морщил лоб, словно ваша опухоль его очень беспокоила, — рассказывал мне потом Сесар. — У каждого ашанинка по две хижины: одна для семьи — эта хижина называется *тантоотци*, — а другая, которая называется *каапа*, для гостей. Пулькапа Айумпари велел отнести тебя в свою *каапа*. Лауру и меня поселили в хорошей хижине на другом краю селения. Ты совсем ничего не помнишь?

— Почти ничего. Помню, что ашанинка меня лечили и мне становилось все лучше. А больше ничего не помню. Только дождь. Стук капель по крыше *каапа* часто будил меня.

— И неудивительно. Ты двадцать дней был между жизнью и смертью. До сезона дождей оставалось гораздо меньше.

Сесар Кальво сказал правду. Я провел двадцать дней в доме *ширимпиаре* Пулькапы Айумпари и вышел оттуда совершенно здоровым. Какая-то пожилая женщина сделала мне знак рукой, приглашая следовать за собой. Она привела меня в хижину, где жили мои друзья. Я вошел туда и увидел Лауру. Сердце мое отчаянно забилось: это снова была прекрасная женщина, та самая *beautiful girl*, с которой я познакомился в Куско. Казалось, ашанинка позаботились и о ней и ей вернули здоровье.

Лаура вскрикнула и бросилась меня обнимать. Она смеялась, и плакала, и повторяла, что очень рада меня видеть. Она боялась самого страшного.

И все-таки настроение у нее было подавленное. Она так и не нашла своего мужа. В селении, где мы находились, следов доктора Шелдона отыскать было нельзя.

— Индейцы ничего не хотят нам говорить, — сказал мне Сесар Кальво. — Не хотят или не могут. Каждый раз, когда я их об этом спрашиваю, они начинают смеяться. И та пожилая женщина, которую *ширимпиаре* назначил прислуживать нам, тоже только смеется. Все мои попытки что-нибудь из нее вытянуть кончились неудачей. Она смеется, а потом снова принимается за свою работу.

— Они что-то знают, я уверена! — вздохнула Лаура. Но она и сама не верила в то, что говорила.

Не ожидали мы, что у нашего путешествия будет такой конец! Мы были готовы к опасностям, даже к смерти, но мы надеялись, что отыщем след мужа Лауры. Однако случилось нечто совершенно противоположное: нас принимали как дорогих гостей, но говорить нам ничего не говорили.

А дожди между тем не прекращались. Потоки воды заливали деревья, хижины, посевы. В сельве не слышалось ничье пение, только шум дождя.

— Вот потому-то мы и здесь, — разъяснял мудрый человек из Икитоса. — Уровень воды в Унини очень поднялся, и грести по ней невозможно. Когда дожди кончатся, нас отвезут в Аталайю.

Мною все больше завладевала идея обыскать *тантоотци* Пулькапы Айумпари. Если доктор Шелдон поднимался по Унини (а мы знали, что это было вполне возможно), в селении должны остаться его следы. Так что достаточно войти в ту *тантоотци* — самое подходящее место для поиска тех следов — и будет ясно, что случилось с доктором Шелдоном.

Я решил поговорить с Сесаром Кальво.

— Мы не можем допустить, чтобы Лаура вернулась ни с чем. Нет ничего страшнее неопределенности. Она должна знать, жив ее муж или нет, — сказал я.

— Это очень рискованно. Ашанинка не прощают того, кто входит в их дом, чтобы украсть. За это полагается смерть. Всегда. Исключений не бывает.

Я долго молчал и смотрел на дождь.

— Сезон дождей скоро кончится. И тогда ашанинка устроят праздник. Но не здесь, не в селении. Они отправятся на берег Унини, — почти прошептал мне мудрый человек из Икитоса. — Это единственная возможность, — добавил он. Он понимал, почему я настроен так решительно.

— Я боюсь, что Лаура сойдет с ума, — оправдывался я. — Она с каждым днем все больше погружается в себя. Часами молчит и смотрит на сельву.

— Да, что-то нужно делать, — поддержал меня Сесар.

Не прошло и недели, как дожди кончились и небо над Амазонией снова заголубело. Ашанинка кричали и смеялись, и их воодушевление показалось нам, обитателям другого мира, детским. Но, с другой стороны, оно вызывало зависть. Их чувства нельзя было сравнивать с нашими. Они были счастливы, мы — нет.

Приготовления к празднику начались с самого утра. Воины, старики, дети — все терпеливо ждали, пока женщины украсят и нарядят их. Пулькапа Айумпари сидел у порога своей хижины, похожий на павлина. На празднике он, несомненно, должен был быть главным лицом.

В полдень селение обезлюдело. Только три воина оставались, чтобы нести караул, да и они уже успели выпить слишком много *чучууаси*, чтобы успешно справляться со своими обязанностями. Пришло время действовать.

— Сейчас я проберусь в хижину *ширимпиаре*. Посмотрим, что даст обыск, — сказал я Лауре.

Лаура лежала на походной кровати, глаза ее были закрыты, она казалась еще более подавленной, чем обычно.

– *You are a brave boy*[1], – она открыла глаза и попыталась улыбнуться. Я спрятал эту улыбку в самой глубине сердца и вышел, исполненный решимости что-нибудь наконец выведать.

В *тантоотци* Пулькапы Айумпари было гораздо темнее, чем можно было предположить в такой светлый день, и мне пришлось подождать, пока глаза привыкнут к темноте и начнут различать предметы, разбросанные по всему жилищу. Я различил два глиняных сосуда, в которых *ширимпиаре* хранил свои мази, и несколько масок – я никогда не видел, чтобы он надевал их, но наверняка он использовал их при отправлении религиозных обрядов. Я сделал несколько шагов к походной кровати, которая была ничем не лучше тех, что стояли в нашей хижине, но остановился. Что-то было не так. Но что? Я сознавал, что мои глаза заметили что-то, но никак не мог понять, что именно. Я снова и снова обводил взглядом все углы, но не находил ничего необычного.

"Не вижу! Но раньше я же видел это!" – подумал я и повернулся к той части *тантоотци*, которая оказалась передо мной, когда я вошел.

И тогда я это увидел. Между сосудами с притираниями лежал предмет прямоугольной формы. Он был похож на книгу. Мои подозрения подтвердились, когда я прикоснулся к предмету пальцами. "Discours sur les sciences et les arts. Jean Jacques Rousseau"[2], – прочитал я на титульном листе. А на третьей странице мелкими буквами было написано то, что я так жаждал увидеть: "If lost return to Thomas Sheldon, Medical Capitan, Fleury, Normandy"[3]. Вдруг все вокруг меня осветилось ярким светом дня. Сначала мне показалось, что солнечный луч прожег крышу *тантоотци*, но потом, подняв глаза, я понял, что свет шел не оттуда, – он шел из проема открывшейся двери. Дверь была чуть приоткрыта, и красная рука толкала ее, открывая все шире. Я еще не успел прийти в себя, как передо мной уже стоял ашанинка. Лицо и грудь его были раскрашены в самые разные цвета.

– Пулькапа! – воскликнул я. Это не был крик ужаса, не мысль о неминуемом наказании заставила меня закричать, нет, мне стало стыдно: нельзя предавать человека, который спас тебе жизнь. – Я сделал это ради Лауры, – сказал я, указывая на книгу.

Пулькапа Айумпари в ответ только протянул мне руку, так, как отец протянул бы руку маленькому ребенку, – спокойно, без тени гнева или неудовольствия. И я послушно взял его руку. Мне словно снова было пять лет.

"Так вот значит, что такое *ширимпиаре*", – думал я, пока мы шагали по тропе, уводившей нас в глубь сельвы. Он был отцом для всех, великим деревом, доброй рекой, человеком, посвятившим жизнь тому, чтобы научиться побеждать Великих Врагов, приносивших зло его более слабым братьям. Я помнил все, что говорил мне Сесар Кальво, но я не боялся за свою жизнь.

Не говоря ни слова, Пулькапа Айумпари привел меня на большую поляну с множеством бугорков, сложенных из речной гальки. Каждый

1. Ты – смелый парень (*англ.*).
2. "Рассуждения о науках и искусствах. Жан-Жак Руссо" (*франц.*).
3. Если нет адресата, вернуть Томасу Шелдону, капитану медицинской службы, Флери, Нормандия (*англ.*).

бугорок был украшен белыми цветами, и вокруг него лежали луки и стрелы. Я понял, что здесь хоронили воинов ашанинка.

Пулькапа отпустил мою руку и знаком велел следовать дальше по тропе. И снова я послушался. Пройдя несколько шагов, я оказался перед бугорком, на котором не было цветов, а лежал маленький золотистый предмет с тремя ленточками.

"Так, значит, он его не бросил в реку", — горестно подумал я, потому что золотистый предмет был не чем иным, как той самой медалью, которой был награжден Томас Шелдон, капитан медицинской службы. На одной из лент (на ней были цвета Union Jack) висел крест. Две другие ленты символизировали Красный Крест и Французскую Республику.

— Ты много страдал. Теперь отдохни, — встав на колени, помолился я.

Когда я вернулся на то место, где оставался Пулькапа, я его там не обнаружил. Добрый отец всех ашанинка давно вернулся на праздник.

— Скажи ей, пожалуйста, ты. Я не могу, — умолял я Сесара Кальво. Мой рассказ его очень удивил. Он никак не мог понять поведения Пулькапы.

— Да, так будет лучше. Не беспокойся, я прямо сейчас пойду к Лауре.

Весь тот вечер я бродил по сельве вокруг селения. Я завидовал ашанинка, чьи голоса и смех слышал всякий раз, когда приближался к реке. Я чувствовал себя несчастным, оттого что не был таким невинным и счастливым, как они. Я думал только о Лауре и о том, как приняла она весть о смерти мужа. Но не только этот вопрос занимал меня. Было еще много других, и все они были важными и неразрешимыми. Что мне делать? Поговорить с Лаурой до того, как закончится наше путешествие и она вернется в Дублин? А если она не испытывает ко мне никаких чувств? Ни на один из вопросов я не находил ответа и продолжал ходить и думать, ходить и думать.

Уже стемнело, когда я вернулся в селение. Несколько воинов угостили меня *чучууаси*. Они были счастливы, очень счастливы, и хотели, чтобы я тоже был счастливым. Я принял приглашение и сделал глоток.

— Неплохо, — похвалил я напиток.

На вкус *чучууаси* напоминал вишневый ликер. Я отпил еще глоток, потом еще один и еще один. Через два часа я был таким же пьяным и счастливым, как и все вокруг.

Не помню, что я делал в течение тех часов, что провел в компании воинов, пивших *чучууаси*, не помню, как добрался до своей постели. Но, судя по насмешливым взглядам, которыми встретили меня утром, поведение мое накануне было просто смешным.

— Наконец-то ты глаза открыл, — сказал Сесар.

— Я не знал, что моя голова сделана из битого стекла, — простонал я. При малейшем движении боль пронзала мне виски. Мне не оставалось ничего другого, как лежать на кровати.

— Как странно, что у тебя голова болит! Право, не знаю, с чего бы это, — иронизировала Лаура. Она улыбалась, от уныния последних дней не осталось и следа.

"Самое страшное — это неопределенность. Сейчас, когда она все узнала, ей стало легче".

— Я, наверное, еще посплю, — сказал я им.

– Нельзя, – ответил Сесар Кальво. – Мы уезжаем. Ашанинка отвезут нас в Аталайю.

– Когда? – я резко приподнялся. Я забыл о головной боли.

– Прямо сейчас. Пирóги уже готовы, – сказала Лаура, показывая на окно.

Я приподнялся еще больше, чтобы взглянуть в сторону эспланады.

Группа, которая должна была нас сопровождать, ждала возле *тантоотци*. Я насчитал шесть пирог и пятнадцать гребцов.

– Неплохая у нас будет свита, – заметил я.

– Королевская, – улыбнулся Сесар Кальво.

Лаура подошла к старой женщине, которая помогала нам по дому, и подарила ей прядь своих белокурых волос – пусть она сохранит их на память, она была так добра к нам. Потом мы вышли к ашанинка, что должны были нас сопровождать.

Перед тем как углубиться в сельву, мы оглянулись, чтобы еще раз бросить взгляд на *тантоотци* Пулькапы Айумпари. Он стоял у дверей и смотрел нам вслед.

– Подождите минуту. Мне хотелось бы его поблагодарить, – сказал мудрый человек из Икитоса.

Он попросил одного из гребцов пойти с ним и отправился отдать долг вежливости.

– Что он сказал? – спросили мы, когда Сесар вернулся.

– Пожелал нам счастливого пути, – вздохнул Сесар Кальво. Мне показалось, что ему очень грустно было расставаться с добрым отцом всех ашанинка.

Мы в последний раз окинули взглядом селение, помахали собравшимся на эспланаде женщинам и мужчинам и направились к реке. Сельва, такая молчаливая в сезон дождей, снова ожила, и мы быстро спускались по Унини, слушая пение всех обитателей Верхней Амазонии. Слушали, как поет *арамбаса* и как поют *папаси, карачупауса*, и утка *марикинья*, и пугливая *пангуана*, которая умирает после того, как отложит пять яиц, и голубой попугай *маракана*. И *уапапа*, и *уанкауи*, и большой *юнгуруру*.

Мы быстро спускались по Унини, слушая пение всех этих птиц, и еще сотни, и еще одной сотни.

Но мы слушали не только птиц – мы слушали рыб, которые время от времени подплывали к нашим пирогам и следовали за нами с тем же упорством, с каким в тот момент я следовал за своими воспоминаниями: *тантоотци, ширимпиаре*, руки, которые меня лечили, книга Руссо, медаль Royal Army на бугорке из гальки.

Вдруг в сельве, перекрывая пение всех других ее обитателей, отчаянно вскрикнул, испугав меня, *макисапа*.

– Медаль! – вскричал я, и гребцы-ашанинка в моей пироге засмеялись.

Я нашел наконец-то лишний элемент в головоломке моих воспоминаний. Как получилось, что та медаль не утратила блеска? А ленты? Как они не полиняли в амазонском климате? Ведь с момента исчезновения доктора Шелдона прошло уже больше года.

Все подтверждало мою догадку.

Ашанинка простились с нами, как только мы добрались до Укаяли, оставили нам свою лучшую пирогу и объяснили, как следует грести, что-

бы сплавиться по реке благополучно. Потом они начали грести против течения, весело смеясь, довольные, что могут вернуться в свое селение.

— Какие они веселые! — воскликнула Лаура.

— Нам нужно плыть в другом направлении, — улыбнулся Сесар Кальво, устраиваясь в пироге.

— В Аталайю, — подтвердил я, стараясь, чтобы слова мои прозвучали беззаботно. Но это не получилось: я был слишком занят поисками ответов на те вопросы, что возникли у меня, когда мы плыли по Унини. Голос мой прозвучал мрачно.

Мы спускались по Укаяли медленно, обходя деревья, которых после разлива было очень много в реке. Когда мы добрались до Аталайи, была уже почти ночь.

Еще чуть позже я сидел на том самом месте, где перед нашим отплытием по Унини плакала, глядя на сельву и слушая *айаймамана*, Лаура. Но и здесь я не находил покоя. Мудрый человек из Икитоса вышел из хижины и подошел ко мне.

— Я тоже думаю о нем, — сказал он.

— О Пулькапе Айумпари?

— Да.

— Томас Шелдон, — грустно сказал я.

Сесар Кальво утвердительно кивнул.

— Первые подозрения появились у меня в тот день, когда он застал тебя в своем доме и не убил. Настоящий ашанинка никогда так не поступил бы. Поэтому сегодня утром я пошел поблагодарить его — я хотел видеть его лицо. Цветная глина может скрыть цвет кожи, но цвет глаз не скроешь. Они были голубые. Типичные для англичан голубые глаза.

— Но как он смог стать *ширимпиаре*?

— Он ведь врач, так? Наверное, пришел в селение и чему-нибудь научил тогдашнего *ширимпиаре*. А тот усыновил его и объявил своим преемником. Скорее всего, было именно так.

— Я не знаю, как поступить, Сесар. Не знаю, должны ли мы рассказать обо всем Лауре.

И тут мы услышали покашливание. Кто-то предупреждал нас о своем присутствии.

— Сесар прав. Томас вылечил прежнего *ширимпиаре*, и тот уступил ему свое место. Он пишет об этом в письме, которое я только что нашла среди своих вещей.

Лаура стояла позади нас, в руках у нее был лист бумаги.

— Я думал, ты спишь! — воскликнул я.

— Я все слышала, — сказала Лаура, глядя мне в глаза.

Несколько секунд мы все молчали.

— Как нам тебя теперь следует называть? — спросил я наконец.

— По моей девичьей фамилии. Слиго. Лаура Слиго.

Потом она решительно сделала тот шаг, на который так долго не решался я:

— Томас пишет, что ты влюблен в меня. Скажи мне, так ли это. И не забывай, что здесь Сесар Кальво и ты говоришь при свидетеле.

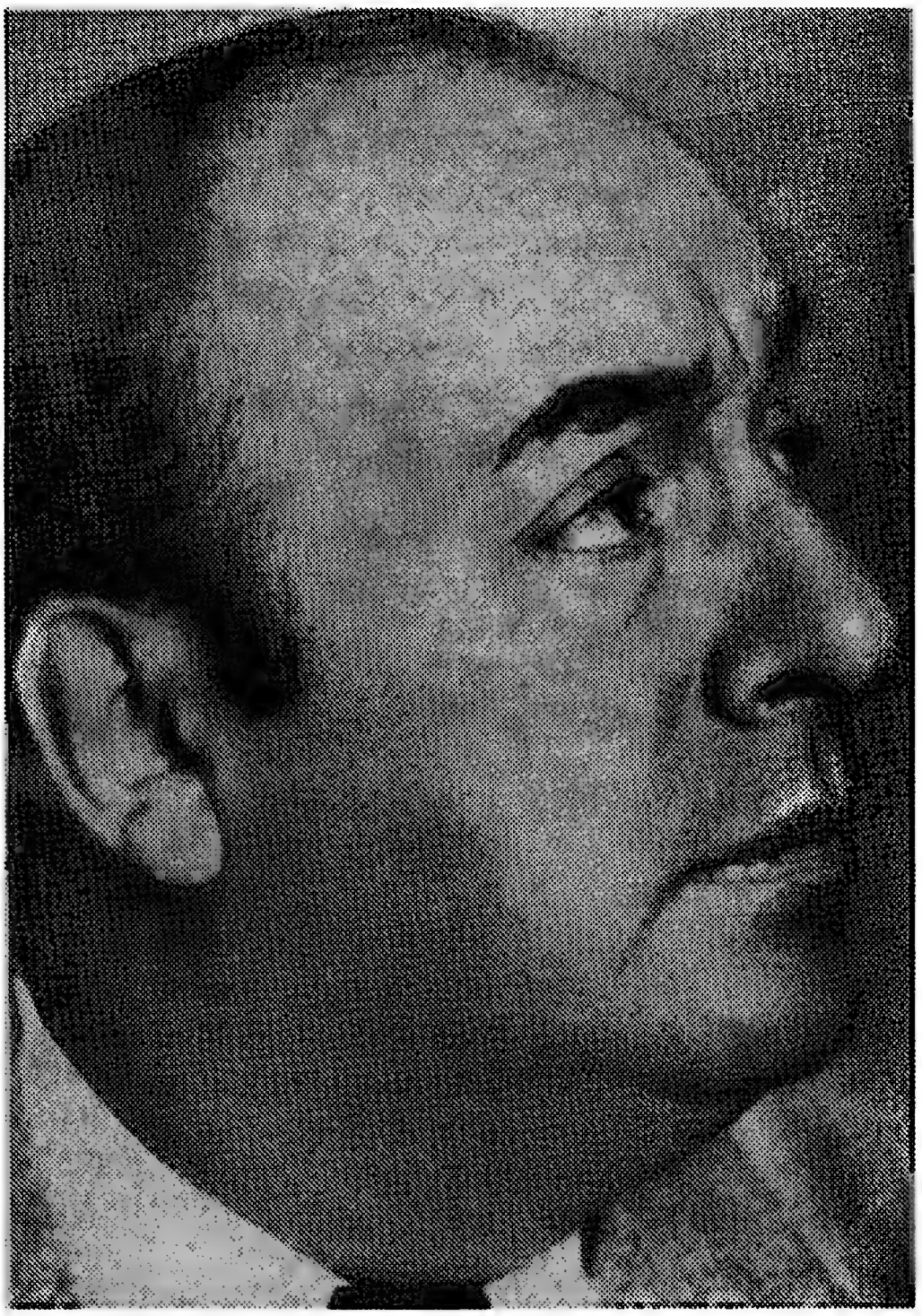
Через месяц мы с ней были в Дублине.

Пабло Неруда
Дом на песке

Перевод с испанского и вступление Э. Брагинской

Перевод стихов Ю. Гирина

2004 год объявлен ЮНЕСКО годом великого чилийского поэта Пабло Неруды, которому 12 июля исполнилось бы сто лет со дня рождения.



В Чили поэт Пабло Неруда — поистине культовая фигура, национальное достояние. Мало сказать в Чили — на всем латиноамериканском континенте. Да и редко кому из поэтов XX века выпадала при жизни такая всесветная слава; она сложилась не только из созданных им стихов, но и благодаря его неизменно стойкому чувству ответственности за судьбы людей Чили и всей земли.

В нынешние времена усердно ищут в его поэзии позднего периода признаки отхода, отступничество от прежних взглядов и упований. И напрасно. Неруда,

© Э. Брагинская. Перевод, вступление, 2004
© Ю. Гирин. Перевод, 2004

этот "самый счастливый человек в мире" по аттестации Ильи Эренбурга, человек, который "хотел бы съесть всю землю и выпить все море"[1], в разные годы своей жизни писал стихи, полные скорби и горечи. Он был поэтом и гражданином бурлящей Латинской Америки, а не благополучной и благоустроенной Европы. Да и странно хотеть былого радостного мироощущения от тяжело больного поэта, который знал и не хотел знать о своей смертельной болезни. Но даже смертельно больной, он не изменил самому себе, когда расстреляли дворец Монкада, откуда не ушел президент Альенде.

Многие исследователи творчества Неруды — а о нем написаны горы книг, монографий и статей — согласным хором твердят, что он пришел в поэзию, чтобы назвать все неназванное, дать имя всему безымянному.

Но лучше всех об этом и не совсем об этом сказал Хулио Кортасар, который всю свою жизнь преклонялся перед Нерудой. "...На наших глазах вершилось вербальное Сотворение целого континента, наконец-то устами настоящего латиноамериканца рыба была названа рыбой, и все вещи, все материи, живые существа, создавались и складывались в словесный рисунок с оригинальных матриц, без покровительственного одобрения всех линнеев, гумбольдтов, кювье и дарвинов, которые по-отечески снисходительно оделили нас своими символами и образцами..."[2] В том-то и дело, что Неруда не столько назвал неназванное, сколько сумел назвать иначе, по-новому — что и есть, в сущности, предназначение настоящего поэта! — все, что до него было названо по заемным меркам и шаблонам. И люди Чили, всей Латинской Америки смогли наконец увидеть, ощутить, услышать вьяве самих себя. В том и есть поэтическое подвижничество Неруды.

Известно, что Неруда был великим противником толкований его поэзии. Он не раз писал и говорил о том, что ему скучны всяческие попытки анатомировать его поэзию. Он старательно избегал высокоумных разговоров и научных дефиниций. Я была свидетелем тому, как он в ресторане гостиницы "Националь" специально заказал столик возле усердно гремящего в те далекие годы оркестра, чтобы им же приглашенные московские друзья и знакомые не пускались в рассуждения насчет его творческих концепций. Так и вижу Поэта: сидит, радуется друзьям и улыбается лукаво.

Не принимал Неруда и деления его поэзии на лирическую и гражданскую. Вот строка из его мемуаров: "Осторожно! Не режьте пополам яблоко творчества: так можно рассечь наше сердце, и тогда мы погибнем. Осторожно! Мы должны дать место поэту не только на улице и в строю, ему нужен и свет и мрак"[3].

Поэзия Пабло Неруды — огромная, неохватная, она в постоянных поисках и обретениях, в ней все регистры, все тембры, все уровни напряжения человеческих чувств, разочарований и надежд, в ней чрезвычайны и полномочны "Я", "Ты" и "Мы".

И в публикуемой нами сегодня книге, не без грустного подтекста названной поэтом "Дом на песке", созданной им вместе с мастером художественной фотографии Серхио Ларрайном в 1963 году, распростерся все тот же огромный поэтический мир Неруды.

"Исла-Негра" переводится на русский язык как "Черный остров". На самом деле Исла-Негра никакой не остров, а местечко на побережье Тихого океана в ста километрах к югу от Сантьяго. По свидетельствам друзей Неруды, у этого дикого и почти безлюдного места, куда поэт приехал вместе со своей второй женой Делией дель Карриль в 1939 году, не было даже и названия. Но среди песков выси-

1. П. Неруда. Признаюсь: я жил / Перев. Э. Брагинской. — М.: Политиздат, 1988.
2. Хулио Кортасар. Неруда среди нас: В кн. Х. Кортасар. Я играю всерьез... / Перев. Э. Брагинской. — М.: Академпроект, 2002.
3. Признаюсь: я жил / Перев. Э. Брагинской. С. 366.

лась громада черных камней, и сопровождавший их родственник воскликнул: "Черный остров, Исла-Негра!" Вот и вся история с географией. Пленившись суровой красотой берега со скалами и камнями, поэт купил в рассрочку, в счет издательских гонораров, маленький дом у бывшего испанского капитана, чтобы в тиши, без городской суеты приступить к созданию своего грандиозного творения — "Всеобщей песни". Вот что пишет об этом он сам в своих мемуарах: "Идея написать большую поэму, которая объяла бы исторические события и природу континента, жизнь и борьбу наших народов, — эта идея стала для меня первостепенной и неотложной. Дикое побережье Исла-Негра и неумолчное волнение океана помогли мне..."[1]

Потом Неруда долго и озорно достраивал этот дом из камня, дерева и цемента, пока он не стал напоминать корабль на песке с настоящим трапом, с брошенным в саду огромным якорем, с флагом и колоколами, с фантастической коллекцией морских раковин, с именами друзей на потолочных балках, среди которых есть и имя его любимого московского друга Овадия Савича, с капитанским мостиком на втором этаже и с огромным окном, откуда все последние месяцы своей жизни поэт видел один и тот же пейзаж — пески, камни и бесконечный океан, дорогу его плаваний и возвращений. "Я и дом свой построил как большую игрушку и играю с ней дни напролет"[2]. Этот дом — еще одно прекрасное, искреннее и дерзкое поэтическое творение Неруды.

Сложенная из морских камней могила Неруды и воспетой им в "Ста сонетах о любви" Матильды Уррутиа — словно эпилог к его последней книге. Поэт хотел навсегда остаться и остался рядом со своим любимым домом, рядом с шумом океанских волн. А дом его на побережье Тихого океана стал местом всемирного паломничества, местом самых разных и шумных событий культурной жизни Чили и других стран. И именно с Исла-Негра еще в сентябре прошлого года началась во всем мире череда празднований столетия со дня рождения великого Пабло Неруды.

Э. Брагинская

1. Признаюсь: я жил / Перев. Л. Синянской. С. 195.
2. Признаюсь: я жил / Перев. Э. Брагинской. С. 338.

Ключ

Я теряю ключи, теряю шляпу и заодно — голову! А этот огромный Ключ висел себе одиноко над дверью лавки скобяных товаров моего приятеля Рауля в Темуко[1]. Его подвесили, чтобы индейцы знали: вот тут — лавка "Ключи". Уезжая на север, я выпросил, нет, отобрал его у Рауля, выкрал в самую грозу, под шквальным ветром. Не мешкая, я вскочил со своей добычей на коня и помчался в сторону Лонкоче[2]. Оттуда мы вместе с ключом, словно это вовсе не ключ, а невеста в свадебном наряде, отправились домой ночным поездом...

Наконец-то я догадался: все, что куда-то исчезло, пропало с глаз, унесло к себе море-океан. Оно пробирается в дом по ночам через замочные скважины, через зазоры в двери и в окнах.

Коль по ночам, в темноте, море — желтого цвета, у меня возникла смутная мысль, что это оно тайно проникает в мой дом. Сколько раз я обнаруживал в подставке для зонтиков и в нежных ушках Марии Небесной морские капельки, застывшие желтым металлом, частички его золотой маски. Ведь ночью море совсем сухое. В нем та же мощь, та же громадность, то же смятение волн, только в темноте море оборачивается большой чашей звенящего воздуха, чем-то, что не дается в руки, что избавилось от воды. Вот почему море без труда приходит в мой дом и спешит узнать, сколько чего у меня есть. Оно приходит ночью перед зарей: всё в доме вроде бы на прежних местах, только — соленое. Дерзкое море трется о тарелки, ножи и самые разные вещи, но, похоже, без злого

1. Темуко — городок на юге Чили, где провел детство и юность Неруда.
2. Лонкоче — город на юге Чили.

умысла. Однако они замирают от страха, едва море является в дом, сверкая всеми своими глазами желтого кота...

Вот так я потерял ключ, шляпу и собственную голову.

Их унесло море в часы отлива. А все же однажды утром я обнаружил свои пропажи. Их вернула добрая посланница — морская волна, которая нет-нет да и бросает пропавшие вещи к моей двери.

Вот так, благодаря искусному морю, новое утро возвратило мне и мой белый ключ, и засыпанную песком шляпу, и мою незадачливую голову.

М*оре*

Тихий океан вылезал за края карты. И никак не могли найти ему подходящего места. Он, такой огромный, такой безудержный, такой синий, не умещался нигде. Вот почему его бросили прямо перед моим окном.

Гуманистов всегда печалила участь маленьких людей, тех, кого проглотил океан.

Но они не сказали ни слова о затонувшем галеоне, груженном сиамской корицей и перцем, что наполнили океан терпкими запахами.

Ни слова!

Ни о том корабле первооткрывателей, хрупком, точно упавшая в волны детская колыбель, который вместе с изголодавшимися на его борту людьми ухнул в пучину.

Нет!

Человек в океане растворяется, будто веточка из соли. Но вода об этом не знает.

М*оре*

Южное море! Вперед, первопроходцы! Бальбоа[1] и Лаперузы[2], Магеллаины[3] и Куки[4], сюда, благородные мужи, только не наткнитесь на этот риф, не запутайтесь в бурых плетях саргассо[5], не шутите с волной. Ну, а теперь — вниз! В самую сердцевину безмолвия. Вот сюда, завоеватели! И все, хватит!

Пора умирать!

1. Васко Нуньес де Бальбоа (ок. 1475–1517) — испанский конкистадор. В 1513 году первым из европейцев увидел Тихий океан, который назвал Южным морем и, войдя в воду со шпагой в руке, объявил его владением испанской короны. Был обвинен в подготовке мятежа и обезглавлен.
2. Жан Франсуа Лаперуз (1741–1788) — французский мореплаватель, исследователь островов Тихого океана и других территорий. Руководитель кругосветной экспедиции 1785–1788 гг., которая пропала без вести. Останки были найдены на одном из островов в юго-западной части Тихого океана.
3. Фернан Магеллан (1470–1521) — португальский мореплаватель, чья экспедиция совершила первое в истории кругосветное плаванье. Открыл пролив, названный его именем, и первым пересек Тихий океан. Убит в схватке с жителями Филиппинских островов.
4. Джеймс Кук (1728–1779) — английский мореплаватель. Руководил тремя кругосветными экспедициями, открыл многие острова в Тихом океане. Был убит жителями Гавайских островов.
5. Саргассовые водоросли — группа кустистых морских водорослей (до 1 м длиной).

Море

И по-прежнему все в движении — волны, песнь, рассказ и смерть!

Старик-океан, заходясь в хохоте, открывал своих открывателей. Он удерживал на мятущейся воде и легковерных маори[1], и съедавших друг друга фиджийцев[2], и самоанцев, что лакомились водяными лилиями, и безумцев с Рапануи[3], которые воздвигли каменные статуи, а еще — простодушных жителей Таити и лукавых островитян; а позднее басков, португальцев, эстремадурцев[4] со шпагой, кастильцев с крестом, англичан с мешками денег, андалузцев с гитарой и летучих голландцев. Ну и что?

Море

Одним холодным прикосновением Океан валил с ног этих пришельцев, этих дерзких мореплавателей, даже не удостаивая их взглядом и всех поочередно заносил в водяной реестр.

И хоть бы что стало с Океаном, с его солью, с его бездной, с размахом его волн! Мертвецы не заполонили его, нет. Он разрастался в необъятном безмолвии. Там не загубить семя, там не сгноить кожуру: вода — это и сперма и чресла, это хрустально-прозрачное свершение.

Песок

Эти пески — желтые зернышки, они совсем особенные, бесподобные. Белые пески, темные... те прилипают к коже, к одежде, лезут куда угодно, их ощупью не возьмешь. А золотые пески в Исла-Негра, они будто крохотные скалы, частички какой-то погибшей планеты, которая сгорела, объятая пламенем, там наверху, далеко, желтая, за пределами времен.

Люди ходят по песчаному берегу согнувшись, что-то отыскивая подолгу, оттого и назвали это место "Остров Пропавших Вещей".

Океан беспрерывно приносит сюда тяжелые обкромсанные доски, кругляши зеленого стекла, пробковые поплавки, битые бутылки, облагороженные волнами, обломки крабов, ракушек, морских блюдец[5] и разных предметов, изъеденных, состарившихся под тяжестью упорствующей воды. Среди хрупких колючек, крохотных морских ежей, среди лап темно-лиловой хайвы[6], змеятся *кочаюйо*[7] — привычная пища бедняков — длиннющие морские водоросли, округлые, как угри. Даже на песке они,

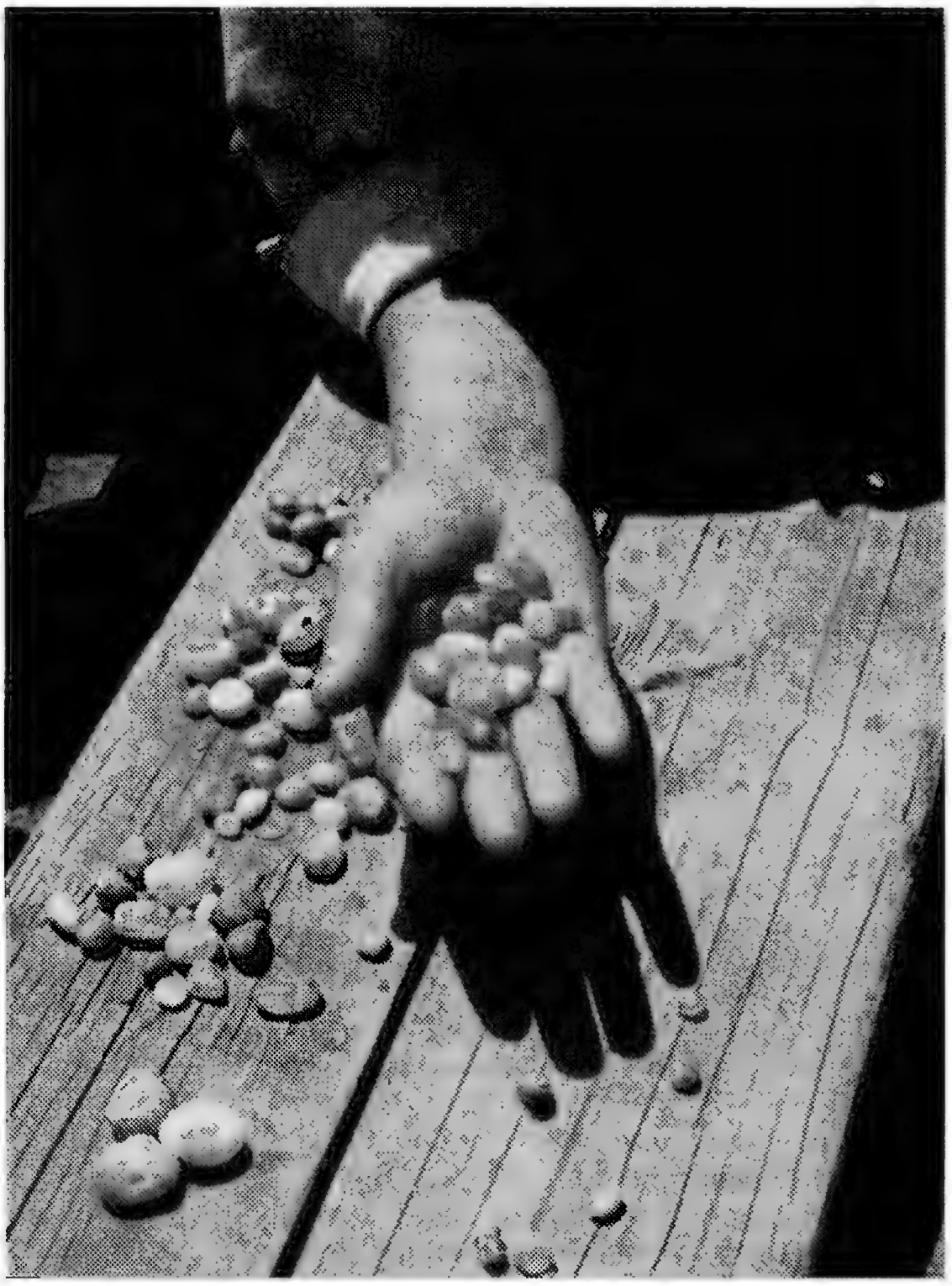
1. Маори — полинезийский народ в Новой Зеландии.
2. Фиджийцы — коренное население острова Фиджи в юго-западной части Тихого океана.
3. Рапануи — индейское название острова Пасхи, расположенного в 3200 км от южноамериканского материка.
4. Эстремадурцы — жители испанского автономного сообщества Эстремадура на юго-западе Испании.
5. Морские блюдца — вид моллюсков.
6. Хайва — морской рачок, обитающий в раковине.
7. Кочаюйо — морская водоросль серо-бурого цвета, употребляемая в пищу и содержащая большое количество йода, железа, кальция и других микроэлементов. Произрастает в водных пространствах Чили и других южноантарктических зонах.

взблескивая, подрагивают, скользят, потревоженные уклончивой волной Океана, который все еще их преследует. Давно известно, что это морское растение, достигающее четырехсот метров в длину, — самое длинное на планете. Так вот, эта морская водоросль припадает своим громадным присоском к скале и, опираясь на пробковые поплавки, разметывает по водяной постели свою огромную гриву, облепленную тысячами янтарных сосочков.

И если над Андами летает кондор, и если парят над чилийским морем альбатросы, а зубатый кит, кашалот, погружается в наши воды, чтобы выжить, значит, мы — маленькая родина самых больших крыльев, самых длинных волос, которые безустанно шевелит Океан, значит, мы родина чего-то сумрачного, что пульсирует в его подводных погребах.

Агаты

Ну откуда в моих руках разноцветные агаты? Каждое утро они появляются у моих дверей. Наверно, это добыча утренней зари: какой-нибудь забредший сюда пастух из верхних деревень, а то и Гонсалес Вера, или Лина, или Мария могли затеять спор из-за этих маленьких прозрачных камешков с Янкасами, собирателями съедобных ракушек на продажу. Эти Янкасы стерегут свой товар у самого берега, возомнив себя законными владельцами всего, что выносит волной на песок. Как знать? Но главное — все камешки терпеливо ждут, когда я проснусь. Вот и теперь

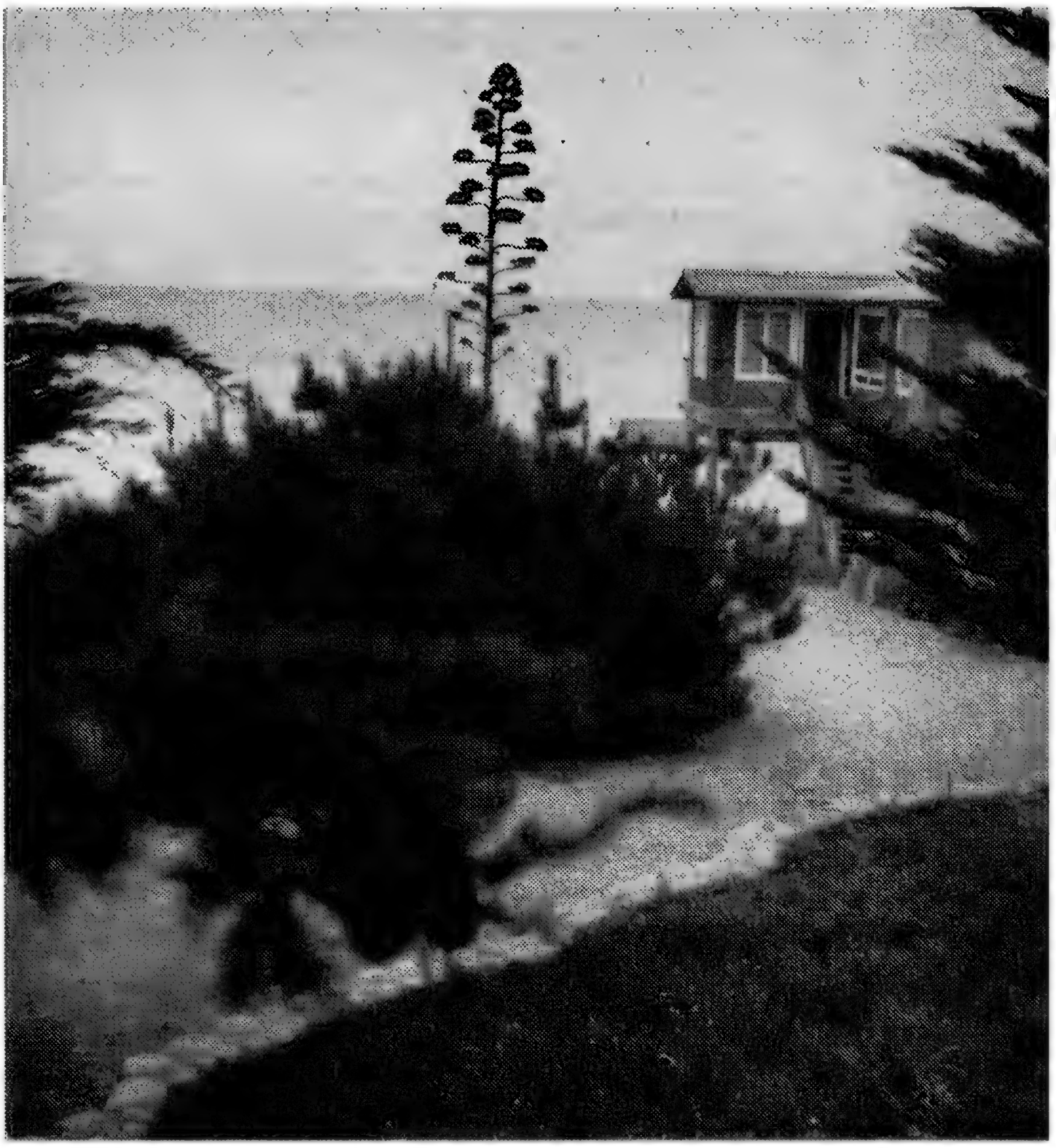


передо мной снова драгоценные дары, которые посылает мне океан, сам, своими руками; один камешек, сто камней, килограмм или целый бочонок – все у него в одной цене...

И на моей ладони таинственные капельки – кружочки света, похожие на виноградины, которые окаменели, чтобы уместиться в стихах, сложенных Эспиносой о Хениле[1]; капельки цвета устриц или осеннего меда. Они подернуты сединой по воле неведомого серебристо-пепельного божества или вдруг прошиты насквозь чьей-то золотой иглой, а иногда – с вмятинкой от прикосновения крохотной волны... Агаты в Исла-Негра, они такие разные – то дымчатые, то светло-голубые, они молочно-красные, темно-зеленые, рыжеватые, приглушенно-лиловые или нежно-салатные изнутри, точно гроздья мускатного винограда; застывшие в прозрачности, открытые свету... Океан вынул их из своих сот и преподнес в дар всем прихотям кристалла – пречистой чистоте.

Растения

Почти никто не знает, вернее, толком не знает об этих растениях, что щетинятся на океанском берегу! Сколько раз я спрашивал про них то у одного, то у другого, но в ответ слышал что-то невнятное от рыбаков, от



Пабло Неруда. Дом на песке

1. Имеется в виду баллада "Сказка Хениля" испанского поэта Педро Эспиносы (1578–1650), считающегося одним из самых изысканных певцов природы в испанской поэзии XVII века. Хениль – приток Гвадалквивира, реки, протекающей в Андалузии.

крестьян и от местных ребятишек. А впрочем, кто знает, как называется твоя иль моя шкура, или кожа уха? Нет и не было имени у кожицы вокруг нашего пупка. Вот и эти растения, исхлестанные соленым ветром, они — кожа и шкура морского побережья.

Нобелевская премия в Исла-Негра (1963)

Когда по радио стали передавать, что мое имя называется в числе возможных лауреатов Нобелевской премии по литературе, мы с Матильдой тотчас привели в действие план № 3 по обороне нашего дома. В первую очередь навесили огромный замок на старые деревянные ворота и запаслись продуктами и бутылками красного вина. А для себя я раздобыл несколько детективных романов, чтобы скрасить предстоящее затворничество.

Журналисты не замедлили явиться в наши пределы. Но нам удалось удержать их напор. Могучий бронзовый замок, кстати, очень красивый, нас не подвел. Представители прессы кружили вокруг ограды, точно тигры. На что, собственно, они рассчитывали? Что я мог сказать о дебатах, которые ведут только шведские академики, да еще на другом конце земли? Тем не менее журналисты были здесь, у нашего дома, и по их горящим глазам я понимал, что они надеются выжать из меня любые подробности. Вскоре журналисты исчезли, и наш берег избавился от их грозного нашествия. Однако мы, на всякий случай, решили не показываться на глаза никому...

В том году весна пришла с опозданием на Южное побережье Тихого океана. И дни, проведенные в тиши, как никогда помогли мне сблизиться с океанской весной, которая хоть и опоздала, но приготовила самые лучшие наряды к своему безлюдному празднику. За лето здесь не выпадет ни одного дождя. Земля — суровая, иссохшая, без промелька зелени: глина, камни, колючки. Зимой океанский ветер дает волю ярости и, беснуясь, швыряет на берег соль вместе с клоками океанской пены. Похоже, вся природа стынет в тоске, не смея перечить грозной стихии.

А весна, она первым делом принимается за свой великий золотисто-желтый труд, устилая все вокруг коврами золотистых крохотных цветов. Эти маленькие бесстрашные цветочки покрывают склоны холмов, опоясывают скалы, подступают к самому океану, вылезают на дорогу — прямо под ноги людей. Они точно бросают нам вызов, утверждая свое право на существование. Столько времени эти цветы, отвергнутые бесплодной землей, не видели света, столько времени жили потаенной жизнью, что теперь не знает удержу их желтое ликованье.

Но вот маленькие цветочки блекнут, исчезают, и вокруг нас — стлань густо-фиолетового цветенья. Сердце весны, поначалу солнечно-желтое, постепенно становится синим, затем алым... Но почему уступают место друг другу эти крохотные бесчисленные венчики неведомых цветов? Наверно, ветер приносит в какой-то день одни краски, потом, на смену, — совсем другие, словно там, среди холмов, весна то и дело меняет цвета государственного флага, и ее республики одна за одной радостно поднимают свои боевые штандарты.

В эту пору на побережье зацветают кактусы. Там, на дальних отрогах Анд, грозными колоннами встают граненые, утыканные колючками как-

тусы-великаны. А прибрежные кактусы, напротив — маленькие и округлые. Только теперь я заметил, что все они увенчаны множеством алых бутонов, словно чья-то рука принесла им обещанную дань, окропив собственной кровью. Когда бутоны раскрываются, издалека видно, как среди белизны пенных брызг пламенеют тысячи кактусов в полном цвету.

Старая агава возле дверей моего дома выбросила из своего чрева цветок-самоубийцу. Это огромное и мясистое сине-желтое растение за десять лет жизни стало выше меня ростом. И вот теперь оно расцвело, чтобы умереть. Агава выметнула свое могучее зеленое копье высотой в семь метров, ближе к острию перехваченное мелкими, почти сухими цветочками, припорошенными золотистой пыльцой. Вскоре исполинские листья агавы начнут подламываться, и она погибнет.

Рядом с умирающей агавой рождается еще один цветок-гигант. За пределами моей родины вряд ли кто знает о нем. Он растет только здесь, на наших антарктических берегах, и называется чауаль (puya chilensis). Этому растению когда-то арауканы поклонялись как божеству. Давно уже нет Араукании. Кровь, смерть, время, а следом эпическая арфа Алонсо де Эрсильи[1] завершили историю тех давних лет, когда суровое племя глиняных глубин вдруг проснулось, стряхнуло с себя пласты геологии и поднялось на защиту своей родины от нашествия чужестранцев. Когда я вижу, как снова зацветает чауаль над веками безвестных смертей, над пластами и пластами забвенья, пропитанного кровью, мне кажется, что само прошлое нашей земли цветет в укор, в осуждение тому, какие мы есть, какими мы стали.

Но я чуть не забыл рассказать, как выглядит чауаль.

У него острые, зубчатые листья, и он принадлежит к семейству бромелиевых. Зеленым костром полыхает чауаль по обочинам дорог, храня и множа в своей сердцевине коллекцию таинственных изумрудных шпаг. Но вот из его плоти устремляется ввысь одинокий гигантский цветок, одна гроздь, одна зеленая роза, огромная, в рост человека. Этот цветок сродни морскому кораллу, великое множество цветочков соединилось в нем так прихотливо, что кажется, будто над морем призрачно взблескивает зеленый храм, осыпанный золотистой пыльцой. Чауаль — единственный в мире гигантский зеленый цветок, единственный зеленый памятник морской волне.

Крестьяне и рыбаки моей родины давно забыли, как зовутся наши маленькие растения, маленькие цветы, и те потеряли свои имена. Постепенно стирались в людской памяти названия этих цветов, и они, перестав гордиться своей красой, боязливо спрятались в путани трав, безымянные, как те камни, что увлекает за собой река со снежных андских вершин к безвестным берегам. Наши крестьяне и рыбаки, шахтеры и контрабандисты давно свыклись со своей суровой судьбой, с непрерывной чередой смертей, воскрешений, обязанностей и тщетой усилий. Людям трудно быть героями на еще не открытой земле, ибо в них самих, в их нищете живут лишь слабые отсветы безымянной крови и тех цветов, чьи имена не ведомы никому.

1. Алонсо де Эрсилья (1533–1594) — испанский писатель, участник экспедиции испанских конкистадоров против индейцев-арауканов. Героическое сопротивление арауканов вдохновило его на создание эпической поэмы "Араукана", ставшей первым произведением чилийской литературы.

Один такой цветок буквально заполонил мой сад. На самом краю его глянцевого и стройного стебля покачивается множество инфрасиних мелких цветочков. Не знаю, многим ли суждено увидеть столь совершенный синий цвет. Может, он открывается только избранным и остается незримым для тех, кого некий бог синевы не удостаивает столь высокой чести? А вдруг все дело в той радости, что охватила меня в тиши одиночества? И оттого я так горжусь встречей с этой полнотой синевы, с синим колоском, с синими огоньками в нетронутой людьми весне?

Напоследок я расскажу о "доках". Не знаю, где еще найдешь эти цветы, они разрастаются тысячами тысяч и ползут меж скал по песку, вонзаясь в него своими треугольными пальцами. Весна унизала эти припавшие к песку пальцы амарантовыми перстнями небывалой красоты. В последние дни весны вся Исла-Негра залита сияньем этих цветов, чье греческое название — aizoaceae. Они точно обрушились на берег, выплеснулись из морской подводной пещеры, пролились пьяным соком пурпурных гроздей, что хранит в погребах сам Нептун.

В эти минуты по радио объявили, что Нобелевской премии удостоен поэт из Греции. И к нам с Матильдой наконец-то вернулась свобода. Мы торжественно сняли большой замок с потемневших от времени ворот, чтобы весь мир снова входил в наш дом без стука и без предупреждения. Как весна.

Камни

Камни, скалы, утесы... Может, это остатки неведомого взрыва? А может, сталагмиты, когда-то уходившие под воду, или грозные обломки полнолуния? Или кварц, который обрел иную сущность, или статуи, раздроб-

ленные, порушенные временем и ветром? Или ростры недвижных кораблей, или великаны-мутанты, которые окаменели, прежде чем умереть, или золотые черепахи, или звезды, брошенные в темницу? Или густые, как вулканическая лава, морские кручи, которые невесть отчего вдруг остановились, или сны предыдущей земли, или сорвавшиеся с другой планеты наросты, или застывшие высверки гранита? Или хлеб наших яростных пращуров, или ржавые кости, упавшие с какой-то прежней земли, или враги океана, засевшие в бастионах? Или просто-напросто камень, шершавый, неровный, искристый, серый, чистый и очень тяжелый, и, стало быть, из этого камня, из железа и древесины человек может построить себе дом на песке.

Дом

Дом... По правде, сам не знаю, как он у меня возник... Близился вечер, когда мы верхом на лошадях попали в этот безлюдный край... Дон Эладио впереди нас перебирался вброд через речушку Кордоба, вспухшую от прибылóй воды... Впервые меня словно кольнуло пряным воздухом морской зимы, где смешались запахи больдо[1], соленого песка, водорослей и чертополоха.

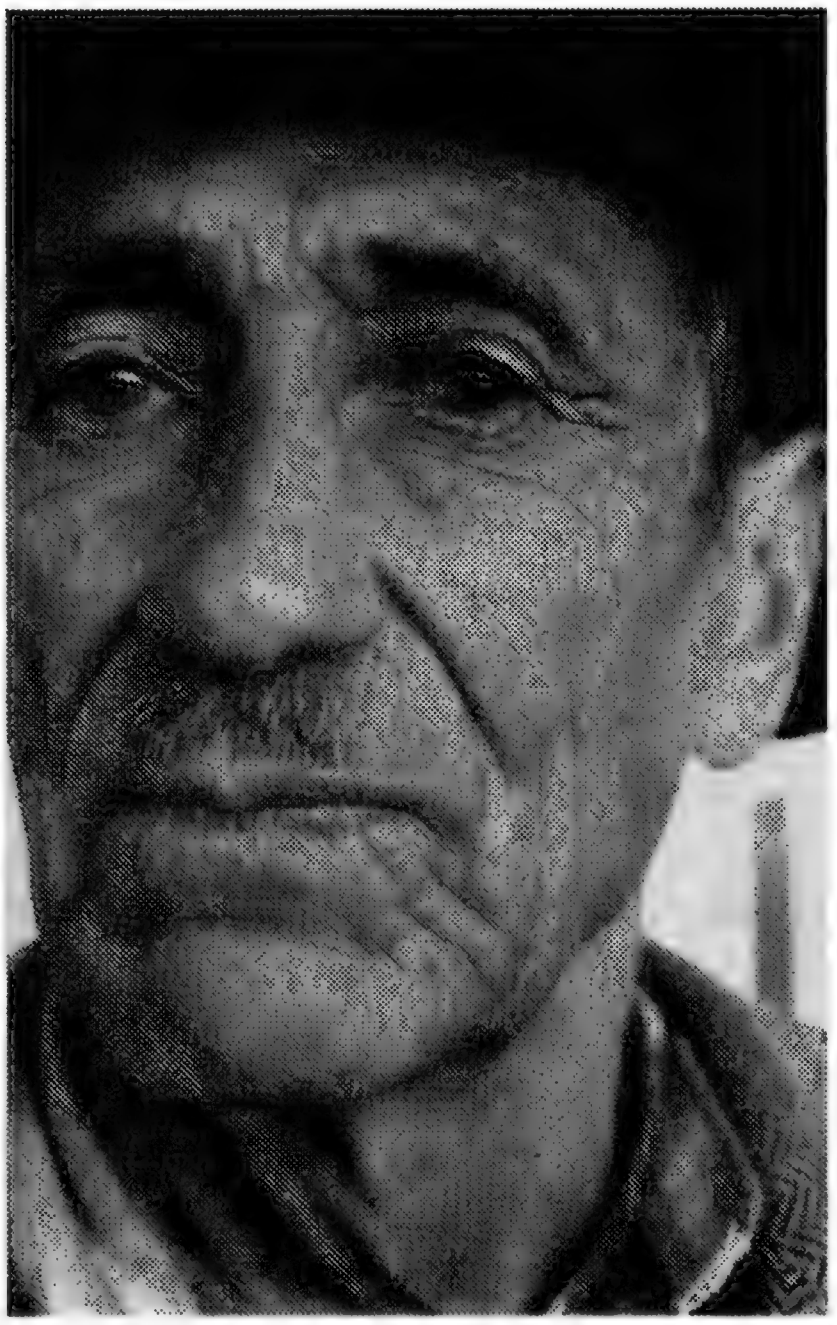
Дон Эладио

Вот здесь, сказал дон Эладио Собрино (мореход), и мы — остались. Постепенно дом пошел в рост, как люди, как деревья. Но дон Эладио вскоре умер. Он прожил много лет, до конца был весельчаком и не знал усталости. Потому что родом он из Андалузии. И когда в последний раз капитан Эладио Собрино пришел к нам, он весь вечер пел старинные песни моряков и андалузские серраны[2]. В тот самый день, когда он навечно перестал петь и мечтать о море, я по лесенке забрался наверх и на борту модели парусника, прикрепленной над камином, написал его имя большими буквами. Вот откуда имя "Дон Эладио" у модели этой парусной лодки, которую смастерили для меня в Веракрусе моряки, покинувшие "Мануэль Арнус".

(Большое судно, прибившись к берегу, покачивалось на волнах вместе с висящими на палубе их майками, простынями и длинными кальсонами.

Морская братия меня признала. И пригласила в гости, в свою бедноту. Мы славно пели и пили вместе, и потому моряки — выходцы из Андалузии — с такой любовью и терпением смастерили мне в подарок модель этого судна. И сказали со значением: "Точно такие уходят в море из Пуэрто-де-Санта-Мария"[3].)

1. Кустарник семейства лавровых.
2. Песни, близкие по звучанию фламенко, которые возникли на крайнем западе Испании в горах Андалузии.
3. Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария — город-порт в кадисской бухте (Андалузия). Санта Мария-дель-Мар — покровительница мореплавателей.



Теперь над камином, сложенным из камня, которого так много в Исла-Негра, плывет парусник "Дон Эладио". Какое славное у него имя!

Люди в Исла-Негра

Когда спустя несколько лет нашим домом занялся Херман, архитектор, ему пришлось подлаживаться к характеру Старшего Мастера, дона Алехандро. Видели бы вы руки этого мастера! Нет такого камня, который не поддался бы его рукам. Нет такого гвоздя, ни скобы, ни пилы, ни молотка, ни болта, ни бутылки вина! Нет такого каменотеса, такого плотника, такого каменщика, как Старший Мастер, нет такого охотника до красного вина, как он. Не сыскать на всем побережье, где бескрайнее море (а он и не глянет в его сторону), где есть работа и вино.

Херман своими глазами видел, как дон Алехандро поднимал эти тяжеленные квадратные камни. Поднимет такой камень, оглядит его и враз отсечет все лишнее. Как искрится камень на свежем сколе! И вот уже лежит недвижно, схваченный в плен цементом. А дом, точно гранитная гроздь винограда, рос, вызревая в удивительных руках дона Алехандро Гарсия.

Мы с Херманом не раз искали Мастера там, на лесах. Иногда что-то хотелось изменить, а чаще — понять, научиться.

Но что это? Наверху — никого!

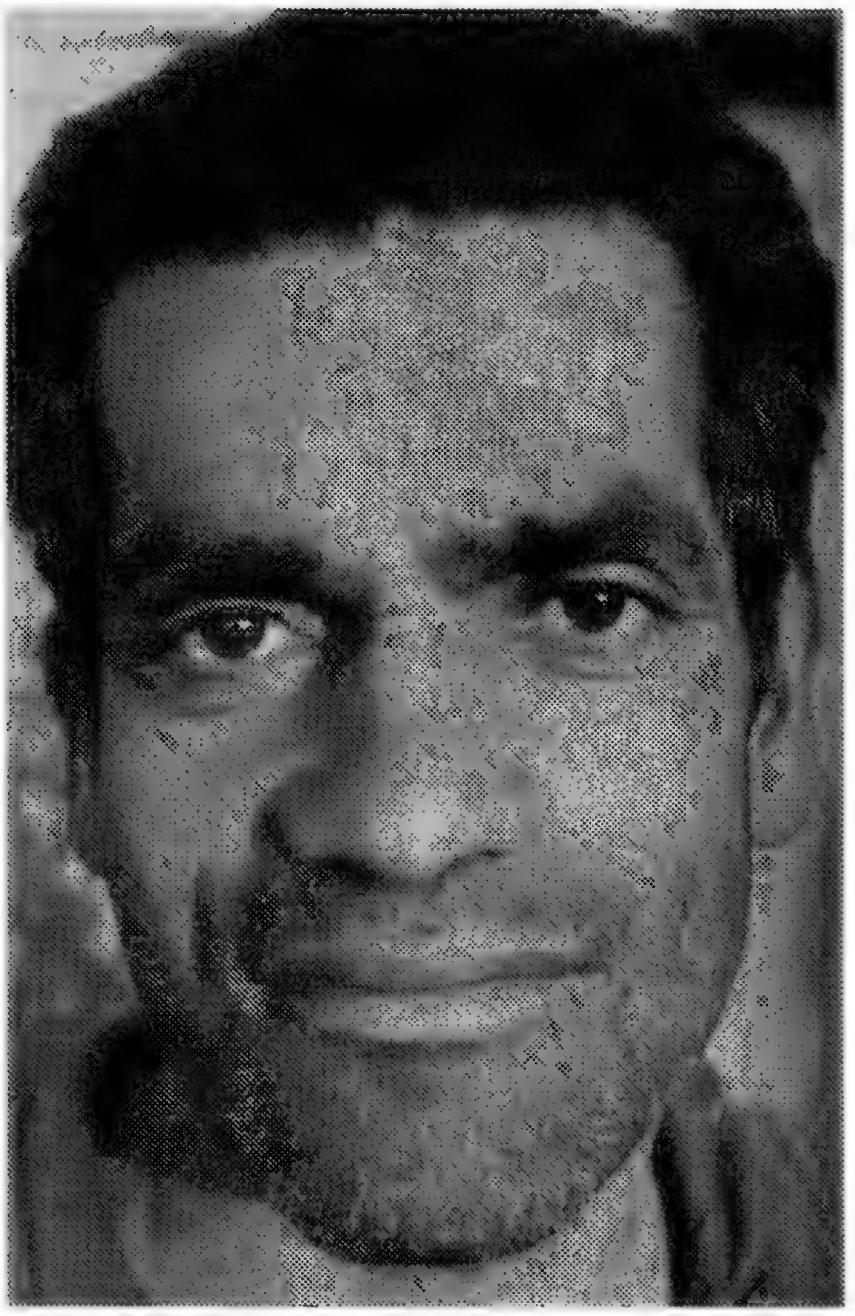
Улетучился куда-то со своими учениками. Вот те раз! Еще только четверг. Должно быть, ветер Океании, налетавший нередко на берег, повстречался с каменщиками и с четвергом там, наверху, среди лесов. Что ж! Значит, все они спустились, вернее, поднялись на холмы — к вину, к дому Флоренсио, что по соседству. И целых три дня кирочка Мастера и молотки лежат брошенные на песке. Но, чу! Там, наверху, снова взялись за дело эти лукавые титаны. Да вон они!

Дон Алехандро Гарсия, взвешивая на руке огромные камни, вырезая виноградины из гранита, неспешно и любовно ставил мой новый дом. И для меня это не просто дом, а деревце из камня, посаженное и взращенное его большими темными руками.

Люди в Исла-Негра

Я всегда считал себя плотником в поэзии, а вот Рафа, без сомнения, настоящий поэт в плотницком деле. Он приносит под мышкой свои инструменты, завернутые в газету, неспешно разматывает их, и мне кажется,

что это его стихи. Потом он берет видавший виды молоток с засаленной ручкой, стамески и зарывается в древесине. Его творения — безупречны. Рядом с плотником почти всегда мальчик и собака, оба внимательно смотрят, как ладно движутся его чуткие руки. У плотника Рафы глаза Сан Хуана де ла Крус[1] и удивительные руки, которые бережно и мудро поднимают колоссальные стволы деревьев. Я написал мелом на потолочных буковых балках имена моих умерших друзей, а он сделал по ним прорезь, да так быстро и ловко, словно взлетел следом за мной птицей к потолку и написал эти имена острым кончиком своего крыла.



Имена

Я написал их на потолочных балках не потому, что они прославились, а потому, что это имена моих друзей, товарищей.

1. Сан Хуан де ла Крус (1542—1591) — испанский поэт-мистик, автор религиозных трактатов.

Рохас Хименес[1], неуемный бродяга, так часто бросавший слово "Прощай", смешливый до смерти, влюбленный без ума в голубей и темноту.

Хоакин Сифуэнтес[2], чьи терцеты катятся вниз точно камешки в горной реке.

Федерико[3], он радовал меня, как никто, и навеки опечалил нас всех.

Поль Элюар, чьи глаза цвета незабудок, как и прежде — я верю — небесно-голубые, сохранили под землей всю полноту просветленной синевы.

Мигель Эрнандес[4], он зачаровывал меня своими соловьиными песнями, они будто слетали с деревьев на улице Принсеса, но тюремщики бросили в застенок моего чудесного соловья.

Назым[5], бурливый певец, отважный кабальеро, верный товарищ.

Зачем они так рано ушли? Но их именам не соскользнуть с потолочных балок моего дома. Каждое из имен — знак победы. Все вместе они были для меня воплощеньем Света. Теперь — это маленькая антология моих печалей.

Зуб кашалота

Соль и кровь,
жизнь и смерть,
зеленую темень глубин
и пену кровавой охоты
принес он из моря,
из водного лона,
разверстого
плотью владельца его —
кашалота,
где крутятся
в сумрачном плясе
гигантские
звери —
повелители
вод
юга Чили.
Там
моря просторы,
там
в дальних широтах
студеные зори;
там
воздух
заиндевел
и заледенел

1. Альберто Рохас Хименес (1900—1934) — чилийский поэт-авангардист, основатель литературного журнала "Кларидад", близкий друг юного Неруды.
2. Хоакин Сифуэнтес Сепульведа — чилийский поэт, друг Неруды, совершивший убийство на почве ревности.
3. Федерико Гарсиа Лорка (1898—1936) — испанский поэт, большой друг Неруды.
4. Мигель Эрнандес (1910—1942) — испанский поэт, республиканец, погиб в тюрьме.
5. Назым Хикмет (1902—1963) — турецкий писатель, поэт, после 17-летнего тюремного заключения с 1951 года жил в СССР, где Неруда с ним познакомился и подружился.

прозрачною твердью,
по своду
которой
скользит
альбатрос,
словно
по снежному насту.

А внизу
море
дыбится
башней,
то обрушится, то вознесется —
бурлящее варево,
где в свинцовых волнах
извиваются
водоросли,
бьются
в ознобе.
Вдруг
сошлись
под чудовищным
куполом
токи жизни
и смерти:
пропорол буруны
головою
сокрытый
под грядами волн
кашалот,
распилил
водный мрак
одним взметом
гигантской
подводной пилы.

И сверкают, искрясь
желтоватым отливом,
огнистые всплески
в разверстой улыбкою пасти,
что волна заливает напрасно.
Все же море и смерть
обретаются рядом,
неотлучно сопутствуют
зубатому склепу на водах.
И когда
тяжким пальмовым махом
обитатель пучин
вздыбил темные воды,
в его плоть
исполина
человечек вонзил

искру смерти —
то метнул
свой гарпун
просоленой рукою
чилиец.

Когда
кончился день,
полный
моря
и крови,
взял моряк
сручный нож
и на зуб
кашалота
нанес прорезью
два силуэта:
там слились в расставанье
он и она —
китобой,
пронзенный любовью,
и та, что застыла
корабельною ростой
под флагом прощанья.

Сколько раз,
прикасаясь рукою ли, взглядом,
я томил свое сердце,
вспоминая о давнем
моряцком венчанье,
впечаленном
навек
в тот зуб кашалота.

О, как я любил
ту печать
разлученных
сердец,
что оставил резец
на кости
кашалота,
свирепого зверя
из морской преисподней.

Тонкий
след
поцелуя
печали
тот резец
расписал
на волнах
океана,

на страшной
ощеренной пасти
зыбей,
на острие
ятагана
рыбы-меч,
ускользнувшей
из царства теней:
всюду
врезалось
эхо
любви рассеченной,
расставанья
цветущих
сердец,
той мглы
предрассветной,
едва лишь пронизанной
светом
и волглой
от горестных слез
китобойной зари.

О, эта любовь
у самых
уст
океана,
меж
зубастыми
гребнями
ощеренных
волн,
под
грохот
стихии
первотворенья
и шепот
угасшего
всплеска
волны
с ароматом
жасмина,
любовь
впопыхах,
за незапертой
дверью
случайных ночевий,
с поцелуем,
что тверже удара,
чтобы снова потом
пролегло меж устами
вековечное

море,
разделило уста
островами,
разостлалось простором без краю,
где студеных широт корабли
идут под штормами,
и льдистою вьюгой
в жадном поиске
единого чуда
глубинного царства
южных
морей —
допотопного
зверя
иссиня-
сапфирного
цвета.

А теперь его зуб
у меня на столе,
а за окнами — мартовский дождь.

И все возвращается
в песчаную отмель прибрежья:
осенняя волглость,
затерянный свет,
туманное сердце
и зуб кашалота
с печатью любви —
миниатюра из кости,
корабль возвращенья.
Ведь давно уже все,
что было
на веку человека, —
все любови и все гарпуны,
все, что было плотью и солью,
драгоценные запахи и то, что не имело цены, —
все ушло и распалось на дне моря смерти.
Одно лишь осталось
от судьбы гарпунера —
остался рисунок
давнишней любви
на кости кашалота.
А море —
море вечно шумит,
раскрываясь, как веер,
в прибое,
распуская и вновь собирая
бутон
пенной розы,
вновь и вновь посылая угрозы,
и таким пребывает всевечно.

Медуза

В ту пору люди прятали меня в Вальпараисо[1]. Время было бурное, напряженное, но моя поэзия вольно гуляла по улицам. Это бесило коварного отступника. Он затребовал мою голову.

Мне нашли убежище на холмах Вальпараисо. Парни приходили домой лишь вечером. Оба — безработные моряки, мечтавшие о корабле[2].

— Что интересного повидали сегодня в порту? — И они охотно рассказывали.

А я? Что я мог разглядеть в оконце под самым потолком, которое смотрело в узкий переулок, круто уходивший вниз?

И вот новость: один старый корабль разбирают на слом.

— А нет ли там фигуры на носу? — спросил я с волнением.

— Да, есть какая-то тетка, — сказали в ответ ребята.

Я тут же взялся руководить столь серьезным делом из своего подполья. Немало усилий стоило снять гвоздодерами деревянную статую с корабельного носа. Ну, а кто займется ее дальнейшей судьбой?

Эта статуя не должна пропасть. Она огромная, но, хоть умри, ее надо спрятать, и поскорее. Только где, как? В конце концов ребята нашли чье-то брошенное складское помещение. Когда ее наконец спрятали в дальнем углу этого склада, я уже верхом на лошади пересекал андские Кордильеры.

Спустя годы, вернувшись из изгнания, я узнал, что склад кому-то продан (наверно, вместе с моей подругой?). Но, представьте, мы ее отыскали! Статуя преспокойно стояла во весь рост в саду, далеко от того склада. И никто не знал, чья она и откуда.

Извлечь статую из этого сада было ничуть не легче, чем в первый раз — из морских вод. Но однажды утром Солимано привез ее к нам на

1. Неруда описывает тот период своей подпольной жизни, когда он скрывался от преследований властей в бедном квартале города-порта Вальпараисо (1948 год).
2. В семье, где жил Неруда, было двое сыновей, которые не могли наняться на пароход и работали в порту грузчиками.

огромном грузовике. Мы с трудом спустили на землю деревянную великаншу и поставили, слегка наклонив вперед, у каменной скамьи — пусть неотрывно смотрит на океан. Наконец-то состоялось наше знакомство! Ведь прежде все перипетии ее освобождения я мог только воображать в полумраке подполья. Ну, а затем нас надолго разлучило время. Время террора и насилия. А потом — расстояние.

И вот я впервые увидел эту статую, покрытую столькими слоями краски и грязи, что не разглядеть ни ушей, ни носа. Но что ни говори, а эта матрона, окутанная летящей туникой, была по-особому величавой. Статуя напомнила мне ту Габриэлу Мистраль, с которой я еще мальчишкой познакомился в моем Темуко, когда она выходила на улицу, вся закутанная в монашеское облачение — с больших туфель до пучка на затылке.

Медуза II

Словом, глаза Медузы всегда смотрели на северо-запад, и ее большое тело, как и в прежние времена, клонилось к океану, точно на корабельном носу. Со временем мою Медузу, так занятно стоящую на цыпочках среди песков, повадились фотографировать туристы. А она, плутовка, каждый раз норовила водрузить себе на голову какую-нибудь птицу — то одинокую чайку, то горлицу, улетавшую по осени в дальние края. С огромной морской статуей свыклись и мои домашние, и Омеро Арсе[1], которому я не раз диктовал свои строки, подымая голову к ее пепельно-серому лицу.

И вдруг на тебе — свечи! Однажды мы обнаружили в саду богомолок из соседней деревни, которые на коленях возносили молитвы этой видавшей виды корабельной даме. Они-то и зажигали перед ней свечи ближе к вечеру, а ветер, знавший наперечет всех святых, задувал их с полным равнодушием.

Нет, это уж слишком! Ну, кто она такая? Сначала — порт Вальпараисо, общество матросни и грузчиков, затем — политическое подполье, да еще на своей собственной родине, потом вдруг — Помона[2] в складском саду, этакая благозвучная жрица, и теперь нежданно-негаданно — святая и, мало того, еретичка! При этом всякий знает, что у нас, в Чили, на меня готовы валить вину за все подряд. Так что того и жди припишут пропаганду новой ереси.

Нам с Матильдой удалось разубедить наивных богомолок. Мы открыли им все подробности личной жизни этой вырезанной из дерева женщины и, кажется, уговорили не ставить перед ней горящие свечи, которые, к тому же, могли и спалить нашу грешницу.

Кончилось тем, что мы унесли Медузу в дом, чтобы уберечь от свечного нагара, от губительного огня и затяжных дождей. Словом, ввели ее в пристойное общество других корабельных ростр.

И у Медузы началась совсем иная жизнь. Как только статую почистили, сняли стамесками и долотом толстый и жирный слой краски и грязи, она стала совсем иной. Засиял ее решительный профиль, изящные ушки и медальон, о котором мы даже не подозревали, а главное — во всей красе предстала густая грива волос, покрывавших ее голову, точно окаменевшей листвой какого-то дерева, которое еще помнит прилетавших к нему птиц.

1. Омеро Арсе — друг и личный секретарь Пабло Неруды.
2. Помона — в римской мифологии богиня плодов и садоводства.

Судовладелец

Никто и не знал, что это корабельный ростр, так далеко унесло его временем от старинного бушприта. В Венесуэле мне рассказали, что долгие годы он был вполне достойным бюстом Отца Родины[1]. Потом скитался по дворам одного колледжа, где служил мишенью недобрых школьных проделок и забав.

А я, едва увидел его, погруженного в думы и затерянного в нескончаемой иконографии, сразу понял — он родом из моря. Нечего и сомневаться, коли вот она, эта кайма волны, этот кружевной завиток пены, который мастера, как правило, вырезают рядом с фигурой предводителя корабля. А морские странствия и перебитый нос — наверно, какой-то сорванец запустил в него камнем — сделали его еще более вдохновенным и романтичным, удивительно похожим на Пушкина. Пусть решают — национальный герой или поэт, но по мне он не кто иной как судостроитель, мореход, вырезанный когда-то из дерева для своего морского предназначения, а затем бури и передряги окружили его ореолом тайны.

Поэты, собравшись в Каракасе, торжественно вручали мне этого мореходa. Я навсегда запомнил, как звенели бокалы в саду, и ночное летнее небо было усеяно звездами венесуэльской поэзии.

Церемония

В 1847 году американскому кораблю, клиперу под названием "Симбелина", пришлось войти в маленькую безымянную бухту на севере Чили. И моряки спешно принялись снимать с парусника корабельный ростр. Белая и позолоченная фигура походила на молодую невесту в наряде времен Изабеллы II. Лицо этой девушки, вырезанное из дерева, поражало своей печальной красотой. Но моряки "Симбелины" взбунтовались. Они решили избавиться от корабельной статуи, уверовав, что коварная дева водит глазами по сторонам в открытом море, чтобы сбить с курса корабль и держать в страхе всю команду.

Снять эту морскую предводительницу со старого, но мощного корабля — задача не из легких. Однако суеверный ужас придал морякам силы. Им удалось отпилить толстенный болт, крепящий статую на бушприте, и перерубить все гвозди. Не без опаски и уважительного трепета моряки оторвали ее от корабельного носа. Затем они погрузили эту красавицу в шлюпку и на веслах подошли к берегу.

В тот июльский день — самая середина зимы — море волновалось. И крупный неспешный дождь, непривычный в том пустынном краю, тяжело падал на землю.

Семь моряков взвалили на плечи деревянную статую, так странно разлученную со своим кораблем. Потом выкопали для нее яму в песке. Гуайянес, питавшиеся падалью, с визгливым карканьем кружили над людьми, пока длилась эта тягостная церемония. Как знать, захотел ли кто из могильщиков помолиться, испытал ли внезапно чувство глухой тоски или раскаяния? Гаруга, медленный северный дождь — то ли туман,

1. Имеется в виду Симон Боливар (1783—1830) — один из прославленных руководителей Войны за независимость испанских колоний. В 1813 году был провозглашен венесуэльским конгрессом Освободителем и Отцом Родины.

то ли какая-то фантасмагория — вдруг затянул очертания морского берега, желтые скалы и шлюпку, которая в великом безмолвии вернулась вместе с моряками к паруснику "Симбелина" тем утром, в июле месяце 1847 года.

Великий вождь команчей[1]

Диву даюсь, как он мог попасть в мой дом при его огромном росте, да еще с таким грозным колчаном. Но, так или иначе, этот Краснокожий здесь, и он — властитель: у него наряд из перьев, у него волевое лицо, его вырезали из прочной красной секвойи, выдержавшей железный натиск волн.

Этот Вождь краснокожих родом с китобойного судна, из штата Массачусетс. Быть может, такой же стоял на носу судна молодого Мелвилла[2], которое заходило в перуанские и чилийские порты. Всякий знает, что Вождь краснокожих — излюбленный корабельный ростр китобоев. И мастера с острова Нантакет[3] навострились вырезать его из дерева. А когда настало время пароходов и красавцы-парусники были преданы забвению, старые мастера продолжали вырезать статуи Краснокожих, которые с годами превратились в фирменный знак аптек и табачных лавок. (Ах, эти прежние "Бутики индейца", где смешались сотни запахов корений, где алхимик с особой деликатностью готовил в ступе свои ароматические мази и порошки!)

И ни разу я не видел, чтобы мой Краснокожий опасливо нахмурил бровь: он всегда при своих стрелах, топоре, ноже, он всегда готов к бою, он — храбрец из храбрецов в обществе моих безоружных морских дев! Ни сам Буффало Билл[4] с его похождениями и беспорядочной стрельбой, ни океан, полный строптивых монстров, не сумели поколебать могущество моего Краснокожего. Вот он здесь, в целости и сохранности, по-прежнему непобедимый.

Сирена

Это было на крайнем Юге, где территория Чили переходит в долгую россыпь островов. Архипелаги, заливы, проливы, распавшаяся, рассеченная водой земля, ураганы Патагонии, а затем — море Антарктики.

Там я ее и нашел. Она держалась кое-как на пришедшем в негодность судне, полусгнившем, просаленном, покрытом копотью. И было что-то патетическое в этой богине под ледяным дождем, там, на самом краю земли.

Наперекор бешеным ветрам мы ее высвободили из антарктического плена. И очень вовремя, потому что через год или раньше случилось подводное землетрясение и эту старую посудину унесло в бездну океана, а может, в саму преисподнюю. А когда-то судно называлось "Сиреной". Вот почему имя Сирена осталось и у статуи. "Сирена" из Глазго. Да и не

1. Команчи — индейское племя в Северной Америке.
2. Герман Мелвилл (1819—1891) — моряк, американский писатель, автор широко известного приключенческого романа "Моби Дик".
3. Нантакет — остров у северо-восточного побережья Атлантического океана.
4. Уильям Коди (Буффало Билл; 1846—1917) — американский искатель приключений, участник Гражданской войны, разведчик, прославился победой над вождем индейцев Северной Америки, герой дешевых исторических романов и актер. Организовал шоу "Дикий Запад", которое принесло ему мировую славу и огромное состояние.

такая она старая! Из верфи судно вышло в 1886 году. Но под конец оно развозило уголь по маленьким суденышкам на юге Чили.

Но подумать, сколько позади событий и морей, сколько лет и усталости, сколько волн и смертей до той поры, пока эту статую не прибило к беззащитному порту подводных землетрясений! А теперь — к моей жизни.

Мария Небесная

Мы с Аленом извлекли ее из лабиринта Блошиного рынка, где она лежала под семью слоями забвения. Поверьте, совсем непросто было разглядеть ее среди сломанных кроватей, покореженного железа. Мы вывезли ее оттуда на машине Алена, привязав к багажнику, а потом, много времени спустя, она прибыла в ящике в порт Сан-Антонио[1]. Солимано удалось пройти с этой победительной Девой через таможню, и он привез ее в Исла-Негра.

Но к тому времени я совсем забыл про эту статую. А может, из памяти все-таки не исчезло ее явление в пелене пыли среди груды "fer-

1. Сан-Антонио — город-порт недалеко от Сантьяго.

raille"[1]? Так или иначе, когда ящик был вскрыт, мы пришли в восторг от ее невыразимой красоты.

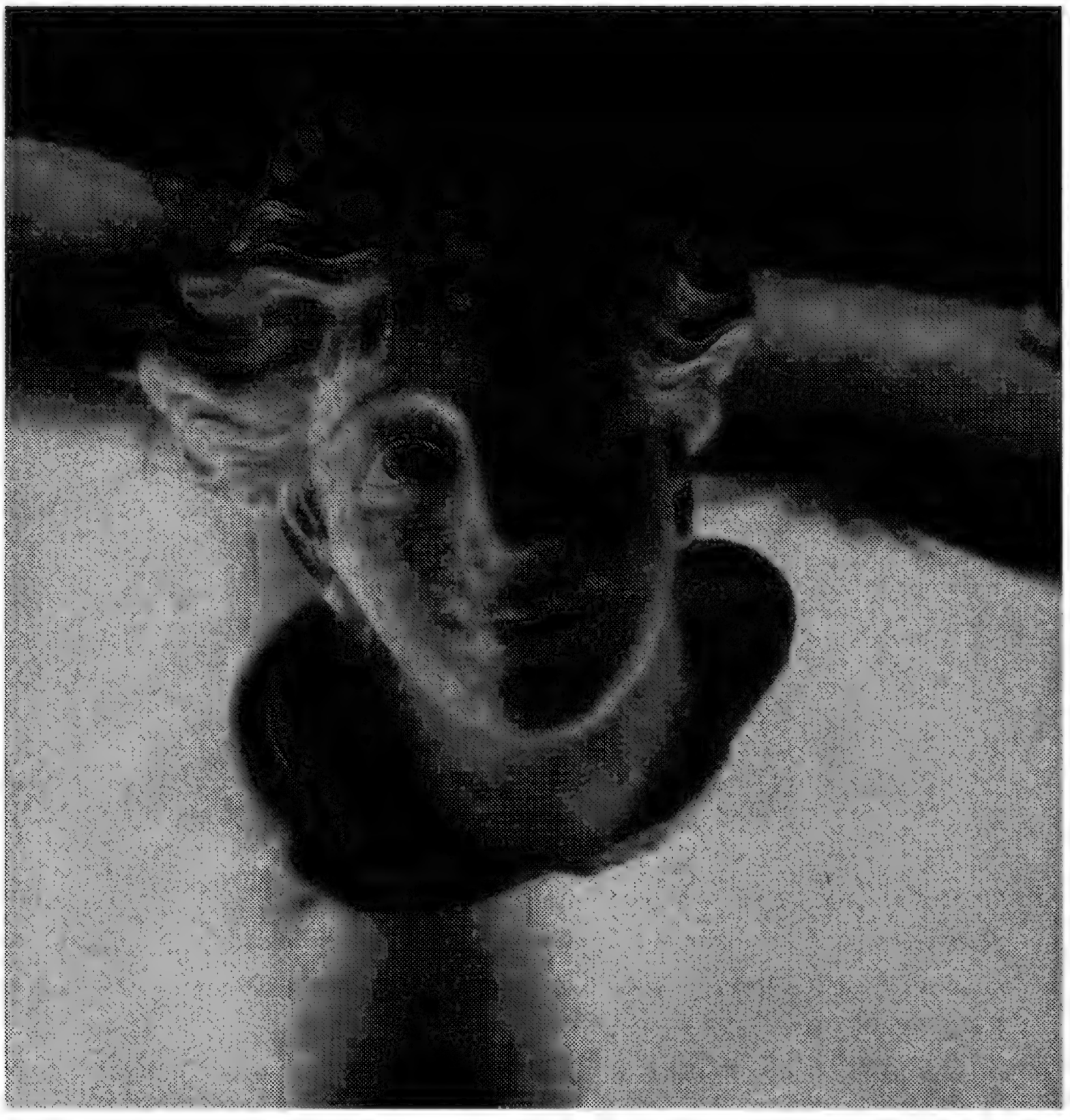
Она вырезана из черного дерева и вся светится нежностью. Ее куда-то уносит ветер, поднимая края легкой туники. Молодость ее грудей подчеркнута брошью, прихватывающей глубокий вырез платья. У нее печально-ждущие глаза, и голова поднята навстречу ветру. Во время долгой зимы в Исла-Негра таинственные редкие слезы скатываются из ее стеклянных глаз, они остаются на щеках и не могут упасть. Все дело в повышенной концентрации влажности, говорят скептики. Нет, это — чудо, говорю я почтительно. И не утираю эти слезы: их мало, но они, как топазы, сияют на ее лице. Я не утираю эти слезы, потому что привык к ее плачу, такому затаенному и скрытому, будто его не следует замечать. А потом проходят долгие месяцы холодов, снова светит солнце, и сладостное лицо Марии Небесной улыбается нежно, как сама весна.

Но все-таки, почему она плачет?

Невеста

Она самая любимая, потому что самая несчастная.

Ненастье изрезало ее кожу на кусочки, или чешуйки, или лепестки. Покрыло трещинами все лицо. Отбило у нее руки. Раздробило круглые



1. Ferraille (*франц.*) — старое железо, железяки.

и обласканные плечи. Обласканные шквалистым ветром и морскими странствиями.

Вся она будто осыпана тысячью тысяч пенных брызг. Ее благородное посеченное трещинами лицо превратилось в серебряную маску, которую ожгли и смяли ледяные бури. Недоля окутала ее сетью пепла, роем тумана.

Симбелина

О невеста Симбелина, о чистейшая из чистейших, нежнейшая из нежнейших! О ты, дева в мантилье с разбитым носом! О мечта безутешного корабля, роза из кристалликов соли, водяная лилия!

Когда мы подошли к тому дому, где, как выяснилось, никто меня не ждал, чутье подсказало мне вернуться и глянуть в замочную скважину. И вот в глубине я впервые увидел твое неприкаянное лицо. И дал себе клятву, что ты вернешься в море, в море Исла-Негра. Я кружил вокруг дома, пока надменный хозяин с замашками феодала не выгнал меня, точно опасного злодея. Он действовал хитростью и силой. Этот себялюбец вернул мне все мои любовные письма и отверг все подарки, которыми я надеялся подкупить его.

Верные и дорогие моему сердцу Педрегала и Матасон взяли его штурмом, они разгромили весь особняк, порешили всех часовых, разбили вдребезги витрины с хрусталем и, пустив в ход артиллерию и проклятья, вызволили из плена снежную Симбелину. Об этих подвигах до сих пор рассказывают в тавернах Вальпараисо.

Вон она какая, посмотри! Посмотри, прежде чем ее похитит свет или ночь. Эта морская душа небес так и не привыкла к земле. За века странствий она растеряла какие-то части тела, наполучала тумаков, накопила немало трещин, но сумела сохранить поразительную свежесть. Годы морских странствий, бег времени, одиночество, усеянное звездами, беспощадные волны, жестокие битвы сделали ее взгляд потерянным, а сердце — беспамятным. Она — сама ночь, сама отрешенность, чистейшая роза и спокойная ясность, дар небес.

И поди знай, то ли она улетит, то ли вдруг уплывет, безо всякого предупреждения, стремясь к своей ночи или к своему кораблю, нарисуется голубкой на морском ветру.

(Примечание: меж тем я открыл, что она и есть та самая взбалмошная *Симбелина*, из-за которой сбивались с курса корабли. Это ее схоронили в песках.)

К*расотка*

Этот баркас по праву назывался “Красотка”: он оставался прекрасным даже тогда, когда пришел в негодность под ударами ураганных ветров в Магеллановом проливе и стал игрушкой морских бурь и всяческих напастей. Остов судна сохранялся спустя годы после кораблекрушения, но от

корабельной фигуры, что стояла на носу, постепенно отваливались куски дерева. Ее так исхлестали безжалостные волны, что куда-то исчезли нарядные одежды, пропали ладони, руки и лишь каким-то чудом сохранилась голова, точно посаженная на кол на самом почетном месте корабля.

В один из ясных и тихих дней она попала в чьи-то алчные руки. И пошла по рукам.

Но на ее лице ничто не отразилось. Ни беспрестанные атаки моря, ни кораблекрушение, ни грозное одиночество Магеллана, ни бураны, что кусают снежными и ледяными зубами. Ничто!

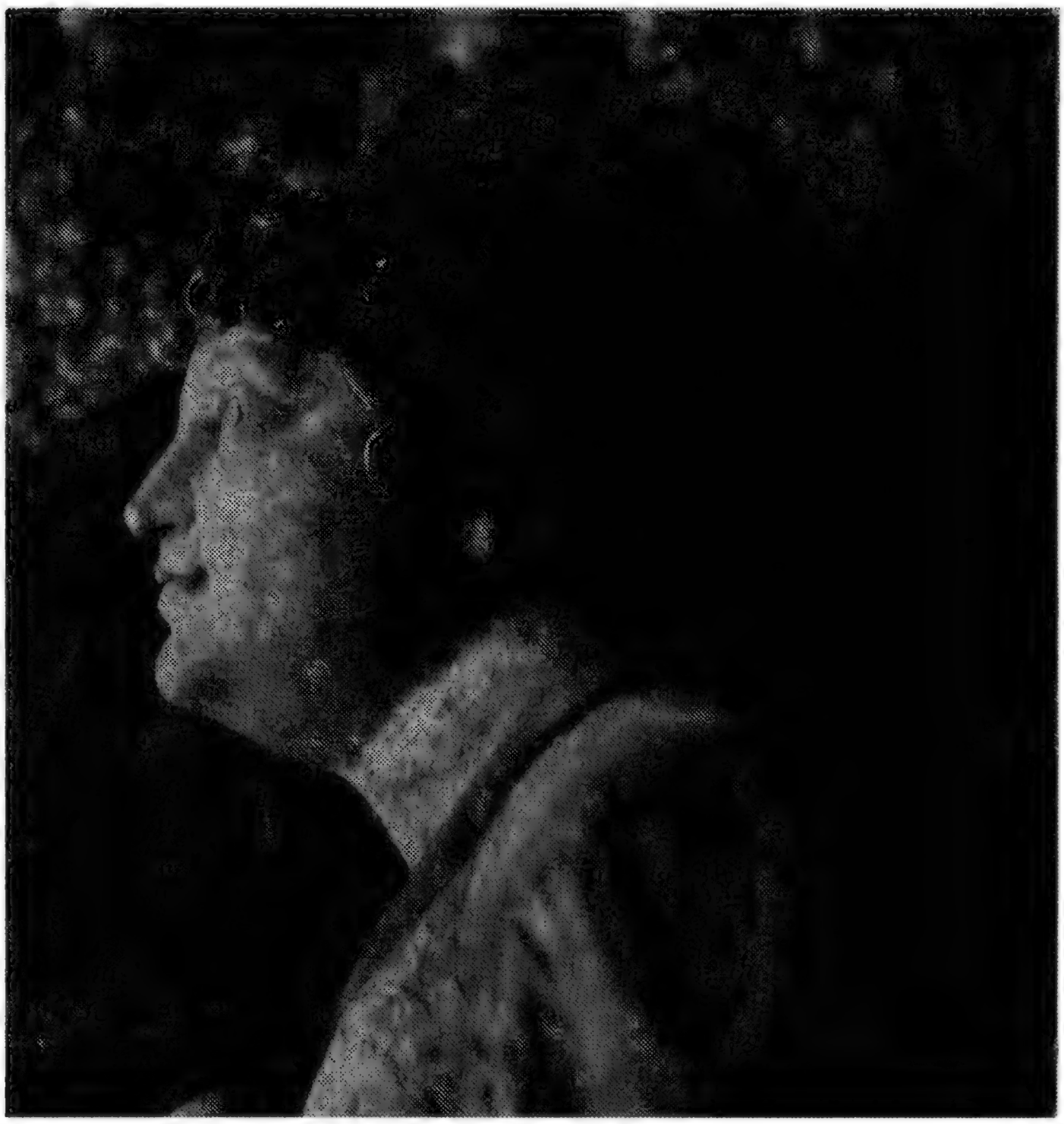
Она осталась такой, как и была, — бесстрастное лицо куклы и пустота вместо сердца.

Я обнаружил ее в подъезде, под жалким абажуром из искусственного шелка. Из нее смастерили лампу, подвесили к стене, но она улыбалась безмятежной улыбкой, не понимающей, что такое горе. На мочке одного уха, уцелевшего в бурях, был след ожога электрическим током. Придя в ярость, я сбросил с ее головы эту дешевую шляпу, которой, похоже, она была вполне довольна, избавил ее от этой постыдной электрификации. Мне хотелось, чтобы она смотрела на меня так, будто с ней никогда ничего не происходило, чтобы она была такая же красавица, как и до всех крушений на море и в сомнительных подъездах.

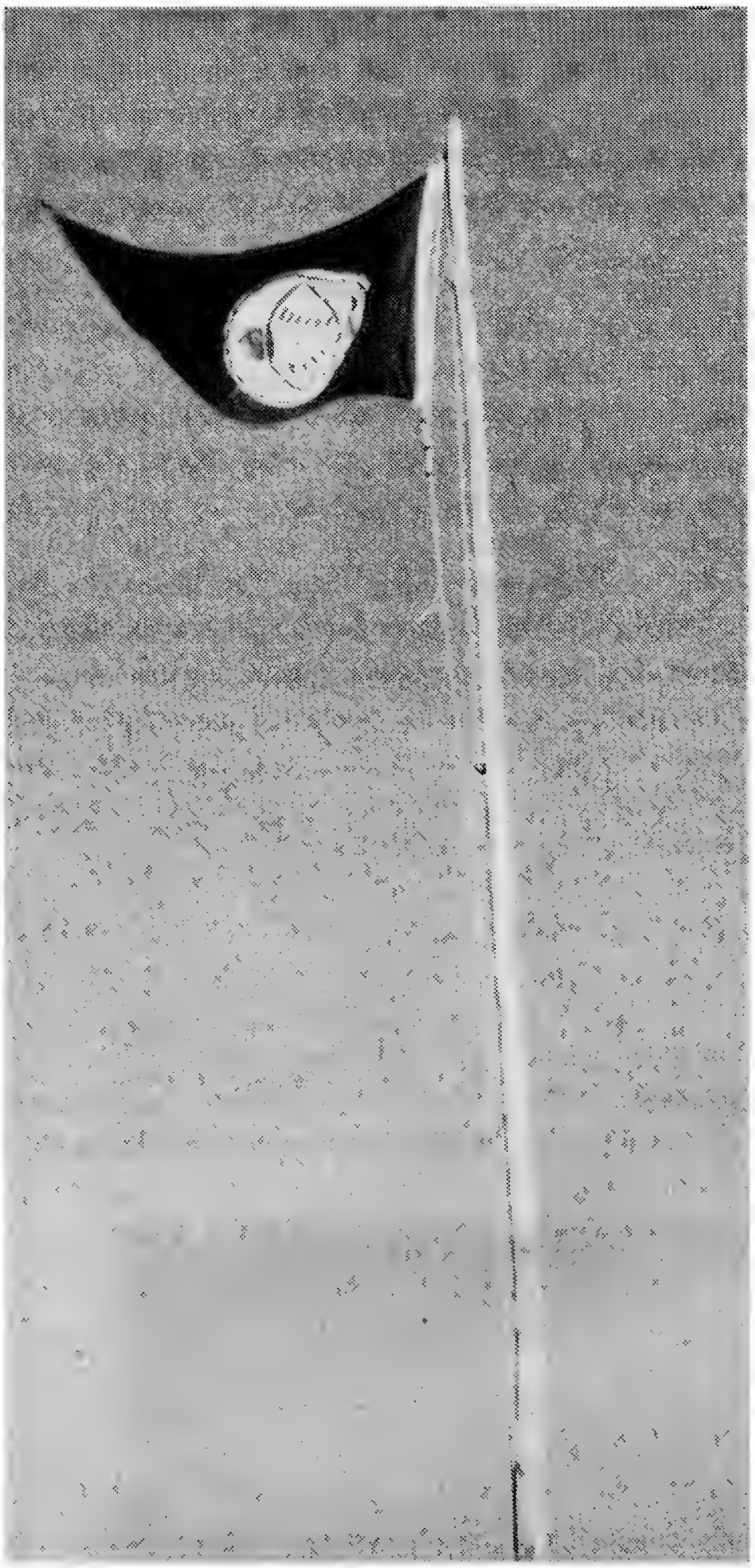
М*икаэла*

Последняя, кто попал (1964) в мой дом, была Микаэла.

Она — пышнотелая, уверенная в себе, и у нее огромные руки. После стольких странствий по морям-океанам Микаэла охотно согласилась



Пабло Неруда. Дом на песке



мирно стоять в саду среди огородных грядок. Там она легко отказалась от своей морской профессии, сбросила с себя груз тайны, которая наверняка у нее была (потому что я привез ее с причала), и стала безгрешной, земной, обернулась рострой земледелия. Похоже, в ее протянутых руках не дары морского заката, а спелые яблоки и кочны капусты. Теперь она — росистая, полевая.

Знамя

У меня знамя синего цвета с нарисованной по горизонтали рыбой, которую то замыкают, то отмыкают два астральных круга. Зимой, когда упорно дуют ветры и в нашем прибрежном краю ни единой души, мне нравится слушать, как плещется знамя и плавает в небесах рыбка, точно она там и живет.

— А с чего именно рыба? — спрашивают многие. — Это что-то мистическое?

— Да, — говорю, — это символический ихтиомин, дохристианский, цистерцианский[1], световластный, это — жарево, настоящее, это жареная рыбка.

— И ничего больше?

— Ничего больше.

Но в самые холода там, наверху, бьется и бьется знамя со своей рыбкой, дрожа от холода, от ветра и простора небес.

1. Цистерцианцы — монашеский орден, ветвь бенедектинского ордена, основанного в 1098 году. Первый монастырь ордена — Цистерциум, около Дижона, Франция.

Якорь

Этот якорь попал к нам из Антофагасты[1]. С одного из тех больших судов, что плывут, груженные селитрой, по всем морям. Якорь долго лежал в сухих песках Большого Севера. Однажды кому-то вздумалось послать мне его в подарок. Для него, такого огромного и тяжелого, это было трудное путешествие: с грузовика на подъемный кран, с торгового судна на поезд, с причала снова на судно. Оказавшись у ворот моего дома, он вдруг уперся и ни с места. Пригнали трактор. Но якорь не поддавался. Пригнали четырех быков. Эти рванули со всей яростью и тогда — да, тогда он дополз до того места, где растут береговые цветы, и, склонившись на один бок, остался там навсегда.

— Пора его красить! Смотри, как он ржавеет.

Да пусть! Он такой могучий и молчаливый, точно и не расставался со своим кораблем, ему нипочем даже этот разъедающий соленый ветер. Мне нравится, что его постепенно покрывает шершавый нарост из бесчисленных ржаво-красных железных чешуек.

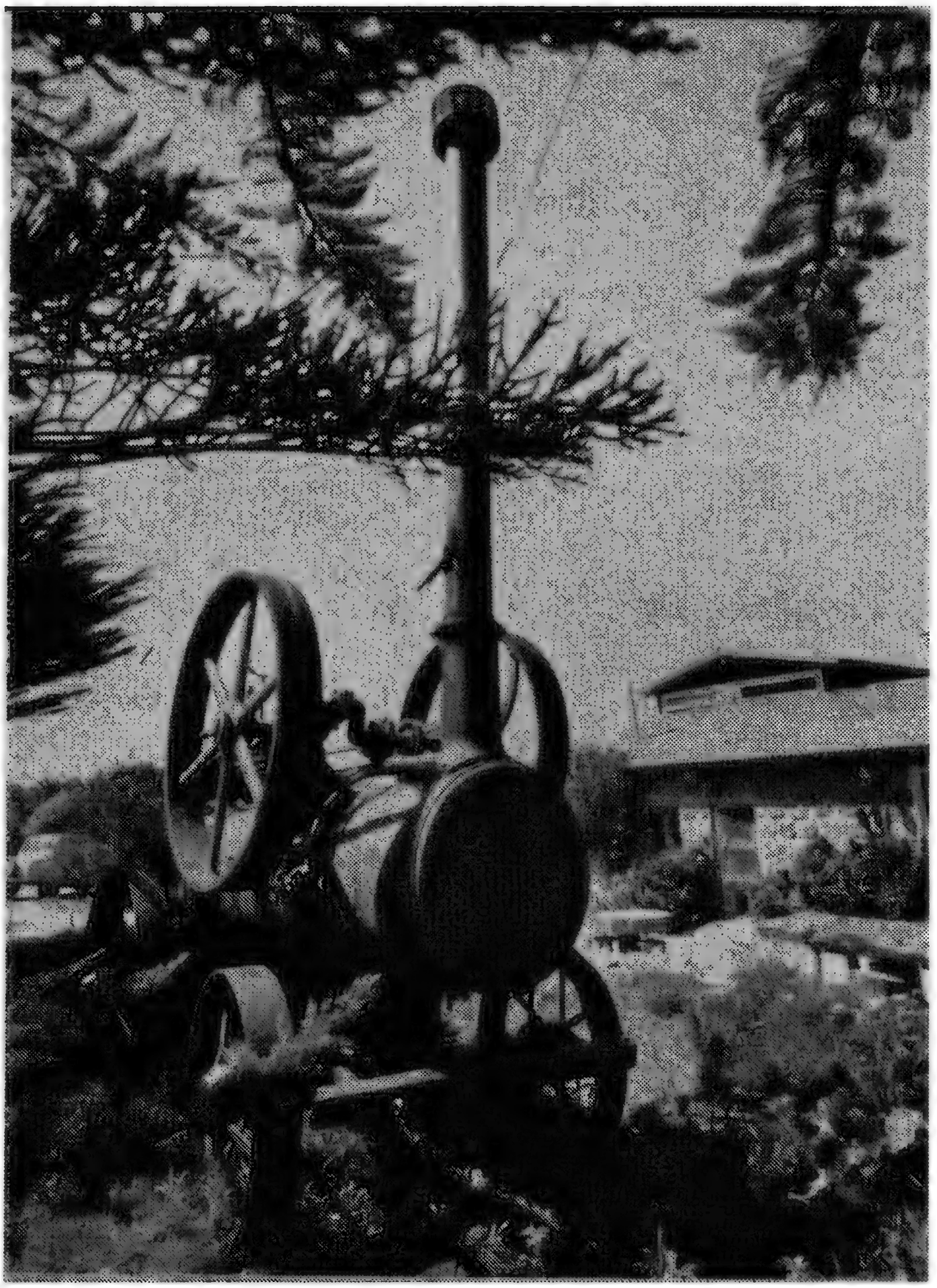
Каждый стареет по-своему, и якорь в одиночестве песков держится с тем же достоинством, что и на плывущем корабле. Лишь на его кресте все заметнее места, где вместо железа одна осыпь.

1. Антофагаста — город и морской порт на севере Чили.

Локомобиль

Такой могущественный, такой хлебный, такой безустанный, свистящий, гремящий! Он столько намолотил зерна, столько насыпал опилок, столько повалил деревьев, нарезал шпал, выпустил дыму, масла, искр, огня, да еще с таким пронзительным свистом, что в дрожь бросало окрестные луга.

Я люблю его, потому что он похож на Уолта Уитмена.



Этой книге – о моей любви

В этой пустоши я был всевластен,
я был волен свободой к ладони прилаженной снасти,
волен прихотью трав, что не знали покоса,
волен взбалмошью пса, что шалеет от россыпи росной.

Но, любимая, наше время истлеет и вспыхнет другое,
уже для других, и другие зажгутся глаза,
другая плоть распалится; а та мокрая зелень на камне
и те белые гребни, что волны прядут неустанно, —
все будет таким же, но только без нас,
все останется жить в бесконечности дней,
в которых не будет тебя и меня.

Что останется после — чибиса крик отдаленный
средь пустынных холодных песков,
под студеным порывом, обжегшим лицо
и окутавшим льдистым сияньем,
как покровом далекой звезды?

Что останется здесь после нас? Мы — что дикие птицы,
то свиваем упорно в кустарниках гнезда,
то угрюмо сидим по уступам скалистым...
Но тогда, если жизнь есть всего лишь предтеча,
лишь зачин, чтобы стать этой жесткой землею,
помоги мне, любимая, справиться с делом,
помоги мне найти свое место в лоне ждущей земли.

В океанских просторах искали мы розу
лепестками раскрытой звезды, ее жгучих касаний;
угнетенному, слабому, хворому мы отдавали
даримую ветром свободу пути и исканий.
Теперь уже поздно. Возможно,
наша жизнь протекла одним днем лазурно-медвяного цвета,
а возможно, прошла одна ночь,
один миг вековой напряженного взгляда
распахнутых век, что вместили меру моря окрест;
здесь с тобой мы вобрали пространство в объятье
неохватной, всесильной любви, что останется вечно
трепетать среди пены прибоя и крепи корней.

Море

Море рокочет, словно это отзвуки былого сражения. Что оно там везет на своих подводных подводах? Бочки, башни, баки, бури и барабаны? Когда океан перетряхивает свое добро, тревожно вздрагивает наш дом. Ночь содрогается, звук нарастает до самой темной яри, и мы, задремывая в гуще морского неистовства, ни о чем больше не знаем и просыпаемся запоздало, когда удар той гигантской волны уже ушел в песок и превратился в безмолвие.

Море

Что вызывает глухую тревогу, так это его огромное синее брюхо, вспухшее и тяжелое, оно колышется неспешно, не сдвигаясь с места, оно не выжидает минуты, чтобы напасть.

Что должно родиться? — спрашиваешь у этой округлой успокоенности. И от тихой качки постепенно засыпаешь, еще глубже зарывшись в грозной колыбели.

Море

Меня со всех сторон окружает море, меня заполонило море; мы все насквозь просоленные, мой стол, мои брюки, моя душа — мы превратились в соль. Теперь мы не знаем, что нам делать на улицах, среди торопливых людей, в лавках, на балах, мы позабыли все правила поведения, растеряли самые главные слова, чтобы что-то купить или продать. Нашим товаром столько времени были лепестки, напоенные йодом, морские ракушки, водоросли — длинные, сверкающие, змеящиеся. Нас так забрызгала соль морской пены, так насытила соль прибрежного воздуха, словно мы и есть затерянный дом, где властвует лишь крепкий соляной раствор.

Море

Соль на сто верст, соль по горизонту, соль кристального прямоугольника, соль ветров и бурь, соль семи морей, соль...

Море

Этот забор, эта дверь туда, где нет предела. А зачем?

Мы унаследовали заборы, замки, стены, тюрьмы.

Мы унаследовали границы. А зачем?

Отчего мы не отвергли в час нашего рождения все, что нам дано и что неохватно? Все оттого, что нам следовало прийти к согласию еще до рождения. Рождаясь, чтобы *быть и знать*, мы быстро учимся огораживать и закрывать. Наш скудный дар миру — это мир, который мы сузили.

Море

Эта жалкая изгородь была поставлена лишь для того, чтобы мои собаки — Панда и Юфу — не забегали на земли священников и не погрызли их овец. У священников целые стада овец недалеко отсюда, в Пунта-де-Тралька, рядом с самым высоким утесом на побережье. Мои совсем уже старые собаки, как на грех, узнали туда дорогу, и мы решили не допустить беды.

Нынче прибрежные травы, напоенные солоноватой росой, опутали старые жерди, которые белеют, точно китовые кости, и едва держатся под напором тугого ветра. На что пригодна эта старая изгородь? Есть она, нет — а мои глаза устремляются в бесконечность.

Море

Там, за этими никчемными жердями, расстилается море, оно поет, и знать не знает, что для него поставлена ограда, и не смирится с ней ни-

когда. В его порывах — соль и горечь, в его песнях — раскаты грома. Его бунтарская пена говорит мне о чем-то и следом взрывается, говорит и опадает, манит к себе, и нет ее, исчезла.

Море

Поет и ударяет в берег море, оно несогласно. Нельзя его привязывать! Нельзя огораживать! Оно еще только рождается. Бьется пенная вода о камни, и море впервые открывает свои глаза, которым несть числа. А потом снова закрывает, не затем, чтоб умереть, а чтобы вечно рождаться.

Войцех Тохман
Ты будто камни грызла...

Перевод с польского Ирины Адельгейм

Вступление Сергея Романенко

Для того чтобы понять, как и почему на территории Боснии и Герцеговины (БиГ) в конце XX века возник столь ожесточенный и кровавый конфликт, каковой была война 1992—1995 годов, необходим хотя бы краткий экскурс в историю и этнологию. В течение многих веков в БиГ проживало славянское население. Его часть после османского завоевания приняла ислам, и в результате стала складываться особая этническая общность — боснийские мусульмане. Со второй половины XIX и в течение всего XX века национальные движения каждого из трех народов, проживавших на территории БиГ, — мусульман-босняков, сербов и хорватов, — используя историческую, политическую, этнологическую и конфессиональную аргументацию, стремились доказать свое исключительное право на обладание этими территориями.

Чем различаются три народа друг от друга? Самый простой ответ — конфессиональной принадлежностью. Действительно, сербы исповедуют православие, хорваты — католичество, а босняки — ислам. Со временем слово "мусульманин" стало обозначать не только религиозную, но и этническую принадлежность.

Еще одной характеристикой этнической общности является язык. Языковая ситуация в южнославянских землях крайне сложна. Помимо стандартного литературного языка, в сербском и хорватском языках существуют три диалекта — штокавский, чакавский и кайкавский (последний — только в хорватском), а также два поддиалекта — экавский и иекавский. Эти диалекты и поддиалекты переплетаются в каждой области самым причудливым образом, и зачастую локальный вариант используется всем населением данной области независимо от национальности и вне контекста литературного стандарта того или иного языка. В первую очередь это касается Боснии и Герцеговины.

Необходимо заметить, бытующее мнение, будто у языка мусульман-босняков не было лингвистических отличий от хорватского и сербского, — неверно. Язык, использовавшийся в мусульманской художественной литературе и публицистике, имел свои особенности. Существовала так называемая арабица — арабская азбука со знаками, необходимыми для обозначения некоторых звуков сербского и хорватского языков. В язык достаточно активно проникала арабская и турецкая лексика. При этом боснийско-мусульманская культурная среда сохраняла связи и со славянской культурой.

Разговорный же язык был общим для сербов, хорватов и мусульман, имевший и имеющий в Боснии и Герцеговине не только общие черты с сербским и хорват-

© Copyright by Wojciech Tochman, 2002
© И. Адельгейм. Перевод, 2004
© С. Романенко. Вступление, 2004

ским языками, но и существенные отличия от них. Впоследствии в югославском государстве (ни в королевской Югославии, ни в социалистической, "титовской") боснийско-мусульманская языковая традиция не получила условий для нормального развития. Она возрождается только сейчас, после создания государства Босния и Герцеговина.

Территориально босняки-мусульмане (являясь этническими славянами) проживали совместно с хорватами и сербами, составляя относительное большинство в БиГ. Исторически сложилось, что большинство населения в городах составляли мусульмане, а в сельских районах — сербы. Босняки-мусульмане компактно проживали в восточной и центральной областях, а также в городах Сараеве, Мостаре, Травнике, Баня-Луке. Во многих местах два или даже все три народа проживали совместно, что делало невозможным образование этнически "чистых", однонациональных государств. С конца XIX века, когда национальные движения становятся основным субъектом политики, взаимоотношения босняков, сербов и хорватов в БиГ развивались самым непредсказуемым образом. То босняки вместе с сербами выступали против хорватов, то хорваты объединялись с сербами против босняков, то сербы конфликтовали с союзом босняков и хорватов. Но это была чисто идейная и политическая борьба. О вооруженной борьбе не было и речи.

В 1878 году БиГ была оккупирована, а в 1908-м — аннексирована Австро-Венгрией. Но на эту территорию претендовала и независимая Сербия, провозглашая всех жителей БиГ сербами. Вместе с тем и национальное движение хорватов, входивших в состав монархии Габсбургов, также считало БиГ "своей" территорией. Противоречия между Белградом и Веной стали той искрой, от которой разгорелся пожар Первой мировой войны. В 1918 году после поражения Австро-Венгрии и ее распада было создано Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия). Однако иллюзия "славянского братства" или даже объединения нескольких народов в рамках одного государства быстро развеялась. Одним из проявлений этого неблагополучия стала правовая дискриминация по отношению не только к мусульманам-боснякам, но и черногорцам. А территория БиГ, как и прежде, оставалась предметом соперничества сербского, хорватского и босняцко-мусульманского национальных движений.

Социально и экономически отсталая Югославия в апреле 1941 года не смогла долго сопротивляться нападению Германии и ее союзников. Страна была разделена на зоны оккупации, на ее территории были образованы различные этнически "чистые" псевдонезависимые государственные образования, державшиеся исключительно на штыках оккупантов. Босния и Герцеговина вошла в состав так называемого Независимого государства Хорватия, официальная идеология которого провозглашала босняков-мусульман этническими хорватами. Однако с этим не могли согласиться ни босняцкие, ни сербские националисты, и область превратилась в арену кровопролитных "этнических чисток", в ходе которых хорватские националисты убивали сербов и мусульман, сербские — мусульман и хорватов, а мусульманские националисты отвечали тем же и сербскому, и хорватскому населению.

После освобождения и восстановления Югославии в 1945 году пришедшие к власти коммунисты-интернационалисты вместо того, чтобы найти согласие между национальными движениями, террором загоняли национальные противоречия внутрь. В первый период существования социалистической Югославии — в конце 40-х — 50-е годы — сложившаяся исторически внутренняя и внешнеполитическая ситуация оправдывала сочетание югославянской идеи, тоталитарного коммунистического режима и государственного устройства в виде этнотерриториальной федерации, которая выглядела незыблемой. Извне казалось, что причины возникновения межэтнических конфликтов — социальные, внутри- и

внешнеполитические — устранены, процесс политического самоопределения югославянских народов завершен.

Но постепенно напряженность в межэтнических отношениях стала нарастать — взаимные застарелые обиды, этнические стереотипы XVIII—XIX веков и давние мифы обрастали новой плотью и при социализме. Рамки этнотерриториальной федерации, каковой была СФРЮ, становились все более узкими. Изменившиеся условия — выход на западноевропейский рынок, усиление различий в уровне социального и экономического развития наложились на национальные противоречия, недовольство коммунистическим режимом, которое выражалось в форме национальных движений, отрицавших саму идею Югославии как единого государства этнически родственных народов.

Попытки различных конституционных реформ успеха не приносили. (Одной из наиболее значительных из них была Конституция 1974 года, в соответствии с которой была признана национальная идентичность мусульман-босняков.) К этому добавились и растущие экономические трудности, увеличение разрыва в темпах развития и уровне жизни разных республик и народов, составлявших в них большинство населения и давших им титульные наименования. Постепенно Югославия из союзного государства стала превращаться в союз государств, в котором все большую власть получала местная коммунистическая "партократия", что стало одной из причин децентрализации. Распад послевоенной, "титовской" Югославии после смерти ее создателя 4 мая 1980 года был обусловлен исторически. Идеи и принципы, на которых была построена СФРЮ, по прошествии времени постепенно изживали себя. Перегретый котел должен был взорваться, что и произошло в 1990—1992 годах.

Приведем лишь несколько основных дат, ставших вехами в развитии конфликта в БиГ — составной части конфликта на территории распадавшейся СФРЮ. В 1990 году распался Союз коммунистов Югославии. Словения и Хорватия провозгласили независимость. В 1991-м началась война в Хорватии (закончилась в 1995-м). В 1990 году в Боснии и Герцеговине состоялись первые многопартийные выборы. Победу одержали националистические партии босняков-мусульман, сербов и хорватов. Скупщина (парламент) разделилась по этническому признаку. Каждая из сторон хотела создать "свое" государство. 18 декабря 1991 года было провозглашено хорватское образование — Герцег-Босна. Оно охватило территории, которые хорватские политики считали исключительно хорватскими. 9 января 1992 года сербы попытались создать похожее моноэтничное государственное образование — Республика Сербская народа Боснии и Герцеговины. С апреля 1992-го в БиГ началась кровопролитная и ожесточенная война. Первоначально хорватская и мусульманская стороны действовали совместно против сербской. В июле 1992-го был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между Боснией и Герцеговиной и Хорватией. Хорватия стала контролировать часть территории Боснии и Герцеговины, населенной хорватами. Затем и между хорватами и мусульманами начались противоречия, символом которых стал город Мостар. Первоначально из него были выселены сербы, составлявшие примерно 45 % населения. Затем город стали "делить" хорваты и мусульмане. Развалины на месте ожесточенных боев не разобраны до сих пор.

В августе 1993 года Герцег-Босна была провозглашена республикой. Но она так и осталась не признанной никем, кроме Загреба. Республика Сербская также нигде, кроме Белграда, не признавалась суверенным и независимым государством. (Россия признала Боснию и Герцеговину как суверенное, независимое и целостное государство 11 апреля 1993 года. То же сделали и другие крупнейшие государства мира.)

Международные посредники настойчиво пытались найти план решения этно-территориальных проблем, но безрезультатно. Между тем боснийские и хорватские войска терпели поражения в борьбе с сербскими. Это вынудило мусульман и хорватов не без давления США в марте 1994 года подписать Вашингтонский договор. БиГ признавалась единым государством, но кроме Республики Сербской создавалась Федерация Боснии и Герцеговины. Она охватывала территории, на которых проживали мусульмане-босняки и хорваты и которые контролировались их вооруженными формированиями. Это позволило объединить усилия мусульман и хорватов, несмотря на незатухавшую вражду в Мостаре. В дальнейшем успех сопутствовал то одной, то другой стороне, линии фронтов постоянно менялись. Каждый стремился к полной победе, и это делало добровольное мирное соглашение практически невозможным.

С осени 1995 года США и НАТО при частичном согласии России стали оказывать военное и политическое давление на все воюющие стороны. 21 ноября 1995 года было парафировано соглашение в Дейтоне, официально подписанное 1 декабря в Париже. Этот документ, действующий и поныне, стал тем компромиссом, который при всех своих недостатках дал возможность остановить войну. Босния и Герцеговина признана целостным государством, разделенным на две части — Федерацию БиГ и Республику Сербскую. Образование Герцег-Босна прекратило свое существование. Мир в Боснии и Герцеговине по-прежнему поддерживают международные военные и полицейские силы.

При всех различиях сербского, хорватского и босняцкого национальных движений их типологически объединяло одно — стремление создать на максимально возможной территории, которую они провозглашали "своей", собственное моноэтничное государство. В силу целого ряда причин, о некоторых из которых было рассказано выше, это оказалось невозможным. И тогда на вооружение был взят метод "этнических чисток". Они осуществлялись по-разному — иногда население определенной национальности просто бежало перед наступлением войск противной стороны; иногда "победители" выселяли мирных жителей, иногда уничтожали. При этом "национальная идея" зачастую служила лишь прикрытием или оправданием уголовных преступлений и поведения, обусловленного стадным инстинктом, неизбежное следствие которых в нормальной, мирной жизни — наказание по суду.

Наибольшую "известность" получила зверская "чистка" — в Сребренице. Только в июле 2004 года власти Республики Сербской наконец признали упорно доселе отрицавшуюся ими вину сербских военизированных формирований за эту резню. Тогда было убито более семи тысяч юношей и мужчин-мусульман. Впервые представители сербской стороны приняли участие в захоронении примерно 300 опознанных жертв. Остальные либо еще не найдены, либо не идентифицированы.

На вопросы "Кто виноват в этой войне?" и "Кто ее начал?" практически нет ответа. Виновны все стороны. И началось это одновременно: в одном месте представители национальности X изгнали или убили представителей нации Y, а Y в другом месте так же поступили с Z. Однако речь не идет и не может идти о вине и об ответственности целых народов. Речь может идти только об ответственности отдельных личностей, отдававших или исполнявших преступные приказы. Установлением именно этой индивидуальной ответственности и занят Международный трибунал в Гааге. Установлением именно этой индивидуальной ответственности начали сейчас заниматься суды в Сербии, Хорватии и Боснии и Герцеговине. Трудность расследования состоит и в том, что привлекать к ответственности придется очень многих людей, а трагизм — в том, что вполне мирные обыватели — бывшие учителя физкультуры, полицейские, даже поэты —

превратились в палачей. А теперь они вновь стали обывателями, только скрываются от фото- и телекамер и от правосудия. И они все одинаковы — сербские политики и генералы, скрывающиеся от Гаагского трибунала или своих судов, ничем не отличаются от своих хорватских или босняцких "коллег".

Польский журналист Войцех Тохман, работающий в фонде ITAKA, занимающемся поисками пропавших людей, описал то, чему он был свидетелем, — последствия войны 1992—1995 годов. Да, он в основном описывает последствия "этнических чисток", совершенных сербскими военизированными формированиями по отношению к мусульманам-боснякам. Материалы этой книги могут привести в недоумение российского читателя — в отечественных СМИ ни во время военной фазы конфликта, ни после ее окончания не уделяли слишком много внимания преступлениям против мирного населения. В особенности совершенным сербской стороной. Люди, ведущие расследования и эксгумации, считают, что представителями сербской стороны совершено больше подобных преступлений, чем хорватской или мусульманской. Но этот факт не может служить ни обоснованием обвинения всего сербского народа, равно как не может служить и оправданием преступлений, совершенных представителями двух других народов. Когда читаешь подобного рода свидетельства, национальность — вовсе не главное. Главное — трагическое — состоит в том, что одни люди смогли ТАК поступить с другими.

Однако надо не только назвать имена преступников, но и установить имена их жертв. Тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести, среди них — и босняки-мусульмане, и сербы, и хорваты. Книга польского журналиста лишь приоткрывает военный и послевоенный ужас. Утрата близких, отсутствие известий об их судьбе, невозможность похоронить и поклониться могиле, безработица, нищета и отсутствие сколько-нибудь реальной возможности из нее выбраться, чувство безысходности не только у старших, но и у новых поколений, лагеря для беженцев, жителям которых некуда возвращаться, сохранившиеся до сих пор во многих местах минные поля, на разминирование которых нет денег ни у местных властей, ни у международных организаций, — все это еще долго будет определять жизнь в Боснии и Герцеговине, земном рае, ставшим полем адского эксперимента по созданию этнически "чистых" государств.

Сергей Романенко

Сталкиваясь с подобной трагедией, во сто крат сильнее ощущаешь, что прежде всего ты — человек. И лишь затем — представитель той или иной нации. Принадлежность к роду человеческому объединяет нас в беде, в ее переживании. Хочется, чтобы люди восприняли это именно так.

Тадеуш Мазовецкий,
специальный докладчик Комиссии по правам человека ООН в бывшей Югославии в 1992–1995 гг.

М*ороз*

Был последний день того года, когда началась война (1992). Мы везли гуманитарную помощь осажденному городу. К Боснии подъехали с юга. Пока не стемнело, успели разглядеть опустевшие деревеньки. Дома и храмы разрушены до основания. А что сделали с людьми?

Мы ехали через Мостар, но города не видели. Словно лес: мелькает вроде за темным окошком, но что там такое — не разберешь. Страшно останавливаться, страшно туда углубляться.

Перед самым Сараево нас остановили сербские солдаты. Пьяные, они то смеялись, то переходили на крик. И так всю ночь. На рассвете забрали часть груза и пропустили в город. Ударил мороз.

В городе среди изрешеченных снарядами многоэтажек и частных домиков мы увидали людей — голодных и перепуганных. Мы тоже боялись: вокруг не прекращалась стрельба. Нами занялся Драган Л., сын хорватки и боснийского серба, которые решили остаться в окруженном Сараево. Он оказался прекрасным гидом и помощником. Говорил, что, когда все это закончится, он, если уцелеет, сбежит куда-нибудь за границу, потому что здесь уже никакой жизни не будет. Где-то теперь наш Драган?

В больнице мы разговаривали с людьми, лишившимися рук, ног, глаз. Сильвия (фамилию мы не записали), анестезиолог, повторяла:

— Нужны антибиотики, перевязочный материал, кровати, костыли, протезы, инвалидные коляски и гробы.

На улицах попадались также журналисты: репортеры, фотокорреспонденты, кинооператоры. Бывали здесь и писатели, и киношники. Ходили целыми группами или поодиночке, говорили на разных языках. Больше всего их понаехало сюда через год (в феврале 1994-го) — поглазеть на рынок Маркале, где взорвавшаяся мина в одно мгновение унесла десятки жизней.

Телеграмм, репортажей, выставок, книг, альбомов, документальных и художественных фильмов о войне в Боснии тысячи и тысячи. Но когда она закончилась (или, как считают некоторые, была на время приостановлена), журналисты тут же зачехлили камеры и отправились на другие войны.

Одежда

Зал в деревенском Доме культуры открывается раз в неделю — по четвергам. Зайти и посмотреть может любой желающий, так что сюда едут и из ближайших окрестностей, и издалека. Каждый надеется, что именно здесь получит ответ на свой вопрос. В зале имеется сцена, но нет мест для зрителей. Прямо на полу, на коричневой плитке разложена одежда. По порядку: вещи, найденные на первом человеке, на втором... на семидесятом и так далее. Предварительно все было выстирано, чтобы вернуть первоначальный цвет. Развешано на веревках, высушено. Теперь разноцветные одежки лежат плотными рядами, но так, чтобы каждый предмет был виден. Редко это оказывается полный комплект одежды. Вот, например, у самого входа — только трикотажная футболка в белую и синюю полоску. Ее явно носил плотный мужчина. А вон в той, с надписью "Монтана", ходил какой-то худышка. Вельветовые брюки, когда-то белые, теперь пожелтевшие. Кому они принадлежали? У окна — одна джинсовая штанина. Чья? Идем дальше: один кожаный пояс, одни трусы, одна тенниска, один черный носок. Возле каждой вещи — а точнее, оставшихся от нее лохмотьев — пустой бумажный пакет, в котором они хранились. И листок с длинным, набранным на компьютере номером.

Перед номером — буквы.

"B" ("body"[1]) означает, что, кроме одежды, удалось обнаружить все кости, череп и зубы ее владельца. Другими словами, все тело полностью.

"BP" ("body parts"[2]) — найдено только несколько костей, то есть часть тела.

"A" ("artifacts"[3]) — имеется лишь одежда, иногда еще какие-то предметы. Костей нет.

Все это выкопано осенью 1999 года неподалеку отсюда, в Кевлянах (поэтому перед номером стоят буквы "KV"). Тамошнее массовое захоронение продолговатой формы, несколько сот метров вдоль шоссе (предварительно углубленная, а после засыпанная придорожная канава). Кевляны расположены неподалеку от рудника Омарская, где в 1992 году был устроен концентрационный лагерь для мусульман и в том же самом году ликвидирован. В Омарской держали в основном мужчин, хотя попадали туда и женщины. Они большей частью выжили.

В зал Дома культуры приезжают люди, разыскивающие своих близких, если есть основания предполагать, что восемь лет тому назад те оказались в Омарской. Входят, затыкают нос. Ничего не поделаешь, другого пути нет. Они приехали, чтобы увидеть, отыскать и похоронить. В надежде, что это принесет им долгожданный покой и облегчение.

Они смотрят. Между вещами — узенькие проходы. Стараясь ни на что не наступить, люди двигаются подобно канатоходцам. Замирают над каким-то предметом. Сомневаются — проходят дальше, останавливаются, делают еще шаг. И так полчаса, час, три. Кто как.

По залу бегают крысы.

Молодая пара с семилетней дочкой на руках ищет отца — дедушку малышки. Уже довольно долго они стоят возле вещей под номером "KV 22 B".

1. Тело (*англ.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Части тела (*англ.*).
3. Артефакты, предметы, произведенные человеком (*англ.*).

В другом конце зала склоняется над какими-то лохмотьями седая женщина в синем костюме. Она не отходит от них с самого утра. Все возится с одеждой, словно хочет уложить покрасивее. Поправляет темные брюки, светлую рубашку и то, что раньше было бордовым свитером. Поглаживает, будто прикасается к живому человеку.

Ее называют здесь мать Мейра.

"Body bags"[1]

Молодые люди с семилетней девочкой, так долго разглядывавшие одежду под номером "KV 22 B", что лежит недалеко от сцены, зовут специалиста по идентификации останков. Подходит энергичная седая женщина в джинсах. Это Эва Эльвира Клоновски.

Доктор Эва Клоновски: 1946 года рождения, антрополог по образованию, член Американской академии права, замужем, имеет детей, эмигрировала из Вроцлава во время военного положения, теперь живет в Рейкьявике. Здесь она специализировалась в установлении отцовства, поскольку не могла заниматься тем, что увлекает ее больше всего на свете — костями.

— Я люблю кости, понимаю их язык. Смотрю на скелет и вижу, чем человек болел, как ходил, в какой позе предпочитал сидеть. Умею по костям определять национальность. У мусульман бедренная кость слегка выгнута от постоянного сидения на корточках. У японцев — то же самое, они часто стоят на коленях.

История предоставила доктору Эве возможность заниматься любимым делом. Война в Боснии и Герцеговине и ее последствия: концентрационные лагеря, массовые казни, массовые захоронения, массовые эксгумации. Идентификация останков.

Доктор Эва сделала прививки от столбняка и гепатита, упаковала вещи. В аэропорт ее провожали муж и две дочки-школьницы.

В Боснии она работает с 1996 года. Сначала по поручению Гаагского международного трибунала (судьям нужно знать, кто убил, как именно и сколько человек — фамилии жертв их не интересуют). Теперь — для Боснийской комиссии по делам без вести пропавших, которую финансируют исландское и американское правительства (здесь первоочередная задача — как раз идентификация останков). Доктор Эва выкопала две тысячи тел. Вытащила из колодцев, достала из пещер, выгребла на свалке или извлекла из-под свиных костей.

Вот она сверяется с документами, надевает резиновые перчатки, поднимается на сцену. Молодые супруги (по-прежнему с дочкой на руках) остаются в зале. Эва ходит (осторожно, стараясь ни на что не наступить) вдоль рядов небольших, плотно закрытых пластиковых пакетов. Ищет номер "KV 22 B".

Наконец доктор Клоновски обнаруживает нужный мешочек, открывает его. Вынимает верхнюю челюсть, затем нижнюю с несколькими сохранившимися зубами, потом еще горсточку выпавших зубов. Вкладывает их в соответствующие лунки, ловко собирает все воедино. Подходит к краю сцены и показывает родственникам:

— Это похоже на вашего отца?

1. Пакеты для тел (*англ.*).

Молодая женщина внимательно смотрит, поглядывая на мужа, словно тот в состоянии что-либо ей подсказать. Их маленькая дочка продолжает затыкать нос.

– Да, похоже, – отвечает женщина совершенно спокойно.

– О'кей, – доктор Эва прячет челюсть в мешок и кладет его на место. – Пойдемте дальше.

Дальше – значит на другой конец деревни (она называется Лущи Паланка). Там находится бетонный ангар, бывшая рабочая столовая.

Несколько месяцев тому назад перед этим ангаром выставили большие столы, с ближайшего двора протянули шланг с водой. Вокруг столов толпились местные жители – мужчины, женщины и дети. Смотрели, как доктор Эва сортирует кости, определяет по ним пол и возраст жертв, укладывает в "body bags".

Теперь "body bags" лежат в темном ангаре на полу. В ожидании тех, кто сможет опознать их содержимое. Белые пластиковые мешки на молнии, похожие на огромные, двухметровые чехлы для мужских костюмов.

Мы ищем "body bag KV 22 B". Вот он, у стены, в самом углу. Сверху – еще несколько пакетов. Доктор Эва снимает их, откладывает в сторону, вытаскивает нужный. Расстегивает молнию. Маленькая девочка тоже смотрит, но на это никто не обращает внимания. Доктор Эва не удивляется. Удивлялась она четыре года тому назад, сразу после приезда в Боснию.

– Зачем вы приводите сюда детей? – спрашивала она.

И в ответ неизменно слышала:

– Чтобы они это запомнили.

– У вашего отца были проблемы с бедром? – Эва держит одну часть тазобедренного сустава в правой руке, другую – в левой.

– Что-то такое было, – говорит женщина. – Он перенес операцию.

– А передвигался он вот так? – доктор изображает "утиную" походку.

– Нет. Пожалуй, нет.

– А этот точно так ходил. Вам нужно найти больницу, в которой отца оперировали. Может, у них сохранились какие-нибудь документы.

– Хорошо. Я приеду в следующий четверг.

– Тогда мы возьмем у вас кровь. Сравним вашу ДНК с ДНК этих костей. И будем знать наверняка.

Теперь Эва может немного передохнуть. Мы возвращаемся в Дом культуры.

Седая женщина в синем костюме, которую мы видели здесь раньше, ненадолго отрывается от приковавших ее внимание вещей. Готовит нам в соседней комнате кофе.

– Мать Мейра, – представляется она. – Я приезжаю сюда каждый четверг. Помогаю доктору Эве, утешаю родственников.

Купание

Мейра Даутович (пятидесяти восьми лет) жила в Приедоре. Той весной (1992) сербы гнали по городским улицам молодых мусульман, словно "живым щитом" прикрываясь ими от бойцов местной самообороны. На административных зданиях и на вокзале развевались сербские флаги.

Мусульманским жителям было приказано немедленно вывесить в окнах белые простыни, а на рукава повязать белые повязки. В многоэтажках засели снайперы.

Сегодня Приедор – это Республика Сербская[1]. Там нет места для матери Мейры. Они с мужем живут теперь в городе Босански-Петровац, в чужом, сербском доме.

Мы следуем за Мейрой по узким проходам между вещами. Останавливаемся возле той одежды: темные брюки, светлая рубашка и то, что раньше было бордовым свитером. Она наклоняется, поправляет штанину. Выпрямляется, чтобы посмотреть, красиво ли получилось.

– Это Эдвин, – говорит она, словно представляя нас друг другу. – Мой сын. Все совпадает: и пол, и возраст, и рост, и зубы. Но доктор Эва еще не совсем уверена. У нас пока не проверяли эту самую ДНК. Был у меня Эдвин, – Мейра снова наклоняется, снова поправляет брюки. – А еще была Эдна. Я знаю все, что случилось с моей девочкой. Кто ее бил, кто насиловал. Не знаю только, куда уехал тот автобус. Куда ее из Омарской увезли. Одежды нигде нет. Хоть бы туфельку найти...

Вот уже несколько лет мать Мейра ездит по округе и расклеивает по стенам фотографии своих детей. Она даже написала о них книгу. В надежде, что кто-нибудь наведет ее на след и она узнает правду. Мейру интересуют три вопроса. Как дети погибли? Кто их убил? Где их тела?

Слезы (без которых не обходится ни один день) мать Мейра прячет от мужа, чтобы лишний раз не расстраивать: Узеир и так болен, после всего случившегося он перенес уже два инсульта, молчит целыми днями. А то вдруг вскакивает и принимается колотить себя кулаками по голове. Потом валится навзничь, лежит, закрыв ладонями искаженное лицо. Мечется, будто уворачиваясь от пинков незримого палача. Тот бьет его в живот. Со всей силы. Потом в грудь, по голове, Узеир снова прячет лицо. Появляется еще один невидимый мучитель. Этот обычно набрасывается сзади. Узеир подскакивает, падает, извивается гигантской буквой "S". Стонет. И вдруг умолкает. Поднимается во весь рост. С презрением глядит себе под ноги. Он уже не тот перепуганный отец, что пришел в сербский комиссариат разузнать о судьбе дочери. Теперь Узеир стоит над незримой жертвой в позе победителя. Издает какие-то непонятные возгласы. Кого-то злорадно пинает ногами. Он груб, удары становятся все сильнее.

– Успокойся, – просит мужа Мейра.

В 1992 году, когда разразилась война, их сыну Эдвину было двадцать семь лет. Он закончил электротехникум. Владел английским и немецким. Занимался карате, имел черный пояс. Той весной Эдвин вступил в отряд местной мусульманской самообороны и в конце мая вместе с сотней ополченцев пытался освободить Приедор. Был ранен в бою, умер на следующий день. Так утверждают свидетели.

Но есть и другая версия его смерти. И другие свидетели видели Эдвина в Омарской. Видели, как пытали парня на глазах у сестры. Видели, как 16 июня его труп забросили в кузов желтого грузовика. Машина скрылась в неизвестном направлении. Может быть, в Кевляны, надеется мать Мейра, к той придорожной канаве, которую сперва углубили, а после засыпали. Вот ведь и одежда совпадает, и рост, и пол, и возраст, и зубы.

1. Часть Боснии и Герцеговины, иногда также называемая Республикой боснийских сербов.

Эдне, сестре Эдвина, было двадцать три года. Веселая, энергичная, общительная. Работала в хозяйственном магазине, который отец специально для нее открыл на первом этаже их дома. Заочно училась на педагогическом в Тузле. В свое время хотела стать фотомоделью. "Фигурка у нее была как у Барби", – пишет в своей книге мать Мейра. Мечтала скопить денег на лошадь и домик на горной поляне. Она любила ходить по горам. Занималась дзюдо, карате, хорошо стреляла. Так что, когда началась война, Эдна, не раздумывая, последовала примеру брата.

В конце мая она участвовала в боях за освобождение Приедора. Подносила солдатам боеприпасы, лекарства и перевязочные материалы. Сумела вывести нескольких раненых. Когда все закончилось, смертельно напуганная Эдна вернулась к родителям. Все вместе они укрылись в сарае рядом с домом. Так и жили несколько дней.

"Она попросила, – пишет Мейра, – согреть ей воду для купания. В мусульманских домах не было электричества, так что я растопила печку. Добрый Аллах позволил мне в последний раз искупать мою девочку". Приехали два милиционера и забрали Эдну. Дочка хотела взять с собой свитер, но те сказали, что он ей не понадобится. Узеир сразу побежал в милицию, чтобы узнать о судьбе Эдны. Его избили и выгнали.

Сказали, что Эдну везут в Омарскую.

Мать Мейра позвонила Небойше Б.

Она хорошо его знала.

Когда-то Небойша ухаживал за Эдной, а теперь это был главный следователь в Омарской.

Узнав, кто звонит, парень не соизволил подойти к телефону.

Именно Небойша Б., рассказывают уцелевшие узницы, чаще всего и допрашивал Эдну.

После его допросов девушка была едва жива.

Сегодня Небойша Б. живет в Приедоре, работает в полиции.

Автобус

Эдну вместе с другими женщинами держали в бараке на чердаке. Как раз над камерой допросов. Днем и ночью они слышали, как внизу пытают мужчин.

Мать Мейра все еще оставалась в Приедоре. Она пошла к подруге, что жила на соседней улице. Предложила той все, что имела.

– Ты же сербка, – просила Мейра. – Сделай что-нибудь, пусть Эдну отпустят домой.

У подруги были свои заботы. Славко, муж, третий день не появлялся дома. Уехал в Кератерм и как в воду канул, хотя собирался сразу вернуться. Сегодня Мейра знает, что́ его задержало: в Кератерме тоже был лагерь. Как раз тогда в нем уничтожили двести пятьдесят человек.

Убить, смыть кровь со стен, закопать – на все это требуется время.

Потому Славко так долго и отсутствовал. Он вернулся в Приедор лишь спустя четыре дня.

Позвал Мейру.

– По дороге я заехал в Омарскую, – сказал он. – Видел Эдну. Она даже головы не подняла, не поздоровалась. Дрожала вся, как осиновый листок. Бледная. Я пошел в канцелярию, хотел за нее вступиться. Но ни-

чего не получилось. Эдна осуждена за участие в акции против нашей армии.

Через три дня, как стало теперь известно матери Мейре, в лагере объявили, что несколько десятков мусульманских заключенных обменяют на сербов. Из женщин выбрали Эдну и еще одну узницу, остальные были мужчины. Весь лагерь им завидовал — счастливчики, вот-вот попадут к своим.

Приятельница помогла Эдне забраться в автобус (с табличкой "Школа").

Больше этого автобуса никто не видел.

Хромосомы

В городе Тузла расположены соляные копи. Есть еще большое кладбище. У кладбищенских ворот — здание конторы. Рядом — большой металлический ангар. На вид совсем новый. Перед ангаром — мужчины в пластиковых комбинезонах, очень удобных, с капюшонами.

Здесь нашлась работа для молодых людей — возить пустые тележки и тачки.

Позади конторы — вход в туннель. Раньше он вел в копи, а теперь это стометровый тупик. Внутри — едва освещенные многоэтажные нары, на которых лежат "body bags". Мокрые — с потолка капает. Рабочие хватают каждый по одному грязно-белому пакету, бросают на тележку и бегом к новому ангару. Тележка тяжелая и неуклюжая, как бывает в супермаркете, если набрать слишком много продуктов. Ребята не всегда справляются с поворотами.

Морг переезжает в новое здание.

В туннеле сложены кости — предположительно тех мужчин, которых тогда, в июле, видели во время селекции. Они пропали без вести. Теперь их тела найдены и эксгумированы. Мужчины NN... Они лежали, как правило, в повторных массовых захоронениях — так называемых вторичных могилах. После того как американский спутник обнаружил свежевскопанную землю, убийцы пытались замести следы: разрывали экскаваторами могилы и перепрятывали останки жертв (например, на мусорную свалку). Видимо, именно таким образом и были ликвидированы многие первичные захоронения на берегах Дрины.

Теперь антропологам и судебным медикам приходится ломать голову: кости из повторных захоронений хуже поддаются сортировке. Из них труднее составить целого человека (вот почему большинство пакетов имеют маркировку "BP"). Еще сложнее собирать так называемые "поверхностные тела", то есть те, что вообще не закапывались, а просто были брошены где-нибудь в окрестных горах. Время, дожди и дикие животные также добавили судебным медикам работы.

Удалось установить, что собранные в лесу кости принадлежали группе из четырехсот семнадцати человек. Среди них были и мужчины, и женщины, и дети: через горы нередко бежали целыми семьями. Если погибли все, то и разыскивать их теперь некому — никто не заполнит специальную форму для поиска без вести пропавшего, не сообщит так называемые предсмертные данные. Эти люди нигде не числятся. Они обречены на забвение.

Ангар в Тузле выглядит внушительно. В морге, занимающем бóльшую часть здания, нужная температура поддерживается с помощью компьютера. Стены здесь до самого потолка заставлены стеллажами. Металлические "противни" на легких, тоже металлических опорах. Двухметровые, на колесиках. Один человек подвозит "body bag", другой уже ждет с пустым "противнем", поставленным на автокар (цветной, явно новенький). Мужчины перекладывают белый пакет на "противень", автокар поднимает груз на соответствующую высоту, а поскольку "противень" на колесиках, то дальше его уже совсем легко вкатить на полку. Похоже на безупречно подогнанные выдвижные ящики.

К сожалению, проектировщик предусмотрел не все: "выдвижных ящиков" слишком мало – всего восемьсот шестьдесят. А белых пакетов уже три с половиной тысячи. Выход из положения придумали здешние рабочие: каждый мешок они сворачивают, словно спальник (это несложно, внутри – пара килограммов разрозненных костей), тогда на один "противень" помещаются три тела.

Но что делать, когда найдут остальных мужчин? Еще несколько тысяч человек. Куда их складывать?

Надо освобождать место: как можно быстрее идентифицировать останки – те, что уже лежат на "противнях". И похоронить их. Но результаты не слишком обнадеживают: пока опознано всего семьдесят шесть тел, да и то лишь благодаря имевшимся при них документам (вообще-то люди боялись держать бумаги в карманах, старались от них избавиться).

Чтобы ускорить процесс, вот-вот издадут каталог с фотографиями одежды. Рассортированной и выстиранной, как и в деревне Лущи Паланка. Этот альбом смогут увидеть все желающие. В первом томе, который уже печатается, триста пятьдесят снимков.

Все, что здесь происходит (сооружение морга, идентификацию костей), финансирует Международная комиссия по делам без вести пропавших, созданная президентом Соединенных Штатов после окончания войны в Югославии. Комиссия оплатит и создание лабораторий, в которых будет проводиться анализ ДНК.

ДНК находится в хромосомах, а хромосомы – в ядре каждой клетки человеческого тела.

Такая лаборатория появится и в Тузле. Родственников (детей, родителей, братьев и сестер), заполнивших специальную форму, вызовут, чтобы взять у них кровь на анализ. По ее клеткам специалисты определят ДНК. Полученные данные введут в компьютерную базу.

Кроме того, они извлекут ДНК из клеток тех костей, которые лежат в "body bags". Результаты этих анализов также поместят в базу данных. Поскольку у каждого человека половина хромосом идентична материнским, а половина – отцовским, можно будет составить компьютерную программу, позволяющую определить, какой "body bag" "соответствует" тому или иному родственнику. Стоимость одной такой процедуры не превышает сотни долларов. И мир готов за это заплатить.

Анализ ДНК – нечто совершенно новое для военной истории. Как и "body bags", Интернет, компьютерные программы, компьютеризованные морги, автокары, "противни" на колесиках. Зато все остальное уже было: лагеря, бараки, селекции, гетто, убежища, укрывание преследуемых, повязки на рукавах, горы снятой с убитых обуви, голод, мародерство, ночной стук в дверь, исчезновение с порога собственного дома, кровь на стенах, сожженные дома, спаленные вместе с загнанными туда

людьми овины, зачистки деревень, блокада городов, "живые щиты", изнасилования, стремление прежде всего уничтожить интеллигенцию, колонны беженцев, массовые казни, массовые захоронения, эксгумация тел, международные трибуналы, без вести пропавшие.

Во время войны в Боснии пропало без вести около двадцати тысяч мусульман.

Если удастся их отыскать, состоятся похороны и прозвучит молитва — так велит Коран.

Путь

В автобусе не продохнуть, пассажирки курят папиросы. Они не дают приоткрыть окошко даже на сантиметр, потому что стекла и так заиндевели — отопление не работает. Женщины одеты в длинные теплые юбки, головы повязаны платком, и все равно их бьет дрожь. Не от холода, скорее от волнения. А может, от страха, хоть они и говорят, что самый большой страх уже позади. Они оставили его в тот день в той долине. Сильнее испугаться все равно уже невозможно, вот почему женщины рискнули туда съездить — некоторые уже во второй или даже третий раз.

Мы выезжаем из Сараево. Двигаемся на восток. Дорога крутая, неровная и скользкая. Несмотря на апрель идет снег. Нам предстоит преодолеть сто пятьдесят километров, до цели мы рассчитываем добраться к полудню.

Мубина Смайлович (тридцати шести лет) решилась на это путешествие только сейчас.

— Это недоступно моему пониманию, — говорила она матери пять лет назад, сразу после тех событий. — Какой смысл?

— Узнай мы хоть что-нибудь, — говорила она два года назад, — быть может, нам стало бы легче.

— Невозможно жить в двух мирах, — говорила она год назад. — Одной ногой в том, другой — в этом.

— Давай туда съездим! — предложила она недавно. — Поглядим что и как.

— Нет, — ответила мать. — Никогда.

Сегодня Мубина встала затемно. Поцеловала спящих сыновей. Перекинулась с матерью несколькими фразами (у той бессонница), проглотила с кофе белые таблетки (вместо завтрака, так рано никто здесь не ест). Надела полупальто и бегом спустилась с восьмого этажа (лифт уже который год сломан, мама многие месяцы не выходит из дому). Автовокзал — сразу за мостом. Села на переднее сиденье, рядом с водителем, чтобы хорошо все видеть.

Мубину невозможно не заметить, даже сядь она сзади. Красавица: темные грустные глаза, рыжие волосы (краска скрывает седину), широкая улыбка (иногда она все же улыбается) и глубокие морщины. Худая, стройная, высокая, энергичная, в джинсах, никаких платков на голове. Переписывает пассажирок — немолодых, невеселых, ненакрашенных. Прежде чем двинуться в обратный путь, она проверит, все ли вернулись в автобус.

Мубина притворяется спокойной, хотя, возможно, боится больше других "экскурсанток". Она не знает того страха, какой пять лет назад

испытали другие женщины. Мубины тогда там не было. Она уехала тремя годами ранее, в апреле 1992-го.

В апреле 1992 года в Боснии началась война.

Мубина бежала вместе с родителями и маленькими сыновьями — четырехлетним и четырехмесячным.

— Поедем с нами, — просила она мужа.

— Кто же будет лечить животных, если я уеду? — возразил тот. — Останусь, присмотрю за хозяйством. Все уляжется — вернетесь.

Сегодня ровно восемь лет с того дня, как Хасан произнес эти слова.

Все улеглось.

И Мубина отправляется в обратный путь.

Сливы

Окошки уже оттаяли, за ними — цветущие луга. Мы подъезжаем к Дрине, к Братунацу. Минуем деревни, знакомые Мубине с детства. В последний раз она видела их восемь лет назад. Сегодня все выглядит иначе: кучи щебня, обугленные руины, цветущие сливы — и ни души.

Сразу после того как началась война, Мубина, ее родители и маленькие сыновья уехали из Братунаца в Белград. А там отец заявил:

— Я возвращаюсь домой.

— Останься, — уговаривали женщины.

— Присмотрю за хозяйством, все уляжется — и вы тоже вернетесь.

— Останься...

— Я добрался, — позвонил он из Братунаца. — Мне так спокойнее.

Но вокруг было совсем не спокойно. На следующий день отец не брал трубку.

И муж не подходил к телефону. Ни дома, ни в ветеринарной клинике.

— Что случилось? — беспокоилась Мубина. Она позвонила соседям.

— Вчера ваш отец вышел из дому, — начала соседка. — Постоял, поглядел по сторонам.

— Он так делал каждое утро на протяжении нескольких десятков лет, — прервала Мубина соседку. — Говори, что дальше было?

— Похоже, вчера мы видели его в последний раз. Подъехали четники[1]. Спросили фамилию, сверились со списком, затолкали в машину. Потом они снова появились, уже без отца, зато с ключами от машины. "Фольксваген" ваш забрали.

И по сей день Мубина не знает, что же произошло: кто увез отца, куда?

— Я должна найти тело, — она вытирает глаза, вынимает губную помаду, открывает пудреницу.

Мы въезжаем в Братунац.

Братунац стоит на широкой равнине, почти на самом берегу Дрины. Река отделяет Республику Сербскую от Сербии (которую отсюда отлично видно). Ничего примечательного: несколько улиц, гостиница с без-

1. В XV–XIX вв. участники вооруженной борьбы партизанских отрядов (чет) против османского ига. В XX в. участники националистического великосербского движения в Югославии, в годы Второй мировой войны вели вооруженную борьбу против Народно-освободительной армии Югославии. Герои книги Тохмана употребляют слово "четник" в переносном смысле — в значении "член вооруженной сербской группировки" или даже просто "серб".

действующим фонтаном (это в ней генерал Ратко Младич издевался над командиром голландского миротворческого батальона[1]), банк, где когда-то работала Мубина, две школы, частные домики, пара многоэтажек, люди на улицах.

Они просто стоят и смотрят по сторонам, но в Боснии это обычное дело. Уровень безработицы достигает шестидесяти процентов, а тут небось еще выше.

Братунац примечателен только одним: по соседству находится Сребреница.

Пять километров по асфальтовому шоссе строго на юг, мимо фабричных корпусов в деревне Поточары — и вот вы уже в городке, расположенном в узкой зеленой долине. Пассажирки автобуса всю дорогу твердят, что места здесь удивительно красивые, а земля богата минералами. И вода целебная — красноватая от железа, отличное средство против анемии.

Мубина не хочет идти в Сребреницу, даже не глядит в ее сторону.

Там пропал Хасан.

Веревка

Несколько лет назад о Сребренице писали газеты всего мира. Жили здесь в основном мусульмане, а когда в Боснии вспыхнула война, сюда бежало и мусульманское население окрестных деревень. Всего в этом городке их собралось около тридцати тысяч. И еще столько же в предместьях. Сербы ушли к своим, хотя их вроде бы никто не трогал. Сербские войска окружили город и прилегающие территории плотным кольцом и держали блокаду три года. Организация Объединенных Наций провозгласила Сребреницу "зоной безопасности", что якобы означало гарантии для населения.

На протяжении трех лет местная больница ежедневно принимала около тридцати раненых. Работал всего один хирург. Ноги и руки он ампутировал тем, что имел — опасной бритвой и серпом. Не было ни наркоза, ни антибиотиков. На протяжении трех лет в Сребренице умирало в среднем по пять человек в день. А иногда и все двадцать (не считая убитых на месте).

Не было средств гигиены, лекарств, соли. Люди питались травой, корешками, цветами орешника. Пекли из кукурузных початков хлеб, который камнем лежит в желудке, вызывая сильную боль. Потом стали есть то, что сбрасывали с натовских самолетов. Но небесной пищи не хватало, так что, когда она падала на землю, оголодавшие люди выхватывали ножи и боролись за хлеб насущный с оружием в руках.

Конец наступил 11 июля 1995 года.

Отряды боснийской обороны сами покинули пригороды: ООН сообщила, что вот-вот появятся самолеты НАТО — будут бомбить сербские позиции.

Натовцы опоздали. Сербы вошли в город.

1. Видимо, имеется в виду сцена, когда Младич заставил полковника Карреманса, командира голландского батальона миротворческих сил, бойцы которого на тот момент фактически превратились в заложников, выпить рюмку ракии за сотрудничество боснийских сербов и мирового сообщества.

В тот день женщины из нашего автобуса и испытали страх, какого не знает Мубина. Она не проходила селекцию в деревне Поточары.

Селекцию проходила Зинета М. (сорока восьми лет) – теперь она живет в Вогоще под Сараево. Зинета сегодня с нами не поехала, потому что после того июля побывала в своем доме уже трижды. К четвертому визиту она пока не готова.

В день, когда на окраинах города появились отряды Ратко Младича, люди сами шли в Поточары. Они рассчитывали на помощь стоявших там голландских солдат[1]. И Зинета с дочкой (тогда одиннадцатилетней) и старшим сыном (двадцатилетним) были среди этих двадцати тысяч мусульман.

В Поточарах людям велели разделиться: женщины и дети направо, мужчины налево. Считать ли мальчика еще ребенком или уже мужчиной, определяли с помощью веревки, натянутой на высоте 150 сантиметров (некоторые называют цифру 140, другие – 160). Если ребенок оказывался выше, его у матери забирали.

Голландцы беспомощно наблюдали за происходящим.

– Его звали Кирам, – начинает Зинета свой рассказ.

– Мама, не смотри так, – сказал сын на прощание. – Ну не могут же они нас всех тут поубивать.

– Не трогайте моего брата! – кричала дочка, но какой-то серб схватил ее и отбросил в толпу женщин.

– Когда сына вырвали из моих рук, я стала считать его шаги, – продолжает Зинета. – Один, два, десять, все дальше от меня. Я кричала, он обёрнулся. Двадцатый шаг, тридцатый, вот он уже почти у самого здания фабрики. Там его остановили четники, велели бросить сумку. Чемоданов была огромная гора, этажа, наверное, в три. Кирам еще раз посмотрел на нас. И вошел в здание.

В тот день в Поточарах стояла невыносимая жара, людей мучила жажда – воды не было. Среди сербов женщины узнавали своих соседей, одноклассников, коллег по работе, дети – школьных учителей.

Наконец в Поточары прибыл сам генерал Ратко Младич, командующий армией:

– Я приехал сообщить, что Сребреница принадлежит сербам, – объявил он женщинам через громкоговоритель. – Убивать вас незачем.

Женщин и детей отделили от семи тысяч мужчин (некоторые утверждают, что их было десять тысяч, другие – что двенадцать). С мусульманок срывали золотые цепочки, снимали обручальные кольца. Некоторых девушек – самых красивых – куда-то уводили. Потом они возвращались, едва держась на ногах. Всех женщин затолкали в автобусы и грузовики. Зинета с дочкой покинули Поточары только на следующий день, около восьми вечера. Они не знали, куда их везут, зачем. Ехали через Братунац, Кравицу, Нова-Касабу почти до самого Кладаня. Их высадили, когда уже стемнело, в десяти километрах от линии фронта.

– Идите, – услышали они. – Идите к своим. Только держитесь середины дороги.

На обочинах лежали люди.

– Мы, – вспоминает Зинета, – даже не посмотрели, живые они, нет ли. Нам было холодно и страшно.

1. То есть голландского батальона миротворческих сил.

Женщины устроились в палатках на аэродроме возле Тузлы. По ночам некоторые выходили из палаток, кричали в голос.

Через месяц по местному радио объявили, что в окрестностях Сребреницы американский спутник обнаружил большие участки свежевскопанной земли. Ночью женщины выходили из палаток, выли.

— Может, отец выжил, — сказала дочке Зинета. — Или Кемаль.

Ее мужа и младшего сына Кемаля не было в тот день в Поточарах. Они решили бежать через горы.

Спустя тридцать три дня Зинета увидала седого, худого, сморщенного старичка. Все это время он провел в лесу. Она не сразу признала мужа.

— Мальчики вернулись? — спросил он про сыновей.

В тот июльский день они с младшим сыном Кемалем разделились: отец пошел через горы на северо-запад, а сын — на юг. Может, хоть кто-то из них уцелеет и позаботится о семье. Они поклялись друг другу, что живыми их сербы не возьмут. На крайний случай имелась привязанная к поясу граната.

Муж вернулся, а Кемаль — нет. Не вернулся и старший сын Кирам — он остался в Поточарах. Зинета не отходила от мужа — тот хотел покончить с собой. Приятельницы твердили, что ей и так повезло: у нее есть муж и дочка.

И Кемаль вернулся! Сорок четыре дня он скитался по лесу. Обходил сербские засады. Пришел к родителям целый и почти невредимый.

А Кирам?

Спустя четыре месяца после тех событий Зинета услыхала по радио, что в Америке, в Дейтоне, подписаны мирные соглашения. Решено, что центральные и западные земли (включая Сараево) отходят к Боснийско-Хорватской Федерации, а северные, восточные и южные — к Республике Сербской (здесь расположены Братунац, Поточары, Сребреница). Вместе они составляют Боснию и Герцеговину.

— Полстраны отдали четникам, — сказала Зинета мужу. — Щедрая награда за нашу кровь.

Весной следующего года по радио объявили, что в окрестностях Сребреницы работают представители Гаагского трибунала.

Под свежевскопанной землей обнаружены три с половиной тысячи тел. Про остальные несколько тысяч по радио ничего не говорили.

Вот почему Зинета не любит навещать родные края, и Мубина отказывается от прогулки в Сребреницу.

Мубина и Зинета незнакомы. Но скоро они встретятся, и отнюдь не случайно.

Пока что мы направляемся к дому родителей Мубины. Он не разрушен — мы видели, когда въезжали в Братунац.

Родной дом

Дом родителей Мубины небольшой, белый, крытый черепицей. Тут Мубина родилась, отсюда бегала в школу, здесь вышла замуж за ветеринара Хасана. Вот уже несколько минут она стоит перед входом. Смотрит. Сетует, что сад в запустении, радуется хорошей погоде. Пытается скрыть страх перед тем, что ждет ее за оградой. Наконец приоткрывает калитку. Осторожно поднимается по бетонным ступенькам.

На пороге молодая женщина. Она тоже испугана. Ничего удивительного, в Боснии побаиваются нежданных и незнакомых гостей.

До войны новая хозяйка жила неподалеку – в деревне Кравица. Ее дом сожгли мусульмане из Сребреницы.

– Они выбирались из окружения, шли через горы, – объясняет Мубина. – Отбирали у сербов все, что годилось в пищу. В первую очередь муку. Имея мешок муки, семья могла продержаться какое-то время.

– Они и дома жгли, – подчеркивает новая хозяйка. – Сербов убивали.

– Верно, убивали, – Мубина оглядывает комнату.

Рассматривает оставшиеся от родителей вещи. Их немного, только секция мебельной стенки. Видимо, все разграбили еще до появления молодой сербки из Кравицы. До того как в Дейтоне постановили, что после войны в Боснии каждый имеет право вернуться в свой дом. Каждый беженец, каждый изгнанник. Мусульмане (в Дейтонских соглашениях называемые боснийцами), которые скрывались в Боснийско-Хорватской Федерации, теперь могут снова селиться в своих городах и деревнях в Республике Сербской. Мать Мубины, к примеру, могла бы приехать в Братунац и заявить молодой сербке: “Извините, но это мой дом. Вам тут делать нечего”. Но не послушайся та, матери Мубины пришлось бы обращаться за помощью к местным сербским властям.

Ни одна мусульманка не делает попыток вернуться на берега Дрины.

Мубина вместе с матерью и детьми живет в Сараево в районе Грбавица, принадлежавшем в период блокады столицы сербам. И квартира Мубины (на восьмом этаже, с прекрасным видом на город) принадлежала раньше сербам. Как, впрочем, и теперь, ведь, согласно Дейтонским соглашениям, каждый имеет право вернуться туда, где жил прежде. Сербы, временно проживающие в Республике Сербской или других районах, могут получить обратно свои дома в Боснийско-Хорватской Федерации, а стало быть, и в Сараево тоже. Но желающих немного. Боснийские власти помогают освобождать дома от нелегальных мусульманских жильцов. Выселенным обычно предоставляется другая пустующая квартира, на которую не сегодня-завтра может также заявить свои права сербский хозяин.

Далеко не всегда сербы возвращаются домой для того, чтобы там жить. Порой они лишь хотят забрать вещи и продать жилье. Купить может кто угодно, были бы деньги.

Молодая сербка могла бы вернуться в сожженную Кравицу. В Боснии действует так называемая программа реконструкции. Деревня или город, заявившие, что примут назад всех своих довоенных жителей, могут рассчитывать на помощь в восстановлении домов. Помощь Запада.

В Братунаце об этом и речи нет. Даже представить себе невозможно, чтобы какая-нибудь мусульманка осмелилась сюда вернуться.

О мусульманских мужчинах вообще никто не вспоминает. Словно их и не было.

Три вопроса не принято задавать сегодня в Боснии: “Как поживает твой муж?”, “Как дела у сына?”, “Что ты делал во время войны?”.

– Это я, – приветствует Мубина своего приятеля Драгана.

– Ты? Здесь? – у того округляются глаза.

Они соседи, знакомы с детства, Драган, серб, был дружкой, свидетелем на свадьбе у мусульманки Мубины. Занимался вместе с ее отцом бизнесом: до войны им принадлежал отдел в универмаге – стройматериалы

и сантехника. Отдел теперь Драгану не по карману, так что плитку и краны он продает с близлежащего склада. Там мы его и застали.

– Я. Здесь. – Мубина протягивает ему руку – нерешительно, без улыбки.

Драган приглашает нас зайти, приносит стулья, расставляет их, включает чайник, споласкивает чашки, вынимает блюдца, накрывает на стол. И бежит в магазин. Полагая, видимо, что мы спешим.

Так оно и есть. Ждем пять минут, десять, пятнадцать. Наконец Драган возвращается с шоколадкой "Милки Вэй" и пакетом апельсинового сока "Хэппи Дэй".

– Помнишь, – улыбается он Мубине, – какой наш Братунац всегда был гостеприимный?

– Что у тебя? – спрашивает Мубина.

– Дети растут. Йованка работает. Мало у кого из женщин есть теперь работа.

– Знаю, у меня, например, нет. А бизнес как?

– Товар плохо расходится.

– В Сараево ванные тоже никто не ремонтирует. Люди бедствуют.

– А как дети?

– Растут.

– А мама?

– Жива.

Драган вскакивает с расстроенным видом. Наше время истекло. Пришли клиенты.

На улице нас пристально разглядывает какой-то мужчина. Собственно, смотрит он на Мубину. Стоит перед овощной лавкой (судя по всему, это хозяин), машет нам рукой.

– Ты выросла, – говорит он Мубине.

– Постарела.

– Я у твоего отца обедал чаще, чем у себя дома, – на всякий случай напоминает он Мубине, вдруг та забыла.

– Я знаю, вы дружили.

– Еще как! Но я, детка, ничего не мог поделать.

– Ничего?

– Стоял вот тут и смотрел, как его уводят.

– Не важно, как это было. А где папино тело?

– Кто знает? – мужчина понижает голос.

– Мы с мамой хотим его похоронить.

– Мне ничего не известно.

– Нет тела – нет траура. И жизни тоже нет.

– Война – это ужасно, – говорит друг отца. – Но закончилось все хорошо. Мы разделились, живем по соседству, но каждый сам по себе. Раз ты приехала, – значит, раны уже затягиваются. Нет, хорошо теперь стало, хорошо. Встретились, выпили вместе кофе, можно даже друг с другом торговать... но вечером каждый вернется к себе.

"Предсмертные данные"

После отъезда жены Хасан еще какое-то время лечил в Братунаце животных. По-прежнему не отказывал в помощи ни днем, ни ночью. Его уважали – работящий, честный, остроумный, жизнелюбивый. Понача-

лу Хасан оставался в их с Мубиной квартире на втором этаже элегантного дома на центральной улице города — две комнаты и кухня. Они поселились здесь сразу после свадьбы. Мубина собиралась туда зайти: подняться по лестнице, открыть дверь, посидеть в большой комнате, полежать на полу. Но нет, слишком тяжело, она отказывается от своей затеи.

О смерти Хасана Мубина знает мало. Она была бы благодарна за любую информацию.

Говорят, мужа постоянно вызывали в милицию. Он уходил, но каждый раз возвращался. Его снова вызывали. Соседи-сербы забеспокоились. Спрятали его в лесу. Там Хасан провел несколько дней, потом при первой возможности его ночью переправили в Сребреницу. Через день или два всех оставшихся в Братунаце мусульман собрали на школьной спортплощадке.

Это была первая селекция: женщины налево, мужчины направо.

В середине мая 1992 года в местной школе убили почти две тысячи мужчин. За три года до селекции в Поточарах.

Бежавшие в Сребреницу думали, что им повезло.

В Сребренице Хасан поселился у тетки. Там были и другие мужчины — братья отца, братья матери, дальние родственники. За три года блокады Мубина несколько раз разговаривала с мужем по радио. Тот молчал, велел говорить ей. И Мубина послушно рассказывала: вместе с матерью и детьми они бежали из Белграда в Любляну, живут в общежитии, превращенном в лагерь для беженцев, дети растут.

В тот день (11 июля 1995 года) во время селекции в Поточарах ветеринара Хасана никто не видел.

Вероятно, подобно сотням других мусульман, он бежал в лес. Решил идти через гору Булим.

Это все, что знает Мубина.

Сперва она еще надеялась на хорошие новости. Заслышав на лестнице шаги, бежала к двери. И тогда в Любляне, и после войны, перебравшись в Сараево. То и дело выглядывала в окно, высматривала почтальона. Теперь она каждый месяц получает в управе пенсию за убитого мужа — надо же кормить детей. Она официально признала его умершим (так делают все безработные вдовы и матери, иначе не выжить). Мубина заполнила специальные формы: одну на Хасана, другую на отца. Основная информация о без вести пропавших (имя, фамилия, рост, цвет глаз, цвет волос, форма черепа, перенесенные болезни, отсутствующие зубы и переломы костей) на языке специалистов называется предсмертными данными. Предсмертные данные Мубина вложила в конверт, заклеила и отослала в Тузлу.

Не первый месяц она ждет, что ее вызовут сдавать кровь на анализ ДНК.

Матери

Вызова в Тузлу ждет и Зинета М., что уже несколько лет живет в Вогоще под Сараево (беженцы с побережья Дрины поселились также в Илидже, в Ильяше, в Хаджичах). Две комнаты на последнем этаже, которые заняли они с дочкой, младшим сыном и мужем, были полностью разграблены, как и все дома в округе. Во время войны Вогоща находилась на

сербской территории. После того как в Дейтоне были подписаны мирные соглашения, сербы постарались забрать с собой все, что можно. Из квартир вынесли краны, унитазы, ванны, раковины, плитку, двери, пороги, окна, карнизы, паркет, провода, розетки. Кроме того, демонтировали на близлежащей фабрике линию "фольксваген-гольфа", который собирали здесь во времена социалистической Югославии. На другом конце Сараево сняли с олимпийских подъемников моторы, тросы и кресла.

Стены пришлось оставить. Семья Зинеты скромно обустроила квартиру и теперь ждет, что не сегодня-завтра явится хозяин — постучит в дверь и потребует назад свое имущество.

— А мне куда деваться? — спрашивает Зинета. — В Сребреницу? В моем доме живет бывший сосед, серб. Моими ложками суп хлебает, я видела. В нашей постели спит. На том самом вышитом белье, на котором Кирам спал.

Кирам (старший сын М.) так и не вернулся из Поточар.

Муж Зинеты с младшим сыном уцелели только потому, что решили бежать через горы. Побыв немного с родными, юноша уехал на заработки в Голландию. Среди молодежи многие так делают (за последние годы из Боснии в сто разных стран эмигрировало восемьсот тысяч человек). Как правило, на прощание они заявляют: "Сюда я больше не вернусь".

Муж Зинеты — безработный. Обедом он обязан своему убитому сыну (пенсия 345 боснийских марок в месяц). У него натруженные руки, да и сам он крупный, сильный — вполне мог бы работать. Но вот уже несколько лет он целыми днями молча сидит на табуретке у печи. Не пытается чем-нибудь заняться, не принимает никаких решений. Зинета вынуждена одна обо всем заботиться.

Дочка сидит рядом с отцом и тоже не произносит ни слова. Не болтает с соседками, с подружками во дворе, в школе тоже помалкивает. После того июля девочка вообще не слишком разговорчива. Тогда ей было одиннадцать лет, да и сегодня она выглядит на те же одиннадцать. Сидит не шелохнувшись и равнодушно слушает рассказы матери. И соседок.

Вогоща — город женщин. Безработные женщины принимают транквилизаторы. Организуют разные общества. Зинета председатель "Матерей Сребреницы". У "Матерей" есть даже свой Интернет-сайт, создание которого финансировала какая-то западная организация (см. www.srebrenica.org). Раз в месяц общество устраивает демонстрации, на которых женщины спрашивают:

— Где наши сыновья?

— Как вы можете требовать, чтобы мы туда вернулись?

— Что нам делать там — одним?

— Как мы сами обработаем землю?

— Кто из сербов даст нам работу?

— Почему вы допускаете, чтобы наших детей учили убийцы?

— За кого нашим дочерям выходить там замуж?

— Мы хотим вернуться домой, — говорят "Матери Сребреницы", — но не так, как постановили в Дейтоне. Наш дом — Босния, а не Республика Сербская. Мы вернемся, когда на берегу Дрины будут стоять наши боснийские войска.

Но основная забота "Матерей" — повседневная жизнь в Вогоще. По утрам они навещают друг друга (и после обеда тоже). Обсуждают будущее: с квартир их наверняка погонят. И прошлое. У соседки из дома нап-

ротив, средних лет, был муж, двое братьев и четверо сыновей. К счастью, была еще и дочь. Только она одна у нее и осталась. Дочка умная и начитанная, хочет учиться, но денег на это у матери нет. Без взятки в хороший вуз не поступишь.

У другой соседки было трое сыновей: старшему исполнилось девятнадцать лет, среднему — семнадцать, младшему — пятнадцать. Были еще отец, братья и муж. Дочери ни одной. Теперь она каждое утро жалеет, что родилась на белый свет. Ей сорок.

Соседка с первого этажа родила двух сыновей — и двух сыновей хотела бы похоронить. Это единственная ее мечта. Хорошо бы, они лежали в Поточарах. Но сперва надо найти их тела. И еще останки мужа. В Поточарах должны быть кладбище и памятник. Чтобы никто не забыл о том, что́ сербы сделали с мусульманами. А тамошние сербы хотят вместо мусульманского кладбища выстроить в Поточарах огромную православную церковь. Вот что говорят соседки.

— Сердца у них нет, — говорит одна.

— Когда я впервые после всего случившегося приехала в Сребреницу, — вступает в разговор другая, — на улице кто-то окликнул меня по имени. Я даже не обернулась. Не могу ни с кем там разговаривать.

— Я подошла к своему дому, — рассказывает мать троих сыновей. — Не слишком близко, зачем мешать людям? Но меня все же заметили в окно. Из моего дома выбежали чужие дети, стали подбирать камни.

— Дверь открыла женщина, одетая в мое платье, — говорит мать, мечтающая похоронить двух сыновей. — Любезно показала мне оба этажа. Она вела себя так, словно водила по квартире будущего покупателя, пожелавшего ознакомиться с планировкой. В комнате младшего сына не менее любезно напомнила мне, кто выиграл эту войну и чья теперь Сребреница. Я столь же любезно поблагодарила и ушла.

Вот и Мубина, жена ветеринара, — то же самое: приехала в Братунац, зашла в дом своих родителей, посмотрела, поговорила, поблагодарила и ушла.

— Жена ветеринара? — отзывается наконец муж Зинеты. — Его Хасан звали? Жену интересует, как он погиб?

Жара

Мубина не хочет идти в Сребреницу.

Там дома, школа и церковь на холме. Тихо и жарко.

Женщины неухожены, мужчины небриты. Неряшливо одетые люди сидят перед домом и глядят по сторонам.

Они уже заготовили в окрестных лесах дрова на зиму, привезли, порубили, сложили в поленницы. Вот и все дела. Из пятнадцати тысяч жителей Сребреницы только тысяча имеет сегодня работу. Как правило, в Сербии, по соседству. За день тяжкого труда они получают там десять немецких марок. А здесь фабрик нет.

Фабричные корпуса в Поточарах пустуют.

Из пятнадцати тысяч жителей одиннадцать тысяч — приезжие. Из Сараево, из городов Вогоща, Ильяш, Доньи-Вакуф, Бугойн, Гламоч. Поэтому мало кто способен показать, где всего пять лет назад стояла хотя бы одна мечеть. Пять белых мечетей высились когда-то в Сребренице. Ни следа, ни камешка не осталось на их месте.

А эти сидят и смотрят. Не улыбаются. Молчат. Да и о чем им разговаривать?

Можно было бы куда-нибудь сходить, вот хоть поглядеть на рынок. Рынок — два торговых ряда в центре. Здесь продают увядший салат и вялые огурцы.

Никто туда не идет.

На рынке ни души. Тишина.

Неподалеку греются на жарком солнышке собаки — улеглись прямо посреди перекрестка. На мостовой играют без присмотра малыши. Куры выклевывают что-то из асфальта. Все чувствуют себя в полной безопасности.

А кому здесь ездить?

На школьной спортплощадке дети постарше гоняют мяч — единственное движение на улицах Сребреницы.

Подростки проводят время в салоне игровых автоматов, но не играют. Не на что купить жетоны.

Некоторые из тех, что сидят и смотрят по сторонам, хотели бы вернуться в свой довоенный дом. В Боснийско-Хорватскую Федерацию. У кого совесть чиста, тот может возвращаться. Так они говорят потихоньку. Но сами остаются здесь. Виноваты якобы местные сербские политики. Они предостерегают: возвращение — это, мол, бегство. Хуже того — предательство! И не вздумайте возвращаться! Надо здесь продержаться. Рано или поздно жизнь наладится...

Нарциссы

Скоро Мубина встретится с мужем Зинеты и узнает, как погиб Хасан.

А пока ей предстоит навестить еще один дом в Братунаце. Двухэтажный, из красного кирпича, высоко над городом. Его строил ветеринар Хасан. Когда на свет должен был появиться второй ребенок, муж решил, что в квартире в центре города им станет теперь тесновато.

Он возвел стены, положил крышу. Сделал окна и двери. Полы настелить не успел.

Мубина объяснила сыновьям, что́ произошло с их отцом. Они должны знать. Но говорит она с ними об этом редко. И обсуждать с овдовевшими приятельницами случившееся при детях тоже остерегается.

— Так что, — считает Мубина, — женщины в Вогоще ведут себя не fair[1]. Эти постоянные воспоминания о Пото́чарах в присутствии детей... Взваливают на них бремя, — жалуется она, пока мы идем по направлению к кирпичному дому, — которое им самим не под силу. Детям лучше забыть. Но разве в Вогоще можно о чем-либо забыть? Вогоща — гетто, из которого надо бежать. Только ведь некуда...

Мы стоим перед кирпичным домом. Глухонемая сербка с детьми, муж куда-то ненадолго отлучился. Она очень напугана — толка, пожалуй, не будет. В саду у стены соседнего здания (это руины дома, принадлежавшего родителям Хасана) Мубина рвет нарциссы.

— Я сама их сажала, — объясняет она глухонемой и продолжает срывать цветы.

1. Порядочно (*англ.*).

Все до единого.

— Нам сюда путь заказан, — говорит она, когда мы снова оказываемся в центре. — Не затем сербы развязали с нами войну и зачищали поселок за поселком. Тому, кто убил стольких отцов, мужей и сыновей, неприятно глядеть на вдов. Они будут напоминать палачу, кто он такой. Вся эта болтовня насчет возвращения — политическая демагогия: смотрите, мол, как замечательно все устроилось! Сербы, мусульмане и хорваты снова живут вместе в полиэтничной Боснии. И наши политики повторяют это в угоду Западу. Сами не понимают, что говорят. Они небось и в Братунаце-то никогда не были.

Иногда сыновья задают Мубине конкретные вопросы. Например: сколько времени занимает путь через горы из Сребреницы в Сараево, эти сто пятьдесят километров? Может, папа просто еще не успел дойти — за пять-то лет?

Скоро Мубина обязательно объяснит им, зачем надо ехать в Тузлу и сдавать там кровь на анализ. Наверное, они спросят, что такое ДНК. Что такое хромосомы? Почему у каждого человека половина хромосом от папы, а половина — от мамы? Почему хромосомы так долго сохраняются в костях?

Наверное, сыновья спросят, кто этот человек, который все чаще приходит к ним в гости.

Мубина подумывает о новом замужестве и, в отличие от других жительниц сегодняшней Вогощи, не скрывает этого: женщине тяжело одной отстраивать дом, тяжело поднимать сыновей. Да и в Коране четко сказано: вдова должна выйти замуж.

— Вот только вдова ли я? — Мубина держит в руках охапку нарциссов. Пересчитывает пассажирок. Все уже в автобусе, мы отправляемся в Сараево. — Хорошо, что я решилась. Это надо было увидеть. Теперь все ясно, сомнения исчезли. Это больше не мой Братунац.

Счастье

Муж Зинеты перед домом в Вогоще.

— Тогда, в июле, — принимается он рассказывать Мубине, едва поздоровавшись, — мы все шли через горы.

— Вы через Булим шли?

— Да. Там мы с младшим сыном разделились, чтобы хоть один из нас выжил.

— Правильно.

— Мы поклялись, что живыми нас не возьмут. Знаешь, что сербы делали с нашими?

— Знаю, — говорит Мубина.

— Распинали...

— Я знаю.

— Первый день мы шли спокойно, только медленно. И Хасан тоже. На второй день, где-то на берегу Кравицы, нарвались на сербскую засаду. Ребята запаниковали, стали себя взрывать. Граната в рот, грохот и через секунду — кровавое месиво. Хасан сделал по-другому — приложил гранату к животу. Согнулся вот так — и конец.

Теперь муж Зинеты смотрит себе под ноги.

— А ты? — спрашивает Мубина мгновение спустя. — Ты почему уцелел?

— Не заметили под трупами. Но что это за жизнь? Младший сын уехал за границу, старший...

— Я знаю.

— Не плачь, Мубина. Ты радуйся. Я был бы счастлив знать, что наш Кирам взорвал себя гранатой.

— Да, когда знаешь, лучше. На душе сразу легче.

— Наш Кирам остался в Поточарах. Это все, что я знаю. Он вошел в здание фабрики.

Сон

— Женщина в состоянии жить без мужчины, — говорит Мубина назавтра. — И я так буду.

Иногда во сне ее станет навещать Хасан. Вот как сегодня ночью. Появился на мгновение и тут же ушел. Мубина хотела побежать за ним, но не могла сдвинуться с места.

Вдова

Новое Сербское Сараево и Сербская Илиджа — общины, граничащие со столицей Боснийско-Хорватской Федерации.

Сараево: попрошайки, нищета, безработица, проблемы, как и повсюду в бывшей Югославии. Но есть и улыбки, музыка, кафе (сотни кафе!), шум, толпа на центральной пешеходной улице и деньги. Пестро одетая молодежь в клубах "техно", студенты в аудиториях, ухоженные женщины в магазинах, бизнесмены в хороших автомобилях, иностранцы (более пятнадцати тысяч) на экскурсиях, пенсионеры в скверах, меломаны на концертах. Красивые светлые квартиры, большие супермаркеты, хорошие книжные магазины (дорогие), несколько радиостанций, немецкие и турецкие банки (с банкоматами — новинка!), американские фильмы (самые последние), шотландские напитки, французская косметика, голландский шоколад, китайские безделушки. Аэропорт, движение, воздух. Все это — там.

А здесь (через дорогу, но уже на территории Республики Сербской) — ни кино, ни театра, ни промышленности, ни экспорта. Результат многолетней изоляции от мира и наложенного Западом во время войны эмбарго на торговлю с Сербией. Нет даже приличного магазина. Есть плохонькие учебные заведения, впрочем, людям все равно нечем платить за обучение. Безработица (уже восемьдесят процентов, среди женщин — почти сто, причем никаких пособий), "серая зона", черный рынок, преступность, коррупция, насилие в семьях (в Сербской Илидже только в последнее время совершено десять убийств среди родственников: детоубийство, мужеубийство, братоубийство, материубийство — все что угодно). Наркотики, водка, депрессия, аборты, разводы, самоубийства (чаще всего пуля в висок), конфликты с ближайшими соседями, агрессия, психические заболевания. Голод, теснота, жизнь в каморках или общежитиях, у детей — анемия, постоянные инфекции, энурез. Беззубые челюсти, дырявые ботинки, лень, немощь, бесконеч-

ные претензии. Претензии к мусульманам, Европе, Америке и собственному правительству. Ожидание помощи, которую никто что-то не предлагает. Обо всем этом, хоть и не всегда в открытую, говорит Данило Маркович — руководитель Центра социальной помощи в Сербской Илидже.

— Кто виноват? — спрашивает директор Маркович. — Война. А кто нам ее тут развязал? Это все новый мировой порядок. Сначала Советский Союз развалили, потом нашу армию. Армия старой доброй Югославии занимала четвертое место в мире! Наше оружие конкурировало с мировой военной промышленностью. А нам тут устроили войну. Чтобы мы это свое оружие дома израсходовали и еще закупили. Делают из нас каких-то варваров, а мы самые обыкновенные люди. Мы всего лишь защищали свои дома, женщин и детей. Я знаю, что случилось в Сребренице. Погибли люди. Но в Сараево сербов погибло больше, чем мусульман в Сребренице. Вот что вы должны наконец понять, а не сочинять эту Дейтонскую миротворческую чепуху, придумывать всякие массовые захоронения, трибуналы и прочее.

Большинство местных жителей переехали сюда из Сараево. Это недалеко, всего в нескольких сотнях метров, но они уже считаются беженцами.

Вот, к примеру, Стоянка — тридцати шести лет, двое детей. Мы знакомы не первый день. Они с мужем жили почти в центре — из окон были видны мечети старого города. Она продавщица, он рабочий на фабрике. Блокада застала их в городе (1992). Спустя несколько месяцев семья решила пробираться к своим (хотя многие сербы оставались в Сараево до самого конца — жили и погибали вместе с боснийцами).

И вот мы встретились вновь. Стоянка идет по улице Сараево. Даже в темноте видно, какая она по-прежнему женственная, хрупкая, изящная.

Тут, в центре, она уже не живет, просто зашла ненадолго.

Стоянка овдовела. Когда они выбрались из окружения и попали к своим, мужа немедленно мобилизовали и велели стрелять по городу, из которого он бежал. Его убило осколком. (Сербские мужчины обычно погибали на фронте. Мусульмане — от пули в затылок. А также в нижнюю часть тела. И погибло их в этой войне вдвое больше, чем сербов.)

Как вдова Стоянка ежемесячно получает от Республики Сербской сто боснийских марок в месяц (этого ни на что не хватает).

Дети растут. Живут они теперь в чужом, мусульманском доме. Недавно явился с соответствующими документами хозяин (который в свое время тоже бежал к своим). Хотя дом оказался на территории Республики Сербской, мусульманин хочет сюда вернуться.

Стоянке грозит выселение.

— Они столько наших поубивали! — плачет женщина. — Как после этого жить вместе? Как друг другу в глаза смотреть? Сердце ведь не каменное. И куда мне теперь деваться с детьми? В бараки? К чему вся эта война?

Квартира с видом на мечети не принадлежала Стоянке. Ей потребовать обратно нечего.

Ничего у Стоянки нет. Придется идти в барак. А если нервы сдадут совсем, то в психушку.

Они бежали из города, потому что боялись мусульман. Так ей сегодня кажется.

Память подводит Стоянку: боялась она холода, голода и сербских снайперов. Вот на этом месте, где мы сейчас находимся, в то время стоять было нельзя. Пуля попала бы прямо в голову.

Три года сербы удерживали блокаду города, бездействовал водопровод, не было газа, электричества. Стреляли прицельно — в лоб или "оптом" — по очереди за водой или за хлебом.

Теперь, конечно, трудно приехать сюда как ни в чем не бывало. Зайти в кафе, где сидят родственники жертв. Люди, которых ты по-прежнему ненавидишь. От которых ты бежал. Спокойно посмотреть им в глаза. Выпить вместе кофе, улыбнуться. Обсудить реальные факты. Разобраться в том, что же произошло на самом деле. Предать преступников суду.

Сербские мужчины, живущие в окрестностях Сараево, в город, как правило, не ездят.

Они берут стулья и ставят их у разбитой дороги в Республике Сербской. Садятся, складывают руки на коленях и смотрят.

Редкие сербы (но чаще все же сербки) появляются в городе под покровом тьмы.

— Иные сербские вдовы, — директор Центра социальной помощи понижает голос, — подрабатывают вечерами на сараевских улицах. Надо на что-то кормить детей. Нам очень жаль, но Республика Сербская помочь им не в состоянии.

П*ригороды*

Теперь мы в Соколаце (Республика Сербская, пятьдесят километров на восток от Сараево, по направлению к Сребренице).

Южное солнце жарит, в тени под деревьями лежат люди — по одному, по двое, группами. Их почти не видно в высокой желтой траве. Лежат неподвижно, обычно на животе, лицом к земле — видимо, так им удобнее. И молчат.

Молчат и те, что устроились на скамейках: плохо одетые, с жирными волосами, беззубые, в дырявых ботинках или босиком. Они сидят вплотную друг к другу, рядами, словно в кинозале. Сложили руки на коленях и, застыв в одной позе, вот уже несколько часов смотрят перед собой.

Деревья, аллейки и несколько каменных зданий (внутри воняет мочой). Дыра в заборе с одной стороны парка, распахнутые ворота — с другой.

За воротами открывается красивый вид: пологие холмы, простор. Это пригороды Соколаца.

За дырой в заборе — серые бараки. Десяток с небольшим деревянных параллелепипедов. Судя по болтающемуся на веревке белью, кто-то здесь обитает. Но никого не видно. Можно пойти туда, заглянуть внутрь.

Никому это не интересно.

Они сидят и смотрят: каждый крутит свой собственный фильм.

Кто-то все же подает голос — кричит, вернее, воет.

Кто-то смеется. А кто-то рассматривает себя в зеркальце.

Этот лупит себя кулаками по голове.

Тот плачет.

Или, вытаращив глаза, показывает язык.

Один мочится в траву.

Другой — в штаны, под ним образуется лужа.

Третий онанирует.

Со скамейки поднимается женщина лет сорока с небольшим. Бежит к нам, хватает за рукав, выпрашивает динар (динары отменили много лет назад). Говорит, что голодна. За ней подбегают мужчины. Как выясняется, тоже голодные. Подходит старушка.

Их никто не навещает. С ними никто не разговаривает. У них никого нет.

Иногда только появится человек в белом халате, даст таблетку. Прикрикнет. А то и толкнет. И уйдет. Психушка есть психушка.

Солнце уже клонится к закату. Холодает. Из серых деревянных бараков, что стоят за забором, выходят люди.

Повара

Обитательницы серых бараков — мы наблюдаем за ними через дыру в ограде — сварили послеобеденный кофе. Подали мужчинам.

Те уселись на завалинках у деревянных стен. Выпьют кофе, станут пить ракию (вероятно, домашнюю — водку здесь покупают редко).

Дети гоняют мяч, играют в баскетбол, дерутся.

Женщины развешивают белье или кормят свиней (здесь есть несколько хлевов). Или едят. Но большей частью сидят без дела.

Как только мы пролезаем через дыру в заборе (хотим расспросить, кто эти люди), происходит странная вещь: мужчины смотрят на нас, затем переглядываются и встают. Теперь видно, как они одеты: залатанные штаны, вытянутые футболки, стоптанные ботинки. Замешательство. Те, что пили кофе на пороге, медленно поднимаются и не спеша уходят в дом. Остальных отделяет от спасительной двери пара десятков метров, так что этим скрыть панику труднее — они бросаются наутек, словно потревоженная стайка диких зверей. Теряют на ходу ботинки. В воздухе еще висит облачко дыма от их сигарет. Тлеют окурки, которые они не успели растоптать. Слышно, как щелкают замки.

Что их так напугало? Оказывается, наш фотоаппарат. Мужчины в Республике Сербской предпочитают не фотографироваться, прячут лица. При виде чужака они бесследно исчезают. Правда, чтобы убедиться в этом, необязательно ехать так далеко, аж в пригороды Соколаца, достаточно включить телеканал Республики Сербской, который ловится и в Сараево. Журналисты иногда бывают в сербских деревнях и городах — смотрят, как живут люди. На экране — неизменно причитающие женщины. Мужчин — ни одного. Опасаются, как бы кто-нибудь из уцелевших жертв не опознал их и не донес прокурорам Международного трибунала: вот, мол, тот человек, который играл в футбол мусульманскими черепами, или тот, что заставлял одних мусульманских мужчин отгрызать яйца другим.

Они панически боятся, что их опознают мусульманские женщины. Уж мусульманкам-то как никому другому памятны лица, запах и сила сербских мужчин.

Каждому в Боснии известно: Международный гаагский трибунал располагает двумя списками разыскиваемых преступников — официальным и негласным.

В официальном списке — Радован Караджич (во время войны в Боснии лидер здешних сербов), Ратко Младич (командующий армией) и Слободан Милошевич (вождь Югославии, низвергнутый, арестованный и доставленный в Гаагу: он будет отвечать не только за преступления в Боснии, но и за то, что происходило в Хорватии и Косове).

В негласном списке — если, конечно, такой на самом деле существует — множество сербских мужчин (а также, безусловно, хорваты и незначительное количество мусульман). Говорят, там не одна тысяча имен. Возможно. Убить несколько десятков тысяч человек — нелегкий труд.

Те мужчины в Республике Сербской, с которыми удается поговорить, утверждают, что во время войны они были поварами. И те, что пришли им на помощь из Сербии, тоже всего лишь варили похлебку. Все без конца это повторяют, даже между собой, — видимо, уже сами поверили в свою сказку.

И тем не менее они прячутся. Окна серых бараков приоткрываются, занавески колышутся.

Женщины предлагают нам кофе. Мы присаживаемся на завалинку.

Это сербские беженцы: из Сараево, из Хаджичей, из Райловаца. Там теперь живут мусульмане. Согласно Дейтонским мирным соглашениям, эти города вошли в Федерацию.

Напомним: Боснийско-Хорватская Федерация и Республика Сербская — это две части сегодняшней Боснии и Герцеговины. Здесь две полиции, две армии, по два министерства здравоохранения, образования, финансов. Три группы населения: сербы, мусульмане (боснийцы) и хорваты. Представитель ООН в Боснии и Герцеговине пытается держать руку на пульсе. За порядок отвечают многонациональные Stability Forces (СФОР)[1].

В Боснии и Герцеговине обязательно надо следить за порядком.

Женщины сидят перед бараками и жалуются: работы нет, денег нет, еды нет.

У них высокое давление, ишемическая болезнь, диабет, высокий уровень холестерина, опухшие ноги, ночные кошмары и нервы ни к черту. Каждый прокручивает в голове свой собственный фильм. Кто-то кричит, кто-то воет. Кто-то смеется. Рвет на себе волосы. Плачет. Какой уж тут покой, если вокруг постоянно скандалят, машут кулаками, хватаются за нож. Резаные раны, колотые раны. Не раз и не два мужики устраивали поножовщину. Избивали старух. "Скорая", полиция. Всему виной жизнь в тесноте (внутрь нас не пускают), в одной комнате с посторонними. Сосед не туда поставил ботинки, не так открыл окно, слишком громко чихнул — и уже потасовка.

"Зачем было воевать? — спрашивают женщины. — Чего ради погибали наши сыновья?"

И сами же отвечают: напрасно они погибали — ради страха, скитаний и крови, ради жизни в бараках.

А ведь до войны у каждого был свой дом, и в каждом доме — полный холодильник.

Теперь в кастрюлях пусто. Наши дети гибли за пустые кастрюли.

"Милошевич, — твердят они, — нас предал. Подписал в Америке, в Дейтоне согласие на Сербскую Республику в Боснии. Народу он другое

1. Международные силы по стабилизации в Боснии и Герцеговине (*англ.*).

обещал. Наше место в Сербии, рядом с нашими сербскими братьями. За это мы сражались, за это боролся наш Караджич. А теперь ему приходится скрываться".

Женщины заламывают руки: нас, мол, снова вынуждают жить с мусульманами (Дейтонские мирные соглашения гласят, что каждый имеет право вернуться туда, где жил до войны: сербы — в Федерацию, мусульмане — в Республику Сербскую. Этнически чистых территорий, как того требовали сербы, не будет.) Как это так?!

Старухи просят принести вольтарен (мазать больные суставы), очки, чего-нибудь сладенького.

И еще: немного поболтать с ними, потому что их никто никогда не навещает. Им так одиноко.

Г*араж*

В предместьях Соколаца заходит солнце. Сербские женщины по-прежнему сидят перед серыми бараками.

Есть тут и один мужчина — Миша. Он только что появился — выскочил, словно чертик из коробочки, и даже не думает прятаться. Выпиваем по рюмке ракии.

Миша рассказывает нам, кого не любит, хотя мы про это и не спрашиваем: мусульман, это само собой разумеется; англичан, потому что гордые; американцев, потому что ненавидят сербов; поляков, потому что вступили в НАТО; русских, потому что вечно сербов предавали.

Миша из Горажде. Он вдовец. Жена ехала в автобусе, который попал под минометный обстрел.

Мы знаем, о чем он говорит: в осажденном сербами городе мусульмане держали сербских заложников. Спустя некоторое время им разрешили вернуться к своим.

Женщины и дети сели в автобусы.

До сербских позиций они добраться не успели — колонну атаковали мусульмане. Погибло то ли сто, то ли двести человек (точные данные отсутствуют). В том числе и Мишина жена.

Детей у них не было.

Мише сорок лет, в Горажде у него дом, на который он не может заявить свои права. Горажде теперь мусульманское. Но Мише нельзя ехать в Федерацию, в мусульманскую администрацию. Увидят бывшие соседи, примутся сводить счеты. Лучше уж сидеть здесь.

Работы нет (он автомеханик), да Миша ее больше и не ищет. На вопрос, как он зарабатывает на хлеб, молча улыбается. Секрет.

Из барака он ушел. Невозможно было спать в душной комнате под старческий храп соседей. Миша поставил себе гараж — глухой, без окон. Оклеил изнутри фотографиями голых баб. Здесь он и ночует.

Миша ищет себе новую жену, но знает, что ни одна не соблазнится темным гаражом.

Ни одна из тех, что сидят перед бараками и смотрят по сторонам. Им по двадцать лет, лица грустные. Спрашивают нас, верим ли мы в Христа.

Ладно, раз христиане, тогда давайте поговорим.

Они уже много лет нигде не были. Не видели ни моря, ни большого города, ни других людей. Им любопытно, как выглядит Сараево (до не-

го пятьдесят километров). Они бы охотно туда съездили, но боятся провокаций на улице, насилия, оскорблений. Кто-то им сказал, что так там теперь принимают сербских женщин.

Мы приглашаем их на экскурсию в Сараево.

Посидим в кафе на Ферхадии (это главная пешеходная улица города). Закажем мороженого, кока-колы — никаких эксцессов не будет! Пусть сербские девушки из-под Соколаца перестанут плохо думать о Сараево.

Нет, им не хочется, они не поедут.

— Нам даже смотреть на мусульман неприятно. Они сербов убивали, крова нас лишили. Теперь мы бездомные. Соколац ведь не дом. Это бараки, бардак, мертвая земля. Отсюда нужно бежать, говорят девушки.

Они хотят уехать куда-нибудь за границу (более шестидесяти процентов здешней молодежи мечтает эмигрировать): в Австралию, Новую Зеландию, Америку. Вот бы где замуж выйти. А здесь — нет. Да и за кого? За Мишу?

Только одна Света считает иначе: она хочет остаться в Республике, таков долг сербки. Выйти замуж, родить здесь ребенка. Лучше сына, нации нужны сыновья. В жизни существуют не только деньги. Пусть бедно, но дома, среди своих. А может, удастся когда-нибудь объединить Республику Сербскую с Сербией. И все здесь наладится.

Свету не интересует, как там, в Новой Зеландии. Она не может себе представить, чтобы люди вокруг говорили на другом языке.

Возможно, она выйдет и за Мишу, хотя он вдвое ее старше. Миша Свете нравится: красивый, мало пьет. Вот если бы у него еще дом был...

А Миша знает рецепт дома и семейного счастья. Война. Только война способна что-то изменить.

Другого пути он для себя не видит. А сейчас Миша, по своему обыкновению, отправляется на вечернюю прогулку. Вылезает он через дыру в заборе.

Скалы

У извилистой дороги из Мостара в никуда, среди голых скал Герцеговины стоит городок Невесине. В самом его центре — контора председателя общины господина Бошко Бухи — высокого, худого, загорелого.

— Добро пожаловать! Взгляните, как красива наша сербская земля.

Район, которым руководит председатель Буха, люди называют слепой кишкой: выжженные солнцем поля, пустые дороги, ленивая неподвижность, зной не отступает даже вечером. Камни, скалы, утесы. Голо, сурово.

Раньше, когда председатель Буха жил еще не здесь, а совсем в другом месте (то есть до 1992 года), местные сербы (составлявшие большинство населения Невесине), мусульмане и горсточка хорватов производили автозапчасти, пижамы, мебель и отличные продукты питания. Земля здесь была в основном государственной, но кое у кого имелся собственный клочок поля. Урожай возили в Мостар на ярмарку. Там же делали покупки. Дети учились в мостарских школах. Автобус в Мостар ходил через каждые сорок минут. А теперь нет никакого автобуса.

Когда-то здесь проживало четырнадцать тысяч человек. Сейчас — двадцать тысяч. Всего полторы тысячи из них имеют работу, три с половиной — безработные.

Остальные — дети, которых надо кормить, и пенсионеры. Пенсии (если Республика Сербская не задерживает выплату) хватает на несколько дней. Как старики выкручиваются до конца месяца, неизвестно. Председатель Буха не знает, вернее предпочитает не знать.

Зато мы знаем: пенсионеры сидят. Складывают утром руки на коленях и неподвижно, глядя прямо перед собой, сидят до сумерек. А то и до самого вечера. Энергии расходуется немного — и есть можно немного.

Половина населения Невесине — приезжие, в том числе председатель.

Эти люди прибыли в Невесине весной 1992 года (когда началась война в Боснии). Они бежали из своих деревень и поселков, поскольку сербские власти пугали: мусульмане (или хорваты), мол, подожгут ваши дома, станут резать детей.

Им удалось добраться до Невесине. Дети выросли. И все по-прежнему живут здесь.

Вот, например, во втором доме, если считать от здания администрации: одни женщины (во всяком случае, больше мы там никого не видели). Дом просторный, двухэтажный, с наружной лестницей. В каждой комнате — по семье. Три-четыре человека на десять квадратных метров: два раскладных диванчика, маленький столик, несколько кастрюль, портрет Караджича.

Они жалуются. Воду отключили. Обычное дело, ее через день отключают.

Дети заканчивают начальную школу. На какие деньги учить их дальше? Да и где?

Женщины рассказывают, что дом этот раньше принадлежал мусульманину Хусо и его жене Сабире. Супруги перебрались в Сараево. Четыре года тому назад сюда ненадолго приезжала их дочка — попросила альбом с семейными фотографиями.

— Той весной, — говорит председатель Буха, — здешние мусульмане уехали в Мостар, Коньиц, Сараево, Нью-Йорк, Сидней. Поближе к своим. А уж шуму подняли — на весь мир, сербы, мол, звери, мусульман убивают...

Это происходило летом, а не весной. И председатель, и нынешние жильцы дома Хусо и Сабиры уже находились в Невесине. А следовательно, не могут не знать, как обстояло дело.

Хусо — торговец на пенсии (восьмидесятилетний). Сабира — служащая на пенсии (семидесятилетняя). Они честно работали, построили дом, выучили детей, спокойно старились. Вплоть до того июля (1992). Собственно, даже июня, потому что первые мусульмане в Невесине были убиты 10 июня. Сначала убивали тех, кто побогаче, а потом всех подряд. Старик Хусо наверняка прекрасно об этом знал, когда в первых числах июля разговаривал по телефону с сыном — тот жил в Сараево. Просто не хотел расстраивать. Вот и уверял, будто все в порядке.

Какой уж тут порядок... Через несколько дней соседи-сербы (дом рядом со зданием администрации) решили освободить место для своих беженцев (тех самых нынешних жильцов). И вывели Хусо с Сабирой за черту города...

Их тела были эксгумированы в 1997 году (вместе с телами родственников — двух дядьев с женами и сыновьями). У Сабиры в одежду оказались зашиты деньги, часы и золото. Идентифицировали останки без затруднений. Состоялись похороны. Тут, по соседству, на мусульманской стороне. Вот тогда дочка Хусо и зашла на минутку в Невесине, попросила альбом с семейными фотографиями.

Жильцы улыбнулись и отдали альбом. Дочь взглянула на отцовский дом и уехала.

Горы Герцеговины

Июль. Каждый день в восемь утра в кафе "Биг Бен", что в восточной части Мостара, собираются одни и те же люди. Солнце жарит вовсю. Небольшая площадь, на которой расставлены металлические столики, пока еще ловко прячется от зноя за высокими стенами соседних зданий. Посетители улыбаются, разговаривают, читают газеты, кто-то звонит по телефону. Они явно хорошо знакомы. Всем им лет по сорок, редко кто старше или моложе. Ждут опаздывающих. То и дело подходят еще люди, здороваются, заказывают кофе.

Вот доктор Эва Клоновски: в тяжелых ботинках, джинсовых бриджах, легкой рубашке и соломенной шляпе.

А вот Ясна Плоскич (тридцати девяти лет). Сейчас она сидит с Саней Муляч за высоким столиком. Саня — председатель мостарского отдела Боснийской комиссии по делам без вести пропавших. Ясна — ее заместитель. Женщины, вероятно, обсуждают, куда мы сейчас поедем и на что можем рассчитывать.

Наш путь лежит в горы Герцеговины — на юго-восток от Мостара, в Республику Сербскую. Саня уже подает знак "едем!", хотя сараевских спелеологов, которых мы так долго дожидались, все еще нет. И не будет: кто-то неправильно договорился, не так понял, перепутал дату или вовремя не подписал нужные бумаги. Ничего удивительного, в Боснии все это обычное дело.

Пора ехать.

По дороге, в какой-то сербской деревеньке к нам присоединяются солдаты СФОР, испанцы, — в качестве охраны, на всякий случай. Теперь сворачиваем с главного шоссе налево, на белую гравиевую дорогу. По крутому серпантину поднимаемся в гору, десять с чем-то километров.

Гора большая, лысоватая. Выжженная земля, крупные серые камни, пекло.

Наконец на плоской полонине мы видим первые деревья. Чье-то хозяйство. Кто-то здесь обитает, хотя поверить в это трудно.

На дорогу выходит старуха, смотрит, заслонив глаза от солнца.

Наверное, удивляется, увидав на этой своей пустоши колонну — джипы, грузовики.

Быть может, девять лет тому назад она тоже удивлялась.

Они ведь шли тем же путем, другого нет.

Днем ли они ехали, как мы, или же предпочли укрыться под покровом ночи?

Минуем овин, двигаемся дальше, к лесу, к тени.

Соседи

Прежде чем все это произошло (1992), Ясна закончила юридический факультет, вышла замуж за Хасана (его звали так же, как и мужа Мубины, той, что рвала нарциссы), родила сына (1987), отпраздновала тридцатилетие, родила дочь (1991). Хасан, экономист по образованию, слыл человеком удачливым — хорошая зарплата, красивый дом.

Его жене не пришлось работать. Так лучше для детей, считали супруги. Малыши постоянно нуждаются в матери.

Ясна забеспокоилась за год, может за полгода до войны: на улицах Мостара сербские резервисты стреляли в воздух, цеплялись к прохожим, оскорбляли женщин.

Дом семьи Плоскич — собственность свекрови Ясны — стоял на Шеховине. Этот район Мостара был населен, главным образом, сербами, приехавшими из близлежащего Невесине (мусульманин Хасан тоже оттуда).

Весной соседи-сербы постучали к Ясне и попросили одолжить дорожные сумки.

Они бежали в Невесине после того, как в казармах на северной окраине города взорвалась цистерна с топливом.

Это было 4 апреля: страх, хаос, паника. Начало войны.

Ясна дала соседям чемоданы.

— Никогда им не прощу, — говорит она сегодня. — Ведь могли же предупредить: "Ясна, не езди в Невесине. Ничем хорошим это не кончится".

Город занимали сербские войска. Хасан, Ясна, маленький Амар и маленькая Айла, брат Хасана, его жена и трое их детей — все сели в машину и поехали к тетке, что жила неподалеку.

А там мусульманки и хорватки как раз готовились к отъезду. Они хотели вывезти детей за границу, в хорватские лагеря для беженцев.

Мужчин, способных держать в руках оружие, из страны не выпускали.

Ясна тоже решила ехать.

Но ее вдруг охватило предчувствие, что они с Хасаном больше не увидятся.

— Я останусь, — сказала она мужу.

Тот уступил.

— Людям уже хочется забыть случившееся, — говорит Ясна. — А я, если забуду, сойду с ума.

Сегодня в герцеговинско-неретвянском кантоне ведутся поиски примерно полутора тысяч человек, пропавших в то время. Из них пятьдесят хорватов, сербов еще меньше.

Ясна с мужем решили ехать дальше — под Невесине. Там им показалось безопаснее: все друг друга знают, соседи...

Они отправились в деревню Пресека к свекрови. По полям, через лес, через горы, километров сорок. Все вместе: две семейные пары и пятеро детей.

Их остановили сербские солдаты, проверили документы. Они были вежливы, разрешили ехать дальше.

В Пресеке люди жили по-прежнему: просыпались, умывались, молились. Женщины поили скотину, выводили на пастбища. Занимались уборкой, готовили еду. Мужчины ремонтировали технику к жатве (здесь

выращивают рожь и пшеницу), сетовали на засуху, посиживали в кафе за чашечкой кофе. Были в Пресеке и кафе, и продовольственный магазин, и школа, и тридцать с чем-то каменных двухэтажных домов.

Все здесь из камня, редкие деревья можно встретить лишь возле домов: слива, груша, орех. Но они небольшие, от солнца не спасают. Так что днем все сидели по домам. Стены давали прохладу, а снаружи жарило, как на сковородке.

Но вечером зной отступал (разница между дневной и ночной температурой достигает тут порой тридцати градусов). Дети играли во дворах, шумели, матери звали их домой, купали и укладывали спать. Потом еще усаживались на пороге поболтать с соседками. Планировали дела на завтра: стирка, починка белья, прополка грядок, поливка.

И Ясна так жила целый месяц. А потом жители Пресеки услышали грохот. Точнее, даже гул, однообразный, глухой, но отчетливый. Он несся по долине из Невесине, что в двенадцати километрах от деревни. Долина (скорее, равнина) — широкий коридор, образованный мощными горными массивами Вележ и Црвань. Плоский, словно стол: редкая травка, камни. Поэтому, несмотря на расстояние, слышимость здесь хорошая.

Это был гул минометного обстрела. Жители Пресеки не знали, что происходит в городке, пока не появились первые беженцы.

— Убивают, — твердили они.

Первые мусульмане были убиты в Невесине 10 июня 1992 года. Сначала убивали тех, кто побогаче, а потом всех подряд.

Волки

22 июня в четыре утра на Пресеку упали сербские мины.

Погибла одна женщина (кто сегодня вспомнит ее фамилию?).

Дома горели. Жара усиливалась. Люди хватали одежду, еду, детей.

В отчаянии они двинулись к горе Црвань.

Укрылись в лесу. Дальше идти было нельзя: впереди огромное открытое пространство.

Опустилась ночь. Через сожженную Пресеку они направились к деревне Клюна.

Встретили мусульман из Клюны и других окрестных селений. Среди них были и жители Мостара, которых сербы взяли в плен, но почему-то отпустили.

В деревне Клюна пришлось оставить семнадцать стариков. Тех, кто не мог идти через горы. Ясна помнит, как один мужчина расставался с матерью. Он не мог ее нести. Оставил старухе поесть. У него были жена, дети, выбирать не приходилось.

Но еды брошенным старикам понадобилось немного.

Их зарезали. А тела растерзали волки — растащили кости по всей округе.

Клетка

Дети, женщины, мужчины шли куда глаза глядят, наугад. Среди них оказались лесники, работавшие в этих местах, они уверяли, что хорошо

ориентируются. Обещали вывести к Мостару. Там уже стало поспокойнее, сербы по соглашению с хорватами покидали город. К тому времени они успели убить около сотни человек, тела бросили на свалку (так погибли двоюродные брат и сестра Ясны).

Шли на гору Вележ. Дождь, град. Ночью — холод, днем — жара. Идти было тяжело. Ясна несла на руках дочку. Хасан — сына.

Айле исполнилось девять месяцев.

Амару — четыре года.

На четвертый день взорвалась мина. Прямо рядом с беженцами. Видимо, случайная — здесь тогда велись беспорядочные бои между сербами и хорватами. Крик, хаос, паника. Взрыв разделил людей на две группы. Ясна, ее муж Хасан, его брат с женой и все дети оказались в меньшей. Свекровь — в большей. Большей группе и повезло больше. А лесники, знакомые со здешними лесами, куда-то подевались.

Они шли — Ясна, ее муж, их дети, брат мужа, его жена, их дети. Четыре дня несколько десятков человек кружили по лесу, словно звери в клетке. Их мучили жажда, голод.

Семеро сербских солдат, вооруженных до зубов, подошли сзади (было 26 июня). Женщины прижали к себе детей, мужчины побросали в кусты пистолеты. Солдаты не ругались, не оскорбляли их. Не бойтесь, твердили они. И велели идти на полонину Вележ.

Там были деревни. На тот момент уже чисто сербские.

Деревенская школа. Во дворе сербы умело организовали селекцию мусульман: женщин и детей — на одну сторону дороги, мужчин — на другую.

Сербки кричали, стараясь вложить в голос побольше презрения:

— Б...и! Мать вашу е...!

Мусульманки опустили головы.

А Ясна все глядела на ту сторону дороги. Она видела, как уводят куда-то Хасана.

Вернулся он через час. Посмотрел на жену и покачал головой — ничем, мол, хорошим это не кончится.

— Что нам с этими мужиками делать? — спросил один из сербов.

— Подождем коменданта, — ответил другой.

Ясна полагает, что он имел в виду Здравко Кандича. Тот приехал несколько часов спустя, около пяти вечера. Ясна услыхала его приказ:

— На грузовики — и в Брезу!

Тогда она не знала, что такое Breza. Сегодня знает.

Красные галошки

Мы в лесу. Здесь много пещер — зияющих в земле отверстий. В том числе Гайова Яма — место, указанное свидетелем. Он с нами не поехал, свидетели вообще очень осторожны. С этим человеком разговаривали Саня Муляч и Ясна.

Он сказал:

— Ищите в Гайовой Яме.

В Гайовой Яме (а точнее, над ней) рабочие срезают кусты, затем, пару раз взмахнув лопатой, открывают огромную пещеру. Не видно, насколько там глубоко. Впрочем, никто особенно и не вглядывается, все попрятались чуть поодаль под деревом, в тени. Там доктор Эва Клоновс-

ки надевает белый пластиковый комбинезон и обвязывает вокруг пояса буксирный трос. Нет спелеологов — обойдемся без них. К этому тросу мы прикрепляем еще несколько и один конец связки перебрасываем через ствол ближайшего толстого дерева.

Эва натягивает резиновые перчатки, берет фонарик, отправляется в пещеру. Пещера неправильной формы. Дна не видно, и Эвы тоже. Но она то и дело дергает трос, просит немного отпустить, видимо, хочет спуститься пониже. Ее нет пять минут, десять, двадцать.

— Пусто, — Эва, наконец, высовывает голову из-под земли и смахивает с волос червяков.

— Как это?! — нервничает Ясна. — Как это пусто?

Она так надеялась: вдруг именно сегодня обнаружатся наконец красные галошки?

Подвал

Наступила ночь. Женщинам и детям велели сесть в автобусы, которые еще недавно возили в лес дровосеков.

Колонна тронулась. Высадили людей на окраине Невесине. Загнали в подвал городской котельной.

Заперли.

Женщины уложили детей на бетон.

Те плакали. Ни еды, ни воды, ни туалета. Духота (всего одно маленькое зарешеченное окошко).

Когда рассвело, через это окошко в подвал заглянул сербский мальчик. Лет семи-восьми. Ясна попросила принести детям попить. Мальчик исчез, Ясна надеялась, что он вернется. Так и вышло.

— Еб...й Алия! — ребенок открыл бутылку и вылил воду на глазах у изнывавших от жажды людей. Мусульманин Алия Изетбегович был тогда президентом Боснии. — Что ж он вас не напоит?!

Ясна попросила сына пописать в какую-нибудь крышечку.

— Она так жадно пила, словно это был сок, — рассказывает Ясна про дочку.

Второй день, третий. В туалете необходимость отпала, детям просто нечем было писать.

На четвертую ночь часов в одиннадцать кто-то начал с бранью ломиться в подвал. Несколько человек. За неимением ключей дверь высадили.

Их оказалось пятеро, у двоих лица закрыты чулком.

Ясна держала Айлу на руках. И Амар стоял рядом с мамой.

В темноте мужчины фонариками ощупывали лица женщин. Одну красивую девушку спас ее семидневный сынок.

— Эта только что родила, — сказали мужчины. — От нее толку не будет.

Женщины поняли, что их ждет. Подняли крик.

Отобрали сперва трех: Фадилю и двух красавиц сестер.

Потом еще Мерсаду, мать двоих детей. И Ясну.

Ясна вырывалась, ее схватили за волосы, стали бить.

— Не пойдешь? — они вынули ножи. — Тогда мы у тебя на глазах твоего ребенка зарежем.

И Ясна пошла.

В подвале осталось три десятка женщин и двадцать детей. Среди них Айла и Амар.

Жизнь понарошку

Август. Ясна ждет нас в кафе “Биг Бен”.

У нее лицо зрелой женщины, спокойные темные глаза (слегка подведенные), накрашенные губы (иногда она чуть-чуть улыбается), рыжие волосы уложены, на шее золотая цепочка, топик, зеленые армейские штаны с накладными карманами, легкие бежевые туфли. Красивая, гордая. Такой она хочет быть.

— Такой меня любил муж.

Вместе с ней мы едем в сторону Невесине (Республика Сербская Боснии и Герцеговины).

Ясна (теперь на ней темные очки) села впереди.

— Здесь я родилась и здесь умерла.

Она приоткрывает окно, ветер треплет волосы.

— Теперешняя жизнь — это так, понарошку.

Мы проезжаем городок: люди гуляют, сидят в кафе, пьют кофе.

— В каждом из них мне видится убийца.

Мотель на озере

Пять самых красивых женщин увезли на озеро Борачко (там располагались мотель, кемпинг, бывший дом отдыха), где стояли “Белые орлы” — сербская военизированная организация. Были там и сербские солдаты из Баня-Луки, Книна. В красных беретах. Все пили.

Петар Дивьякович по прозвищу Дивьяк... Ясна утверждает, что он отличался особой жестокостью. Теперь Дивьякович живет в Нови Саде (Сербия), счастливый семьянин.

Женщин разделили. Ясну увели в мотель. По дороге она сняла с рук золото, спрятала в карман — инстинктивно, не задумываясь. Ее втолкнули в крохотную каморку, два на два метра. Там был мужчина, лица Ясна не запомнила.

Зато запомнила огромный нож у него за поясом.

Он сидел на стуле, ей велел сесть напротив.

— Откуда ты? Замужем? Сколько у тебя детей?

Она ответила.

— Муж мусульманин?

Она ответила. И добавила, что ей все равно, серб или мусульманин. Не по национальности и не по вероисповеданию нужно оценивать людей.

— Балинка! Если тебе все равно, чего ж ты за серба не вышла, пусть бы он тебя трахал.

“Балинка” — так в Боснии называют мусульманок, презрительно, желая оскорбить.

Ясна соврала: якобы за ней ухаживал сербский парень еще в лицее. Только жениться не захотел.

– Имя? – тут же спросил мужчина.

И все сверлил ее глазами. Ясна боялась отвести взгляд, казалось, тогда он немедленно ее зарежет.

Женщина смотрела ему прямо в глаза.

– Горан, – вспомнила Ясна имя одноклассника, с которым они вместе сидели за первой партой. И фамилию назвала.

– Когда у вас женятся, много золота дают? Где у тебя золото?

Ясна подумала: если признается, что спрятала, он ее убьет.

– Осталось в Мостаре.

– Вот я сейчас обыщу твои карманы, – мужчина понизил голос и достал из-за пояса нож. – Если что-нибудь найду, сам Господь тебе не поможет.

Ясна поняла, что ей конец.

И только просила Аллаха послать смерть от пули, не от ножа.

Мужчина встал, подошел, коснулся Ясны, сел на место.

– Я тебе верю.

Вошли еще сербы. Трое или четверо.

Среди них был Петар Дивьякович, тот, что живет сегодня в Нови Саде, счастливый семьянин.

Стали насиловать.

Незаданные вопросы

"Стали насиловать" – вот и все, что говорит Ясна. Но она хоть произносит эти слова вслух. В Боснии, пожалуй, одна Ясна Плоскич публично признается, что оказалась жертвой этнического насилия: сербы насиловали ее потому, что она мусульманка.

Другие изнасилованные женщины молчат, считая себя опозоренными. Свое грехопадение они скрывают даже от мужей (если те выжили).

Но есть и такие женщины, которые – анонимно – во всех подробностях описывают случившееся. Свидетельства необходимы для международных институтов правосудия. Некоторые детали повторяются из рассказа в рассказ: группа мужчин, темное помещение, удары по лицу, бетонный пол, разрезанная ножом одежда...

Мы никаких вопросов Ясне не задаем. Мы ведь не трибунал.

Имя и фамилия

– В каждом из них мне видится убийца, – повторяет Ясна. – Но дома, в Мостаре, когда я на них не смотрю, то думаю иначе: не все же убивали, у всякого преступления есть имя и фамилия.

Преступление в Невесине – убийство полутора тысяч гражданских лиц.

Новица Гусич – комендант сербской армии в Герцеговине. Недавно ему позвонила журналистка сараевского "Ослободженья" Эдина Каменица. Позвонила в Белград, куда Гусич бежал. Интересовалась теми днями в Невесине.

А он в ответ:

— Почему тогда ты не спрашиваешь меня о массовых захоронениях сербов 1941 года?

Здравко Кандич — тот, что приказал везти мужчин в Брезу. Говорят, живет он теперь где-то в окрестностях Требиня, но где именно, никто не знает.

Крсто Савич по прозвищу Кичо — начальник милиции, еще недавно находился в тюрьме в Фоче (Республика Сербская Боснии и Герцеговины). Его подозревают в убийстве крупного сербского чиновника, совершенном уже после войны. Мы побывали в Фоче, хотели с ним поговорить. Расспросить о том июне в Невесине. Но в тюрьме Савича не оказалось. Хотя приговор еще не вынесен, решением сербского суда Кичо отпущен на свободу до начала процесса. Где он? Нам выяснить не удалось.

Наведение порядка

Теперь-то Ясна знает, что такое Бреза. Так называют окрестные леса. Именно здесь 18 мая 1999 года было обнаружено массовое захоронение. Яма глубиной около полуметра, двадцать семь расчлененных тел (в эксгумации принимала участие доктор Эва Клоновски). Так называемая вторичная могила.

Ясна также знает, что в конце августа или сентября 1993 года Здравко Кандич и его командир Новица Гусич приказали перенести тела из одной пещеры (так называемой первичной могилы) в другую — на гору Вележ. Перепрятывать приходилось потому, что в Невесине прибывали первые отряды Организации Объединенных Наций.

Через несколько лет Ясна смогла поговорить с одним из тех четверых, что перепрятывали трупы. Этого человека она теперь считает своим названым братом.

Так что тела пережили две эксгумации. Часть костей оказалась в одной яме, часть — в другой. Кусок оправы чьих-то очков валялся здесь, кусок — там.

Первая яма — глубиной в десять метров. Сверху лежали сто сорок четыре гильзы и телефонные кабели (возможно, люди были связаны). Не известно, убили ли их сразу после того, как увезли со школьного двора (26 июня 1992 года), или лишь на следующий день. Большинство обнаруженных в захоронении часов остановились 28 июня.

Ясна нашла мужа.

Доктор Эва собрала его череп.

Состоялись похороны.

Деревья

По широкой и плоской долине мы едем в Пресеку. Минуем деревню, в которой родились Ясна и ее отец. Деревня стоит, в мусульманских домах теперь живут сербы.

А вот и Пресека. Она едва различима справа от узкой асфальтовой дороги. Серые остовы каменных домов (без крыш, без окон, без дверей) почти сливаются с каменистым склоном горы Црвань. Неизменная жара, воздух неподвижен, тишина.

Много зелени, и именно это говорит о том, что здесь была когда-то деревня, что здесь жили люди (пейзаж напоминает деревни лемков[1] на юге Польши). Груши, сливы, орешник, бузина, рябина. Деревья побольше и поменьше, кусты, какие-то вьющиеся растения безнаказанно лезут в сени, подвалы, ванные, комнаты, кухни, кладовки, мастерские, конюшни, коровники, школьные классы, кафе, магазин. Никто не пытается остановить это древесное нашествие, не выкорчевывает, не подстригает. Особенно пышно все расцветает в период обильных весенних и осенних дождей.

Есть и несколько новых домов. Они беспорядочно торчат среди руин, выделяясь на общем фоне. Оштукатуренные, с окнами, красными крышами. В Пресеку возвращается жизнь.

Нам навстречу выходит пожилая пара. Старики радуются Ясне. Они одеты так, словно ждут гостей: он — в отглаженных бежевых брюках и голубой рубашке с воротничком, она — в светлой косынке, аккуратной блузке и цветастой юбке.

Детей у них нет. Никто их не навещает.

Сербы здесь не появляются.

Тогда, во время скитаний по горам (когда рядом мина взорвалась), супруги оказались в большей группе. Большей группе и повезло больше.

В Пресеку они вернулись недавно. На пособие Евросоюза заново отстроили этот небольшой дом. Она посадила цветы, лук. Он с помощью резиновых шлангов частично восстановил бывший водопровод. Даже ванная есть.

Автобусы в Пресеку не ходят.

Раз в неделю из Невесине приезжает один серб, продает им кофе, сахар, муку. Работы нет, это он сам себе придумал такой бизнес.

Пенсия у стариков — сто марок, на которые они покупают самое необходимое.

У мужа больные почки, нужна операция, но где ее делать? Все больницы слишком далеко.

С немногочисленными, недавно вернувшимися соседями они общаются редко. Дома слишком разбросаны (каждая семья восстанавливала свое прежнее хозяйство), пешком не доберешься. Днем печет солнце, а все усталые, старые, больные. Вечером же становится страшно идти через темные безмолвные руины.

Зимой навалит по пояс снегу. Когда-то печи топили собственным лесом. Теперь леса нет (вырубили сербы). Так что дрова придется покупать, привозить, колоть.

— Ушла отсюда молодость, — сетуют старики. — Жизнь вернулась, но ненадолго. Пресека доживает свои последние годы.

В Пресеке есть кладбище. Клонятся к земле высокие старые надгробья (времен турецкого ига и времен Тито).

Новых могил нет. В последние девять лет умирать здесь было некому.

1. Лемки происходят от племени белых хорватов, поселившихся на Балканах в VI—VII вв. Осенью 1944 г. власти Польши по договору с СССР решили переселить лемков с польских земель на Украину. К комиссиям, агитировавшим их покинуть свои села, подключились польские воинские части. Они выгоняли лемков из домов и поджигали села, чтобы никто не вернулся обратно. Под конвоем людей перевезли на Украину. Принудительная депортация продолжалась до осени 1946 г.

Супруги молятся, чтобы добрый Аллах забрал их к себе одновременно.

Ясну они ни о чем не спрашивают. Знают, что она пережила.

Добрая весть

В мотеле на берегу озера Борачко изнасилованных женщин загнали в импровизированную тюрьму. Ясна, Фадиля и Мерсада снова оказались вместе, а красавицы сестры куда-то исчезли.

Там же держали еще двенадцать пленников. Якобы хорватов из-под Мостара.

Ночью явились сербы (четники, утверждает Ясна). Стали пытать мужчин.

Женщины накрыли головы одеялами.

Палачи похвалялись перед ними: нам, мол, и ребенка убить плевое дело.

На рассвете за Ясной пришел какой-то человек. Говорил, что она ему очень нравится, что он хочет с ней спать и так далее. Она сказала про мужа и детей. Пожаловалась, что ничего о них не знает.

Мужчина отвел ее в один из домиков в кемпинге. Там ждали красавицы сестры. Они уже тоже многое здесь перенесли.

Девушки были из Пресеки, благодаря чему Ясна и осталась жива. Старшая сестра работала на текстильной фабрике в Невесине и знала местного коменданта Радослава Солду.

Тот обещал их спасти.

А Петар Дивьякович — убить.

Радослав спросил женщин, есть ли у них в Невесине какая-нибудь знакомая сербка, которая согласилась бы их спрятать.

— Есть, — подтвердили сестры. — Света.

На берегу озера Борачко им повстречался еще один порядочный человек, о котором Ясна хотела бы сегодня вспомнить. Студент православной семинарии, в армию его забрали силой. Он спросил Ясну, почему она плачет.

Та рассказала о детях — в подвале, без воды, без еды, без мамы.

— Позор! — воскликнул он. Ясна очень сожалеет, что не запомнила имя юноши.

На рассвете Радослав отвез ее и красавиц сестер в Невесине. А Фадиля и Мерсада, которые остались с истязаемыми мужчинами? Ясна их больше не видела. Как и тех мужчин.

И по сей день ничего об этих людях неизвестно.

Знакомая сербка не пустила их на порог:

— Чего доброго дом мне за это подожгут, — она внимательно огляделась по сторонам и захлопнула дверь.

— Привези детей, — попросила Ясна Радослава (красавицы сестры были бездетны).

Он велел женщинам ждать в гостинице. Оставил солдата, чтобы присмотрел за ними.

— Выпейте пока кофе.

А сам поехал к начальнику сербской милиции и к коменданту сербской армии (их фамилии мы уже знаем).

— Я все разведаю и вернусь за вами, — сказал он на прощание.

Через час вернулся и произнес слова, которые Ясна никогда не забудет.

– Я принес добрые вести. Дети здоровы. Вчера их повезли на мусульманскую сторону – обменивать на пленных. Е... твою мать, дали нам четыре трупа за целый автобус живых.

В автобусе было якобы двадцать детей.

– И мои? – вскочила Ясна.

– И твои.

Радослав спросил, отважатся ли они идти в одиночку через Вележ в Мостар. Дети вроде бы там.

– И муж твой тоже, – обнадежил он.

– Мы пойдем.

Он довез женщин до подножья горы, дал с собой хлеба и консервов.

– Дай нам Бог когда-нибудь встретиться по-человечески и посмотреть друг другу в глаза. Будьте осторожны.

Он показал им дорогу через Вележ. Предупредил: если попадутся в руки шешелевцам, сам Аллах их не спасет.

– Тогда уж вам никто не поможет. Да и мне не поздоровится.

И уехал.

Женщины поползли по-пластунски. Встали на ноги, лишь когда стемнело.

До недавнего времени на склонах Вележа жили одни мусульмане, теперь здесь пасли скот.

– Поди-ка сюда, Главица! – услышали они наконец мужской голос. – Ой, да чтоб ты сдохла!

Женщины расплакались. Они решили, что это все. Конец.

Мужчина бранил корову.

– Откуда четнику знать имя здешней коровы? – опомнилась одна из женщин.

– Погоди! – закричали они.

Мужчина (вернее, молодой парень) пустился наутек.

– Мы наши! – кричали они ему вслед.

– Сам Аллах меня вам послал, – сказал тот, успокоившись. – Вы шли прямо на деревню шешелевцев.

Шешелевцы – известная своей жестокостью сербская военизированная организация.

Женщины отдохнули в палатке мусульманских пастухов.

Их проводили в мусульманскую деревню. Там стояли мусульманские солдаты.

Ночью их отвезли в Мостар, в западный район. В детском доме был устроен лагерь для беженцев.

Ясна радовалась. Первой, кого она увидела, оказалась свекровь.

– Где дети? – спросила та. – Где Хасан?

– Дети вчера сюда приехали, – Ясна оглядывалась по сторонам. – Целый автобус.

– Ясна! Не приезжали сюда никакие дети! Нет здесь детей...

Две женщины

По ту сторону горы Црвань (близ озера Борачко) пещера Борисавац.

Столетиями местные жители твердили, будто она бездонна.

Но теперь (в конце августа) мы уже знаем: дно у пещеры есть, к нему ведет узкий рукав длиной в семьдесят пять метров. Там лежат кости, светят прожектора, трудятся люди.

Наверху у края пещеры толпа. И Ясна тоже здесь. Рядом доктор Эва Клоновски, которая месяц тому назад, занимаясь другой массовой могилой, сломала ногу и теперь не может работать внизу. В пещеру опустили камеру, для Эвы установили монитор. Мы видим все, что там происходит. Родственники тоже смотрят. Доктор Эва руководит эксгумацией по рации. На дне ямы работает Петр Друкер – молодой антрополог из Вроцлава. Вместе с ним Амор Машович – председатель Боснийской комиссии по делам пропавших.

В яме Борисавац мы рассчитываем найти кости девятнадцати стариков, убитых в близлежащей деревне в июле 1992 года. По словам человека, которому удалось пережить ту казнь, тела сбросили именно сюда – в бездонную пещеру.

И вот первые белые пакеты ("body bags") оказываются на поверхности. Рабочие укладывают их на траву. Близкие разыскиваемых обступают мешки, доктор Эва осматривает кости, ловко определяет возраст и пол жертв.

Эксгумированы останки двух молодых женщин.

Значит, это не та могила. Ясна разочарована.

– Может, это Фадиля и Мерсада? – спрашивает она, а у самой на глазах слезы.

– Может, – говорит доктор Эва. – Надо будет проверить.

– А дети там есть?

– Петр! – теперь Эва говорит по радио. – У тебя там внизу дети есть?

– Нет. Пока нет.

Материнское счастье

Дети, пропавшие в Невесине в июне 1992 года:

Шипкович – (семи дней от роду) безымянный.
Асим Шипкович (17 лет),
Хусо Шипкович (3 года),
Хусо Аличич (8 лет),
Мехо Аличич (17 лет),
Мерима Аличич (5 лет),
Назика Аличич (11 лет),
Саудин Аличич (5 лет),
Салих Алибашич (16 лет),
Айла Махинич (1 год),
Ибрахим Махинич (12 лет),
Лейла Махинич (7 лет),
Омера Махинич (10 лет),
Амина Омерика (1 год),
Аган Плоскич (1 год),
Амра Плоскич (5 лет),
Эмин Плоскич (1 год),
Самра Плоскич (4 года).

Айла Плоскич (девять месяцев). Теперь ей исполнилось бы десять лет. Ясна всегда знает, сколько лет было бы сейчас ее детям. Дочкиных снимков у нее нет. Не успели сфотографировать.

Амар Плоскич (4 года), в красных галошках. Сегодня ему было бы тринадцать. На фотографии он сидит на велосипеде.

Ясна — единственная мать, пережившая ту котельную. Другим женщинам повезло больше: они погибли вместе со своими детьми. Мы ни о чем не спрашиваем Ясну. Сколько дети весили при рождении? Как долго она кормила их грудью? Росли ли они умными, веселыми, послушными? Какого размера были красные галошки?

Памятник

Сребреница — городок в зеленом ущелье, Республика Сербская. Частные домики, многоэтажки, школа и церковь на холме. Жара. Люди сидят перед чужими домами. Смотрят. Один смеется. Другой плачет. Никто никуда не идет. Не едет. Да и зачем?

Однако возле некоторых домов мы замечаем какое-то движение. Идет ремонт.

Мусульманкам возвращают их дома в Республике Сербской, те восстанавливают жилье руками сербов и сербам же продают. Вернее, пытаются продать. По соседству в Братунаце уже заключено несколько первых сделок, а в Сребренице — ни одной.

Сербы хотели, чтобы Сребреница была сербской, а теперь не желают здесь жить. "В Сребренице мы не чувствуем себя дома, — жалуются они. — Это мусульманский город, город смерти, крови". Голосов, доносящихся неизвестно откуда. Шепота, крика, плача. Иным даже слышалось пение пяти муэдзинов, что с пяти незримых минаретов призывали на молитву верных, которых тут давно уж нет.

Жители сегодняшней Сребреницы могут отправиться в Сараево, Вогощу, Ильяш, Доньи-Вакуф, Бугойн, Гламоч. Если, конечно, есть деньги на автобусный билет. Можно обратиться в мусульманскую администрацию и, согласно Дейтонским мирным соглашениям, попытаться получить обратно свое имущество (этим занимаются женщины, сербские мужчины путешествовать не любят).

Сербам возвращают их дома в Федерации, те ремонтируют жилье на дотации Европейского союза. Сербские женщины нанимают мусульманских рабочих. И, как правило, выставляют дома на продажу. На вырученные деньги покупают дома в Республике Сербской, но не в Сребренице. Наши власти, говорят, обещали, что здесь вновь откроются фабрики и санаторий. Что появится работа. Санаторий уже есть. Вот только отдыхать сюда никто не рвется. Власти хотят переименовать Сребреницу в Србобран (то есть "защитник сербов"). Говорят, это хороший рекламный ход, должно подействовать.

Подействовать может одна лишь война, так говорят в Сребренице. Только она способна что-то изменить.

Недавно в Поточарах, возле грунтовой дороги, под деревом мусульманские вдовы и матери торжественно открыли памятник — камень, напоминающий о совершенном преступлении: "Сребреница, июль 1995".

После чего женщины вернулись туда, куда были изгнаны несколько лет назад. Все это происходило под охраной полиции.

Камень обложили ковролином. Даже аллейки нет, вокруг лишь утоптанная глина. Некому следить за порядком.

Теперь мусульманский памятник охраняют власти Республики Сербской. Поставили под деревом деревянную сторожку. Выкрасили ее в национальные сербские цвета. Сербский полицейский сидит на стуле, подставив под ноги пенек, — сложил руки на коленях и замер в такой позе. Ему велели сторожить мусульманский камень. Мы спрашиваем: зачем? Полицейский докуривает сигарету, отбрасывает окурок.

Возвращение

После того лета (1992) никто не живет в Ризвановичах под Приедором. Место людей в сенях, кухнях и комнатах заняли кусты сирени, акация, рябина. Крыши провалились, полы сгнили. Исчезли собаки и кошки. Улетели голуби. Кусты лещины по обочинам разрослись так густо, что их кроны сомкнулись над асфальтом, образовав плотный зеленый тоннель.

Ночи в Ризвановичах нередко черны и туманны, и на этом безлюдье, наверное, бывает жутковато.

Но сегодня здесь вполне симпатично. Полнолуние. Люди погасили свет, ворочаются с боку на бок.

Скрип

Халима (сорока двух лет) угощает нас кофе:

— Я уже привыкла. Умоюсь, вытрусь, лягу. Когда холодно, беру вон тот красный плед. Засыпаю сразу, без труда — устаю за день.

Иногда он меня навещает. Мне эти визиты не по душе. Зачем? Я ведь знаю, что он сразу уйдет. С самого начала знаю. И отворачиваюсь к стенке.

Иди, говорю, иди, откуда пришел. Я сейчас проснусь.

А он не слушается. Садится вот тут на диванчик в ногах. Улыбается. И даже не обнимет меня. Хоть бы объяснил, что случилось. Куда он тогда пошел?

Ребенком бы поинтересовался.

Я бы столько могла рассказать. Про то, например, как я кусты выкорчевывала. Руки себе натрудила, спину.

А он ни слова, молчит, точно рыба. Только так смотрит, словно сам все знает. Я иногда злюсь на него: зачем он меня бросил?

Наверное, в этот момент (в два, в три ночи?) наш сын и приходит из соседней комнаты, берет с кресла второй плед, укрывает меня.

Поднимается солнце, я тоже встаю.

— Опять ты, мама, — говорит сын, — ночью зубами скрипела.

— Снова? Прости.

— Ты будто камни грызла.

Я пью кофе, открываю окно, выглядываю. Жизнь идет своим чередом.

Последний день отпуска

Дети галдят, женщины развешивают белье, мужчины просеивают песок. Гудят бетономешалки, растут дома. Повсюду вокруг еще сырые кирпичные стены: и слева от дороги, и справа, и вплотную к асфальту, и в поле, и ближе к лесу. Штук тридцать новых зданий. Окна будут смотреть на Приедор (на западе) или густые заросли (на востоке). Это поросшие кустами руины опустевших домов.

Красиво станет в Ризвановичах. Правда, еще не в этом году.

Бетономешалки затихают.

Отпуск у мужчин заканчивается, надо возвращаться. Их красивые загорелые жены собирают вещи, пакуют по несколько мешков перца (перец из немецкого супермаркета никогда не будет таким же вкусным, как этот, из родных краев). Дети в ярких одежках уже сидят в серебристых "мерседесах", пристегнутые к специальным безопасным креслицам, машут нам на прощание. Каждый получил на дорогу бутылку минеральной воды.

Здесь питьевой воды нет. Водопровод уже много лет как не работает, а редкие колодцы прикрыты жестью, этернитом или фанерой. Ими никто не пользуется, никто в них даже не заглядывает.

Прощальные поцелуи, слезы. Женщины выходят на дорогу, смотрят вслед родственникам.

Они будут скучать, особенно по малышам — по пеленкам на веревке, пустышкам на полу.

Последний новорожденный появился в Ризвановичах девять лет назад.

Перец

Теплицы на опушке леса. Их строительство финансировали австрийские фермеры и итальянские пенсионеры, а принадлежат они обществу "Мосты дружбы", созданному местными жительницами. Они здесь работают и счастливы, потому что в Боснии (например, в соседних деревнях) женщины в основном сидят без работы.

Раньше они трудились в Приедоре: в различных учреждениях, библиотеках, магазинах, на фабриках. Сегодня в городе работы для них нет. Да если бы даже и нашлась какая-нибудь — ни одна жительница Ризвановичей на нее не согласится. В Боснии ведь принято начинать рабочий день с совместной чашечки кофе.

А о чем им говорить за кофе с теми, приедорскими?

О вымазанных черной краской лицах? Надо бы спросить, кто это был.

О белых полотенцах? Надо бы спросить, зачем они понадобились.

О разрушенном костеле в Приедоре? Уничтоженных мечетях? Надо бы спросить, почему целы православные церкви.

О танцплощадках на берегу реки? Надо бы спросить, почему стало не с кем танцевать.

В теплицах выращивают перец. На рассаду его сеют дважды в год: в конце февраля и в августе. Нужно правильно подготовить землю, тут на помощь приходят американские дождевые черви — подарок какого-то иностранца. В грунт перец высаживают в марте и в сентябре. Ежедневно пропалывают, каждый вечер поливают.

За работой женщины вспоминают былые покупки:

— Номер воротничка — сорок первый.

— Рост — метр восемьдесят.

— Метр девяносто три.

— Обувь сорок третьего размера.

— Сорок пятого.

— Большие размеры всегда было трудно достать.

На ночь теплицы закрывают, чтобы перец не замерз, а перед рассветом открывают, чтобы не запарился.

— На пляже в волейбол играли, — теперь они припоминают отпуск в Хорватии.

— Дети строили из песка замки.

— Один человек стал тонуть, так мой его вытащил. Другие перепугались...

Урожай убирают летом и зимой, в январе цены на перец самые высокие. Особенно на этот, из Ризвановичей — без нитратов. Перец, как и помидоры, огурцы, стручковую фасоль, картошку, женщины продают на рынке в Приедоре, в пяти километрах отсюда.

Город женщины не любят. Все свои дела решают на рынке: продают овощи, потом делают покупки. Здесь все самое дешевое — шмотки, обувь, косметика. Старье, но магазины им не по карману.

Ясминка (председательница общества, тридцати с чем-то лет) купила сегодня купальник. Серебристый, за двадцать марок — очень удачно.

— Взгляните-ка! — подмигивает нам Ясминка.

Завтра подруги поедут на берег Саны.

Соберут корзинку — бурек (тонкий пирог с мясом), кефир и ice tea[1]. Сядут в автобус. Хотя Сана близко (и здесь особенно живописна), они отправятся в Сански-Мост, за тридцать километров. К своим, в Боснийско-Хорватскую Федерацию.

Ризвановичи (а также соседние деревни: Бищаны, Раковчаны, Хамбарине) всегда были мусульманскими. Но вот уже несколько лет, как они со всех сторон окружены сербскими поселениями. И Приедор стал сербским (а до 1992 года был в основном мусульманским). Теперь повсюду вокруг — Республика Сербская.

Приятно посмотреть

Вечером в доме у Кемили (тридцати четырех лет):

— Тут неподалеку гарнизон с чешскими солдатами. Когда мы вернулись, они первое время постоянно к нам наведывались, старались развлечь. И теперь тоже не забывают, воду вот привозят.

Светловолосые, высокие, статные.

Приветствуют нас: “Ahoj!”[2] А еще говорят, что мы красивые. Ну, соседки еще может быть. Они мажутся, пудрятся. А я что? Моя любовь уже позади.

Сыновей-подростков привлекает форма.

Чехи угощают нас сладостями. Обещали электричество провести.

1. Холодный чай (*англ.*).
2. Привет! (*чешск.*).

Им нравится, когда мы готовим им япрак, мясо в виноградных листьях. Приятно посмотреть, как они уплетают. Хвалят — мол, как дома.

Комендант следит, чтоб они не засиживались у нас допоздна. Они дисциплинированные, как и положено в армии. Мы им пирога с собой даем.

Соседки, может, на что-то и рассчитывают. Но солдаты ведь сменяются каждые полгода, волей-неволей приходится расставаться. Они возвращаются к своим чешским девушкам.

Да и какой нормальный человек здесь останется? Кто детей зачнет? Чего ради?

Пляж

Сана, в отличие от других местных рек, не очень грязная. В ней не увидишь старых газовых плит, стиральных машин, кабелей, телевизоров, велосипедных рам, тракторных шин, остовов автомобилей. Пара бутылок да банок — пустяки, можно купаться.

Мусульманки снимают брюки, блузки, платья.

Достают бутылочки с маслом, мажут друг другу спины. Смеются.

Заходят в воду, плавают. Выбираются на берег, помогают друг другу вытереться.

На пляже есть и мужчины.

Женщины лежат на пледах. Пьют, едят. Обсуждают свои теплицы.

Домой возвращаются к вечеру. Одна из них садится на трактор. Другая включает насос, набирает воду из бетонного бассейна в металлическую цистерну на прицепе.

Трактор не заводится. Женщины вызывают мастера из Приедора.

Тот как раз вышел из церкви. Он любезен, садится в машину, расспрашивает о перце, чинит трактор.

Женщины поливают перец, закрывают теплицу. Умываются и ложатся спать.

Тот июль

В доме у Фадили (тридцати одного года):

— Красиво тут у нас, правда? Первый этаж закончили, крыша над головой есть. А чего бояться? Что они могут мне сделать? Убить?

Здесь я родилась и здесь буду жить. Нравится это приедорским говнюкам или нет.

Через Приедор я на работу ездила. Там на берегу реки было кафе, мы его очень любили. Ходили туда по вечерам на концерты, на танцы, выпить кока-колы.

Все это в прошлом.

Я работала недалеко, в Кератерме, на керамической фабрике. Мы делали огнеупорные спирали, нагреватели, пепельницы, сувениры.

Наши работали в рудниках: в Любии, Томашице, Омарской.

Сначала нас уволили. И меня, и моего — всех мусульман. Отключили нам тут электричество, воду перекрыли. Мы сидели в подвалах, потому что вокруг стреляли. Хотели нас запугать. Я и правда боялась.

В городе было много мусульман. Сербы вывозили их в лагеря. Но мы тогда вроде еще об этом не слышали. Да и кто бы поверил?

Наконец по радио (приемник был на батарейках) объявили, чтобы мы никуда не уходили — нас придут переписывать.

20 июля 1992 года, семь утра. На наших окнах, согласно распоряжению, висели белые флаги.

Они подошли со всех сторон, подъехали на транспортерах. Окружили Ризвановичи и соседние деревни. В разной форме: черной, синей и в камуфляже. Сербы.

На тех, что шли со стороны Приедора, форма была синяя. Лица вымазаны черным. Темные очки, ножи, палки, автоматы, на плечах белые полотенца.

Они шли от дома к дому. Мне и по сей день слышатся их голоса. Ребята, с которыми мы учились в школе, в техникуме, сидели в кафе на берегу реки. Поехать бы в Гаагский трибунал и рассказать о них международным судьям. Но кто меня там станет слушать? Кто будет на меня время тратить?

Кое-кому удалось скрыться. И мой ушел. Побежал в лес.

Я ни одной эксгумации не пропускаю. Высокий, в голубой рубашке и зеленых рабочих брюках. Я бы узнала его, простилась. Ну сколько можно тосковать по человеку, если знаешь, что он уже никогда к тебе не вернется?

Тех, кто остался в деревне, силой выволакивали из домов. Убивали во дворе. Или вон там, на перекрестке, в поле, на лугу. И подростков тоже.

Женщинам и детям запретили подходить к окнам. По стеклам стреляли.

Они вытирали ножи белыми полотенцами и шли дальше.

Теперь, когда картошку копаешь, всё кости попадаются. Может, это моего? Или брата, который как раз за два дня до всего этого приехал из Германии в отпуск? Везде кости торчат, в колодцах плавают.

Соседку затащили на чердак. Они ее по Приедору знали, эта женщина работала в ресторане, который держал один мусульманин. Изнасиловали, убили, двинулись дальше.

Некоторых живьем забрасывали на грузовики. Куда-то увозили. Теперь-то мы знаем, что в лагеря смерти. Их там истязали. Может, и моего тоже. Я бы хотела знать, как все было. Что с его телом сделали?

Я это тело как сейчас помню, обязательно признаю.

Та ночь, которую я бы уже и рада забыть, была особенно черной. Сербы перебили все фонари. Тишина, как в могиле. Мы хватали детей и — бегом к соседям. Некоторые из нас по дороге спотыкались о трупы мужей. Мы хотели держаться вместе. То доска скрипнет, то собака залает, а мы пошевелиться боялись. Плакали так тихо, что одна другую не слышала.

Рассвело. Мы подошли к окнам. Что я там увидела... лучше и не вспоминать.

Они ввалились с грохотом, выволокли соседку, потом еще двух женщин.

У нас тут есть мать, которую семеро насиловали. Вместе с девятилетней дочкой. И сына ее убили. Он лежал возле хлева, она его голыми руками закапывала. Хотите с ней поговорить?

Отбирали деньги, украшения, телевизоры, кастрюли.

Из сараев тащили тракторы, машины, инструменты. У нас была богатая деревня, в каждой семье кто-нибудь жил на Западе.

Наступил второй день, третий, четвертый. Мы сидели по домам, голодные, грязные, без воды. Жара невыносимая. По телам наших мужей ползали мухи.

Нам не разрешали выходить из дому, хоронить убитых.

Трупы разлагались. Тем, приедорским, это надоело. Они нашли восьмидесятилетнего старика соседа. Велели ему собрать тела. С улиц, с лугов. Он сам втаскивал их на грузовик. Напоследок забросил на эту кучу своих сыновей. Двое у него было, двоих он туда и положил. Ему приказали сесть сверху, на их тела. И увезли. Куда?

Мини-трактор

Для работы в теплице женщинам еще не хватает плуга, сеялки для фасоли и легкого мини-трактора, который может ездить по центру парника. Он особенно необходим. У одного местного серба такой есть, его иногда просят помочь. Но с ним так просто не договоришься, вечно какие-нибудь проблемы.

Мини-трактор стоит восемь тысяч немецких марок.

Нужны мотыги, заступы, грабли, вилы, тележки, тачки.

Женщины хотят построить еще теплицы, чтобы было больше рабочих мест. Пока что обеспечены только сорок три из них. Зарплата сто пятьдесят марок (плюс пенсия за убитого мужа — итого почти триста).

Те, кому не удалось устроиться на работу (а таких большинство), имеют немногим более ста марок пенсии. Или вообще ничего, если муж был слишком молод и работал слишком мало. Питаются тем, что удается вырастить: кукурузой, картошкой, баклажанами.

В то лето женщинам наконец велели покинуть дома. Их согнали на огороженную проволокой площадь. Вместе с детьми они много часов простояли на солнцепеке. Подъехали автобусы. Приказали садиться. Били. Затем отвезли в лагеря в Трнополе или в Кератерме (на керамической фабрике). Сказали выйти. Они сидели без воды и без еды, то и дело подвозили еще женщин, отовсюду. Сделалось тесно. Их посадили в автобусы, снова били.

Отвезли на линию фронта и велели идти вперед.

Женщины и дети поселились в центрах для беженцев, потом заняли пустовавшие дома. Они принадлежали сербам, что бежали к своим. Кое-кто уехал за границу, главным образом в Германию. Когда в 1995 году был подписан мирный договор, боснийкам предложили покинуть Германию. И они вернулись.

Сербы, согласно Дейтонским соглашениям, тоже возвращаются к себе. Так это выглядит на бумаге. На самом-то деле ничего не изменилось: люди, как правило, не собираются жить в своих прежних домах, приезжают лишь затем, чтобы их продать. Власти выгоняют (выселяют) нелегальных жильцов и передают имущество законным владельцам.

Мусульманки решили снова поселиться в Ризвановичах, в Республике Сербской. Деревню было не узнать, настоящие джунгли. Сперва пришлось выкорчевывать кусты. Добрались до стен, оказалось, те уже никуда не годятся.

Женщины устроились все вместе в разрушенном здании управы. Кое-кто в палатках.

Добились дотации от Европейского союза. Союз охотно дает деньги тем, кто возвращается в родные края: Европа пытается стереть следы происходивших здесь этнических чисток.

Женщины получили ссуду на стройматериалы. Купить их и начать строительство следовало в течение сорока пяти дней. Не успел — возвращай деньги.

Заплатить рабочим было нечем.

Они позвонили своим родным в Германию (Францию, Швецию, Австрию — всюду, куда в свое время эмигрировали югославы) и попросили мужчин о помощи. Все, кто мог, приехали. В отпуск, с женами, с детьми.

Кто не смог, прислал деньги. Женщины привезли из Приедора рабочих.

В городе работы нет, так что сербские каменщики охотно строят мусульманкам дома.

Старуха

В гараже у Мерсады (ей семьдесят четыре года):

— Кем бы ни был тот, кто это устроил, пусть с ним то же случится, что со мной было, пусть он то же почувствует, что я пережила.

Увижу чужих детей, внуков — и в слезы.

Дочерей у меня не было, только два сына. И мужа нет, никого нет.

Одного сына уже отыскали.

На его похороны приехала невестка из Швеции. Сказала, что выходит замуж. У моей внучки будет новый отец. Все правильно.

Я просыпаюсь в четыре утра. Но не встаю, зачем?

Только если в Сански-Мосту показывают новые кости, тогда я еду.

Свой ребенок всегда поможет. А постороннему человеку и в голову не придет зайти спросить, не голодная ли ты.

Люди после войны изменились. Перестали ходить в гости, смеяться.

Одинокие старухи никаких дотаций не получают. Европа не хочет восстанавливать наши дома. Мы, говорят, не перспективные.

Но мой домик растет, мне одна женщина из-за границы помогла. Она меня как-то навестила, увидела, что я в гараже живу. Доктора Эву в Боснии все знают. Она тут кости выкапывает, опознает людей. Нашла моего сына и второго тоже обещала отыскать.

Колодец

Первые числа сентября. В Ризвановичах суматоха. Предстоит эксгумация (не первая здесь и, наверное, не последняя). Эксгумирует доктор Эва Клоновски, антрополог.

Из колодца извлекают три тела: двое мужчин, одна женщина. Кто они?

По всей видимости, не местные. Быть может, это католический ксендз из Приедора и его пожилые родители. Хорваты. Свидетели утверждают, что сербы вывели их на окраину спустя три года после того ле-

та — в 1995-м. Их вели к большой зеленой роще в пригороде (бывшие и будущие Ризвановичи). Больше ксендза никто не видел. А мы теперь видим кости.

Женщины пришли взглянуть. Но некоторые явно думают о чем-то своем. До сих пор их дети учились в мусульманских школах в городе Сански-Мост или в деревне Лущи-Паланка. Недавно проездные билеты на автобус подорожали, у матерей нет денег на ежедневные поездки. В эти дни дети из Ризвановичей впервые пошли в сербские школы в Приедоре. Начнут учить кириллицу. Как отнесутся к ним учителя-сербы? А сербы-ровесники? Будут ли они общаться? И о чем станут разговаривать?

В Ризвановичах заканчивается эксгумация, группа едет дальше. В деревню Любия, где в карьере обнаружено массовое захоронение. Большая могила: восемьдесят пять метров глубиной, триста семьдесят два тела, работы на месяц. Рядом с некоторыми останками — документы.

Это мужчины из Ризвановичей.

Эва в доме Мейры

Кто бы мог подумать: в дом матери Мейры пришло счастье. Чтобы побыть сегодня с ней, съехалось много народу, из самых разных мест. Камень с плеч, конец пути. Может быть, теперь она наконец уснет спокойно. Похороны, молитва, могила. Две могилы. Мейра никому не позволяет плакать:

— А то еще Небойша увидит. Мы должны вести себя достойно.

Мы с доктором Эвой Клоновски хотели навестить Небойшу Б. Он живет неподалеку. Но Мейра и тут воспротивилась:

— Не надо, еще не время.

Небойша Б., тот, что когда-то ухаживал за Эдной, дочерью Мейры, сегодня полицейский в Приедоре.

Когда началась война, Небойша стал в Омарской следователем, а Эдна — узницей. Он пытал Эдну, насиловал.

В Омарской видели также Эдвина, брата Эдны. Его истязали на глазах сестры.

Эдна Даутович, родилась 18 марта 1969 года. Училась на педагогическом.

Эдвин Даутович, родился 13 августа 1965 года. Электрик.

Теперь имам (молодой, красивый, в дорогих очках) готовится произнести за умерших Йя-Син. Так велит Коран. Женщины в кухне запекают телятину, готовят сладкую пахлаву. Мейра вынимает из шкафчика небольшую скатерть и энергичным жестом бросает ее Эве на колени:

— Ноги! Прикрой ноги!

Ох уж эта бестактная доктор Эва! Мало того что уселась вместе с мужчинами (все остальные женщины — в соседней комнате), так вдобавок еще надела слишком короткую юбку. И голова платком не покрыта. И говорит не переставая. А имам смотрит.

Доктор Эва выкопала в Боснии уже две тысячи тел. Вытащила из колодцев, достала из пещер, выгребла на свалке или извлекла из-под свиных костей. Это благодаря Эве мы сидим сегодня у Мейры и слушаем, как имам поет Йя-Син:

Воистину, мы оживляем мертвых
и записываем то, что они вершили, и то, что они оставили
после себя.
И все мы подсчитали в ясном руководстве[1].

Книга

Весна 1992 года. Начало войны. Мусульман из Приедора, где жили Мейра с мужем и детьми, забирали из дома (с улицы, с работы, из магазина), увозили в лагеря Омарская, Трнополь или Кератерм. А то и просто в лес.

В недавно изданной "Книге без вести пропавших. Община Приедор" более трех тысяч фамилий, расположенных в алфавитном порядке. Это в основном мужчины. "Книга..." большая и тяжелая. На одном листе формата А4 помещается всего девять фотографий. Со страницы номер 88 глядят Эдна и Эдвин. Рядом фамилии неких Исмета, Дервиша, Сеада, Эсея и Фикрета. Снимки отсутствуют. Видимо, их близкие бежали из дома в панике, им было не до фото. А потом возвращаться стало некуда. Сегодня Приедор — это Республика Сербская Боснии и Герцеговины, а в мусульманских домах живут сербы.

Редакторам "Книги..." пришлось нелегко. Если не было фотографии, над фамилией без вести пропавшего помещали лилию — элемент древнего герба Боснии.

Сегодня многие восьми-, девятилетние дети не знают, как выглядели их отцы и старшие братья. Те просто не успели отпечататься в их памяти. Когда ребята подрастут, им наверняка будет не хватать этих лиц. Лилия в "Книге пропавших" — это слишком мало. Сегодняшние дети захотят увидеть, какой формы был у отца или брата нос, какие щеки, подбородок, волосы, какой взгляд. Заинтересуются сходством. Станут рыться в архивах школ, управы, армии и рабочих мест. Спрашивать через газеты, радио, телевидение. Рассказывать о своей мечте:

— Я бы хотел / хотела знать, как выглядел мой отец. Может, у кого-то есть коллективная фотография, на которой он запечатлен, — школьная, армейская или сделанная во время совместного отпуска под Дубровником. Позвоните, пожалуйста...

Быть может, есть у кого-нибудь фотография Ибрахима Адемовича (1961), Эсада Ахметовича (1968), Мирсада Цехича (1973), Азмира Целича (1971), Айдина Дженановича (1983), Элвира Карарича (1976), Элвира Селомовича (1975). Может, кто-нибудь знает, где они. Родственники хотят иметь их могилы.

— Может, кто-нибудь знает, где они, — так расспрашивала весной мать Мейра о своих детях.

Мозаика

Автобус с табличкой "Школа" уехал 24 июля 1992 года после одиннадцати вечера в неизвестном направлении. В автобусе — пятьдесят пассажиров, известны лишь несколько фамилий. Среди них две женщины: Саде-

1. Здесь и далее фрагменты Корана в переводе М. Н. Османова.

та (худенькая, за сорок) и Эдна (молодая, перепуганная). Приятельницы по бараку помогли Эдне сесть в автобус, у нее самой уже не было сил. Они завидовали: Эдну обменяют на сербов, ей повезло. Так им сказали.

Это был третий автобус, что уехал в тот день из Омарской. Пассажиров первых двух обнаружили в Храстова-Главице. Сто двадцать четыре тела — только мужских — сваленных в кучу.

Доктор Эва эксгумировала их в декабре 1998 года. Стояли редкостные холода (минус двадцать градусов, иногда ниже), но на дне пещеры теплее (плюс восемь). Работы велись больше недели, с утра до ночи. Не так просто оказалось пересчитать жертвы. С момента казни прошло много времени (шесть лет), дно в пещере (шесть на восемь метров) наклонное. После того как мышцы и хрящи убитых истлевали, кости сползали вниз и перемешивались.

Из этих перепутанных скелетов доктор Эва складывает людей: пожалуй, никто в Боснии не умеет делать это лучше ее. Доктор Клоновски вскакивает на рассвете, завтракает на бегу и готова к работе, когда на часах еще нет и восьми утра. Она трудится до вечера, без перерыва, без обеда. Откладывает очередную эксгумацию: сперва надо разобраться с тем, что уже выкопано.

Эва обычно начинает с тазовой кости. Иногда (вот как в Храстова-Главице) с кости стопы, поскольку ничего больше найти не удалось. На стороне Эвы знания, опыт и терпение. Она никогда не сдается. Просматривает сотню остальных тел, прикладывает одну кость к другой. Нет, все не то, не годится. Проходят часы и сутки. Доктор жалуется, даже ворчит, болит спина, болят глаза, но ищет дальше. Она должна быть абсолютно уверена:

— Надо, чтобы match[1] был идеальный, — говорит она, по своему обыкновению смешивая английский с боснийским и польским. Наконец находит точно подходящие друг к другу кости: таранные, большие берцовые, малые берцовые, бедренные, тазовые. Потом позвонки: поясничные, грудные, шейные. Череп, порой его осколки, приходится склеивать. И вот мозаика готова. Человек собран целиком.

Доктор Эва в существование Бога не верит. Но знает, что в него верят семьи, ради которых она трудится. Эти люди верят в Божий Суд и Воскресение.

— Хотелось бы, — говорит она, — чтобы они перед этим своим Аллахом стояли не на чужих ногах, а на своих собственных. И чтобы на плечах у них был свой собственный череп. Чтобы они прилично выглядели, восстав из мертвых.

Переломы

Куда уехал из Омарской третий автобус? Еще весной мы этого не знали.

Весной в деревне Лущи-Паланка Эва проводила идентификацию семидесяти трех тел, выкопанных в другой массовой могиле — в Кевлянах. В деревенском Доме культуры в зале на коричневых плитках доктор Клоновски разложила одежду. Сперва она сняла ее с костей и выстира-

1. Пара (*англ.*).

ла, чтобы вернуть первоначальный цвет. Если сохранились волосы, их тоже стирали.

Через газеты и по радио вызывали родственников пропавших.

Если кто-то опознавал одежду, доктор Эва показывала сохранившиеся зубы, а затем весь скелет (если таковой имелся). И расспрашивала: хромал ли отец, часто ли брат садился на корточки, перенес ли сын операцию на бедре и так далее. Если и этот этап идентификации проходил успешно, то брала у ближайших родственников кровь для анализа ДНК. Совпадение ДНК крови с ДНК, полученной из кости, дает уже стопроцентную гарантию.

Среди родственников, которые приехали опознавать останки, оказалась симпатичная седая женщина.

– Я мать Мейра, – представилась она нам. – Бываю здесь каждый четверг. Помогаю доктору Эве, утешаю родственников.

– Это Эдвин, – показала она нам тогда какие-то лохмотья. – Мой сын. И пол совпадает, и возраст, и рост, и зубы. Но доктор Эва еще не совсем уверена. У нас пока не проверяли эту самую ДНК. Был у меня Эдвин, – она наклонилась, поправила штанину. – А еще была Эдна. Я все знаю, что случилось с моей девочкой. Кто ее бил, кто насиловал. Это все Небойша, парень, с которым она дружила до войны. Не знаю только, куда уехал тот автобус. Одежды нигде нет. Хоть бы туфельку найти...

Скелет "KV 014": множественные переломы ребер с обеих сторон, главным образом спереди и по бокам, но и сзади тоже. Сломана грудина. И два позвонка в верхней части туловища. И правая лопатка. Некоторые переломы свежие (за день, максимум два до смерти). Другие – уже сраставшиеся (за несколько дней или недель до гибели). Эдвин?

Мать Мейра, узнав все эти детали, решила, что это все же не ее сын.

– Я не в силах была поверить, – объясняет она сегодня.

Мейра не стала подписывать документы. А процедура опознания такова: дорогостоящий анализ ДНК делается лишь при наличии подписей ближайших родственников.

Неопознанные тела (из семидесяти трех идентифицировано только десять) похоронили в Козараце, рядом с Приедором, в Республике Сербской Боснии и Герцеговины. Так постановил суд кантона. Предварительно доктор Эва взяла пробу из каждого скелета. На всякий случай – вдруг потребуется анализ ДНК.

Еще она взяла кровь у Мейры и ее мужа Узеира. И несмотря на отсутствие нужной подписи, отослала в мадридскую лабораторию. Приложив фрагмент кости "KV 014".

После чего занялась другими делами: следующая эксгумация проходила близ деревни Доньи-Дубовик.

Пещера

В мае этого года Гаагский трибунал поручил Боснийской комиссии по делам без вести пропавших исследовать пещеру Лисач, недалеко от деревни Доньи-Дубовик (Республика Сербская, северо-западная Босния). В этой пещере должны находиться тела. Так сообщил Трибуналу свидетель.

Фамилии свидетелей не разглашаются. Обычно это сербы: за информацию им платят, неизвестно, правда, сколько. Они утверждают,

что видели (никогда не скажут "участвовали"), как и где убивали, перевозили, сбрасывали в яму.

Свидетель сообщает место, но сам в эксгумации не участвует. Боится. Слишком много собирается здесь людей: антропологи (доктор Эва) и судебные медики, медтехники; инспекторы криминальной полиции, полицейские техники, прокуроры и судьи; следователи Гаагского трибунала; представители Боснийской комиссии по делам без вести пропавших и представители Сербской комиссии по делам без вести пропавших (всем известно, что в числе последних есть убийцы); деятели каких-то американских внеправительственных организаций (они не больно-то ориентируются в том, что здесь произошло), переводчики, спелеологи (когда они отсутствуют, на разведку в пещеру отправляется сама Эва — на буксирном тросе), электрики, экскаваторщики, чернорабочие. Еще саперы, поскольку яма может быть заминирована. Они не всегда приезжают вовремя, но Эва все равно спускается. А также солдаты СФОР, охраняющие группу и одалживающие Эве тросы, если того, что в ее машине, недостаточно. Эва работает внизу, вместе с патологоанатомом и несколькими рабочими, остальные ждут на поверхности. Лежат в тени до самых сумерек.

Неподалеку от деревни Доньи-Дубовик посреди поля, в том месте, где следует копать, свидетель положил коробку из-под папирос. Вокруг мульды и кратеры.

В первых числах июня (жара!) группа выехала на эксгумацию. Отыскали на поле коробку из-под папирос. Экскаваторщик приступил к работе. Срезали все кусты вокруг (лишив людей последней тени), перекопали четыре ближайших кратера. Опустили зонды. Пусто. Группа уехала.

Следователь Трибунала снова встретился со свидетелем. Тот обещал еще раз оставить условный знак. Видимо, он делает это ночью. Снова приехала группа, снова — на том же самом месте — обнаружила коробку из-под папирос.

Утомившись, один из участников группы, ирландец, отправился размять ноги. И чуть поодаль обнаружил накрытую большим камнем яму.

Спелеолог спустился туда на тросе. Вернувшись, сказал, что пещера глубиной в двадцать метров, имеет форму трубы и очень красива: бежево-медовые стены, масса сталагмитов. На дне — одежда, одеяла, кости. Он достал один череп в доказательство того, что останки человеческие. Скелетов оказалось много, Эва потом намучилась, пока все сложила.

Опустили вниз веревочные лестницы. Через два дня привезли металлические. Эти лучше — более устойчивые.

— Удобные, — хвалит Эва.

Однажды ее муж дома, в Исландии, сидя в своем кресле, увидал по каналу Си-эн-эн, как жена спускается в пещеру спиной к лестнице. Тут же позвонил и сурово отчитал. Так что уж в пещеру Лисач она спустилась как положено. Вместе с патологоанатомом. Деревянную платформу подвесить не удалось — кто-то забыл крепежные колесики. Пришлось стоять прямо на костях (это нехорошо — Эва известна своим уважением к самой последней косточке). Дно — пять метров на полтора — слишком широкое, чтобы упереться ногами в стены.

Электрики осветили пещеру:

— И вправду чудесная, — говорит Эва.

Да уж — на лицо капает, скользко и холодно. Бегают крысы, пауки, еще какие-то насекомые.

Эва разделила дно на секторы: A, B, C, D, E, F. Сделала первые наброски.

Тела лежат друг на друге, расчлененные, причудливо изогнутые, вывихнутые — они летели с двадцатиметровой высоты, ударяясь о стены пещеры, задевая сталагмиты и сталактиты. Дно еще хуже, чем в Храстова-Главице. Мало того что покатое, так еще и в обе стороны трапецией.

— Черепа откатывались к стенке, — объясняет Эва, — словно мячики.

Пещера похожа на коробку, которую кто-то взял да и потряс хорошенько. Все содержимое рассыпалось. Одеяла лежали сверху.

Убивали людей, вероятно, в близлежащей деревне Доньи-Дубовик (свидетели утверждают, что это происходило около церкви). Тела, наверное, погрузили на телеги, иначе сюда никак не подъедешь. А к самой пещере уже и на телеге не подберешься, поэтому пришлось нести на одеялах. Их использовали по многу раз и сбросили вниз вместе с последними трупами.

Эксгумационная группа укрепила систему тросов для транспортировки тел.

В первый день Эва, стоя в неудобной позе, извлекла девять тел. Все они принадлежали мужчинам: доктор может определить пол сразу. Каждое упаковали в пластиковый пакет ("body bag") — и наверх.

Там ждала мать Мейра. Она живет далеко (в трех часах пути отсюда), но все же привезла Эве обед. Запеченное мясо, салат. Остальные тоже перекусили.

Наконец над костями подвесили дощатую платформу. Доктор Эва смогла встать на колени.

На следующий день — шестнадцать тел. Номер 25 — женская тазовая кость. Юбка, колготки и красный свитер. С характерной застежкой на плече. И нитка жемчуга. Сразу позвали тех, кто мог что-то знать.

— Это Садета, — сказали бывшие узницы Омарской. — Так она была одета, когда садилась в автобус.

Садета Меджунянин, мать Энеса и Хариса, учительница истории.

Женщины расплакались.

Доктор Эва ни словом не обмолвилась Мейре о том, что теперь уже почти уверена.

В воскресенье (когда у группы выходной) вместе с молодым патологоанатомом она стирала в детской ванночке выкопанную одежду.

Другие женские останки она нашла в понедельник (26 июня). Сектор F, номер 42, почти на самом дне. Женщина была брошена в яму одной из первых. Значительно младше Садеты — это Эва определила сразу. Доктор упаковала кости в "body bag".

Мейры в этот день не было. Утром она почувствовала себя плохо, попала в больницу. Успела только попросить мужа отвезти Эве обед.

— Я ела, — говорит доктор Клоновски, — и смотрела на Узеира. Мейре я, может, и сказала бы...

Узеир — когда-то глава семьи, владелец строительной фирмы. Теперь сгорбленный старик (1939 года рождения). После всего случившегося он перенес уже два инсульта. Целыми днями молчит, а когда открывает рот, весь трясется: то его пинает незримый палач, то они меняются ролями, и Узеир сам истязает невидимую жертву. Общения с окружающими людьми он избегает.

— Не смогла я ему сказать, — говорит Эва, — что вот он, тот автобус, вот она, Эдна.

Игрушка

Эдне, как и остальным, сначала прострелили таз. На всякий случай: бывало, что люди пытались убежать. И лишь затем — пуля в грудь.

Обо всем этом доктору Эве рассказали кости. Ее голос звучит спокойно:

— Начнешь переживать — не заснешь. У меня здесь и так бессонница. Проснусь в три утра — перед глазами продырявленные черепа. Вот расстреляли парня. Одного, другого, пятидесятого. Это я понимаю. Но как возможно, чтобы полсотни мужчин покорно ехали на верную смерть? Почему они ничего не предприняли, не попытались спастись? Несколько палачей велели им выйти из автобуса. И они покорно вышли. Покорно встали к стенке.

Доктор Клоновски предпочитает не задавать себе вопросов:

— Это меня расхолаживает, деморализует. Моя работа — складывать кости. Это все, чем я могу помочь. Какой из меня солдат?

В Комиссии по делам без вести пропавших помнят, как Эва проводила эксгумацию в окрестностях Приедора.

— Я копала, зная, что найду детей. Мне все равно, ребенка я выкапываю или старика. Кости — это кости. С той лишь разницей, что детские более многочисленны и менее долговечны. Так вот, я и обнаружила то, что ожидала увидеть. А рядом лежала игрушка, Супермен. Ее надо сунуть в пластиковый мешок. А я не могу. Держу фигурку в руках, а наверху ждет отец ребенка. Я чувствую, что больше не могу, того и гляди расплачусь. Твержу себе: Эва, кто-то должен работать. Вот кости. Вот игрушка, найденная рядом с ними. Положи ее в пластиковый пакет и займись следующим телом.

Ангар

Бывают в работе доктора Клоновски и радостные моменты.

К примеру, известие из Мадрида: ДНК кости "KV 014" — это сын Мейры и Узеира Даутовичей.

И еще одно: ДНК кости номер 042 (пещера Лисач) — это дочь Мейры и Узеира Даутовичей.

В этом смысл работы Эвы. Смысл жизненной миссии доктора Клоновски, как утверждает ее муж, который проводит здесь летний отпуск. Эва берет его с собой на службу: vacations on exhumations[1]. Миссии этой не видно конца: еще как минимум десять тысяч тел ждут, чтобы их нашли и эксгумировали. Необходимо идентифицировать более десяти тысяч человек.

Никто, кроме доктора Эвы, не станет слишком переживать, если череп "не подходит" к позвоночнику. Извлекли, скажем, пять спрессованных тел, разложили на глазок по пяти пакетам и похоронили в пяти гробах... Если складывать все выкопанные кости столь скрупулезно, как это делает доктор Эва, работы хватит для нескольких антропологов на сотню лет.

1. Отпуск-эксгумация (*англ.*).

Хотя другие здешние специалисты работают быстрее и небрежнее, эксгумация все равно продвигается медленно. Работу финансирует Международная комиссия по делам без вести пропавших (созданная в США специально для бывшей Югославии). Никто в Боснии не заинтересован в спешке.

– Не дай Бог, – говорит Эва. – Конец тогда высоким заработкам, карьере, поездкам на международные конференции. Следует копать потихоньку. Чтобы хватило на долгие годы, до самой пенсии. А матери и вдовы? Who cares?[1] Кого они волнуют? Nobody cares[2], что я care[3]. Мне это причиняет боль, хоть это и не моя страна, не мой народ. Я, наверное, просто идиотка. Но ведь и такие имеют право на существование, верно?

Этой осенью Эва работает, в основном, в пригородах Сански-Моста (сараевская квартира пустует: вот уже несколько недель она ночует в гостинице). На пустыре стоит большой ангар. Когда-то склад стройматериалов, сегодня – склад человеческих костей. И того, что при них обнаружено.

Ангар хорошо проветривается, никаких запахов. Две сотни пластиковых "body bags" лежат на земле, в том числе и те, из пещеры Лисач. Вместе с костями – одежда, зажигалки, кошельки, семейные фотографии, всякая мелочь.

Люди приезжают из близлежащих деревень, из Сараево, из Загреба, из Вены, из Гамбурга, из Нью-Йорка – ходят и смотрят. Останавливаются над каким-то телом, двигаются дальше, разговаривают с доктором Клоновски (порой Эва поддерживает их под руку), качают головой, молятся, плачут, некоторые теряют сознание, тогда она вызывает "скорую".

Время от времени в ангаре появляется очередной журналист из Сараево и интересуется у Эвы, зачем ей все это надо.

– Не знаю, – отвечает та с улыбкой. – Что-то меня подталкивает. Need to do something good[4]. Я словно бы хочу в одиночку исправить все то плохое, что сделали другие. У меня редкая профессия, и именно тут она пригодилась. Мое место здесь.

Недавно на встрече членов Американской академии судебных наук знакомый француз спросил Эву о том же самом. А та шепнула ему на ухо:

– Я это делаю, потому что спятила. I'm crazy[5].

Француз взглянул на Эву совершенно серьезно:

– Я так и думал.

Ангар. Здесь соблюдают тишину, говорят шепотом. И Эва тоже понижает голос, объясняя свою позицию:

– Это не ради карьеры, с ней я уже опоздала. Сейчас мне платят, но иной раз я месяцами едва наскребала в Сараево мелочь на батон хлеба, потому что дотация не выплачивалась. Я работала бесплатно и сейчас могу.

В ангар входит мать Мейра. Здесь она чувствует себя как дома. Сколько раз Мейра брала под руку чью-то мать и помогала осматривать

1. Кого это волнует? (*англ.*).
2. Никого не волнует (*англ.*).
3. Волнуюсь (*англ.*).
4. Мне необходимо делать что-то хорошее (*англ.*).
5. Я сумасшедшая (*англ.*).

тело за телом. Теперь она приехала, чтобы увидеть свою дочь (ей уже сообщили добрые вести из Мадрида). Но прежде она обнимает Эву. Затем берет в руки череп Эдны.

— До чего же хорошо все узнать, — говорит она. — А Эдвин? Как его выкопать? Я должна похоронить его возле Эдны, пусть они лежат вместе.

— Напиши начальнику полиции, — советует Эва.

С мая месяца Эдвин лежал в Козараце — неопознанный среди других неопознанных тел (седьмой ряд, табличка "KV 014"). Формальности заняли два месяца. Наконец, когда уже были готовы все документы, мать Мейра организовала машину (комби) и поехала в Козарац (территория Республики Сербской Боснии и Герцеговины). Там к ней присоединились сербские полицейские и сербские чиновники. Рабочих — тоже сербов — Мейра наняла на строительстве какого-то дома. Привезла Эдвина в Сански-Мост, сюда, в ангар, и доверила Эве. Назначила день похорон — 6 октября 2000 года, суббота.

Теперь мы стоим перед ангаром в Сански-Мосту (двести метров в длину, тридцать в ширину). Осеннее утро, холод, туман. Мейра наливает из термоса горячий кофе, угощает собравшихся, здоровается с дальними родственниками.

— Не надо плакать, — напоминает она молодой женщине. — А то еще Небойша увидит.

Мейра уверена, что Небойша когда-нибудь предстанет перед Гаагским трибуналом и ответит за все, что совершил в Омарской восемь лет назад. По мнению Мейры, Бог и так уже покарал его за Эдну.

— Он женат, — говорит она, — но детей нет. Разве может быть наказание страшнее?

В глубине ангара — доктор Эва. Час тому назад она поздоровалась с Мейрой и принялась за работу. У доктора Клоновски редко выдается свободная минута (чтобы отдохнуть, погулять, посидеть в кафе, съездить на море). Мы хорошо видим Эву: вот она стоит среди белых пакетов, уложенных ровными рядами на полу. Держит в руке кость, прикидывая, чья она. Кто-то зовет Эву — второй ряд, пятое тело справа. Доктор Клоновски подходит, она всегда к услугам родственников. С ней хочет поговорить Энес — сын Садеты, убитой вместе с Эдной.

Сын Садеты

— Это не жемчуг, — рассказывает Энес про бусы, обнаруженные возле тела матери. — Это белые камни из Охрида, скорее даже не белые, а седые. Маме их подарил отец. Она не носила золота, не любила.

Садета Меджунянин, учительница истории из Приедора, лежит теперь во втором ряду слева. Сын, вероятно, в самое ближайшее время похоронит ее. Но сперва ему хотелось бы найти младшего брата, Хариса. Энес надеется, что он тоже здесь. Восемь лет назад они с братом шли через лес. Вместе с другими людьми пытались прорваться из Приедора в Хорватию. Тщетно: нарвались на засаду, раздались выстрелы. Бросились бежать сломя голову, не разбирая дороги. Почти все выжили, но Харису не повезло.

Харис Меджунянин, 1970 года рождения. Он остался где-то в тех зарослях. Недавно доктор Эва собирала там кости, продиралась через кусты. Останки привезли сюда, в ангар.

Так что, может, и Харис уже здесь, ждет, чтобы брат его опознал.

Итак, сперва погиб Харис: застрелен в лесу по пути в Хорватию. Энес же попал в Омарскую. Вместе с матерью и отцом.

Родители были из интеллигентов, что в Омарской означало принадлежность к так называемой первой категории. Энес – тоже как студент.

Первая категория: мусульманская интеллигенция, люди побогаче и участники вооруженных акций против сербских войск (как Эдна и Эдвин Даутовичи, дети Мейры).

У охранников имелся список.

Первая категория – это те, кого следует уничтожить в первую очередь.

Сначала узников били. Били охранники, следователи, а также обыкновенные местные жители. На территорию лагеря мог войти любой желающий – при условии, что он серб. Имел право взять что-нибудь тяжелое (например, металлический прут или лопату) и избивать "понравившегося" мусульманского заключенного.

Надо сказать, что местные жители (крестьяне? ремесленники? рабочие?) не упускали этой возможности – били узников, а затем как ни в чем не бывало отправлялись по домам.

Отцу Энеса переломали, кажется, все кости. Он умер у сына на руках через четыре дня. Тело не обнаружено и по сей день.

В тот вечер, незадолго до того, как Эдну и Садету увез из Омарской автобус, Энес отправился в соседний барак навестить кого-то из дальних родственников. В этот момент в его барак вошел охранник (по имени Чиго) и выкрикнул фамилию Меджунянин. Автобус был уже почти полный (среди тех, кого якобы собирались обменять на сербов, оказались Эдна и Садета), оставалось четыре свободных места. Потому и позвали Энеса. Кто-то из узников побежал за ним.

Но тот решил не спешить – выкурить с родственником еще по сигарете.

Охранникам, видимо, было некогда его искать. По каким-то причинам они торопились. Водитель уже прогревал мотор. Вызвали следующего по списку.

Энес хотел бы знать кого. Кто пошел вместо него?

Через несколько дней охранники опять явились со своим списком. Они что-то напутали с документами и не знали точно, кого уже вывезли, а кто остался.

И вновь прозвучало:

– Энес Меджунянин!

– Я, – ответил юноша

– Ты еще жив? – охранник не скрывал своего удивления.

Заключенные догадались, что людей везут не обменивать, а убивать.

А Энес понял, что случилось с его матерью. Значит, из всей семьи он остался один.

6 августа 1992 года. Ликвидация лагеря в Омарской после обнаружения его заграничными журналистами. Фотографии живых скелетов за колючей проволокой обошли весь мир.

Вот как раз эти скелеты и загнали в автобусы.

Энес пристроился где-то сзади.

Колонна тронулась.

Автобусы остановились возле другого лагеря, в Маньяче.

Вылезать не велели. Охранники пили.

Сначала вызвали некоего Крака, потом некоего Деда – лиц первой категории. Зарезали их прямо рядом с автобусом, на глазах у всех.

Дальше выкрикнули:

– Меджунянин!

Тот решил промолчать.

Тогда стали хватать всех подряд. Охранники были уже совсем пьяные. Убили семнадцать мужчин, потом угомонились.

Светало. Оставшихся в живых согнали на площадь и вместе с прочими узниками выстроили по шесть. Явились другие охранники, очередная смена в лагере в Маньяче. Заключенных загнали в конюшню неподалеку. Велели раздеться. Видимо, рассчитывали, что в одежде будет легче обнаружить драгоценности или деньги. Энес вновь увидал охранников из Омарской. Они направлялись к нему. Юноша заметил ворота. Юркнул туда. И кто-то эти ворота закрыл.

– Наверное, сам Аллах, – говорит он сегодня.

Это были ворота лагеря. Охранники из Омарской видели, как Энес туда вбежал. Хотели войти следом, но их не пустили. Местный комендант соблюдал международные конвенции, которые гласят, что с оружием вход в лагерь военнопленных воспрещен.

Лагерь, правда, был концентрационный, а не для военнопленных.

Энес спрятался в каком-то бараке, выходил только поесть. Так он провел почти месяц. Пока вновь не услышал:

– Меджунянин!

На этот раз звали отца. Фамилию сообщила мусульманская сторона: отца (в числе нескольких десятков других) требовали в обмен на сербских пленных.

– Нет отца – иди ты, – сказали охранники.

Энес отказывался, он не верил в обмен. Его убьют, как убили мать.

– Если ваши согласятся взять тебя вместо отца, пойдешь, – сказали они. – Нет – так вернешься.

"Никогда я сюда не вернусь, – подумал юноша, – останусь лежать где-нибудь в лесу".

Он сел в автобус. Выехали на главное шоссе Баня-Лука – Яйце.

Двигались медленно.

Свернули на грунтовую дорогу, затем и вовсе на тропинку.

Снова вернулись на главное шоссе. Проехали еще немного.

Остановились посреди дороги.

Узникам велели выйти.

В нескольких сотнях метров стояли люди.

Оттуда приблизились несколько мужчин. Они улыбались, шутили.

– Будто они не понимали, что происходит, – говорит Энес. – Словно один привез на рынок перец, а другой – помидоры.

Главный среди тех, что подошли, – мусульманин – взглянул на узников.

– Что вы с ними сделали? – спросил он сербских охранников. – Сколько они весят? По тридцать кило? Вот вам ваши, в каждом сотня килограммов. Надо бы пересчитать – одного к трем.

Все засмеялись удачной шутке.

Мусульманин подошел к Энесу:

– Где отец?

– Он умер у меня на руках, – ответил тот как можно тише. – Забили до смерти.

– Отца у тебя четники убили? – громко переспросил тот. – Пойдем с нами.

И по асфальтовой дороге он пошел к своим. Хотел бежать, но не мог. Ноги – словно из камня, каждый шаг – километр, секунда – столетие. Медленно, не оглядываясь, лишь бы только вперед.

Теперь – вместе с Эвой – он опознает кости брата.

Впереди похороны, молитва, могила. Две могилы. Хариса и матери – Садеты, найденной рядом с Эдной, дочерью Мейры.

Два гроба

Теперь и мы входим в ангар. Мейра ведет траурную процессию вдоль стены, к двери слева. В маленьком зале на чистых плитках лежат рядом два скелета: дети Мейры.

– Эва их вчера так красиво уложила, – говорит Мейра. – Милая моя Эва.

И Узеир тут. Он не говорит ни слова.

Внесли два белых гроба. Белые простыни. Одна крышка, другая. Процессия выходит из ангара и направляется в Босански-Петровац (в пятидесяти километрах). Там теперь живут Мейра и Узеир – в чужом, бывшем сербском доме.

– Наша мать Мейра нашла своих детей! – делились вчера друг с другом доброй вестью жители Петроваца.

Теперь перед мечетью собралась большая толпа – взглянуть на гробы. Некоторые (не все) входят в храм, они будут петь Йя-Син.

Кладбище в Бихаче (еще пятьдесят километров). Присоединяются новые люди: бывшие соседки по Приедору (подобно Мейре, они мечтают узнать хоть что-нибудь о своих родных), однокурсницы Эдны (молодые, красивые), матери сыновей, пропавших в Братунаце и Сребренице (подобно Мейре, они хотели бы похоронить своих детей). И доктор Эва тоже здесь.

Над могилой имам просит Аллаха принять умерших в свое царство. Какая-то молодая женщина подходит к микрофону. Говорит решительно, взволнованно:

– Дорогая наша Эдна! Трудно подобрать слова, чтобы выразить нашу боль. Известие о том, что найдено твое тело, всколыхнуло в нас страшные воспоминания об Омарской, Трнополе и Кератерме. Нам, прошедшим через них, никогда не забыть эти дни, никогда не обрести покой. Мы станем бороться, чтобы наказать тех, кто тебя, такую молодую, столь безжалостно отослал в вечный дом.

Похороны, молитва, могила. Две могилы.

– Камень с плеч, – вздыхает Мейра. – Пойдемте в дом.

– Берите пример с матери Мейры, – так говорит имам. – Она довериласъ Аллаху и нашла в нем поддержку. Мейра знает, что ей было суждено родить детей, пережить их смерть и сегодняшние похороны. Она не ропщет на Бога, не бунтует, не богохульствует.

Трудно понять, как может один человек причинить другому столько зла. Люди спрашивают имама: почему Бог позволил? Зачем оставил нас? Это хорошо, что они спрашивают, считает имам. Раньше на этой земле люди забывали о Боге. Они совсем в Нем не нуждались. Теперь мы испытываем ненависть к нашим сербским соседям. Коран учит, что так нель-

зя. Что следует прощать. Это нелегко. И теперь Бог нужен нам больше, чем когда бы то ни было. Один лишь Бог способен помочь преодолеть ненависть. И побороть страх: вдруг это еще не конец, вдруг снова придет день, когда наши соседи станут убивать нас? Только Бог может уберечь от этого и всех привести к прощению. Подобно тому, как Он направляет Мейру.

Теперь — в большой комнате Мейры и Узеира — имам готовится совершить Йя-Син. Так велит Коран. Имам будет петь по-арабски. Мейра вынимает из шкафчика небольшую скатерть и энергичным жестом кидает ее Эве на колени:

— Ноги! Прикрой ноги!

"Неужели человек не знает, что Мы сотворили его из капли? И тем не менее он открыто пререкается!

И приводит он притчи, забыв о том, кем сотворен, и говорит: 'Кто же оживит истлевшие кости?'

Отвечай: 'Оживит их Тот, кто создал поначалу, ибо Он сведущ в любом творении.

Тот, кто зажег для вас огонь из зеленого дерева. А теперь вы от него зажигаете'.

Неужели Тот, кто сотворил небеса и землю, не в силах создать подобное им? Да, способен! Ведь Он — Творец, мудрый.

Когда Он хочет чего-либо, то стоит только Ему произнести: 'Возникни!' — и творение возникает.

Слава тому, в чьей мощи власть над всем сущим. И к Нему вы будете возвращены".

Мать Мейра прикрывает глаза, она плачет. Женщины приносят из кухни запеченную телятину, салат, затем сладкую пахлаву.

Темнеет. Эва уже в машине (едет в Сараево), говорит с кем-то по сотовому телефону. Речь идет о костях. Доктор заканчивает разговор, вновь набирает номер, улыбается дочери — та в Рейкьявике празднует восемнадцатилетие. Поздравляет. Несмотря на дождь, она едет быстро, срезает повороты. Снова звонок.

— Мне легче, Эва, — говорит Мейра. — А ты береги себя.

2000–2002

Герман Гессе

Пять эссе о книгах и читателях

Нобелевская премия 1946 года

Перевод с немецкого Г. Снежинской

О *чтении*

Большинство людей читать не умеет, большинство даже не знает толком, зачем читает. Одни полагают чтение по большей части трудоемким, но неизбежным путем к "образованности", и при всей своей начитанности эти люди в лучшем случае станут "образованной" публикой. Другие считают чтение легким удовольствием, способом убить время, в сущности, им безразлично, что читать, лишь бы скучно не было.

Господин Мюллер читает "Эгмонта" Гёте или мемуары графини Байрейтской, надеясь пополнить свое образование и ликвидировать один из многих пробелов, которые, как он чувствует, имеются в его знаниях. Уже то, что он с испугом замечает пробелы в своих знаниях и уделяет им внимание, симптоматично: господин Мюллер понимает, что к образованности можно приблизиться "извне", и рассматривает ее как нечто, приобретаемое трудом, иначе говоря, он знает, что всякое образование, сколько ни учись, для него самого останется мертвым и бесплодным.

А господин Майер читает "для удовольствия", что означает — от скуки. У него много времени, он рантье, досуга у него предостаточно, он не знает, чем его заполнить. Посему писатели должны помочь ему коротать долгие часы. Читать Бальзака для него все равно что курить сигару, читать Ленау — все равно что пролистывать газеты.

Однако в других вопросах господа Мюллер и Майер, а также их жены, сыновья и дочери далеко не столь же мало разборчивы и несамостоятельны. Без основательных причин они не покупают и не продают ценные бумаги, они знают из опыта, что тяжелый ужин дурно сказывается на самочувствии, физическим трудом они занимаются не больше, чем, по их мнению, необходимо для обретения и поддержания бодрости. Иные даже занимаются спортом, догадываясь о тайных сторонах этого странного времяпрепровождения, позволяющего умному человеку не только развлечься, но даже помолодеть и окрепнуть.

Так вот, господину Мюллеру следовало бы читать в точности так же, как он занимается гимнастикой или академической греблей. От времени, посвящаемого чтению, ждать приобретений не меньше, чем от того времени, которое он отдает профессиональной деятельности, и не удостаивать своим уважением ту книгу, которая не обогащает его каким-то переживанием, не улучшает хотя бы на йоту здоровье, не придает бодрости. Образование само по себе должно было бы заботить господина Мюллера столь же мало, как получение профессорской должности, а знакомство с разбойниками и подонками со страниц романа — ощущаться как не менее зазорное, чем общение с подобными мерзавцами в действительной жизни. Однако обычно читатель не мыслит столь просто, он либо считает мир печатного слова безусловно более высоким миром, в котором нет ни добра, ни зла, либо внутренне презирает его как нереальный, выдуманный сочинителями мир, куда он приходит лишь от скуки и откуда не выносит ничего, кроме ощущения, что довольно приятно провел несколько часов.

Несмотря на эту неверную и низкую оценку литературы, господин Мюллер и господин Майер читают, как правило, даже слишком много. Делу, которое совершенно не затрагивает их душу, они отдают больше

© Г. Снежинская. Перевод, 2004

времени и уделяют больше внимания, чем многим профессиональным занятиям. Следовательно, они смутно догадываются, что в книгах все же скрыто нечто, не лишенное ценности. Вот только отношение их к книгам отличается пассивной несамостоятельностью, которая в деловой жизни быстро привела бы их к разорению.

Читатель, желающий приятно провести время и отдохнуть, как и читатель, заботящийся о своей образованности, предполагает наличие в книгах неких скрытых сил, способных оживить и возвысить дух, однако определить эти силы более точно, оценить их по достоинству такой читатель не умеет. Поэтому он поступает подобно неразумному больному, который знает, что в аптеке наверняка найдется множество полезных лекарств, и хочет перепробовать их все, обыскивает склянку за склянкой и ящик за ящиком. Однако как в настоящей аптеке, так и в книжной лавке или библиотеке каждому следует найти единственное необходимое ему снадобье, и тогда, не отравляя себя, не переполняя организм никчемными веществами, каждый обретет здесь то, что подкрепит его дух и телесные силы.

Нам, авторам, приятно знать, что люди читают так много, и, наверное, не разумен тот автор, который заявляет, что читают слишком много. Но профессия со временем перестает радовать, если видишь, что всеми она понимается превратно; десяток хороших, благодарных читателей, пусть даже денежное вознаграждение автору уменьшится, все же лучше и отраднее, чем тысяча равнодушных.

Поэтому осмелюсь все же сказать, что читают слишком много и избыточное чтение служит литературе не к чести, наносит ей ущерб. Книги существуют не для того, чтобы способствовать все меньшей самостоятельности людей. И тем более не для того, чтобы человеку нежизнеспособному предлагать дешевый обман и подделку вместо подлинной жизни. Напротив, книги ценны лишь тогда, когда ведут к жизни и служат жизни, полезны ей, и каждый час чтения, я полагаю, пущен на ветер, если читатель не воспримет в этот час искру силы, каплю молодости, дыхание свежести.

Чтение есть лишь чисто внешний повод, побуждение для того, чтобы сосредоточиться, и нет ничего более ложного, чем чтение с целью "рассеяния". Если человек не болен душевно, ему незачем рассеиваться, он должен быть сосредоточенным, всегда и везде, где бы он ни был и что бы ни делал, о чем бы ни размышлял, что бы ни чувствовал, он должен всеми силами своего существа сосредоточиться на занимающем его предмете. Потому и при чтении прежде всего необходимо ощущать, что всякая достойная книга есть средоточие, соединение и интенсивное упрощение сложно взаимосвязанных вещей. Всякое крошечное стихотворение уже является таким упрощением и сосредоточением человеческих чувств, и если я, читая, не имею желания соучаствовать и сопереживать им, то я плохой читатель. И пусть ущерб, который я при этом причиняю стихотворению или роману, не касается меня непосредственно. Плохим чтением я наношу урон прежде всего самому себе. Я трачу время на что-то никчемное, отдаю свое зрение и внимание вещам, которые не важны для меня, которые я заведомо собираюсь вскоре забыть, я утомляю свой мозг впечатлениями, которые бесполезны и даже не будут мною усвоены.

Многие говорят, что в плохом чтении повинны газеты. Я же считаю, что это совершенно неверно. Прочитывая ежедневно одну или несколько газет, можно быть сосредоточенным и деятельным, более того, выби-

рая и комбинируя новости, можно выполнять очень полезное и ценное упражнение. В то же время можно прочесть "Избирательное сродство" Гёте глазами образованца, любителя развлекательного чтения, и ничего ценного такое чтение не даст.

Жизнь коротка, в том мире не спросится, сколько книг ты осилил в своем земном бытии. Поэтому неумно и вредно тратить время на бесполезное чтение. Я имею в виду не чтение плохих книг, а прежде всего качество самого чтения. От чтения, как от всякого шага и всякого вздоха, нужно чего-то ждать, нужно отдавать силы, чтобы взамен обрести большую силу, нужно потерять себя, чтобы обрести себя вновь более глубоко сознающим. Не имеет ценности знание истории литературы, если каждая прочитанная книга не стала нам радостью или утешением, источником силы или душевного покоя. Бездумное, рассеянное чтение — то же, что прогулка по прекрасной местности с завязанными глазами. Но читать надо не для того, чтобы забывать о самом себе и своей повседневной жизни, а напротив, чтобы более сознательно и зрело, крепко брать в руки собственную жизнь. Мы должны идти к книге не как робкие школяры к жестокому наставнику и не тянуться к ней, как пьяница к бутылке, а идти как покорители вершин — в Альпы, воины — в арсенал, не как беглецы и мизантропы, а как люди с добрыми помыслами — к друзьям или помощникам. Если бы все происходило так, сегодня едва ли читали бы одну десятую того, что читают, но зато все мы стали бы в десятки раз радостнее и богаче. И если бы это привело к тому, что наши книги перестали пользоваться спросом и мы, авторы, в итоге писали бы в десятки раз меньше, то миру это не причинило бы ни малейшего вреда. Ведь желающих писать — почти столько же, сколько любителей чтения.

1911

О *чтении книг*

Одна из врожденных потребностей нашего ума — выделять различные типы и подразделять в соответствии с ними весь человеческий род. От "характеров" Теофраста и учения древних о четырех темпераментах и вплоть до современной психологии прослеживается эта потребность в типизации. И неосознанно каждый человек разделяет людей своего окружения на типы, находя в них сходство с характерами, которые с детских лет имели для него значение. Сколь бы полезными и показательными ни были подобные классификации, основанные на чисто личном опыте либо стремящиеся к научному типологическому подходу, иногда уместно и плодотворно рассмотреть царство нашего опыта под иным углом зрения, позволяющим установить, что каждый человек наделен чертами любого из типов и что различные характеры и темпераменты можно обнаружить во всякой личности, для которой они являются ее состояниями, сменяющими друг друга.

Выделяя в дальнейшем три типа читателей, или, вернее, три ступени, на которых могут пребывать читатели, я не имею в виду, что всех на свете читателей можно разделить на данные три категории таким образом, что один читатель попадет в одну из них, а другой — в другую. Каждый из нас в какое-то время относится к одной, а в другое время — к другой группе.

Вот, прежде всего, читатель наивный. Каждый из нас порой бывает таким. Этот читатель поглощает книги, как едок блюда, он только берет, он ест, насыщается — не важно, идет ли речь о мальчике, читающем книгу об индейцах, или о горничной, которая увлечена романом из жизни графинь, или о студенте, штудирующем Шопенгауэра. У этого читателя отношения с книгой складываются не так, как у одной личности с другой личностью, а, скажем, как у лошади с яслями или даже как у лошади с возницей: книга правит, читатель ей подчиняется. Материал он воспринимает объективно и признает его реальность. Но не только материал! Есть читатели очень образованные, даже рафинированные, это читатели художественной литературы, но и они вполне могут быть отнесены к классу "наивных". Конечно, они не увязают в материале и ценят, например, роман не за то, что в нем описываются смерти или свадьбы, они совершенно объективно воспринимают самого автора, эстетическое содержание книги, их пронизывают те же токи, что и автора, они всецело проникаются его отношением к миру и безоговорочно разделяют те истолкования, которые сам писатель дает своим вымыслам. То, что для простой души — материал, среда и действие, для читателя, приобщенного к культуре, — мастерство, слог, образованность автора, его духовный мир; этот мир читатель воспринимает как нечто объективное, как последнюю и высшую ценность художественного слова, в точности так же, как юный поклонник Карла Мая считает реальными ценностями, подлинной действительностью приключения Старого Шаттерхэнда.

Наивный читатель в своем отношении к чтению вообще не является личностью, самим собой. Он оценивает описанные в романе события по их напряжению, опасности, их эротизму, их блеску и нищете или, напротив, он оценивает писателя, прилагая к его творчеству мерило некой эстетики, которая в конечном счете всегда является условной. Такой читатель неколебимо верит, что книга существует единственно для того, чтобы ее правильно, внимательно прочитали и по достоинству оценили ее содержание или форму. Как хлеб существует для того, чтобы его ели, а кровать, чтобы на ней спали.

Но ко всякой вещи на свете, а значит, и к книге, можно подойти и совершенно по-иному. Сто́ит человеку внять голосу не образованности, а своей природы, как он становится ребенком и начинает играть с вещами. Хлеб тогда превращается в гору, в которой он роет туннель, а кровать — в пещеру, сад, заснеженное поле. Некую толику этой ребяческой простоты и этого гения мы находим у читателей второго типа. Этот читатель ценит в книге не материал и не форму в качестве единственных и важнейших ее достоинств. Этот читатель знает, как знает дитя, что каждая вещь может иметь десятки и сотни разных значений. Этот читатель способен, например, следить за тем, как усердствует поэт или мыслитель, стараясь убедить и себя самого и читателей в правильности своего понимания и оценки вещей, он может наблюдать за автором насмешливо и усматривать в кажущемся произволе и свободе писателя лишь принужденность и пассивность. Этот читатель уже постиг то, о чем не ведают профессора и литературные критики: что такой вещи, как свобода в выборе материала и формы, вообще не существует. Если литературовед говорит: "Шиллер в таком-то году выбрал такой-то материал, который решился воплотить в пятистопных ямбах", — то читатель второго типа знает, что ни материал, ни ямбы поэт не был волен выб-

рать, и этот читатель находит удовольствие не в том, чтобы видеть материал, которым владеет поэт, а как раз наоборот — чтобы видеть поэта под ярмом материала. При таком взгляде на вещи почти полностью исчезают так называемые эстетические достоинства и величайшую притягательность и ценность в глазах читателя могут иметь, напротив, огрехи и неточности автора. Ибо этот читатель не идет за автором, слушаясь его, как лошадь возницу, он идет как охотник за дичью, и внезапно открывшаяся его взгляду изнанка мнимой свободы писателя, его зависимость и пассивность, может восхитить такого читателя более, нежели все обольщения прекрасного владения мастерством и изощренного словесного искусства.

На том же пути, однако еще одной ступенью выше, мы находим, наконец, третий тип читателя. Вновь следует подчеркнуть, что никому из нас нет нужды относиться постоянно к какому-то из указанных типов, что каждый из нас сегодня принадлежит к первому, завтра к третьему, а послезавтра — ко второму из них. Итак, третья и последняя стадия. Этот читатель, очевидно, есть полная противоположность тому, что принято называть "хорошим" читателем. Этот читатель в такой мере является личностью, в такой мере самостоятелен, что совершенно свободен в своем отношении к книге. Он не стремится пополнить свои знания или развлечься, он использует книгу не иначе, чем любую другую вещь, она служит ему только отправной точкой и побуждением. В сущности, ему все равно, что читать. Философа он читает не с тем, чтобы поверить автору, принять его теорию, и не с тем, чтобы враждовать с нею, подвергать ее критике; поэта он читает не для того, чтобы воспринять его воззрения на мир. Он мыслит самостоятельно. Он, если угодно, сущее дитя. Он со всем играет — а в известном смысле нет ничего более плодотворного и ценного, чем игра со всем на свете. Если такой читатель найдет в книге прекрасную сентенцию, мудрость, истину, он для начала попробует перевернуть ее с ног на голову. Он давно знает, что и противоположность всякой истины есть истина. Он давно знает, что всякая идеальная точка зрения есть полюс, у которого имеется противоположный полюс. Он дитя в той мере, в какой ценит ассоциативное мышление, однако он знает и мышление иного рода. И вот так этот читатель, или, скорее, вот так каждый из нас, пребывая в третьей стадии, может читать все что вздумается — роман, учебник грамматики, расписание движения поездов, корректурные листы из типографии. В часы, когда наша фантазия и способность к ассоциациям достигают вершины, мы ведь и вообще уже не читаем написанного на бумаге — мы плывем в потоке побуждений и идей, которые устремляются к нам из прочитанного. Они могут появиться из текста, они могут родиться и просто из облика печатных знаков. Газетное объявление может стать откровением. Счастливейшая, самая жизнеутверждающая мысль может возникнуть из совершенно безразличного слова, которое мы перевернули, с буквами которого затеяли игру, как с детской мозаикой. В таком состоянии сказку о Красной Шапочке можно прочесть как космогонию или философию — или как роскошный эротический текст. А можно и надпись "Colorado maduro" на ящике от сигар прочесть, играя словами, буквами и созвучиями, и в своем воображении проделать путь по всем бесчисленным царствам знаний, воспоминаний и мысли.

Но, возразят мне, разве это чтение? Разве человек, который читает прозу Гёте, не задумываясь о взглядах и мнениях Гёте, словно объявле-

ние или случайный набор букв, вообще читатель? Разве стадия, которую ты называешь третьей и последней, не является низшей, ребяческой, варварской? Куда исчезает для такого читателя вся музыка Гёльдерлина, страстность Ленау, воля Стендаля, мощь Шекспира? Возражение справедливо. Читатель третьего типа — уже не читатель. Человек, привыкший задерживаться на этой стадии, вскоре перестает читать, ибо орнамент ковра или расположение камней в кладке стены для него имеет такую же ценность, как прекраснейшая страница со стройными рядами букв. Ему хватило бы одной-единственной книги — листка, заполненного буквами алфавита.

Так оно и есть: читатель на этой последней стадии вообще не читатель. Наплевать ему на Гёте! Не нужен ему Шекспир. Читатель последней стадии уже не читает вовсе. Зачем ему книги? Разве не весь мир в его душе?

Тот, кто надолго задержится на этой стадии, уже не будет читать. Но на ней никто не остается на долгое время. Впрочем, тот, кто совсем не побывал в этом состоянии, все же читатель плохой, незрелый. Он же не узнал, что вся поэзия и вся мировая мудрость существуют и в нем самом, что даже величайший поэт черпает из единственного источника — того, который есть у каждого из нас, в нашем существе. Хотя бы раз в жизни побудь — хотя бы день, хотя бы час — в третьей стадии, стадии уже-нечтения, и ты затем (покинув ее, что очень легко) станешь стократ лучшим читателем, лучшим слушателем и истолкователем всего, что ни будет написано. Лишь один раз взойди на эту ступень, где камень при дороге для тебя не менее значим, чем Гёте и Толстой, — в Гёте, Толстом, во всех писателях ты с этих пор будешь открывать несравнимо большие ценности, обретешь больше сока и меда, больше утверждения жизни и твоего собственного бытия. Ибо творения Гёте — это не Гёте, и сочинения Достоевского — не Достоевский, а лишь попытка, сомнительная, не доведенная до конца попытка совладать с многоголосым, многозначным миром, центр которого есть сам писатель.

Попытайся хотя бы раз поймать череду мыслей, пришедших тебе в голову где-нибудь на прогулке. Или, что представляется более легкой задачей, — приснившийся ночью сон. Тебе снилось, что некто грозил тебе палкой, но затем вдруг вручил тебе орден. Кто же этот человек? Ты вспоминаешь и находишь в нем черты друга или отца, но в том человеке было и что-то иное: ты находишь в нем нечто женственное, неизъяснимым образом ощущаешь его сходство с твоей сестрой или с возлюбленной. А палка, которой он замахивался на тебя, посох с крюком, напоминает трость времен твоих школьных лет, с нею ты совершил свое первое пешее путешествие, и тут вдруг тебя разом захлестывают сотни, тысячи воспоминаний, и когда ты пытаешься схватить и записать содержание нехитрого сна, хотя бы сокращенно, бессвязными, но наиболее важными словами, ты, еще не добравшись до момента вручения ордена, обнаруживаешь, что мог бы написать целую книгу, две книги, а то и десять. Ибо сон — это окно, в котором тебе открылось то, что наполняет твою душу, а содержание твоей души — это мир, не больше и не меньше, весь мир, от часа твоего рождения и по сей день, весь, от Гомера до Генриха Манна, от Сириуса до Земли, от Красной Шапочки до Бергсона... И как твоя попытка записать сон соотносится с миром, включающим в себя твой сон, так же и творчество писателя соотносится с тем, что он хотел высказать.

Вот уже сто лет ученые и простые читатели пытаются истолковать вторую часть гётевского "Фауста", предлагая иногда очень хорошие, иногда откровенно глупые, иногда поразительно глубокие, иногда самые пошлые трактовки. Однако в каждом поэтическом произведении — пусть в сокровенной его глубине — тайно существует неизъяснимая многозначность, или, в терминах современной психологии, "высшая детерминированность символики". Не увидев ее хотя бы однажды, не осознав ее бесконечного изобилия и недоступности для окончательного истолкования, ты останешься ограниченным в своем отношении к любому поэту и мыслителю, будешь полагать целым лишь малую часть целого, будешь верить трактовкам, которые лишь едва касаются поверхности произведения.

Подниматься и спускаться по трем читательским ступеням может любой человек, в любой области — это разумеется само собой. На каждую из трех ступеней, между которыми существует множество промежуточных стадий и переходов, ты можешь подняться, обратившись к зодчеству или живописи, зоологии или истории. И всюду третья ступень, на которой ты более всего и есть ты сам, будет означать конец чтения, исчезновение поэзии, исчезновение искусства, исчезновение всемирной истории. Однако, пока у тебя не возникнет хотя бы догадки о том, что происходит на этой ступени, все книги, все творения наук и искусств ты будешь читать только так, как школяр читает грамматику.

1920

Магия книги

Величайший из всех миров, какие человек создал силою своего духа, а не получил в дар от природы, — это мир книг. Рисуя на грифельной доске первые буквы и впервые пытаясь что-то прочесть, ребенок совершает первые шаги в искусственном и чрезвычайно сложном мире — столь сложном, что целой жизни человеческой не хватит, чтобы постичь его и научиться безупречно применять его законы. Без слова, без письменности и книги нет истории, нет и понятия "человечество". И пожелай кто-то заключить в небольшом пространстве, скажем, в доме или комнате, всю историю человечества, он смог бы достичь своей цели только одним способом — собрав библиотеку. Мы уже поняли, что занятие историей и историческое мышление небезопасны, а в последние десятилетия в нашем восприятии мира совершился мощный переворот и оно обратилось против истории, но именно благодаря этому стало ясно, что, отказавшись от постоянных попыток овладения историческим духовным наследием, мы никоим образом не сможем вернуть нашей жизни и нашей мысли утраченную ими невинность.

Для всех народов слово и письменность — понятия священные и магические, именование вещей и письмо изначально были магическими действиями, волшебством, благодаря которому дух овладевал природой; письмо почиталось как дар богов. В древности у большинства народов письмо и чтение были тайными искусствами, доступными лишь жрецам; считалось великим, необычайным событием, если молодой человек решался приступить к изучению этих могущественных искусств. Добиться этого было непросто — к тайнам допускались лишь немногие, и это пра-

во приобреталось ценой самоотречения и жертв. С точки зрения сегодняшних демократических цивилизаций, в те времена ценности духа были большей редкостью, чем ныне, и почитались как более благородные и священные, ибо находились под защитой богов, допуск к ним предоставлялся не каждому. Тяжкие пути вели к ним, сокровища духа нельзя было получить даром. Мы в состоянии составить себе лишь слабое представление о том, что это означало — быть приобщенным к тайнам письменности во времена иерархических и аристократических культур, когда такого знатока окружал не знающий грамоты народ. Это было отличием, властью, белой и черной магией, талисманом и волшебной палочкой.

Сегодня — по видимости — все изменилось. Сегодня мир книги и духа открыт — по видимости — всем и каждому, более того, если кто-то пожелает остаться в стороне, его против воли вовлекут в этот мир. Сегодня — по видимости — знание грамоты мало что значит в сравнении с тем, чем является для людей способность дышать или, скажем, умение ездить верхом. Сегодня — по видимости — письменность и книга полностью лишились прежде присущей им ауры особого достоинства волшебства, магии. Несомненно, в различных религиях и сегодня существует понятие о "Священном", богооткровенном писании, однако единственная пока еще могущественная религиозная организация Запада, Римско-католическая церковь, не слишком большое значение придает тому, чтобы приобщать мирян к чтению Библии. Священных книг в наши дни нигде уже нет, они остались разве что у небольшой группы благочестивых иудеев да среди приверженцев некоторых протестантских сект. В известных случаях при вступлении в должность требуется принесение присяги на Библии, но сегодня жест возложения руки на священную книгу представляет собой лишь холодный, мертвый след некогда жарко пылавших сил, и для простых людей здесь, как и в словах присяги, уже отсутствует какая-либо связь с магией. Книга перестала быть тайной, книги всем доступны, по видимости. С точки зрения либеральной демократии, это прогрессивно и разумеется само собой, но, если подойти к делу с других позиций, свидетельствует об обесценивании и вульгаризации духа.

Не позволим же отнять у нас приятное сознание достигнутого прогресса и будем радоваться: чтение и письмо уже не являются привилегией некой гильдии или касты; за время, истекшее после изобретения печатного станка, книга стала предметом общего пользования и вместе с тем — предметом роскоши, распространенным в широчайших слоях; благодаря высоким тиражам книги не дороги, и потому в любом народе лучшие произведения его писателей (так называемая классика) доступны даже малоимущим. Не будем слишком огорчаться, замечая, что понятие "книга" почти совершенно утратило свою былую возвышенность, а с недавних пор кино и радио еще больше принизили в глазах толпы ценность и привлекательность книги. Нет нужды опасаться и того, что в будущем книгам грозит опасность исчезновения, — напротив, чем больше с помощью новых, других изобретений будут удовлетворяться определенные потребности людей в развлечениях и нужды народного просвещения, тем больше будут возвращаться к книге ее достоинство и авторитет. Ибо при всем ребяческом увлечении идеями прогресса людям станет ясно, что у письменности и книги есть особые функции, которые не исчезнут вовеки. И окажется, что словесное выражение мысли и пе-

редача его на письме — не просто полезное подспорье, а единственное средство, благодаря которому человечество может иметь собственную историю и сохранять способность сознавать себя как целое.

Сегодня мы еще окончательно не достигли того момента, когда молодые конкуренты — кино, радио и прочее — могли бы перенять от печатного слова те его функции, о которых и жалеть не придется. В самом деле, удивительно, почему, например, ничтожные в поэтическом отношении, но изобилующие всякого рода событиями, характерами, ситуациями, проявлениями чувств развлекательные романы не распространяются в виде серии картинок наподобие фильмов, не передаются по радио, не тиражируются в какой-то другой форме, смешанной из этих двух. Тысячи людей не теряли бы попусту время и не портили бы зрение, читая подобные книги. Но соответствующее разделение труда, которого мы еще не обнаруживаем явно, тайно давно уже существует в некоторых студиях и мастерских. Уже сегодня мы нередко слышим, что тот или иной "поэт" отошел от сочинения книг и обратился к кинематографу. В этом случае необходимый и желательный переход уже состоялся. Ведь полагать, будто "поэзия" и придумывание фильмов суть одно и то же или имеют много общего, — это заблуждение. Я отнюдь не хотел бы превозносить "поэтов" и представлять создателей киносценариев как менее достойных авторов. Нет, ничего подобного, но человек, стремящийся нечто описать или о чем-то рассказать, используя слова и письмо, занимается принципиально другим делом, нежели человек, который эту же историю берется рассказывать с помощью определенной расстановки каких-то людей, которых снимает оператор, вертящий ручку киноаппарата. Может оказаться, что художник слова — жалкий писака, а кинематографист — гений, не в этом дело. Важно, что то, о чем толпа еще не догадывается и о чем узнает, пожалуй, лишь по истечении долгого времени, уже началось в кругу творческих людей — принципиальное разделение средств, которыми достигаются разные художественные цели. Конечно, и после того, как это разделение произойдет окончательно, будут создаваться никудышные романы и пошлые фильмы, и авторами их будут не затронутые культурой "таланты", расхитители добра, взявшиеся за дело, в котором некомпетентны. Но если мы хотим достичь ясности понимания и помочь как литературе, так и ее нынешним соперникам, разделение это необходимо. Если оно состоится, фильм уже не сможет повредить литературе, как в свое время было с фотографией, причинившей некоторый ущерб живописи.

Но вернемся к нашей теме. Я упомянул, что книга *по видимости* лишилась былой магической силы, что неграмотные люди сегодня *по видимости* встречаются лишь изредка. Почему же только *по видимости*? Неужели древнее волшебство еще живо? Неужели где-то остались священные книги, дьявольские книги, магические книги? И понятие "магия книги" не ушло в прошлое безвозвратно, не превратилось в легенду?

Да так оно и есть! Законы духа столь же мало изменяются, как законы природы, и точно так же не могут быть "упразднены". Можно упразднить сословие жрецов или, скажем, гильдии звездочетов, можно лишить их привилегий. Можно сделать общедоступными научные знания и поэтические творения, которые прежде были тайным достоянием, сокровищем избранных. Можно даже заставить людей, многих людей,

освоить эти сокровища. Но все это затронет лишь поверхность, а по сути в мире духа ничто не изменилось с тех самых пор, как Лютер перевел Библию на немецкий язык и Гутенберг изобрел печатный станок. Магия по-прежнему существует, и духом владеет — как тайной — некая иерархически организованная группа избранных, с той лишь разницей, что группа эта теперь стала безымянной. Вот уже несколько веков письменность и книга являются у нас общим достоянием всех классов общества, примерно так же, как после отмены сословных законов об одежде общим достоянием стала мода; однако и раньше и теперь мода создается немногими, и платье, которое носит стройная красавица, наделенная хорошим вкусом, выглядит совсем по-другому, чем точно такой же наряд, надетый заурядной особой. Со времен демократизации духа произошло очень забавное и сбивающее с толку перемещение: главенство, ускользнув от жрецов и ученых, очутилось там, где на его пути уже нет преград, но где оно не может ни утвердиться законным образом, ни опереться на какой-либо авторитет. Ибо слой людей владеющих духом и письменностью, слой которому *по видимости* принадлежит главенство — ведь он формирует общественное мнение или хотя бы обнародует его лозунги, — этот слой не тождествен слою творческому.

Не будем увлекаться абстракциями. Возьмем наудачу какой-нибудь пример из новейшей истории мысли и книги. Представим себе образованного, начитанного немца, живущего в 1870—1880-х годах, пусть это будет судья, врач, профессор университета, да просто частное лицо. Что же он читал? Насколько был знаком с творческой мыслью своей эпохи и своего народа? Какой вклад вносил в жизнь своего времени и что совершал для будущего? Где ныне та литера́тура, которую критика и общественное мнение тех лет считали добротной, стоящей, необходимой читателям? От нее почти ничего не осталось. В те годы, когда Достоевский писал романы, когда Ницше был непризнанным и осмеянным одиночкой в богатой и жадной до удовольствий Германии, немецкие читатели, старики и молодежь, верхи и низы, читали, например, Шпильхагена и Марлитт или в лучшем случае — миленькие стихотвореньица Эмануэля Гейбеля, издававшиеся тиражами, каких с тех пор не знавал ни один поэт, да еще читали поэму о Зекингенском трубаче, популярность которой превзошла и эти стишки.

Подобным примерам несть числа. Нетрудно заметить: дух ныне стал демократичнее — по видимости, и духовные сокровища эпохи — по видимости — принадлежат всякому, кто умеет читать. Но в действительности все значительное происходит под покровом тайны; где-то в катакомбах, верно, укрылась каста жрецов или кружок заговорщиков, оставаясь анонимной, эта каста вершит судьбы духа и, наделяя своих посланцев властью и могучей силой, воздействующей на целые поколения, без всякого законного основания рассылает их по земле, а вдобавок печется о том, чтобы общественность, довольная, ибо ее просвещают, не заметила чудес, которые творятся прямо у нее под носом.

Но даже не обращаясь к столь обширной и сложной области, мы что ни день можем видеть, как чудесны и удивительны судьбы книг, которые то демонстрируют могущество высшего очарования, то обретают дар скрывать что-то, делая невидимым. Поэты живут и умирают, не известные никому или признанные лишь немногими, и мы видим, как уже после смерти, нередко спустя десятилетия после смерти, творения их вне-

запно воскресают в сиянии славы, неподвластные времени. Мы с изумлением видим, как единодушно отвергнутый народом Ницше, исполнив свою духовную миссию в отношении горстки читателей, с запозданием в несколько десятилетий стал одним из любимейших авторов, которого, сколько ни печатай, все будет мало; мы видим, что стихотворения Гёльдерлина спустя сто с лишним лет после их создания привели в восторг студенческую молодежь; что из всей сокровищницы древней китайской мудрости вдруг, спустя тысячи лет, в послевоенной Европе один лишь Лао-цзы был открыт, скверно переведен, не менее скверно прочитан и почему-то стал модным, как Тарзан или фокстрот, но в живом продуктивном слое людей духа его влияние поистине огромно.

И еще мы видим: каждый год тысячи и тысячи детей идут в первый класс, учатся буквам и слогам, и мы постоянно замечаем, что для большинства детей умение читать быстро становится чем-то вполне обычным и малоценным, тогда как других детей с каждым годом, с каждым десятилетием жизни все более очаровывает и удивляет их умение пользоваться волшебным ключом, полученным в школе. Навык чтения дается сегодня всякому, но лишь немногие понимают, какой могущественный талисман им вручен. Ребенок, гордый своим недавно усвоенным знанием азбуки, учится читать стихи или афоризмы, затем небольшие рассказы, впервые берется за сказки, а затем — не имеющее призвания большинство применяет свое умение читать лишь к репортажам и коммерческим газетным статьям, и лишь немногие избранники остаются во власти чар и удивительного волшебства букв и слов (ведь каждое из них некогда было волшебным словом, магическим заклинанием). Эти-то немногие и станут читателями. В детстве они открывают для себя несколько стихотворений и рассказов в хрестоматии, Клаудиуса или Хебеля, Хауфа; научившись читать, они не отвернутся от этих произведений, но будут все больше углубляться в мир книг, с каждым новым шагом открывая, как просторен, как многолик и отраден этот мир! Поначалу они приняли его за хорошенький детский садик, в котором есть клумба тюльпанов и пруд с золотыми рыбками, теперь же сад становится просторным парком, затем — окрестностью, частью света, миром; он становится раем и Берегом Слоновой Кости, манит все новыми чудесами, расцветает все новыми красками. И то, что вчера казалось садом и парком или дремучим лесом, сегодня или завтра предстанет храмом, святилищем, в котором тысячи залов и притворов, где витает дух всех времен и народов, в каждый миг готовый вновь пробудиться и вновь стать единым во всем многоголосом разнообразии своих явлений. И каждому истинному читателю бесконечно огромный мир книг открывается по-иному, каждый в нем ищет и находит еще и себя самого. Один пробирается от детских сказок или приключений среди индейцев к Шекспиру и Данте, другой — от главы о звездном небе, прочитанной в школьном учебнике, к Кеплеру и Эйнштейну; третий — от смиренной детской молитвы к священной прохладе сводчатых построений святого Фомы или Бонавентуры, или к зданиям на высотах талмудистской мысли, или к светлым, весенним притчам Упанишад, к трогательной мудрости хасидов, к лапидарным и в то же время столь милым, столь благонравным и остроумным учениям древних китайских писателей. Тысячи дорог ведут через дебри к тысячам целей, и ни одна цель не бывает конечной — за каждой открывается новый простор.

От мудрости истинного адепта или от его удачи будет зависеть, заблудится ли, погибнет ли он в дебрях своего книжного мира или найдет в нем дорогу и сделает то, что было им пережито при чтении, пережитым и в действительности, поставленным на службу жизни. Те, кому не дано познать волшебство книжного мира, рассуждают о нем так же, как люди, лишенные музыкального слуха, о музыке, и нередко любят предостерегать книгочеев, что, мол, чтение — это пагубная, опасная страсть, ведущая к беспомощности в жизни. Отчасти они, пожалуй, правы, но прежде надо еще установить, что́ мы понимаем под *жизнью*, действительно ли следует считать *жизнь* лишь противоположностью духа, и напомнить о том, что огромное большинство мыслителей и наставников, от Конфуция до Гёте, на славу умели пожить. Тем не менее в книжном мире есть действительно свои опасности, и они прекрасно известны педагогам. Страшнее ли эти опасности, чем те, что таит жизнь, не изведавшая великих просторов книжного мира, — поразмыслить об этом я до сих пор не нашел времени. Я ведь писатель, один из тех, кто был околдован еще в детстве, и если бы меня постигла участь Гайстербахского монаха и я на несколько столетий затерялся бы в храмах и лабиринтах, пещерах и океанах книжного мира, то я даже не заметил бы, что доступный для меня мир уменьшился.

Но я не имею в виду постоянное возрастание числа книг, которое мы наблюдаем сегодня; нет, даже если бы ко всем прежним книгам не прибавилось ни одной новой, каждый истинный читатель стал бы изучать сокровища былых времен, покорять их, радоваться им. Каждый новый изучаемый нами язык обогащает душу чем-то новым, а языков ведь гораздо больше, чем тех, о которых мы узнали в школе. Ведь существует не просто испанский, или итальянский, или немецкий (даже с учетом пресловутых трех периодов — древнего, средневекового и современного) — о нет, существует сотня немецких языков, существует столько немецких, испанских, английских языков, сколько имеется в каждом из этих народов разных способов мыслить и разных оттенков ощущения жизни, нет, еще больше — языков столько, сколько у народа оригинальных мыслителей и поэтов. Современником Гёте, к сожалению, не нашедшим у него признания, был Жан Поль (Фердинанд Рихтер), писавший на совершенно другом — но истинно немецком — языке. И все языки, в сущности, не переводимы! Попытка народов, достигших высокого культурного уровня (немцы как раз на самом верху), перевести и таким образом сделать своим достоянием всю мировую литературу, есть нечто чудесное и в отдельных случаях принесшее великолепные плоды, и все же эта попытка не вполне удалась, да она и не может быть успешной. Не написаны еще немецкие гекзаметры, которые зазвучали бы и впрямь по-гомеровски. Великая поэма Данте за последние сто лет не один десяток раз переводилась на немецкий язык, но каков результат? В последнем по времени переводе его автор — в поэтическом отношении наиболее талантливый из всех переводчиков Данте, — сознавая несовершенство любых попыток передать средневековые стихи средствами современного языка, нашел для своего Данте особый язык — язык средневековой немецкой поэзии; этот переводчик заслуживает всяческого восхищения.

Но даже если читатель не изучает никаких новых языков, даже если не знакомится с новыми для него литературами, он может бесконечно долго заниматься чтением, дифференцировать его, углублять, формиро-

вать. Каждая книга каждого философа, каждое стихотворение каждого поэта со временем обращают к читателю новый, изменившийся лик, понимаются читателем по-новому, будят в нем новые отклики. В юности я впервые, и далеко не все понимая, прочитал "Избирательное сродство" Гёте, и это была совершенно иная книга, нежели то "Избирательное сродство", которое я перечитываю сегодня, кажется, в пятый раз! Такое чтение отличает одна таинственная и великая особенность: чем разборчивее, прочувствованнее, чем осмысленнее мы читаем, тем явственней видим неповторимое, индивидуальное и строго обусловленное в каждой мысли и каждом поэтическом произведении, видим и то, что вся красота, вся прелесть основаны именно на этой индивидуальности и неповторимости; и в то же время мы все более ясно понимаем, что сотни и тысячи голосов разных народов устремлены к одной цели, что эти народы поклоняются одним и тем же, только по-разному именуемым, богам, лелеют одни и те же мечты, претерпевают одни и те же страдания. Сложнейшее хитросплетение бессчетных языков и книг, созданных за многие тысячи лет, в моменты озарений предстает читателю как возвышенная и сверхреальная Химера — лик человека, из тысячи противоречивых черт претворенный магией в единое целое.

1930

Заметки о поэзии и критике

О *хороших и плохих критиках*

Одаренный человек, родившийся для своего призвания, — явление отрадное и редкое, таковы прирожденный садовник, прирожденный врач, прирожденный педагог. Еще большая редкость — прирожденный поэт. Он, быть может, кажется недостойным своего дарования, он, быть может, довольствуется своим даром, не воспитывая в себе верности, мужества, терпения, усердия, которые только лишь и дают таланту возможность творить, но всегда он чарует, оставаясь баловнем природы, всегда обладает дарами, которых не заменят ни усердие, ни истовые труды, ни доброта мыслей.

Однако еще большая редкость, нежели прирожденный поэт, — прирожденный критик, то есть критик, который не из усердия или учености, не от прилежания и трудолюбия и не из партийной пристрастности, тщеславия или злобы воспринял первые побуждения к своим критическим трудам, а высшей милостью — благодаря природной остроте ума, природной способности мыслить аналитически, относиться к культуре серьезно и ответственно. Этот избранный высшей милостью критик всегда, наверное, обладает и какими-то личными свойствами, которые служат к украшению или, напротив, не красят его дарование, он может быть добродушным или злым, тщеславным или скромным, рубящим сплеча или уживчивым, может пестовать свой талант или пускать его на ветер, но он всегда превосходит критика, который только прилежен, только образован, — ибо ему дарована благодать творчества. История

литературы, особенно немецкой, показывает, что прирожденные поэты являлись в мир чаще, чем прирожденные критики. Если вспомнить одну лишь эпоху от молодого Гёте до Мёрике и Готфрида Келлера, можно назвать десятки имен, и все это истинные поэты. Меж тем период от Лессинга до Вильгельма Гумбольдта уже менее богат значительными именами.

Но если народ может обойтись без поэтов, что, по трезвом размышлении, очевидно, если поэт представляет собой исключительный или редкий случай, то развитие прессы привело к тому, что критика стала устойчивым институтом, профессией, неотъемлемым фактором общественной жизни. Есть ли спрос на поэтические сочинения, потребность в поэзии, нет ли их, потребность в критике все равно существует, ибо общество нуждается в институтах, которые способны взять на себя интеллектуальное осмысление явлений текущего времени. Мы рассмеялись бы, вообразив себе поэтические конторы и поэтические ведомства, однако мы ничуть не удивляемся и считаем правильным то, что в прессе трудятся многие сотни критиков, получающих плату за свой труд. Возражать тут не приходится. Но настоящий, прирожденный критик — большая редкость; приемы критики становятся более изощренными, ремесло совершенствуется, а приумножения настоящих дарований не видно, и мы замечаем, что сотни и сотни критиков на жалованье, всю жизнь занимающихся своим трудом, до некоторой степени изучили его приемы, но глубочайший его смысл не постигли. Точно так же мы видим сотни врачей или коммерсантов, которые не имеют внутреннего призвания и своей профессией, худо-бедно освоенной, занимаются кое-как.

Не знаю, является ли такое положение дел вредным для всего народа. Для народа непритязательного в отношении литературы, каким следует считать немцев (у них на десять тысяч человек не найдется ни одного, по-настоящему владеющего своим родным языком в его устной или письменной форме; министром и университетским профессором у немцев может стать человек, не умеющий говорить по-немецки), — для такого народа, вероятно, не имеет значения и то, что среди критиков существует пролетариат, так же как существует пролетариат среди врачей и учителей.

Однако поэту зависимость от весьма ущербного механизма критики приносит большой вред. Неверно полагать, что поэт избегает критики, что из тщеславия, свойственного всем художникам, он предпочитает настоящей, проницательной критике любое пустое славословие. Как раз наоборот. Конечно, поэт жаждет любви, как и всякое живое существо, но точно так же он жаждет быть понятым и признанным, и пресловутые насмешки посредственных критиков по адресу поэта, который будто бы не терпит никаких замечаний, почерпнуты из мутных источников. Всякий настоящий поэт радуется настоящей критике, но не потому, что она может научить его чему-то, касающемуся его мастерства, ибо этого она как раз не может; зато замечания критика содержит в высшей степени важные для поэта разъяснения и поправки, благодаря дельной критике поэт видит самого себя среди своего народа и свое творчество — в культуре народа, в процессе обмена дарованиями и достижениями, он не остается непонятым в своем творчестве (не важно, оценивается ли оно чрезмерно высоко или, напротив, низко), не обречен на существование в мертвящей нереальности.

Бездарные критики (из-за своей неуверенности они агрессивны, ибо вынуждены судить о ценностях, которых не чувствуют глубоко и способны лишь ощупывать снаружи с помощью шаблонных приемов) любят упрекать поэтов в тщеславии и чрезмерной чувствительности к замечаниям, более того — во враждебном отношении к интеллекту вообще, так что в конце концов ни в чем не повинный читатель запутывается и уже не может отличить настоящего поэта от длинноволосого слабоумного рифмоплета, пишущего в газетах. Я сам не раз пытался повлиять на второразрядных критиков (разумеется, не преследуя какие-то личные цели, а лишь в интересах авторов, которым не уделялось достаточного внимания), не желая непременно изменить их оценки, а просто чтобы побудить их к размышлениям, для чего предоставлял им фактические сведения. Но ни разу я не встретил у критиков доброжелательного, делового подхода, вообще чего-то похожего на ревностное служение во имя духовности. Ответом этих профессионалов всегда был жест, означающий: "Оставь нас в покое! Не относись к делу так ужасно серьезно! Подумай, ведь мы света божьего не видим, трудимся как проклятые на ненавистной поденщине; к чему мы придем, если с таким пристрастием будем изучать каждую написанную нами статью!" Словом, профессиональные критики второй и третьей руки к своему делу относятся так же холодно и безответственно, как заурядные фабричные рабочие к своему труду. Такой критик освоил какой-то из методов, который был моден, когда сам он был молод и только учился ремеслу, и с тех пор неизменно им пользуется. Метод же состоит либо в том, что критик все принимает с усмешкой и мягким скепсисом, либо — что превозносит все, неумеренно преувеличивая, либо — что еще как-нибудь уклоняется от своей прямой задачи. Или он вовсе не берется (и это самый частый случай) критиковать литературные достоинства и интересуется не ими, а только происхождением, образом мыслей или тенденцией автора. Если автор принадлежит к какой-то враждебной партии, критик его отвергает, причем в ход идут нападки или высмеивание. Если он из той же партии, что и критик, то его хвалят или по крайней мере щадят. Если же не принадлежит ни к какой партии, то его часто вовсе не замечают, поскольку за ним не стоит никакая сила.

Следствие всего этого — не только разочарование поэтов, но и фальсификация зеркала, в котором читателю предлагается видеть условия и движения его духовной и культурной жизни. В самом деле, мы обнаруживаем огромные различия между картиной духовной жизни, которая предстает в прессе, и самой этой жизнью. Часто мы на протяжении многих лет наблюдаем, что критики в прессе подробно обсуждают и представляют нам как значительные имена и произведения, которые не оказывают ни малейшего влияния ни на один слой населения; видим и то, что полностью замалчиваются авторы и книги, сильно воздействующие на жизнь и настроения времени. Ни в одной области техники или экономики народ не потерпел бы столь произвольного и беспечного преподнесения сведений. В отделах спорта и торговли заурядной газеты работа ведется гораздо более дельно и добросовестно, чем в отделе культуры; правда, счастливые исключения изредка бывают, это надо признать.

Настоящий критик, критик по призванию, может допускать любые огрехи и вольности, тем не менее его критика всегда будет более верной, чем критика сколь угодно основательного и добросовестного кол-

леги, не наделенного творческим даром. Прежде всего остального, истинный критик обладает безошибочным чутьем на подлинность и добротность слога, тогда как критик средней руки легко смешивает оригинальное произведение и подражательную поделку, принимает блеф за правду. Истинный критик узнаётся по двум важнейшим признакам. Во-первых, он пишет хорошо и живо, с языком он в ладах и не употребляет слов как придется. Во-вторых, у него есть потребность и стремление не подавлять свое субъективное отношение, свою индивидуальность, а напротив, выражать их с такою ясностью, чтобы читатель мог с пользой для себя использовать его субъективный подход, так же как мы применяем мерило, — в этом случае читатель, не разделяя субъективных оценок и предпочтений критика, сумеет, зная его реакции, вывести собственные объективные суждения. Проще говоря, хороший критик в такой мере сам является личностью и выражает свое индивидуальное отношение с такой резкостью, что читатель знает и чувствует, с кем имеет дело, через какого рода линзу пропущены те лучи, которые предстают его взору. Гениальный критик может всю жизнь отвергать гениального поэта, осмеивать его и подвергать нападкам, но по тому, как реагирует критик, читатель составит себе представление о сущности поэта.

Главным же недостатком слабого критика является то, что личность его не отличается яркостью или что он не умеет ее выразить. Но ведь и самые сильные слова хвалы или хулы не оказывают воздействия, будучи высказаны тем, кого мы совершенно не видим, кто не способен проявить свою личность, кто остается для нас нулем. Как раз бездарный критик нередко склонен обманывать нас видимостью объективного отношения и представлять дело так, будто бы эстетика — точная наука. Он не доверяет своим инстинктам и маскирует их взвешенным подходом ("да, разумеется... но вместе с тем...") и нейтральным отношением. Нейтралитет критика почти всегда вызывает подозрения и является недостатком — недостатком страстности духовного переживания. Страстность, коли она у критика есть, ему следует не утаивать, а, наоборот, всячески выражать. Критику не следует держаться так, словно он какой-то измерительный прибор или министр культуры, — он должен уметь отстоять себя как личность.

Отношение заурядных авторов к заурядным же критикам таково: по-настоящему они друг другу не верят, критик, правда, придерживается невысокого мнения об авторе, но опасается: как бы этот малый не вышел, чего доброго, в гении. Автор же чувствует, что критик его не понимает, не признает за ним ни достоинств, ни недостатков, но автор рад уже и тому, что не попал на зуб критику, который его раскусит и, раскусив, уничтожит, он надеется завести дружбу с критиком и использовать его к собственной выгоде. Убогое, крохоборское отношение, оно царит между посредственными авторами немецких книг и посредственными немецкими критиками, и в этом смысле социалистическая пресса ничем не отличается от буржуазной.

Настоящему поэту ничто так не отвратительно, как панибратские отношения с посредственной критикой, с этой бездумной фельетонной машиной. Он, скорей, постарается ее спровоцировать, ему гораздо приятнее быть оплеванным и растерзанным ею, чем позволять снисходительно похлопывать себя по плечу. К истинному критику, даже если тот открыто выступает как противник, он всегда испытывает своего рода

коллегиальное чувство. Получить признание и квалифицированную оценку от сильного критика – все равно что получить точный диагноз от знающего врача. Совсем не то, что выслушивать пустословия профанов! Тут можно испугаться, можно обидеться, но при этом будешь сознавать, что тебя принимают всерьез, даже если диагноз равносилен смертному приговору. А в смертные приговоры никогда ведь в глубине души не веришь.

<...>

О *так называемом выборе материала*

"Выбор материала" – расхожее словцо критиков, многие без него вовсе не могут обойтись. Средней руки критик, работающий в газете, что ни день знакомится с навязанным ему материалом, который надлежит пустить в работу. Он завидует автору если не в чем другом, то в свободе творчества, мнимой свободе. Кроме того, критик-поденщик имеет дело почти исключительно с бульварной литературой, с имитацией словесного искусства, а умелый романист может выбирать свой материал в известной мере произвольно и по основаниям чисто рациональным. Однако и здесь его свобода во многом ограничена. Виртуоз легкого жанра свободно выбирает, скажем, место действия, в своем новом романе он, следуя модам времени, перенесет действие на Южный полюс или в Египет, опишет политические круги или компании спортсменов и будет обсуждать в своей книге животрепещущие вопросы общественной жизни, морали, права. Но за фасадом насущных проблем даже у отъявленного эпигона будут разыгрываться события той жизни, которая соответствует его глубочайшим представлениям, сформировавшимся помимо его воли, и он не сможет преодолеть своей склонности к определенным характерам, определенным ситуациям – и полного равнодушия ко всем остальным. Даже в "самом китчевом" произведении происходит откровение души – души его автора, и даже самый плохой сочинитель, не способный обрисовать ни один образ, ни одну коллизию человеческих взаимоотношений, все же непременно достигнет того, о чем сам и не помышляет, – в своей поделке он обнажит свое "я".

В истинно художественном произведении выбор материала вообще отсутствует. "Материал", то есть главные действующие лица и проблемы, никогда не выбирается автором, он представляет собой изначальную субстанцию любой поэзии, это авторское видение, авторское душевное переживание. Писатель может уклониться от какого-то видения, избежать жизненно важной проблемы, может не взяться за реально пережитый им самим "материал" по причине своей неспособности или удобства ради. Но "выбирать" материал он не властен. Содержанию, которое он считает подходящим и желательным из чисто рациональных и чисто художественных соображений, автор не может придать видимости того, что оно, это содержание, действительно явлено ему высшей милостью, что оно не вымучено разумом, а пережито душой. Конечно, истинные поэты нередко пытались выбирать материал, "командовать" поэзией – результаты таких попыток всегда чрезвычай-

но интересны и поучительны для собратьев по перу, но во всех случаях это творения мертворожденные.

Короче говоря, если кто спросит автора истинно художественного произведения: "Не следовало ли вам выбрать другой материал?", то больше всего это будет похоже на пожелание врача заболевшему воспалением легких: " Ах, насколько было бы лучше, если бы вы отдали предпочтение насморку!"

О *так называемом побеге в искусство*

Нередко слышишь: художник не должен бежать от действительности в искусство.

Как это понимать? Почему художник не должен от нее бежать?

Если подойти с точки зрения художника, разве искусство не является в первую очередь попыткой восполнить недостатки жизни, исполнить в мнимом мире неисполнимые желания, исполнить в поэзии неисполнимые требования, короче говоря, сублимировать в духе то, что неприемлемо в жизни?

И почему указанное требование всегда предъявляется только к людям искусства? Почему от государственного мужа, врача, боксера или пловца не требуют, чтобы он в порядке любезности прежде одолел неурядицы в своей личной жизни, а уж потом бежал бы заниматься делами, получать удовольствие от службы и спорта.

То, что "жизнь" безусловно более трудна, чем искусство, для мелких критиков, очевидно, аксиома.

Однако стоит взглянуть на многих, слишком многих художников, которые все время весьма успешно бегут от искусства в жизнь, рисуют убогие картины и пишут убогие книги, но зато являются милейшими людьми, радушными хозяевами, добрыми отцами семейства, благородными патриотами!

Нет, если уж человек считает себя художником, я предпочел бы, чтобы он вел свою битву, ставил своего героя там, где велят задачи его профессии. Я полагаю, очень много верного (или, скорее, верного лишь наполовину) скрывается за мыслью о том, что всякое совершенствование творчества поэта оплачивается его жертвами в личной жизни. Иначе творения не создаются. Глупо и безосновательно утверждать, что искусство рождается от избытка, от счастья, от удовлетворенности и гармонии. Если все прочие достижения человека появляются лишь из-за нужды, лишь под суровым давлением необходимости, то почему искусство должно быть исключением?

О *так называемом бегстве в прошлое*

Другое "бегство", ныне порицаемое злободневной критикой, — это так называемое бегство в прошлое. Когда писатель пишет что-то, решительно не похожее на очерки о модах или спорте, когда он уходит от сиюминутных вопросов, обращаясь к проблемам общечеловеческим, когда погружается в исторические эпохи или во внеисторическое художест-

венное пространство за пределами времени, его немедленно укоряют за то, что он "бежит" от своего времени. Вот так же и Гёте "бежал" в мир "Геца" и "Ифигении", вместо того чтобы просветить нас относительно семейных проблем франкфуртских или веймарских обывателей.

1930

Любимые книги

Бесконечно часто мне задавали вопрос: "Что вы любите читать больше всего?"

Любящему зарубежную литературу трудно ответить на этот вопрос. Должно быть, я прочитал десятки тысяч книг, иные — неоднократно, а некоторые даже по многу раз, и я в принципе против того, чтобы исключать из моей библиотеки и из круга моего внимания или хотя бы интереса какую-либо литературу, направление или отдельных авторов. Но вопрос тем не менее оправдан, и на него даже в известной мере можно ответить. Кто-то считает себя благодарным и неразборчивым едоком, отдающим должное как черному хлебу, так и жаркому из оленины, как простой морковке, так и форели, но все же и у такого человека есть три-четыре любимых блюда. Кто-то при мысли о музыке в первую очередь вспоминает Баха, Генделя и Глюка, однако не пренебрегает ни Шубертом, ни Стравинским. Вот и я, если поразмыслить хорошенько, в любой литературе нахожу области, эпохи, тональности, которые мне ближе и милее всех прочих. Например, из греков Гомер мне ближе, чем трагики, Геродот — ближе, чем Фукидид. Кроме того, признаюсь, я не питаю склонности к патетическим авторам, и чтение их сочинений дается мне с трудом; в сущности, я не люблю патетиков, и мое глубокое уважение к ним отчасти есть результат насилия над собой, идет ли речь о Данте или Хеббеле, Шиллере или Стефане Георге.

Область литературы, которую я в течение моей жизни исследовал чаще всего и которую знаю, пожалуй, лучше всех прочих, — это сегодня уже очень далекая от нас и даже ставшая легендой Германия 1750—1850 годов, Германия того столетия, средоточие и вершину которого являет собой Гёте. В этот край, где, я уверен, не подстерегают меня ни разочарования, ни неожиданные сенсации, я снова и снова возвращаюсь после своих путешествий в древнейшие эпохи и отдаленнейшие страны, возвращаюсь к поэтам, авторам писем и жизнеописаний, к ним, истинным гуманистам, которые все же хранят дух народности, почвы. Особенно живо затрагивают меня книги, если представленные в них природа, народ и язык близки и знакомы мне с детских лет; тогда я испытываю от чтения особенное счастливое чувство, оттого что мне внятны тончайшие нюансы, сокровеннейшие намеки, легчайшие созвучия. Трудно и даже болезненно дается мне расставание с одной из таких книг, когда после нее я принимаюсь за сочинение, которое вынужден читать в переводе, или такое, в котором эта органичная, истинная, зрелая речь и музыка вообще не звучит. Конечно же, ощущение счастья дарует прежде всего немецкий язык юга и запада Германии, алеманский и швабский диалекты, достаточно назвать лишь имена Мёрике и Хебеля, но блаженство переполняет меня и при чтении почти всех прочих немецких и швейцарских авторов той благословенной эпохи: от молодого Гёте до

Штифтера, от "Юности Генриха Штиллинга" до Иммермана и Дросте-Хюльсхофф, а то, что огромное большинство этих великолепных, чудесных сочинений ныне можно найти лишь в немногочисленных библиотеках, общедоступных или частных, на мой взгляд, есть один из самых тревожных и отвратительных симптомов нашей ужасной эпохи.

Но кровь, почва и родной язык — еще далеко не все в литературе, как и во всем прочем; кроме них, есть целое человечество и есть возможность, снова и снова вызывающая радость и удивление, — в самом далеком и чужом открывать родное, любить и близко узнавать то, что кажется наглухо закрытым и недоступным. Я постиг это в первой половине моей жизни благодаря тому, что познакомился с духовными сокровищами индийцев, а позднее и китайцев. К индийцам меня хотя бы вели известные пути и предназначения, ибо мои родители и родители моих родителей жили в Индии, изучали индийские языки и вкусили от духа Индии. Но что существует чудесная китайская литература и особенная китайская ветвь человеческого рода и человеческого духа, которая не только станет для меня дорогой и любимой, но, сверх того, дарует мне духовный приют и вторую родину, — об этом я не догадывался, пока не дожил до четвертого десятка. Случилось неожиданное — мне, до той поры не знавшему в литературе Китая ничего, кроме Ши Цзина в переложении Рюккерта, однажды благодаря переводам Рихарда Вильгельма и других открылось то, без чего я теперь уже не представляю себе жизни, — китайско-даосский идеал мудрости и блага. Мне, ни слова не понимавшему по-китайски и никогда не бывавшему в Китае, выпало счастье найти в китайской литературе, отдаленной от нас на два с половиной тысячелетия, подтверждение моих собственных догадок и обрести духовную атмосферу и родину, которые прежде я находил лишь в мире, где были мой родной дом и родной язык. Китайские учителя и мудрецы, о которых рассказывают великолепный Чжуанцзы, Ле-цзы и Мэн Кэ, оказались полной противоположностью патетиков; удивительно безыскусные и близкие народной и будничной жизни, они не терпели никакой фальши и любили жить в добровольном уединении, в непритязательной простоте, а слогу их можно изумляться и радоваться без конца. Скажем, Конфуций, великий противник Лао-цзы, систематик и моралист, законодатель и охранитель нравственности, среди всех мудрецов старых времен единственный, кому была свойственна некоторая торжественность стиля, характеризуется так: "Не тот ли он, кто знает, что дело не пойдет, и все же берется за дело?" Спокойный тон, юмор и простота здесь такие, каких я не знаю ни в одной другой литературе. Я часто вспоминаю эти слова, а также и некоторые другие, подчас они приходят мне на ум, когда я размышляю о событиях в мире или когда слышу речи тех, кто намерен править миром в ближайшие годы или десятилетия и сделать его совершенным. Эти люди поступают так же, как великий Конфуций, однако не имеют свойственного тому понимания, что "дело не пойдет".

Нельзя не вспомнить и о японцах, хотя они занимали меня, давали пищу уму далеко не в той же мере, что китайцы. Ведь в Японии, которую мы сегодня, как и Германию, знаем только как воинственную страну, вот уже много столетий существует нечто столь великое и вместе с тем остроумное, столь одухотворенное и вместе с тем решительно, даже безоглядно устремленное к практической стороне жизни, как дзэн, этот цветок, не отделимый от буддизма Индии и Китая, но лишь в Японии расцветший во всей своей красе. Дзэн я считаю одним из ценнейших

благ, каких может достигнуть народ, ибо мудрость и практика этого учения достойны великих Будды и Лао-цзы. И еще меня чаровала — в различные, разделенные долгими паузами периоды — японская поэзия и прежде всего ее стремление к предельной простоте и краткости. Современную немецкую лирику не станешь читать, если перед тем читал японцев: наши стихи покажутся безумно напыщенными и ходульными. Японцы выдумали столь чудесную вещь, как семнадцатисложное стихотворение, и они всегда понимали, что искусство не выигрывает от того, что его восприятие облегчают, а как раз проигрывает. Когда-то один японский поэт написал, например, стихотворение всего из двух строк, в котором говорится о том, что в заснеженном лесу расцвели цветы на ветках сливы. Он показал стихи ценителю, и тот сказал: "Вполне достаточно одной ветки". Поэт понял, насколько верна эта критика и как далеко ему самому до истинной простоты, он последовал дружескому совету, и стихи его не забыты по сей день.

Иногда смеются над нынешним перепроизводством книг в нашей маленькой стране. Но будь я сегодня молод и полон сил, я не занимался бы ничем, кроме издания книг. Эти труды во имя поддержания жизни духа мы не вправе откладывать до того времени, когда воевавшие страны оправятся после войны, мы не вправе и заниматься этой работой второпях, идя на поводу у конъюнктуры и не заботясь о том, чтобы быть щепетильно совестливыми. Ибо для мировой литературы не меньшую опасность, чем война и ее последствия, представляют новые — некачественно и наспех изданные — книги.

1945

Гессе-художник

Перевод с немецкого и вступление Н. Васильевой

В восемьдесят лет, уже достигнув мирового признания, удостоенный в 1946 году Нобелевской премии по литературе, Герман Гессе писал одному из своих ливерпульских читателей: "Для меня два самых прекрасных занятия, которыми может заниматься человек, — это музицирование и рисование, и в том, и в другом я был дилетантом, но и то, и другое мне очень помогло в сложном деле — выстоять в жизни". Музицированию Гессе посвятил детские и юношеские годы: с одиннадцати лет брал уроки игры на скрипке, потом восемь лет играл в оркестре духовной

© Н. Васильева. Перевод, вступление 2004

семинарии, где тогда учился, но позднее к скрипке почти не прикасался. К живописи Гессе пришел значительно позже, три десятка лет спустя, почти в сорокалетнем возрасте, и уже до конца своих дней не расставался с красками и кистью.

Первые его систематические опыты в рисовании относятся к 1916—1917 годам — это было, казалось, самое неподходящее время, разгар Первой мировой войны, которая застала Гессе на территории нейтральной Швейцарии, в Берне, где он с 1912 года жил с семьей. Во взглядах Гессе тогда происходит стремительная болезненная эволюция: из добровольца, которого все-таки не взяли в армию из-за плохого зрения, он превращается в непримиримого противника войны. Почти полностью подавив в себе поэта, Гессе активно вмешивается в происходящее, сначала как журналист, недвусмысленно высказывая свое мнение о "мерзком переплетении политики, шпионажа, игр, подкупа и ухищрений спекуляции", потом на общественном поприще: основывает Центр помощи немецким военнопленным, издает благотворительные журналы. В результате активной журналистской деятельности Гессе оказался под перекрестным огнем политической полемики и был нещадно заклеймен официальной прессой как клеветник и предатель отечества.

К страданиям и лишениям первых военных лет добавилась личная катастрофа: попытки совместить творчество с нормами бюргерского уклада жизни окончились крахом, "дом надежд" стал домом кошмаров: "Господи, что это за мир, в котором нельзя быть порядочным человеком, не став неврастеником", — пишет он в одном из писем в 1916 году. Депрессия, душевный кризис привели его на грань психического заболевания и обернулись обязательным сначала для него, а позже и для его жены длительным лечением. В 1916 году Гессе проходит в Люцерне курс психоанализа у доктора И. Б. Ланга, ученика К. Г. Юнга. И именно в этот момент наибольшего смятения Гессе начинает всерьез заниматься рисованием, чтобы противопоставить деструктивным силам конструктивное начало внутренней сосредоточенности.

Имеются многочисленные свидетельства тому, с каким колоссальным упорством и усердием овладевал он самостоятельно навыками рисования. В его архиве сохранились коробки, туго набитые бесчисленными рождественскими открытками для военнопленных, на обороте которых он неутомимо отрабатывал технику композиции, приемы перспективы и контрастного использования красок.

Сохранилось приблизительно три тысячи акварельных работ Гессе. Среди них есть и крупноформатные, некоторые из них были включены в отдельные издания самим Гессе в качестве иллюстраций к литературным текстам, другие были собраны в акварельные альбомы — их он дарил друзьям, какие-то работы экспонировались на выставках, какие-то были опубликованы значительно позже, уже в посмертных изданиях. Известны и миниатюрные рисунки — заставки к личным письмам.

Существуют также подготовленные Гессе особые иллюстрированные рукописные и машинописные издания циклов стихов. Они состояли, как правило, из тринадцати сложенных вдвое листов бумаги ручной выделки, на которых размещались двенадцать стихотворений и столько же акварелей. Самодельные книжки-альбомы Гессе начал выпускать еще во время Первой мировой войны, когда после первых поражений Германии средств для благотворительной деятельности, для оказания помощи военнопленным катастрофически не хватало. Эти рукописные издания Гессе предлагал купить коллекционерам, меценатам и своим почитателям, чтобы финансировать отправку тысяч книг и посылок в лагеря военнопленных. В период послевоенной инфляции, кульминация которой пришлась на 1923 год, когда Гессе сам испытывал жесточайшую нужду, такие книжки составляли почти единственную статью его личных доходов. И позднее, вплоть до последних лет жизни, Гессе готовил подобные издания с иллюстрациями, чтобы на деньги, вырученные от их продажи, поддерживать бедствующих друзей, знакомых, коллег.

В своих акварельных рисунках Гессе увековечил главным образом пейзажи в окрестностях деревни Монтаньола, расположенной в южно-швейцарском кантоне Тессин близ озера Лугано, у самой границы с Италией, где он жил с 1919 года и до конца жизни и которую считал второй родиной — "предопределенной ему, его желанным убежищем". "Никто сильнее, образнее, пламеннее не рисовал Тессин, чем Гессе", — писал современник Гессе лейпцигский литературный критик Генрих Виганд. "Возможно, своеобразие этого края когда-нибудь, — предполагает немецкий исследователь живописного наследия Гессе Фолькер Михельс, — будет восприниматься глазами Гессе, через его видение, как сегодня, к примеру, пейзажи Прованса заставляют вспомнить полотна Ван Гога и Сезанна".

После первых еще неловких по технике бернских и локарнских пейзажей — бледных и осторожных в тонах, педантически точных в передаче деталей, Гессе довольно быстро — приблизительно за три года — нашел свой собственный стиль в особой интенсивной оптимистической красочности и некоторой отчужденности от реальности, в особом музыкальном созвучии изобразительных планов, зрительных деталей. При всей неповторимости почерка в работах Гессе все же ощущается несомненная перекличка со стилем и мировосприятием экспрессионизма, с энтузиастическим новаторством молодых художников, которое было близко ему и было тонко уловлено и осмыслено Гессе-литератором в повести "Последнее лето Клингзора" — во многом автобиографической.

Повседневное общение с красками и кистью нашло отражение и в большей фактурности, зримости, красочности его литературного языка. Неповторимым в рисунках Гессе является именно эта глубинная связь его акварелей со стихами и прозой, ибо каждое его художественное произведение есть не слепок с действительности, а ее символ, некая альтернативная ей утопия, в которой "иной порядок вещей" и где царит дух, излечивающий все больное", как писал Гессе в стихотворении "Радость рисования".

"Гессе в своих рисунках, — отмечает Ф. Михельс, — целенаправленно использует солнечную энергию. Они, как хорошее вино, вбирают, впитывают в себя солнце, это световые, тепловые и солнечные коллекторы и генераторы, которые в наших холодных, угрюмых индустриальных городах дают ощущение лета, надежды, радости жизни, они — букет из красок и надежд". А современник Гессе Ромен Роллан в 1921 году писал ему в письме: "Я в восторге от Вашего альбома акварелей. Они сочны, как фрукты, и утонченно грациозны, как цветы. Сердце радуется, когда смотришь на Ваши картины".

Герман Гессе

Акварель

Эссе

Ближе к полудню я уже видел и чувствовал, что сегодня будет особенный вечер для рисования. Последние дни было ветрено, по вечерам небо хрустально ясное, утром пасмурное, а теперь вдруг все окутал этот мягкий, сероватый воздух, этот легкий призрачный покров; о, я знал уже наверняка: к вечеру, когда свет будет падать косыми лучами, станет удивительно красиво. Бывала и другая располагающая к рисованию по-

года, в конце концов рисовать можно в любую погоду, красиво здесь было всегда, даже в дождь, даже в зловещую стеклянную прозрачность утра, когда дует жаркий сухой фён и когда в деревне — четыре часа ходу отсюда — можно пересчитывать окна в домах. Но такие дни, как сегодня, — это нечто иное и особенное, в такие дни не просто *можно* рисовать, *нельзя* не рисовать. В такие дни каждое пятнышко красного или охры так полнозвучно вырисовывается на фоне зелени, каждая старая виноградная лоза, отбрасывая длинную тень, так задумчиво прекрасна, погруженная в себя, и каждая краска даже в глубочайшей тени звучит ясно и мощно.

В детстве моем подобные дни выдавались в каникулы. Связано это было тогда, правда, не с рисованием, а с ловлей рыбы. Ведь и ловить рыбу тоже можно при любой погоде. Тогда в эти дни был особый ветер, особый запах, особая влажность, особая форма облаков и теней, тогда уже утром я знал совершенно точно, что после обеда на нижнем мостке будут клевать усачи, а вечером у сукновальни — окуни. Мир с тех пор переменился и моя жизнь тоже, и радость, переизбыток счастья от такого рыбачьего дня в мальчишеские годы представляется мне теперь чем-то сказочным и едва ли правдоподобным. Но сам человек мало меняется, и потребность радоваться, играть у него никогда не пропадает, поэтому сегодня вместо того, чтобы ловить рыбу, я рисую акварели, и если приметы предвещают прекрасную погоду и хороший для рисования день, то я вновь ощущаю в своем уже успевшем состариться сердце отдаленный легкий отзвук того мальчишеского летнего восторга, того пыла и жажды действия, и все это вместе взятое и составляет мои лучшие дни, и несколько таких дней я жду от каждого лета.

И вот ближе к вечеру я вышел из дому, рюкзак с красками за спиной, складной стул в руке, и направился к месту, которое выбрал еще днем. Это крутой склон над нашей деревней, раньше здесь густо росли каштаны, но в последнюю зиму их вырубили, там, сидя среди излучающих свежий древесный аромат пней, я уже много раз рисовал. Отсюда видна восточная сторона нашей деревни, в основном темные, старые крыши из желобчатой черепицы, хотя попадаются и ярко-красные, новые, нагромождение голых неоштукатуренных стен, между ними — деревья или садики, кое-где висит на веревках белое или цветное выстиранное белье. За деревней — высокие синие гряды гор, одна за другой, с розовыми вершинами и фиолетовыми тенями, направо внизу — уголок озера, по другую сторону — крошечные светлые мерцающие деревушки.

Времени у меня было приблизительно два часа, пока солнце медленно заходило и свет на крышах и стенах становился теплее, глубже, золотистее. Прежде чем начать рисовать, я какое-то время пытался охватить взглядом всю многоликую долину до самого озера внизу, деревни вдали, передний план с еще светлыми на срезе пнями, из которых по бокам уже вытянулись на метр сочные зеленые побеги, между пнями — бурая сухая почва с поблескивающими слюдой камнями, и глубоко врезавшиеся в землю борозды, прорытые бурными потоками после дождей; а потом я стал рассматривать нашу деревню, маленькое теплое гнездышко, — ее стены, фронтоны, крыши, где каждая линия и каждая плоскость мне так давно и так хорошо знакомы. Формы, которые я не один десяток раз изучал глазом, срисовывал на бумагу. Большая крыша, раньше темно-коричневая, которую надо было рисовать буро-красной, Caput mortuum, теперь заново перекрыта; это дом Джованни с широким открытым

балконом под крышей, где осенью вывешивают золотисто-желтые початки кукурузы. Так, значит, он заново перекрыл всю свою большую крышу! Несколько месяцев назад умер его отец, старейший в деревне человек, теперь Джованни получил наследство, разбогател и взялся за дело, обновляет и строит, штукатурит и красит. А чуть дальше — домик малыша Кавадини, он тоже заново выкрашен, по крайней мере с одной стороны. Этот малыш Кавадини собирается жениться и пробил в сторону сада дверь в стене.

Да, должны быть люди, которые имеют дома и строят дома, которые женятся и производят потомство, которые по вечерам, покуривая, сидят перед своим домом, по воскресеньям ходят в погребок и играют в бочча[1], избираются в муниципальный совет. Все эти дома и хижины кому-то принадлежат, кем-то построены, кто-то в них живет, ест и спит и растит детей, зарабатывает деньги или делает долги. И все эти садики и каждое дерево и каждый луг, каждый виноградник и лавровый куст и каждый кусочек каштанового леса кому-то принадлежит, продается, переходит по наследству, приносит радость, доставляет хлопоты. В большую новую школу идет молодое поколение, учится минимуму необходимого, летом на три месяца отправляется на каникулы, а потом отважно и азартно бросается в жизнь, строит, женится, сносит старые стены, сажает деревья, делает долги, отправляет в школу новых детей.

То, что все эти люди видят в своих домах и садах, я не вижу или вижу только малую часть. То, что в подвале вода, а на чердаке полно крыс, что в камине плохая тяга, а фасоли в саду не хватает солнца, — ничего этого я не вижу, это меня не волнует, не радует и не огорчает. Но то, что отсюда вижу и что знаю о нашей деревне я, этого в свою очередь, не видят и не знают все эти люди.

Никто не видит, как там, позади, блеклая, с осыпающейся известкой стена перетягивает на себя с неба синюю краску и разбрызгивает на земле ее отблески. Никто не видит, как нежно и тепло улыбается выцветший розовый фронтон этого же дома среди колышащейся зелени мимоз, как мощно и сочно выступает на фоне тяжелой синевы гор темно-желтая охра с дома Адамини и как задорно устремляется вверх над курчавыми лиственными кронами кипарис в саду синдика. Никто не видит, что именно в этот час музыка красок достигает своего самого чистого, самого стройного звучания, что игра оттенков, переливы отсветов, борьба света и тени в этом маленьком мире ни в какой другой час больше не повторится. Никто не видит, как внизу в голубой раковине долины вечерний золотистый дымок проводит тонкую полоску и отодвигает горы по ту сторону озера еще дальше в глубь пространства. И если должны быть люди, которые строят дома, сносят дома, сажают леса, вырубают леса, перекрашивают ставни и возделывают сады, то должен быть и человек, который все это увидит, который будет зрителем всего этого житья-бытья, который вберет эти стены и крыши в свои глаза и сердце, который их полюбит, который попытается их нарисовать.

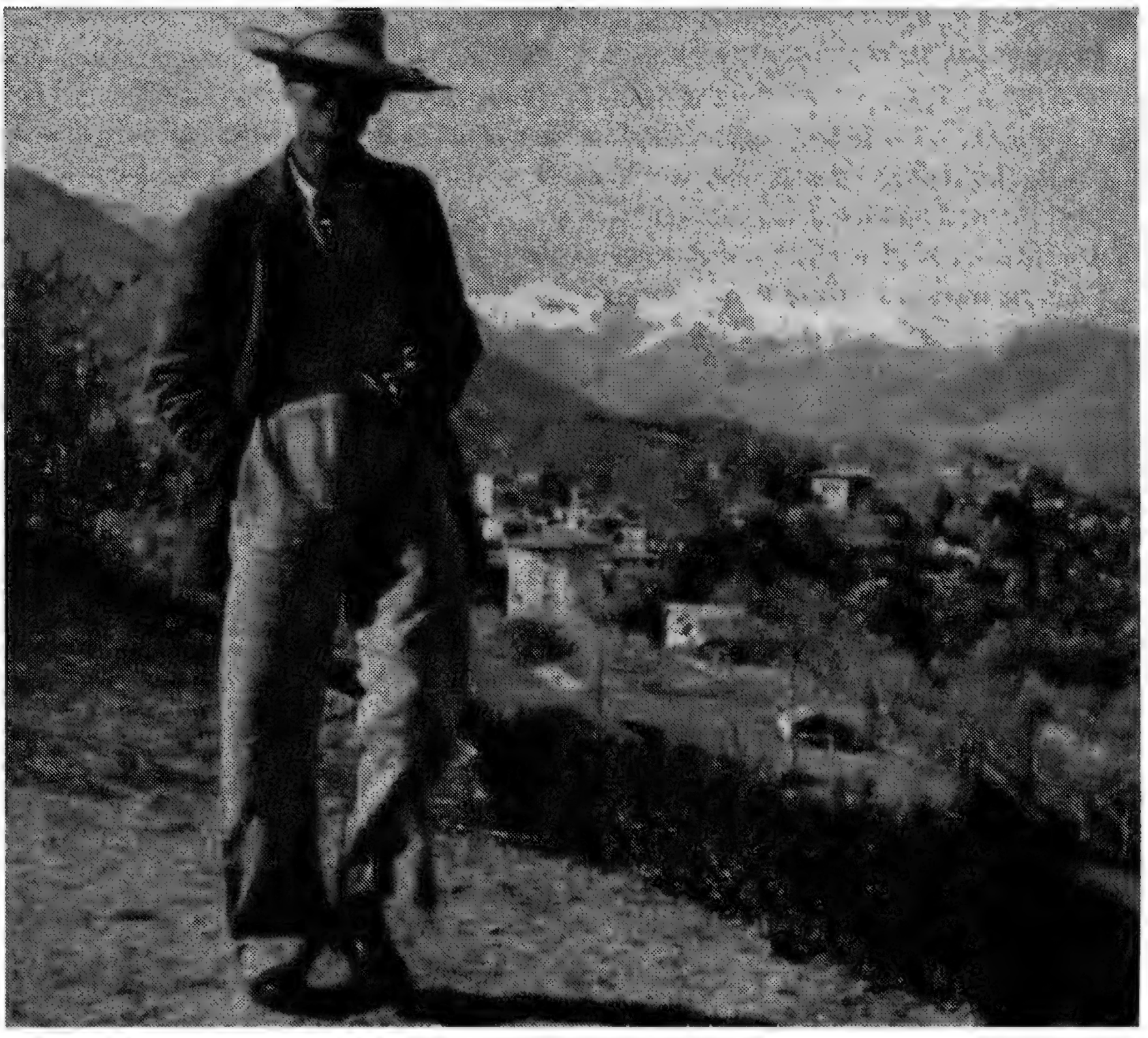
Я не очень хороший художник, я дилетант, но нет ни одного другого человека, кто бы в этой просторной долине так знал, любил и лелеял лики времен года, дней и часов, как я, кто бы так, как я, знал, любил и лелеял изгибы этой местности, очертания берега, своенравные тропы в зелени лесов, кто бы так бережно хранил их в своем сердце и так бы жил ими.

1. Популярная в Италии и Южной Франции игра в шары. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Для того и есть на свете этот художник в соломенной шляпе, с рюкзаком за плечами и складным стулом в руке, который непрестанно что-то выискивает и высматривает в этих виноградниках и лесных опушках, над которым школьники всегда немного подсмеиваются и кто порой завидует другим людям, у которых — дома и сады, жены и дети, радости и заботы.

Я сделал несколько штрихов карандашом на белом листе, достал палитру и налил воды. А теперь, глубоко обмакнув кисть в воду и чуть захватив желтой "неаполитанской", я нанесу самое яркое пятно на моей картинке: это освещенный солнцем фронтон дома там, позади, над густым сочным инжиром. И вот я уже забыл о Джованни и о Марио Кавадини и не завидую им, и заботы их меня так же мало волнуют, как и мои — их, теперь я напряженно и упорно пробиваюсь сквозь зеленую краску, сквозь серую, скольжу мокрой кистью по дальней горе, разбрасываю мазки красного по зеленой листве, добавляю мазки синего, долго бьюсь над тенью под красной крышей Марио, тружусь над золотисто-зеленым отливом тутового дерева у тенистой стены. В этот вечерний час, в этот короткий пламенный час рисования на склоне горы над нашей деревней я больше не зритель, наблюдающий за жизнью других, я не завидую этой жизни, не сужу о ней, мне нет до нее никакого дела, я ожесточенно и с упоением веду свою собственную игру с тем же азартом, с тем же ребячеством, с той же отвагой, как и другие — свою.

1926



Герман Гессе в Монтаньоле, 1923 г.

Герман Гессе. Акварель

“Рисовать – это чудо...”

Фрагменты книги “Магия красок”[1]

Рисовать – это чудо. Я думал раньше, что у меня открыты глаза и что я на Земле наблюдательный странник. Но это приходит ко мне только сейчас... и это освобождает от проклятого волюнтаризма.

Из письма Вальтеру Шеделину (21 апреля 1917 г.).

Я знаю, что я уже не смогу стать художником, но это предельное самоотречение при полной отдаче себя внешнему миру явлений – новый для меня жизненный опыт и сильное потрясение. То, что я на целые дни вовсе забываю о себе, и о мире, и о войне, и абсолютно обо всем на свете, такое после 1914 года со мной впервые.

Из письма Альфреду Шленкеру (26 мая 1917 г.).

Война стала для меня причиной душевной болезни и неизбежной необходимостью разобраться с самим собой, и этот процесс идет теперь своим чередом, и ему я, не задумываясь, приношу в жертву все внешнее. И когда сейчас в промежутках между работой (я служу в Военном министерстве, в Центре, оказывающем благотворительную помощь военнопленным) мне хочется заняться чем-то возвышенным и, уйдя от всего обыденного, погрузиться во что-то безусловно ценное, я не берусь за перо: почти в сорок лет я открыл для себя рисование, и это дает такое же отдохновение, а часто даже еще большее. Ибо то состояние души, к которому, по-моему, единственно и стоит стремиться, то глубинное сопереживание миру и полнейшая беззаветность, чуждая всякому корыстному расчету, и есть истинно художническое состояние души, и я достигаю его именно в те часы, когда рисую. Здесь начинается Царство Божие, ибо “все ваше”.

Из письма Хансу Абури (4 июля 1917 г.).

Я здесь неустанно и очень усердно тружусь и написал несколько новых вещей, которые теперь вряд ли кому придутся по вкусу, но позднее их все-таки оценят из-за их важности. А еще я много рисую и постепенно обретаю свой собственный стиль для выражения того, что хотел бы сказать: маленькие экспрессионистические акварели, очень свободные в передаче натуры, но с точным анализом формы. Все довольно яркое и пестрое.

Из письма госпоже Шеделин (14 сентября 1919 г.).

1. Составитель книги и автор послесловия Фолькер Михельс.

Вы увидите, что между моими рисунками и моими литературными произведениями нет никакого разлада, что я и здесь ищу не натуралистической, а поэтической правды.

Из письма в "Националь-цайтунг" (13 января 1920 г.) по поводу выставки акварелей писателя в Базеле.

Работа с пером и с кистью для меня хмельное вино, которое обогревает и скрашивает жизнь до такой степени, что ее уже можно выдержать.

Из письма Францу Карлу Гинцки (21 декабря 1920 г.).

В один прекрасный день я открыл для себя совсем новую радость. Уже в сорокалетнем возрасте я начал рисовать. Не то чтобы я вдруг счел себя художником или захотел таковым стать. Но рисовать — это чудо, это доставляет много радости и делает тебя более терпимым. И пальцы у тебя потом не черные, как после писания, а красные и синие. Однако мое рисование опять уже раздражает многих моих друзей. С этим мне всегда не везло — стоит мне только взяться за что-то по-настоящему нужное, вдохновляющее и красивое, в ответ я всегда наталкиваюсь на неприязнь. Людям хочется, чтобы ты оставался тем, кем ты всегда был, чтобы ты не менял своего лица. Но мое лицо противится, оно желает часто преображаться, это его потребность. Другой упрек, который мне делают, кажется мне абсолютно справедливым. Мне отказывают в чувстве реальности. Как литературные произведения, которые я сочиняю, так и картины, которые я рисую, не соответствуют реальности. Когда я сочиняю, я часто забываю о тех требованиях, которые ученый читатель предъявляет к книге, и в первую очередь мне действительно не хватает почтения к реальности. Я нахожу, что реальность — это то, о чем меньше всего нужно заботиться, ибо присутствие ее, и довольно назойливое, ощущается постоянно, в то время как другие, более красивые и важные вещи, скорее требуют нашего внимания и заботы. Реальность это то, чем ни при каких условиях нельзя довольствоваться, чему ни при каких условиях нельзя поклоняться и что нельзя превозносить, ибо она — случайность, побочный продукт жизни. И изменить ее, эту убогую, вечно разочаровывающую и унылую реальность нельзя никаким иным образом, кроме как отрекшись от нее, показав, что мы сильнее ее. В моих сочинениях многим часто не хватает принятого почитания реальности, и когда я рисую, деревья обретают лица, а дома смеются или танцуют или плачут, но узнать, какое это дерево — груша или каштан — чаще всего нельзя. С этим упреком я вынужден смириться. По правде говоря, и моя собственная жизнь мне не раз представлялась не чем иным, как сказкой, часто я вижу и ощущаю, что мир внешний находится с моим внутренним миром в таком взаимодействии, в таком созвучии, которое я точнее всего мог бы определить как магическое.

Из эссе "Краткое жизнеописание" (1921 г.).

Вот уже несколько лет я занимаюсь рисованием, это мой способ даже в самые горькие времена суметь выдержать эту жизнь и суметь обрести дистанцию по отношению к литературе.

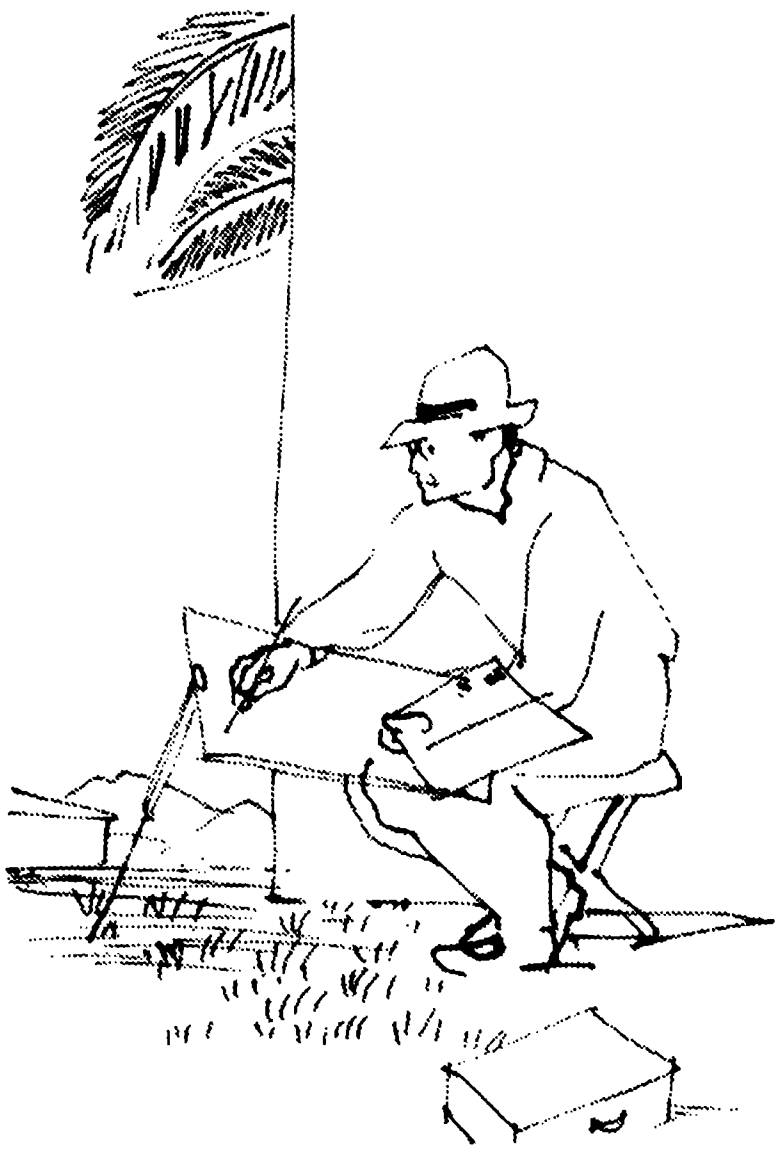
Из письма Рольфу Шотту (5 июня 1924 г.).

В эти годы, с тех пор как я занялся рисованием, я постепенно сумел обрести по отношению к литературе дистанцию, значение которой для меня трудно переоценить и которую я вряд ли обрел бы иным путем. Имеет ли при этом все нарисованное мною какую-то самостоятельную ценность, не столь важно. В искусстве, в отличие от индустриального производства, время не играет никакой роли, здесь не бывает потерянного времени, если в итоге достигается максимально возможное — по интенсивности и совершенству. Как писатель я бы добился в литературе гораздо меньшего, если бы не рисовал.

Из письма Георгу Райнхарту (5 июня 1924 г.).

Когда я рисую мои картинки, то делаю это, как Вы говорите, не столько в силу своего умения, сколько из личной потребности, и, наверно, это великое счастье иметь возможность играть красками и петь хвалу природе. Только я не люблю употреблять слово "счастье", так как жизнь моя слишком уязвима для чужого взгляда и слишком обособленна, чтобы в ней нашлось место для счастья. Но поверьте, меня давно уже не было бы в живых, если бы в самое сложное время моей жизни первые опыты в рисовании не поддержали бы меня и не спасли.

Из письма Ине Зайдель (12 сентября 1925 г.).



Г. Гессе. Рисунок Гюнтера Бёмера

Сергей Гандлевский
Странные сближения

Суждения Набокова об искусстве абсолютно независимы и высказаны с позиции силы. Это впечатляет. Нередко они подчеркнуто независимы, тогда они исподволь приедаются, как все нарочитое, и оборачиваются своей противоположностью: авторской зависимостью от изумленного выдоха восхищенной или шокированной аудитории. Читатель как бы ловит на себе выжидательный и самолюбивый взгляд маэстро поверх очков. Так или иначе Набоков говорит как власть имеющий и спуску никому не дает. По большей части поделом, иногда не очень. В померещившемся Годунову-Чердынцеву разговоре с Кончеевым о русской литературе единственная малость — "луковка", извиняющая роман "Братья Карамазовы", — это "круглый след от мокрой рюмки на садовом столе", то есть именно то, что в принципе было вне поля зрения Достоевского как писателя. Старея, Набоков все сильней распаляется, будто какой-нибудь тиран, и прилежно и последовательно, по наблюдению американской писательницы Джойс Кэрол Оутс, "очищает вселенную ото всего, что не является Набоковым". (Кажется, не знай он, что у него напрочь отсутствует музыкальный слух, он бы и музыку объявил вздором.) Список авторитетов, подвергнутых Набоковым остракизму, велик и известен. Зато и редкие похвалы Набокова — на вес золота, их можно предъявлять. Саша Соколов вряд ли располагает соразмерной его заслугам библиографией, но отзыв Набокова о "Школе для дураков", состоящий всего-то из трех эпитетов — "обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга", перевесит, пожалуй, дюжину панегириков.

Тем удивительней, что человек, походя припечатавший как троечников Нобелевских лауреатов — Фолкнера и Пастернака, окрестивший Ван Гога "банальным баловнем изысканной части буржуазного класса", дважды (дважды!) очень высоко оценил успешных советских сатириков и юмористов — Ильфа и Петрова: "Два поразительно одаренных писателя..." — сказано о них в интервью, данном в 1966-м, а четырьмя годами раньше — от лица Джона Шейда, героя "Бледного огня", еще восторженней: "эти гениальные близнецы". Спору нет, Ильф и Петров отличные писатели, но вряд ли они чувствовали бы себя уютно в одном ряду с Шекспиром, Пушкиным, Толстым — гениями в полном смысле слова, в том числе и по мнению Набокова.

Известно, что Набоков был всегда и решительно настроен против всего советского, в частности литературы: за ее возврат "к простоте, еще не освященной вдохновением, и к нравоучительству, еще не лишенному пафоса". А Ильф и Петров не скрывали и не стеснялись своей довольно искренней приверженности господствующим в СССР мировоз-

зрению и строю. Их сатирические выпады никак не были сознательной идеологической диверсией (в отличие от Булгакова, например), и относительно крамольным звучанием эта веселая дилогия обязана главным образом таланту двух писателей – дару видеть вещи в смешном свете. Однако идеологическая несовместимость с Ильфом и Петровым – существенное для Набокова обстоятельство – не помешала суровому мэтру превозносить советских соавторов.

В ревнивом и не очень доброжелательном мире искусства для подобного великодушия нужна какая-то крайне уважительная личная причина. Таковой чаще всего является ощущение глубинного родства, влекущее за собой вполне бессознательное преувеличение веса и заслуг "родственника" – с целью укрепления собственных эстетических позиций.

На мой взгляд, у Владимира Набокова действительно немало точек соприкосновения с его коллегами и сверстниками, классиками советской литературы Ильфом и Петровым.

"Подкидной доской" для полета воображения и Набокову, и "близнецам" служили поведение и жизненный уклад мещанства. Сильный аналитик, Набоков писал: "Нет ничего на свете вдохновительнее мещанской вульгарности".

Они очень похоже потешались над ней. Снова слово Набокову, вернее его герою – Гумберту Гумберту. Вот что он говорит по поводу издевательских шифровок, оставляемых в отельных регистрационных книгах его счастливым соперником, похитителем Лолиты Клэром Куильти: "эти <...> шутки <...> отражали <...> некий однородный и яркий характер. В его 'жанре', типе юмора (по крайней мере в лучших проявлениях этого юмора), в 'тоне' ума, я находил нечто сродное мне". Данное высказывание без натяжки, сдается мне, применимо и к складу юмора самого Набокова и Ильфа и Петрова.

Юмор всех трех писателей довольно-таки черен, его отличает глумливость и вкус к абсурду: глухой, ответственный за звукозапись на киностудии, в "Золотом теленке", и Цинциннат, вальсирующий со своим тюремщиком, в "Приглашении на казнь". Кстати, название помянутой антиутопии Набокова зловещей несуразицей своей перекликается с названием погребальной конторы – "Милости просим" – в "Двенадцати стульях".

Всем трем авторам свойственна нигилистическая, афейская шутливость. О человеке, острящем в таком ключе, говорят, что у него "нет ничего святого". В "Лолите" причина какого-то людного сборища – "не то садоводство, не то бессмертие души", проходной третьестепенный персонаж аттестован как "бывший палач или автор религиозных брошюр". А наименование вегетарианской столовой в "Двенадцати стульях" – "Не укради". "Я сам склонен к обману и шантажу, – признается Остап Бендер. – <...> Но <...> я предпочитаю работать без ладана и астральных колокольчиков". Все священнослужители в дилогии – и православный поп отец Федор, и два ксендза, – разумеется, махровые жулики; а в комментариях к "Евгению Онегину" Набоков походя разъясняет, что Святой Симеон Столпник – "сирийский отшельник, проведший тридцать семь унылых лет на столбе...". Думаю, что Ильф и Петров, будучи искренне со-

ветскими людьми, не верили ни в Бога, ни в черта. С вольнодумцем Набоковым не все так просто. В интервью на вопрос в лоб, религиозен ли он, Набоков дал виртуозно уклончивый и издевательски многозначительный ответ: "Я знаю больше, чем могу выразить словами, и то немногое, что я могу выразить, не было бы выраженным, не знай я большего".

Смешным святотатством дело не ограничивается. Наши авторы вообще любят задирать расхожие интеллигентские ценности. Карикатурный Лоханкин и некоторые положительные, но недалекие герои "Дара" излагают примерно одни и те же взгляды примерно одними и теми же словами. "Ты недооцениваешь значения индивидуальности и вообще интеллигенции", – говорит Лоханкин. И далее: "Рядом с этой сокровищницей мысли, – неторопливо думал Васисуалий, – делаешься чище, как-то духовно растешь". А вот прямая речь одной из героинь "Дара": "В наше страшное время, когда у нас попрана личность и удушена мысль, для писателя должно быть действительно большой радостью окунуться в светлую эпоху шестидесятых годов". "Мы, изощренные, усталые правнуки, тоже хотим прежде всего человеческого: мы требуем ценностей, необходимых душе..." – сказано в рецензии на книгу главного героя о Чернышевском. Этот дежурно-экзальтированный слог пародируется в наброске к стихотворению Годунова-Чердынцева – "и умер исполин яснополянский, и умер Пушкин молодой...". Мимоходом Ильф и Петров целят и в одну из любимых мишеней набоковского сарказма – отношение к половому вопросу как к чему-то самоценному: из всей домашней библиотеки ("сокровищницы мысли") Лоханкин спасает во время пожара фолиант "Мужчина и женщина".

В высшей мере чутки три писателя к юмору имен, кличек, псевдонимов, восходящему к классицистической традиции "говорящих" фамилий, на свой лад переосмысленной и сослужившей добрую службу Гоголю, Салтыкову-Щедрину и Чехову. Набоков и Ильф и Петров с удовольствием находят смешное в вывесках и рекламах; вообще, плодить нелепости такого рода и передразнивать всяческую номенклатуру – их слабость. Начальницу скаутского лагеря в "Лолите" зовут Шерли Хольмс; в разговоре с матерью Лолиты, Шарлоттой Гейз, Гумберт Гумберт навскидку выдумывает "лэди Бимбом, кузину короля Англии, Билля Бимбома, короля мороженого мяса"; в скитаниях по Америке Гумберт и Лолита останавливаются на ночлег в бесчисленных "Закатах", "Перекатах", "Чудодворах", "Красноборах", "Красногорах", "Просторах", а нужду справляют в придорожных общественных уборных под вывесками "Парни – Девки", "Иван да Марья", "Адам и Ева". "Не отстают" от Набокова и Ильф и Петров, городя огород из не менее курьезных названий и имен: предприятия – "Интенсивник", "Трудовой кедр", "Пилопомощь"; фамилии – Шершеляфамов, Кукушкинд, Индокитайский; название охотничьей газеты – "Герасим и Му-Му". Перечень подобных шуток можно множить и множить. Этот юмор примитивен и безотказно смешон, как убранный из-под кого-нибудь стул.

Сравниваемые писатели много каламбурят. Например, поэты Рембо и Бодлер превращаются у Набокова в Рембодлера, а пышный титул "Союз меча и орала" из "Двенадцати стульев" испорченный телефон сплетни переиначивает в названия рек – Мечи и Урала. Кроме того, и Набоков, и соавторы охотно жонглируют цитатами. Клэр Куильти

собирается "жить долгами, как жил его отец, по словам поэта", а в "Золотом теленке" "звезда говорит со звездой по азбуке Морзе". И здесь тоже примеров не счесть.

В атмосфере словесного изобилия, зубоскальства, глумливого эрудитского трепа уместны пародии – есть и они: в "Лолите" – на Элиота, а "Двенадцати стульях" – на Маяковского.

(Ссылки на объективную реальность: де, писатели-современники описывали, по существу, один и тот же мир, как не быть сходству? – мало что доказывают. Потому что другие писатели-современники, скажем Кафка, Платонов или Фолкнер, видели ровно в ту же самую историческую пору совершенно другую "объективную" реальность, а набоковской или ильфо-петровской не замечали. Прав был Набоков, когда в грош не ставил так называемую "реальность".)

Осмеянию подвергается скудоумие заемных, ничьих, по существу, но выдаваемых за свои мнений. В "Даре" Набоков устраивает шутовской парад типических отзывов на книгу главного героя. А в "Золотом теленке" Бендер составляет шпаргалку для журналистов-щелкоперов – "незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей". Доморощенные политические комментарии "пикейных жилетов" из "Золотого теленка" ("Я скажу вам откровенно, <...> Сноудену палец в рот не клади", Чемберлен, Бернсторф, Бенеш, Бриан и т. д. – "это голова!") "рифмуются" с геополитическими разглагольствованиями "бравурного российского пошляка" Щеголева, персонажа "Дара": "'Ну что, Федор Константинович, <...> дело, кажется, подходит к развязке! Полный разрыв с Англией, Хинчука по шапке... Это, знаете, уже пахнет чем-то серьезным'. <...> Как многим бесплатным болтунам, ему казалось, что вычитанные им из газет сообщения болтунов платных складываются у него в стройную схему..."

Немало смешных и язвительных слов говорится и Набоковым, и Ильфом и Петровым в адрес искусства, претендующего на какое-то особое, современное звучание. В "Двенадцати стульях" "Женитьба", поставленная режиссером Сестриным, предстает полной абракадаброй. А вот уничижительный отзыв Гумберта Гумберта на картины приятеля, живописца-дилетанта: "жалкие полотна (примитивно-условно написанные глаза, срезанные гитары, синие сосцы, геометрические узоры – словом, все современное)".

Точности ради следует сказать, что смех Ильфа и Петрова более или менее добродушен; запасы же набоковской желчи практически неисчерпаемы.

Не обойден шутливым вниманием Ильфа и Петрова и фрейдизм, неизменно действующий на Набокова как устойчивый раздражитель. В "Золотом теленке" один из персонажей-жуликов тщетно пробует симулировать душевную болезнь с помощью сведений, почерпнутых из журнала "Ярбух фюр психоаналитик унд психопатологик", а Остап Бендер, аферист высшей пробы, говорит, что ему случалось "лечить друзей и знакомых по Фрейду".

Что у нас еще осталось из джентльменского набоковского набора? Шахматы и бабочки?

Шахматы. В "Двенадцати стульях" маэстро Судейкин, заведующий шахматным отделом газеты, воюет за газетную "площадь", чтобы опубликовать этюд Неунывако и "замечательную индийскую партию Тартаковера-Боголюбова...". А за тридевять земель в то же примерно время Годунов-Чердынцев раскрывает советский шахматный журнал и с привычным разочарованием видит, как "подталкивающие друг друга фигуры делали свое неуклюжее дело с пролетарской серьезностью, мирясь с побочными решениями в вялых вариантах и нагромождением милицейских пешек". Вероятно, и васюковские шахматные страсти-мордасти могли доставить Набокову минуту-другую недоброй радости.

Бабочки. О чешуекрылых Ильф и Петров умалчивают.

Следующая остановка — антисемитизм, знаковая черта "мещанской вульгарности". (У русской литературы здесь не все обстоит благополучно.) Для трех авторов червоточина юдофобии однозначно отрицательно характеризует персонажа, на таком как бы ставится крест. "Золотой теленок": "Айсберги! — говорил Митрич насмешливо. — Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи". Омерзительный отчим Зины Мерц из "Дара", прилежный читатель "Протокола сионских мудрецов", разоткровенничался с главным героем: "Моя супруга-подпруга <...> лет двадцать прожила с иудеем и обросла целым кагалом. Мне пришлось потратить немало усилий, чтобы вытравить этот дух". В финальной сцене "Лолиты" Клэр Куильти, ёрничая под дулом пистолета, гадает вслух, не немецкий ли беженец Гумберт Гумберт, и шутливо предупреждает своего незваного гостя: "Это дом — арийский, имейте в виду".

Наши авторы с доверием и нескрываемой приязнью относятся к цивилизации и ее достижениям. Плоды рационального мышления — ладные механизмы, предупредительный сервис, современная гигиена, комфорт — вызывают их одобрение, граничащее с приветственным пафосом. Колонизаторская брезгливость Набокова иногда изумляет. Вот что подмечает его герой Годунов-Чердынцев в творчестве классика Гончарова — "безобразную гигиену тогдашних любовных падений". У Набокова в силу его привилегированного происхождения была возможность сызмальства привыкнуть к добротности окружающего материального мира и воспринимать это как должное. Ильф и Петров, свидетели послевоенной разрухи и крайне неблагополучного социалистического быта 20—30-х годов (более или менее таким он и останется до конца советской эпохи), с воодушевлением описывали первые шаги советской индустриализации — пуск трамвая, строительство Турксиба; чистосердечно восхищались, путешествуя по Северной Америке, ее техническим прогрессом и удобствами, правда, сквозь призму маяковской "собственной гордости". Ни Набокову, ни нашим соавторам есенинский страх перед "стальной конницей", кажется, неведом вовсе. Если изъясняться в громоздких и пространных категориях XIX столетия, этих писателей можно было бы назвать "западниками". Традиционная для почвенничества вера в прямую пропорциональную зависимость иррационализма, патриархальности, правовой невнятицы, житейского прозябания, с одной стороны, и необщих высоких духовных запросов — с другой, была равно чужда и Набокову, и Ильфу и Петрову. (Именно ходячая пародия,

Васисуалий Лоханкин, оправдывая соседский самосуд над собой, произносит словосочетание "сермяжная правда".)

Тоской по цивилизации и ее атрибутам, идеальным "вещизмом" в ту пору заболели многие писатели, абсолютно непохожие не только с литературной точки зрения, но очень разные по складу личности и бытовым привычкам. Послереволюционное одичание коснулось всех сторон жизни, и стало, как никогда, очевидным, что халтура и хамство — явления одного порядка, а "буржуазность", комфорт, качество — косвенный признак культуры. Люди искусства, уроженцы и элита старого мира, лицом к лицу столкнулись с оруэлловской действительностью, в которой любую малость — спиртное, кофе, табачные изделия — с унылой кичливостью величали "Победой", но напитки были сущей отравой, а сигарету гордой марки следовало держать строго горизонтально, чтобы табак не просыпался. Словом, "вещество устало". Об этом много убийственно смешного в "Собачьем сердце" Булгакова, об этом и элегия Мандельштама 1931 года "Я пью за военные астры...", где перечень мелочей дореволюционного быта — шуба, запах бензина в Париже, "роза в кабине рольс-ройса" и прочие книжно-экзотические красоты и реалии — звучит как ностальгический плач по погибшей культуре. Смыслом и настроением своим стихотворение Мандельштама сходно с другой элегией — в прозе, — написанной Набоковым и вложенной им в уста узника Цинцинната. Кстати, герой "Приглашения на казнь" и беззащитностью, и вопиющим лиризмом, таким неуместным в казенном доме, в окружении садистов и выродков, напоминает Осипа Мандельштама. Цинциннат разглядывает иллюстрации в журнале допотопной поры, чудом сохранившемся в тюремной библиотеке. "То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов <...> и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству <...> Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен — две-три машины, два-три фонтана, — и никому не было жаль прошлого, да и самое понятие "прошлого" сделалось другим". (Так же в начале шестидесятых и мы, школьники в серых униформах, выуживали из груды собранной нами макулатуры какую-нибудь невидаль — глянцевый журнал "Америка" или "Англия" — и склонялись над ним, не спеша возвращаться в свой советский "наскоро сколоченный и покрашенный мир".)

Вкусовая близость трех писателей дает о себе знать как в дифирамбах прогрессу, так и в насмешках над ним, когда он присваивается стихией "мещанской вульгарности", подергивается рекламным лачком и утрачивает чувствительность ко всему человеческому и насущному. Лишь только речь заходит о массовой культуре — "гореупорной сфере существования, из которой смерть и правда были изгнаны..." ("Лолита"), — и Набоков, и Ильф и Петров из апологетов цивилизации, исповедующей

прогресс, превращаются в ее критиков. Можно говорить о сходном устройстве рецепторов жалости. Вот как описывают в "Одноэтажной Америке" Ильф и Петров мексиканский бой быков с участием девушек-тореадоров: "Говорят, это эффектно. Один удар — и бык падает к ногам победителя. Но девушка не могла убить быка. Она колола слабо и неумело. Бык убежал, унося на шее качающуюся шпагу. <...> Так повторялось несколько раз. Бык устал, девушка тоже. Розовая пена появилась на морде быка. Он медленно бродил по арене. Несколько раз он подходил к запертым воротам. Мы услышали вдруг мирное деревенское мычанье, далекое и чуждое тому, что делалось на арене. Откуда здесь могла взяться корова? Ах да, бык! Он сделал несколько заплетающихся шагов и стал опускаться на колени. Тогда на арене появился здоровенный человек в штатском костюме и зарезал быка маленьким кинжалом". Такой же механизм контраста между соблазнительной рекламой события и его подлинной отталкивающей сутью использует и Набоков. Прежде чем мы становимся свидетелями чудовищного и подробного умерщвления Гумбертом Гумбертом своего соперника, автор знакомит нас с темой убийства в ее масскультовской подаче ("говорят, это эффектно"): он делает беглый обзор усредненной кинопродукции с бутафорскими кровопролитиями, сдобрив его эстрадной песенкой — "Выхватил <...> небольшой кольт и всадил пулю крале в лоб". Потом, ближе к концу романа, Набоков покажет, каково убивать на самом деле: "я произвел один за другим три-четыре выстрела, нанося ему каждым рану, и всякий раз, что *я это с ним делал, делал эти ужасные вещи,* его лицо нелепо дергалось, словно он клоунской ужимкой преувеличивал боль..." Я выделил мастерское запинание речи, передающее ужас и оторопь убийцы-дилетанта. Рекламный эффект утоления мести и торжества справедливости намеренно смазан — подобным же образом сведены на нет Ильфом и Петровым расхожие романтические иллюзии насчет боя быков, который на поверку оказался просто живодерней. И то и другое — вопреки принципиально невзрослому, "гореупорному" представлению массовой культуры о зрелищности мщения и корриды. Желание и умение дискредитировать "красивую", освященную традицией жестокость восходит к толстовским разоблачениям "красот" войны и дуэли.

Сатирик — кто угодно, только не циник: ему не все равно. Критический склад ума, дар "очернительства", непременно предполагает существование, хотя бы гипотетическое, и светлого начала, образца для подражания. Обращает на себя внимание не сам факт наличия такой образцовой действительности и у Набокова, и у Ильфа и Петрова (писатели с позитивной программой не редкость), а сходство представлений наших авторов о положительном как таковом. Это прежде всего — "свобода духа", представляющаяся Набокову "дыханием человечества". Причем совершенно не важно поприще, на котором реализуется данная свобода. Пусть она проявит себя в литературе, как у Годунова-Чердынцева или Джона Шейда; или в науке, как у без вести пропавшего на просторах Средней Азии Годунова-Чердынцева-старшего; или в даре самоотверженной любви, как у "маленького человека" Пнина; или в шахматах, как у гениального безумца Лужина... Важно другое: всех названных героев роднит творческое, трепетное и непредвзятое, отношение к жизни — то единственное, с точки зрения Набокова, что заслуживает сочувствия и

уважения. И чем более плоски и карикатурны исчадья "мещанской вульгарности" – рутинеры, глашатаи общих мнений, претенциозные бездари, злые и добрые пошляки, убогие палачи, – тем симпатичней трогательные и человечные любимцы писателя, литературные персонажи одной группы крови с Цинциннатом.

У Ильфа и Петрова мещанской стихии противопоставлены чудаки, энтузиасты и бессребреники, люди тоже с творческой жизненной сверхзадачей: инженер Треухов из "Двенадцати стульев", полярный летчик Севрюгов из "Золотого теленка", чью жилплощадь принялись делить соседи по коммуналке, когда он, подобно отцу Годунова-Чердынцева, пропал было без вести.

Правда, реальность, в которой обретаются герои Ильфа и Петрова, представлена в схематичном и облегченном варианте. Здесь мудрено, как это случается с персонажами Набокова, заплутать в дебрях нравственно-метафизической проблематики, потому что правильное решение задачи известно соавторам наперед и спущено "сверху". И в этой плакатной, когда речь заходит о положительных идеалах, действительности вполне уместно – шутки в сторону – высказаться в прямом лирическом отступлении: "Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретен дизель-мотор, написаны 'Мертвые души', построена Днепровская гидростанция и совершен перелет вокруг света. В маленьком мире изобретен кричащий пузырь 'уйди-уйди', написана песенка 'Кирпичики' и построены брюки фасона 'полпред'".

Заметим, что и у Набокова, и у Ильфа и Петрова разграничение "большого" и "маленького" производится не по принципу "хорошее–плохое", как рассудили бы великие русские моралисты XIX столетия, а на сопоставлении "творческое–нетворческое". Ведь шахматный талант, художническая одержимость, страсть натуралиста столь же имморальны, как изобретение дизель-мотора, построение Днепрогэса и перелет вокруг света. Читатель имеет дело с аристократически-эстетским, олимпийским взглядом на вещи; только у Набокова такой взгляд – итог личного выбора, в известной мере обусловленного знатным происхождением и соответствующим воспитанием, а у Ильфа и Петрова – результат особой советской благодати, причастности к коммунистической истине, к посвященным.

Показательно, что шедевр "реакционера" Гоголя помянут Ильфом и Петровым наравне с прочими атрибутами "большого", то бишь прогрессивного мира. Безоговорочно любил Гоголя и Набоков, написавший о нем отдельное исследование. Наверняка, сочиняя свои преступные одиссеи – "Лолиту" и дилогию про Остапа Бендера, – три автора не могли не иметь в виду "Мертвые души" – "поэму", вышитую по канве плутовского романа.

На удивление схожа и художественная логика Набокова и Ильфа и Петрова. В "Даре" "анонсирована" "Лолита". Уже поминавшийся Щеголев, отчим главной героини, пытается найти общий язык с жильцом-литератором: "Вот представьте себе такую историю: старый пес, – но еще в соку, с огнем, с жаждой счастья, – знакомится с вдовицей, а у нее дочка,

совсем еще девочка, — знаете, когда еще ничего не оформилось, а уже ходит так, что с ума сойти. <...> Что делать? И вот, недолго думая, он, видите ли, на вдовице женится. Хорошо-с. Вот, зажили втроем. Тут можно без конца описывать — соблазн, вечную пыточку, зуд, безумную надежду. <...> Чувствуете трагедию Достоевского?" А в "Двенадцати стульях" рифмоплет на все руки Ляпис делится с собратьями-борзописцами своей художественной идеей, после короткого совещания приспособленной под либретто оперы: "Сюжет классный. <...> Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты узнали и стали разыскивать стулья. <...> Тут можно такое накрутить..." Причем в обоих случаях чести огласить сюжет реального произведения удостаиваются персонажи-ничтожества, а авторы — Набоков и Ильф и Петров, — как бы принимая вызов, доводят бросовую вещицу до ума. Кстати сказать, пьеса в пересказе — "Зачарованные охотники" — есть и в "Лолите". Но если в "Двенадцати стульях" "Лучи смерти" (как и щеголевский художественный проект) — кривое зеркало замысла книги, которую читатель держит в руках, то в "Лолите" — скорее ложная тревога. Впрочем, читатель Набокова, "Лолиты" в особенности, заражается по мере чтения такой мнительностью, что "знаки и символы" мерещатся ему к месту и не к месту, чего автор и добивается. Так в хорошем детективе беллетрист нагнетает атмосферу нервозности, при которой любой шорох или колебание занавески вызывают у читателя или зрителя дрожь поджилок. Обе вставные пьесы могут напомнить читателю пьесу-провокацию, сыгранную бродячей труппой в "Гамлете".

Роднит "творческие методы" Набокова и Ильфа и Петрова использование "идеального изъятия" — виртуозного с профессиональной точки зрения и застающего читателя врасплох устранения персонажа с последующим очень крутым, чуть ли не на 180°, поворотом сюжета. Находящийся в самом незавидном положении, разоблаченный Шарлоттой Гумберт Гумберт, полагая, что разъяренная жена рвет и мечет в смежной комнате, снимает на настойчивый трезвон телефонную трубку и узнает о произошедшей перед их домом с минуту назад автомобильной катастрофе, стоившей Шарлотте жизни и разом упразднившей все его затруднения. А в тот момент, когда Остап Бендер припирает Корейко к стене и, казалось бы, готов торжествовать победу, тот, нацепив противогаз, сливается с толпой таких же в точности "ряженых" и легко исчезает, в то время как подоспевшие "санитары" силком укладывают упирающегося Бендера на носилки и оттаскивают прочь.

Шире говоря, все три автора склонны к подвоху, розыгрышу, активизирующему читательское внимание, когда герой, а заодно и мы, обознается — так достигается эффект присутствия. Вместе с Бендером, доверясь его знанию людей, читатель попадает впросак и ошибочно принимает за Корейко персонажа с более, казалось бы, подходящей для подпольного миллионера внешностью. И вместе с Годуновым-Чердынцевым энергично не любит его соседа по трамваю, немца-филистера, пока тот не расправляет перед собой русскую эмигрантскую газету, посрамляя проницательность и героя, и вовлеченного в неприязнь читателя.

У героев трех писателей вроде бы есть шанс избежать неприятностей, если бы только герои эти внимали маленьким предупреждениям,

посылаемым им авторским промыслом, но они не внемлют. Обрати Остап (и читатель) внимание на подготовку к учениям гражданской обороны, Корейко не улизнул бы столь неожиданно; а Набоков водит за нос и до последнего держит в неведении Гумберта Гумберта (и нас) насчет личности его счастливого соперника, хотя намеки на зловещее присутствие Клэра Куильти рассыпаны по повествованию с самого начала романа. Этот общий и для Набокова, и для Ильфа и Петрова психологически точный прием позволяет читателю побывать в шкуре персонажа и изрядно потрепать себе нервы. Механизм нервотрепки, широко известный в искусстве, не только применяется тремя авторами, но и совершенствуется, причем сходным образом.

Правда, у Ильфа и Петрова подобные "аттракционы", скорее всего, просто ухищрения ремесла, то есть прием в точном смысле слова, а у Набокова за этим испытанным способом воздействия на читательское воображение чувствуется и очень личная вера в судьбу — некий осмысленный предварительный чертеж человеческой жизни, приблизительный контур которого можно различить в минуту озарения. И в этом — и далеко не только в этом — видны разные масштабы дарований Ильфа и Петрова и Владимира Набокова: там, где "гениальные близнецы" "всего лишь" талантливы, мастеровиты и остроумны, великий писатель угадывает и философское измерение, дает читателю повод для метафизических аналогий.

Три автора демонстрируют чудеса наблюдательности и изобразительности (вот где подход, ценящий превыше всего "след от мокрой рюмки на садовом столе", предстает во всей красе и торжествует!). И в этой изумительной гипертрофии зрения, в самом фокусе его, как до этого в "'жанре', типе юмора", тоже виден "некий однородный и яркий характер".

Гумберт Гумберт недовольно рассматривает предлагаемое ему Шарлоттой Гейз жилье, еще не подозревая о существовании под этим кровом Лолиты. Впрочем, Гумберт заметил "белый носок на полу", явно не хозяйкин, потому что, "недовольно крякнув, госпожа Гейз нагнулась за ним на ходу и бросила его в какой-то шкаф". Но автор, дразня наши предчувствия, показывает внимательному читателю то, чему Гумберт Гумберт не придает значения, — следы недавнего, совсем недавнего Лолитиного пребывания: "Мы бегло оглядели стол из красного дерева с фруктовой вазой посередке, ничего не содержавшей кроме одной, *еще блестевшей* (курсив мой), сливовой косточки". На удивление похоже передают Ильф и Петров впечатление подобного ускользающе-незримого присутствия. Остап Бендер тщетно ищет в "Геркулесе" Егора Скумбриевича: "Вот здесь, в месткоме, он только что говорил по телефону, еще горяча была мембрана и с черного лака телефонной трубки еще не сошел туман его дыхания. <...> Один раз Остап увидел даже отражение Скумбриевича в лестничном зеркале. Он бросился вперед, но зеркало тотчас очистилось, отражая лишь окно с далеким облаком".

Иногда углы зрения трех писателей, их манера ви́дения — кинематографическая, чуть ли даже не мультипликационная — настолько совпадают, что кажется, будто все эти неправдоподобно осязаемые описа-

ния -- дело рук одного гениального "оператора", впору устраивать викторину.

1. "...со звуком перелистываемой книги набегал легкий прибой".

2. "...ветки отражались в небольшой луже, похожей на плохо промытую фотографию".

3. "По главной улице на раздвинутых крестьянских ходах везли длинный синий рельс, будто возчик в рыбачьей брезентовой прозодежде вез не рельс, а оглушительную музыкальную ноту".

4. "Купе тряслось и скрипело. Ложечки поворачивались в пустых стаканах, и все чайное стадо потихоньку сползало на край столика".

5. "...но он ограничился сияющей улыбкой и чуть не упал на тигровые полоски, не поспевшие за отскочившим котом".

Правильный ответ: № 2 и 5 – Набоков, остальное – Ильф и Петров.

Страсть к удваиванию изображений за счет зеркальных поверхностей у трех писателей совершенно ван-эйковская; удивительное, на грани тождества, родство литературной оптики. "Дар": "из фургона выгружали параллелепипед белого ослепительного неба, зеркальный шкап, по которому, как по экрану, прошло безупречно ясное отражение ветвей..."; "Золотой теленок": "Штепсельный чайник собрал на своей кривой поверхности весь уют птибурдуковского гнезда. В нем отражались и кровать, и белые занавески, и ночная тумбочка. Отражался и сам Птибурдуков, сидевший напротив жены в синей пижаме со шнурками".

Примеры таких "отражений" не надо скрупулезно выискивать – от них нет отбоя.

Набокова с его любовью к удвоению и двойникам могло дополнительно веселить, что "поразительно одаренных писателей" – двое, он даже усугубил эту парность, назвав их, вопреки данности, "близнецами".

До сих пор речь шла о врожденном сходстве двух авторств и трех авторов, поэтому время написания конкретных произведений роли не играло. Но по мере того как круги моей "курсовой" сужаются, необходимо принять к сведению, что роман "Двенадцать стульев" закончен и опубликован в 1928 году, "Золотой теленок" – в 1931-м, а "Лолита" – в 1955-м.

Карты на стол: когда-то мне почудилось, что, работая над "Лолитой", Набоков косился в сторону дилогии Ильфа и Петрова и кое-чем – и совсем немалым – воспользовался. Очередное пристальное прочтение трех названных книг утвердило меня в моих подозрениях. Никаких серьезных противопоказаний для подобного "сотрудничества" я не вижу – напротив. Удивительное подобие эстетик само по себе могло натолкнуть Набокова на мысль сделать из "Лолиты" и дилогии об Остапе Бендере что-то вроде сообщающихся сосудов, тем более что такой подход совпадал с принципиальными литераторскими установками Набокова: "Настоящий писатель должен внимательно изучать творчество соперников, включая Всевышнего. Он должен обладать врожденной способностью не только вновь перемешивать части данного мира, но и вновь создавать его..."

И дилогия, и "Лолита" – странствия преступников, в жанровом отношении – потомки плутовского романа. Пафос Ильфа и Петрова – глумление над мещанским и топорно-энтузиастическим СССР; пафос Набокова – глумление над мещанскими и топорно-энтузиастическими

США. Причем в обоих случаях – по мере нравственного прозрения, в приступе угрызений совести – герои каются в своей асоциальности и нигилизме и как бы берут свои слова обратно. Гумберт Гумберт: "наше длинное путешествие всего лишь осквернило извилистой полосой слизи прекрасную, доверчивую, мечтательную, огромную страну..." А вот что думает четвертью века раньше Остап Бендер: "Перед ним сидела юность, немножко грубая, прямолинейная, какая-то обидно нехитрая. <...> Он признался себе, что в свои двадцать лет он был гораздо разностороннее и хуже".

Трагедия и трагическое обаяние этих героев, в числе прочего, в том, что им, "разносторонним", никак невозможно вместиться в плоскую среду обитания.

И Гумберт Гумберт, и Остап Бендер – люди с *idée fixe*, хотя бы по одному этому они не могут принадлежать "маленькому" "гореупорному" миру "мещанской вульгарности", одиночество и высокомерие – их удел.

К слову сказать, у Набокова слабость к героям со сверхзадачей, взять те же "Подвиг", "Камеру обскура", "Отчаяние", и здесь ему в русской литературе ближе всего Достоевский. Может быть, особенная нетерпимость Набокова к Достоевскому объясняется и этой близостью тоже. Заветные мысли и чувства в чужом, "неправильном" изложении нередко расцениваются нами как профанация и вызывают больший протест и раздражение, чем полное несоответствие чьих-либо взглядов и настроений нашим собственным.

Конечно, приходит на память и первый великий маньяк отечественной словесности – пушкинский Германн. (Героя "Короля, дамы, валета" так и зовут Германом). Злодеи Набокова – от Германа до Гумберта – становятся жертвой своих же преступных намерений и преступлений и заживо попадают в ад, в шестерни рока или более каверзного замысла.

И Набоков, и Ильф и Петров снабдили своих главных героев малосимпатичными двойниками-подельниками, подверженными той же мании, что и протагонисты, правда, начисто лишенной привкуса идеализма. На их фоне главные герои выгодно выделяются. По сравнению с примитивной алчностью Воробьянинова или Корейко платоническое сребролюбие Бендера выглядит одухотворенно и даже красиво. Рядом с буквальным сладострастием Клэра Куильти одержимость Гумберта Гумберта смотрится интересным пороком, причиняющим самому извращенцу много страданий.

Сочинители наделили своих героев броской внешностью – чрезмерной до безвкусицы красотой, замыленной и киношной. Остап Бендер – "атлет с точным, словно выбитым на монете лицом", "мужская сила и красота Бендера были совершенно неотразимы для провинциальных Маргарит на выданье". Гумберт Гумберт – "красивый брюнет бульварных романов", "поразительная, хоть и несколько брутальная, мужская красота". Оба знают о своей привлекательности. "Увы, я отлично знал, что мне стоит только прищелкнуть пальцами, чтобы получить любую взрослую особу, избранную мной", – признается Гумберт Гумберт. А Остап Бендер говорит, что его "любили домашние хозяйки, домашние работницы, вдовы и даже одна женщина – зубной техник". Оба – щеголи, с поправкой, разумеется, на разные социальные положения и житейские обстоятельства; и тому и другому

для вящего эффекта случается носить шарф навыпуск. Оба – обладатели длинных ногтей, что – дважды вызов. Ну, во-первых, белоручки, белая кость не в чести ни в демократической Америке, ни в рабоче-крестьянской России, а во-вторых, есть в длинных ногтях нечто инфернальное. (Крепостные так просто пугались рук Пушкина, считая, что барский маникюр от лукавого.)

Понятно мстительное писательское желание "смутить веселость" обывателя, выбить его из привычной колеи – но не высоконравственной проповедью (с ней он давно на "ты"), а какой-нибудь безобразной выходкой: маньяком-джентльменом, обворожительным аферистом, обаятельной чертовщиной... От засилья знающих что к чему хамов у Булгакова, например, сдали нервы, и он наслал князя тьмы со свитой на столицу первого в мире государства, покоящегося на фундаменте рационального мировоззрения. Всплеск литературного демонизма – реакция искусства на расцвет "мещанской вульгарности".

Оба героя – байронические незнакомцы без роду и племени, снова же в пику основательному обывателю. "Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей, отец которого был турецко-подданный и умер, не оставив сыну своему Остап-Сулейману ни малейшего наследства. Мать покойного была графиней и жила нетрудовыми доходами", – шутовски аттестует себя Бендер. В сходной манере представляется и Гумберт Гумберт: "Мой отец отличался мягкостью сердца, легкостью нрава – и целым винегретом из генов: был швейцарский гражданин, полуфранцуз-полуавстриец, с дунайской прожилкой. <...> Обстоятельства и причина смерти моей весьма фотогеничной матери были довольно оригинальные (пикник, молния)..." Оба – само обаяние, впрочем, двусмысленное: "свирепость и игривость" Гумберта неплохо соответствует "грозному веселью" во взгляде Бендера. Оба наспех женятся по расчету, ни в грош не ставя собственных жен. Свою – Бендер просто-напросто обворовывает. Не менее бендеровский по циничному привкусу поступок по отношению к покойной жене совершает и Гумберт Гумберт: водитель машины, сбившей Шарлотту Гейз, "предложил оплатить расходы похоронного бюро. <...> С пьяным благодарственным всхлипом я принял его предложение. Не веря своим ушам, он раздельно повторил им сказанное, и я снова его поблагодарил, еще горячее, чем прежде".

Оба в интеллектуальном – и не только интеллектуальном – смысле на голову выше всех, с кем сводят их превратности сюжета. "О, начитанный Гумберт!" – с иронической ужимкой восклицает герой Набокова. "О, начитанный Бендер!" – мог бы сказать о себе герой Ильфа и Петрова, запросто поминающий в разговоре с мелкотравчатыми жуликами и совслужащими Спинозу, Жан-Жака Руссо и Марка Аврелия.

Более того: оба – что называется, "поэты", люди, причастные тонким материям, дилетанты на все руки. "Бедный поэт и многоженец", – характеризует себя Бендер. И еще: "Я – свободный художник и холодный философ". В его "послужном списке" – полотно "Большевики пишут письмо Чемберлену", сценарий многометражного фильма "Шея" и любовное стихотворение, правда, работы Пушкина. Из того же теста, с поправкой на образовательный ценз, сделан и Гумберт Гумберт. За ним числятся диссертация, статьи и стихи, пародии. Герои эти обретаются вокруг и около искусства.

Перед Гумбертом Гумбертом и встает в полный рост чуть ли не главная проблема искусства — этот литературный персонаж угодил искусству прямо в солнечное сплетение, вернее, искусство ему.

Набоков как великий писатель знал, что границы красоты и нравственности не совпадают — красота продолжается и там, где нравственность трубит отбой. (Для меня нет сомнений, что конечные строки его стихотворения "Слава" (1942) — "я увидел, как в зеркале, мир и себя, / и другое, другое, другое" — отсылка к пушкинскому: "поэзия не нравственность, а другое...")

В справедливости этой, не вполне очевидной, но "на ощупь" знакомой искушенному художнику истины дилетанту от литературы Гумберту Гумберту, суждено убедиться самостоятельно и от противного — методом преступных проб и ошибок.

Кем-то сказано, что вкус — нравственность писателя. Прямое попадание. Но ведь вкус, в отличие от нравственности, противится жесткой регламентации. Нередко большой писатель раздвигает рамки допустимого во вкусовом отношении; пределы нравственности, к счастью, куда менее подвижны. Зато в природной видовой неспособности искусства целиком вписаться в мораль можно усмотреть нечто таинственное, угадать намек на первенство творческого начала вообще, а не только применительно к искусству. Кажется, кратковременная причастность этой начальной стихии — немаловажная составляющая эстетического наслаждения.

Непростые взаимоотношения между этикой и эстетикой хочется для наглядности проиллюстрировать графически, как квадрат, помещенный в круг, где квадрат — этика, а круг — эстетика. Абсолютное меньшинство — так называемые творческие люди — интуитивно и исходя из профессиональной практики ощущают объективное присутствие округлых очертаний гармонии, внутри которых такие понятия, как "хорошо" и "красиво", означают примерно одно и то же, а вовне — сразу начинается мертвая область и "некрасивого", и "плохого". Вот как описывает эту эмоциональную реальность Владимир Набоков: "...особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма".

Но у общества в целом не получается следовать этой "норме", гармоническим законам ("тогда б не мог и мир существовать"), оно глухо к ним, и ему не верится в их действительное наличие. Чтобы оградить себя от нравственного хаоса, общество замыкается в квадрат этики. Но художника, знающего по наитию и иные, гармонические пределы, этот рукотворный загон может смешить, тяготить и даже бесить: он-то, художник, чувствует, что по ту сторону квадратного рубежа, в пограничной полосе — са́мая жизнь и есть, еще не опресненная машинальной моралью, наведенная на абсолютную резкость, пусть общество и осуждает любые артистические поползновения нарушить священные границы этики. Как если бы где-нибудь, не считаясь с запросами горстки гурманов, ввели "сухой закон" на том основании, что подавляющее большинство народонаселения "не умеет" пить.

Наверное, такой порядок вещей разумен. Ужасный эксперимент, поставленный героем Набокова, подтверждает правоту и уместность по-

добных превентивных общественных мер. А значит — и гарантированное художническое одиночество.

Гумберт Гумберт невменяем и опасен, оттого что художнически-иморален и руководствуется в жизни с ее приматом этики единственно эстетикой. По существу, сгубив Лолиту, потерпев поражение по всем статьям, он сокрушается и в рифму — "Так *пошлиною нравственности* ты / Обложено в нас, чувство красоты!", — и без: "в жизни, на полном лету, раскрылась с треском боковая дверь и ворвался рев черной вечности, заглушив захлестом ветра крик одинокой гибели".

Я как-то потерял из виду Остапа Бендера, но в такие дебри он не забирается и терпеливо дожидается своего часа поближе к опушке.

Попытки Гумберта Гумберта и Бендера сохранить видимость морали, соблюсти приличия, издали кивнуть этике выглядят полумерами, и все-таки. Гумберт не решается растлевать девочку наяву и уповает на снотворное, надеясь утолиться своими силами, а Бендер впадает в полусерьезное нравоучительство: "Заметьте себе, Остап Бендер никогда никого не убивал. Его убивали — это было. <...> Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс". Уголовный кодекс — сниженный, как и все в дилогии, образ метафизической нравственности, о которую разбивается Гумберт Гумберт (как некогда Раскольников, кстати).

Опять же: сопоставляя "Лолиту" и плутовскую дилогию, нельзя не заметить разницы в масштабах дарований, уровне творческих задач и авторских притязаний. На солнечной отмели очень талантливого фарса Ильфа и Петрова персонажи чувствуют себя вольготно и почти не порываются на глубину; Набоков же время от времени отправляет своего героя прочь с мелководья веселого куража над "мещанской вульгарностью" туда, где явственно различим "рев черной вечности".

Отдадим должное Ильфу и Петрову. Они не только создали одного из самых обаятельных и живучих героев отечественной литературы, который уже пережил и еще переживет не одно поколение читателей, — у них хватило мужественного легкомыслия не стать авторами-компрачикосами и не калечить Остапа Бендера, когда тот пошел в бурный духовный рост, на глазах набирая очарования и независимости. От малопривлекательного прохвоста в завязке "Двенадцати стульев" Остап Бендер проделал эволюцию чуть ли не до трагического героя к концу "Золотого теленка". И все это благодаря тому, что Ильф и Петров по-человечески простодушно и по-писательски самоотверженно взвалили всю советскую идеологическую нагрузку на свои плечи, предоставив герою полную свободу действий и волеизъявления. Просто удивительно, как это сошло им с рук.

Эпоха не располагала к балагану. Несчастный политически-осмотрительный Бабель вынужден был "пойти навстречу" носившимся в воздухе "пожеланиям трудящихся": его Беня Крик — "Короля" и еще двух-трех первых "Одесских рассказов" (старший брат Бендера, судя по приблатненной элегантности и хищному шарму) — за считанные годы, ко времени написания киноповести "Беня Крик" (1926) и пьесы "Закат" (1928), деградировал как личность ровно настолько, чтобы революционная расправа над ним и его соратниками не казалась столь вопиющей, а палачи вызывали меньшее отвращение. Бабель как бы втолковывает себе,

а заодно и нам, что с этим "пережитком прошлого" по-хорошему нельзя. Чем сильнее крепчал террор, тем отрицательнее и мрачнее становились некогда опереточно-жизнерадостные и обаятельные герои-одесситы. Нравственно обезображенный до неузнаваемости Беня Крик одноименной киноповести существует будто после грехопадения, потому что автор его уже вкусил плодов с советского древа познания добра и зла. Бабелю, сказавшему: "веселый человек всегда прав", стало не до веселья. Он понуро поменял раблезианскую тональность одесского цикла на соцреалистическую. Социальный заказ победил художество. Перед нами не эстетика, а политика.

Остап Бендер и Гумберт Гумберт не заштатные преступники, а теоретики и идеологи порока, каждый своего. Им, гулливерам, просто невозможно в силу природной принадлежности к иной, более высокой "весовой категории" принять близко к сердцу заботы и энтузиазм лилипутского окружения. "Мне скучно строить социализм", – жалуется Бендер. Мается и насмешничает Гумберт Гумберт, пока встреча с Лолитой не преображает на корню его вялой и ущербной жизни. Но бесспорное духовное и умственное превосходство, пресыщенность знанием повадок и обычаев человеческой мелочи, обрекая на демоничное одиночество, в то же время делает их аферы до поры удачливыми, позволяет манипулировать встречными персонажами, "ходить" ими, как шахматными фигурами. Плоские мотивы поведения и реакции окружающих, их межеумочные речевки на все случаи жизни ясны нашим "разносторонним" героям как божий день и до зевоты предсказуемы. Пока длятся несколько тягостных минут молчания с глазу на глаз, Гумберт Гумберт свысока сочувствует простецу-мужу своей бывшей возлюбленной, "которому каким-то ужасным, почти гипнотическим способом я мешал произнести единственное замечание, которое он мог придумать ('Девчонка у вас первый сорт...')". Сходным образом "снимает" реплику с языка собеседника и Остап Бендер: "Бросьте, Адам! – сказал великий комбинатор. – Я знаю все, что вы намерены сделать. После псалма вы скажете: 'Бог дал, бог и взял', потом: 'Все под богом ходим', а потом еще что-нибудь лишенное смысла, вроде: 'Ему теперь все-таки лучше, чем нам'". Бендер признается мимоходом: "Я невропатолог, я психиатр. Я изучаю души своих пациентов. И мне почему-то всегда попадаются очень глупые души". Что-то подобное мог бы сказать о себе и Гумберт Гумберт. Но оба демиурга в конце концов терпят поражение.

Проигрыш Гумберта Гумберта – крах в превосходной степени, поскольку герой выбрал "обособленный мир абсолютного зла", схлестнулся с природой вещей, и, невзирая на сострадание, которое такой отщепенец может вызывать, мы воспринимаем его поражение как должное: свершилось то, чему свершиться надлежало. Трагический финал "Лолиты" не противоречит нашему метафизическому инстинкту. Примерно так человек смиряется со сменой дня и ночи, чередой времен года, возрастной, что называется, "своей" смертью – со всем непререкаемым, не зависящим от его воли. Гибель богоборца – зрелище торжественное и поучительное, оно и предстает в виду "черной вечности". Но жизненная неудача Бендера ничего, кроме бессильной досады, вызвать не может, как явное и наглое торжество противоестественного отбора – сильный проиграл слабым. Этот герой уступает не миропорядку, а правопорядку,

да еще и надуманному, сгодившемуся в "отдельно взятой стране"! Наученный советским жизненным и культурным опытом, читатель дилогии с тоской предчувствует недоброе — и его предчувствия сбываются: ихняя снова взяла... Спасибо еще, соавторы не унизили героя вконец и не поставили его "на путь исправления". Гумберт Гумберт разбивается об онтологию, Бендер — о политэкономию: бедный Бендер!

В панике перед придвинувшейся пустотой оба маньяка было избавляются от своих маний, идут на попятную, чтобы попробовать жить по-людски в высмеянном ими же рутинном обществе. Но сломленная в отрочестве Лолита и Зося Синицкая, любовью которой Бендер некогда пренебрег в погоне за богатством, уже примкнули к человеческому большинству и отказываются спасать: одна — своего губителя, другая — обидчика. Положение безвыходное, и героям не остается ничего другого, как совершить по последнему отчаянному преступлению — в последний раз пересечь границу: Остапу Бендеру — государственную, Гумберту Гумберту — нравственную.

И на протяжении обоих повествований сперва Бендер, а через двадцать с лишним лет и Гумберт Гумберт на разные лады взывают к присяжным заседателям. Ей-богу, кажется, будто Набоков, обычно предельно скрытный во всем, что касается его литературной "кухни", из хулиганства распахнул на мгновение дверь в святая святых.

Счастливо сочетая в себе блестящие аналитические способности с огромным пластическим дарованием, удивительным образом "скрестив" алгебру с гармонией, Набоков взял "на стороне" и привил "Лолите" очень близкий себе по духу и во вкусовом отношении набор персонажей и ситуаций, но изменил заемный расклад сил, по-своему расставил акценты, оделил собственным пафосом. Он и вменял себе в обязанность и заслугу "внимательно изучать творчество соперников" и "не только вновь перемешивать части данного мира, но и вновь создавать его".

Вот как Гумберт Гумберт задабривает Лолиту: "Тут-то я поднес свой сюрприз. <...> Она направилась к раскрытому чемодану, как будто подстерегая издали добычу, как будто в замедленном кинематографе, вглядываясь в эту далекую сокровищницу на багажных козлах <...>, затем она подняла за рукавчики красивую, очень дорогую, медного шелка, кофточку, все так же медленно, все так же молча, расправив ее перед собой, как если бы была оцепеневшим ловцом, у которого занялось дыхание от вида невероятной птицы, растянутой им за концы пламенных крыльев. Затем стала вытаскивать (пока я стоял и ждал ее) медленную змею блестящего пояска и попробовала на себе. Затем она вкралась в ожидавшие ее объятия, сияющая, размякшая, ласкающая меня взглядом нежных, таинственных, порочных, равнодушных, сумеречных глаз — ни дать ни взять банальнейшая шлюшка".

А вот так Остап Бендер приманивает свою жертву: "И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко. <...> На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала: — Хо-хо! Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и <...> галант-

но раскланялся". И оба героя, как видим, добились, чего хотели — каждый своего.

А вот в каком интерьере живут несчастные питомицы "мещанской вульгарности". Лолитина комната: "Реклама во всю страницу, вырванная ею из глянцевитого журнала, была приколота к стене над постелью, между мордой исполнителя задушевных песенок и длинными ресницами киноактрисы. <...> Под этой картинкой была другая — тоже цветная фотография. На ней известный драматург самозабвенно затягивался папиросой "Дромадер". Он, мол, всегда курил "дромки". <...> Ниже была Лолитина девственная постель, усеянная лубочными журнальчиками". Теперь — жилплощадь Эллочки-людоедки: "Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены".

Если побороть огромную симпатию и сострадание к девочке, которые мастерски внушены нам Набоковым, и встать на точку зрения статистики, Лолита и Эллочка — одного поля ягоды, социально-психологические двойники. Даже такой параметр, как словарный запас, у них соизмерим и на редкость убог: у Лолиты, по подсчетам ее педагогов, он составляет двести сорок два слова, а у Эллочки — тридцать. Обе героини — простодушные и непритязательные выкормыши массовой культуры. Прелестная по молодости лет Лолита и ее более чем ординарная мать — две возрастные ипостаси одного и того же, на взгляд Гумберта Гумберта, характера. Остальное — дело писательского подхода и специфики дарования. Где у Ильфа и Петрова — окарикатуривание человека, у Набокова — очеловечивание карикатуры; а исходный человеческий материал вполне однороден.

Разные характеристические черты Эллочки-людоедки и мадам Грицацуевой, смешанные опытным "провизором" в выверенных пропорциях, поучаствовали в появлении на свет и Лолиты, и Шарлотты Гейз.

Двух вдов — и мадам Грицацуеву, и Шарлотту — авторы оделили громоздкой оперной страстностью. У первой бугры Венеры "походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности". А мать Лолиты, несмотря на лошадиную дозу снотворного, которым украдкой накачал ее Гумберт Гумберт, "от такой простой вещи, как поцелуй в ключицу, <...> проснулась тотчас, свежая и хваткая, как осьминог..."

Обе — беззаветные "душечки" при залетных мужьях. Грицацуева зовет Бендера Сусликом, считает, веря на слово, большой советской шишкой, "обожает и очень боится"; Шарлотта величает своего супруга "божеством и властелином", держит за писателя, зовет Гумочкой.

Обе, вопреки фактам и очевидности, цепляются до последнего за матримониальную надежду. Вдова безропотно, как собачонка, гоняется по редакционным коридорам за Бендером, а Шарлотта, даже узнав — куда уж ясней! — ужасную правду об истинных причинах женитьбы на ней Гумберта Гумберта, все-таки пишет ему напоследок письмо, в котором строит планы мелодраматического примирения.

Две мещанки — слепые орудия в руках циничных демиургов. Общность абсолютно утилитарного со стороны "спутников жизни" отношения к этим одушевленным средствам для достижения цели навязывает рассказу о Шарлотте и Грицацуевой и общий, донельзя издевательский

тон. Разумеется, со скидкой на различие литературных задач, решаемых Ильфом и Петровым и Набоковым, поскольку дилогия – сатира с привкусом психологической драмы, а "Лолита" – психологическая драма с примесью сатиры.

И обеих дур, в конце концов, жалко, как всякое, даже очень пошлое, но обманутое в своем доверии человеческое существо.

Третьестепенные персонажи Набокова также, случается, отмечены "родимыми пятнами" фамильного сходства с обитателями дилогии.

Максимович-"Таксович" (вспомним Козлевича из "Золотого теленка", тоже таксиста) с сарказмом назван "советником царя". На диво похожим – и по сути, и по форме – образом представляет Остап Бендер собравшимся горе-заговорщикам из "Союза меча и орала" Воробьянинова: "Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это – гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору".

Злая пародия на семейную драму, уморительная и жалкая процедура передачи жены с рук на руки – от мужа к любовнику – происходит и в "Золотом теленке", и в "Лолите" и выдержана примерно в одной тональности. У Ильфа и Петрова счастливый соперник урезонивает брошенного мужа: "Как вам не стыдно, Васисуалий Андреич, – сказал заскучавший Птибурдуков, – даже просто глупо. Ну, подумайте, что вы делаете? На втором году пятилетки..." По существу происходящего и, главное, по неправдоподобному градусу пошлости не уступают этой сцене и обстоятельства разрыва Гумберта Гумберта с первой женой: "...я могу поклясться, что полковник преспокойно советовался со мной по поводу таких вещей, как ее диета, регулы, гардероб, и книжки, которые она уже читала или должна была бы прочитать. 'Мне кажется', – говорил он, – 'ей понравится Жан Кристоф – как вы думаете?'"

Как видим, Набоков поживился не только характерами дилогии, но и ситуациями – воистину "талантливый автор заимствует, гений – крадет" (Т. С. Элиот).

И "Золотому теленку", и "Лолите" предпосланы "вступления" вымышленного, но образцово-показательного педанта, который – Ильфом и Петровым незамедлительно, а Набоковым в отдельной заметке – ставится на место.

Неумелая драка двух немолодых маньяков-соперников, перемежаемая более-менее чинным и не вполне относящимся к делу диалогом, есть и у Набокова, и у Ильфа и Петрова. Имеется в виду сцена убийства Гумбертом Гумбертом Клэра Куильти и возня Воробьянинова и отца Федора из-за стула.

Глумливо-двусмысленные телеграммы, адресованные Бендером Корейко, хорошо накладываются на издевательские каламбурные записи, оставляемые для Гумберта Гумберта Клэром Куильти в регистрационных книгах гостиниц. Есть даже одна запись с черноморским душком: "П. О. Темкин, Одесса, Техас". Двадцать с гаком лет назад угрожающую бессмыслицу, сходного "'жанра', типа юмора", доставляла подпольному миллионеру почта Черноморска (Одессы): "Грузите апельсины бочках братья Карамазовы". И все эти злорадные послания целят в болевые точки соперничества, туманно намекают на тайну адресата.

Чтобы впрок нагнать страху на Корейко и приучить его к мысли о близящейся и неизбежной "экспроприации" его нетрудовых сбережений, Паниковский увязывается за ним на улице с криком "Дай миллион!". А в дождливую ночь на пороге коттеджа, где остановились Гумберт Гумберт и Лолита, появился (или померещился вконец издергавшемуся герою) "человек, державший перед лицом маску, изображающую Чина, гротескного детектива с выдающимся подбородком, приключения которого печатались в комиксах".

И там и там звучит волнующий мотив рассекречивания и разоблачения, впрочем, ложного — упоминание имени преступного героя в периодической печати, но оба раза по поводу, не имеющему отношения к составу преступления. В "Двенадцати стульях" — это объявление в "Станке" о попадании Бендера под лошадь, а в "Лолите" — свадебное интервью с Гумбертом Гумбертом в соответствующей рубрике местной газеты. Когда же Гумберт, тоскуя по утраченной возлюбленной, поднимает в библиотеке подшивки "Брайсландского Вестника" в надежде найти следы невозвратного прошлого, он обнаруживает в разделе светской хроники намек (и не придает ему значения) на давнее и одновременное с ними, Гумбертом и Лолитой, пребывание в отеле "Привал зачарованных охотников" и Клэра Куильти, который, к досаде репортера, отказался фотографироваться. Остап Бендер, повинуясь тому же криминальному рефлексу, в свою очередь потребовал: "Уберите фотографа!"

Это, конечно, "блохи", мелочи, но я думаю, что "призматическое сознание" Набокова (термин, Набоковым же и выдуманный для объяснения механизма пушкинских заимствований и преломлений) не гребовало мелочами: все могло пригодиться — даже от противного.

Ильфа и Петрова осуждали, и скорее всего справедливо, за Васисуалия Лоханкина — злой шарж на интеллигента, сделанный в самый неподходящий исторический момент: лежачих не бьют. Надежда Мандельштам неспроста окрестила Ильфа и Петрова "молодыми дикарями". Набоков тоже умел пройтись насчет интеллигенции с ее отзывающими нафталином святынями. Но и Набоков, и интеллигентные рутинеры были товарищами по несчастью — эмигрантский писатель (тогда еще Сирин) сам принадлежал к "лежачим": это несколько меняло дело.

В 1937 году Набоков "дал сдачи" Ильфу и Петрову, вступился за Лоханкина. Расстановка сил в рассказе "Озеро, облако, башня" примерно такая же, как и в Вороньей слободке: праздный созерцатель и безнаказанное быдло в сознании собственной правоты. И в коммуналке "Золотого теленка", и на загородной экскурсии "Озера, облака, башни" доходит до рукоприкладства. Но там, где "близнецы" провоцируют читателя на нехорошее веселье, Набоков-Сирин дает знать, что "жалость" — пароль его будущего героя, Джона Шейда, — это и авторское кредо.

Вернемся к "Лолите". Единственным, кроме отельных служащих, и анонимным собеседником Гумберта Гумберта в "Привале зачарованных охотников" оказывается Клэр Куильти, в ближайшем будущем — соперник и недруг главного героя. А первым человеком, повстречавшимся в Черноморске Бендеру и компании, приехавшим в город по душу Корейко, был как раз Корейко собственной персоной.

Чем несчастней и греховней чувствует себя Гумберт Гумберт, лишившись Лолиты, тем сильнее разыгрывается его "метафизическое любо-

пытство". В конце концов он обращается за помощью к католическому священнику, "надеясь вывести из чувства греха существование Высшего Судии". Тщетно: "Увы, мне не удалось вознестись над тем простым человеческим фактом, что какое бы духовное утешение я ни снискал, какая бы литофаническая вечность ни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолиту забыть все то дикое, грязное, к чему мое вожделение принудило ее. Поскольку не доказано мне <...>, что поведение маньяка, лишившего детства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, не имеет ни цены, ни веса в разрезе вечности <...> (а если можно это доказать, то жизнь — пошлый фарс...)" Радикальность мысли Гумберта Гумберта не уступает метафизическим выкладкам Ивана Карамазова!

Но и Бендер, опустошенный исполнением собственного заветного желания и в результате оставшийся в духовном смысле "у разбитого корыта", тоже взыскует ответов на вечные вопросы и тоже направляется за разъяснениями к представителю жреческой касты — на сеанс к заезжему индусскому философу... Но гуру едва вяжет лыко от восторга перед Страной Советов и переадресует все вопросы смятенного гостя его же суровому отечеству.

Мальчиково-уголовная мечта Остапа Бендера о Рио-де-Жанейро задела краешком своей тени и "Лолиту". Карнавально-опереточные, помноженные на подростковое чтение ассоциации с Латинской Америкой, континентом вечного праздника и пряной порочности, не чужды и Гумберту Гумберту и выдержаны примерно в одном с грезами Великого комбинатора полусерьезном ключе: "мы покатили бы в Южную Калифорнию, направляясь к мексиканской границе, к баснословным заливам, к сагуаровым пустыням и фатаморганам". Иронически вторит этим инфантильным представлениям и Клэр Куильти, заговаривая Гумберту Гумберту зубы, чтобы оттянуть миг расправы над собой: "Не исключен даже старомодный поединок, на саблях или пистолетах, в Бразилии или другом удобном месте". — "На мясорубках", — подсказывает коллега Бендер.

В финальном эпизоде "Лолиты" Гумберт Гумберт, захваченный приступом недомогания на пустынной горной дороге, куда завели его поиски бежавшей возлюбленной, собирается с силами и немножко прогуливается вокруг машины. "Когда я подошел к ласковой пропасти, до меня донеслось оттуда мелодическое сочетание звуков, поднимавшихся, как пар, над горнопромышленным городком, который лежал у моих ног в складке долины. Можно было разглядеть геометрию улиц... <...> Мелодия, которую я слышал, составлялась из звуков играющих детей..." А герои "Золотого теленка" после очередного дорожного конфуза от нечего делать глазеют с обрыва. "Внизу на тарелочке лежал незнакомый город. Он был нарезан аккуратно, как торт. Разноцветные утренние пары носились над ним. Еле уловимый треск и легчайшее посвистывание почудилось спешившимся антилоповцам. Очевидно, это храпели граждане". Невозмутимо пройти мимо этих совпадений не получается.

После нескольких недель похода по параллельным местам "Лолиты" и дилогии я почувствовал, что у меня ум заходит за разум от мнительности и бдительности. О небезопасных последствиях подобных штудий предупреждал и Набоков, предпринявший свою грандиозную экспеди-

цию — "Комментарии к 'Евгению Онегину'": "Эта цепь реминисценций может превратиться у схолиаста в разновидность помешательства..."

Скрупулезно, как при описи, помечая "чужое имущество" в хозяйстве Пушкина, Набоков-литературовед вовсе не думал разоблачать автора, выводить его на чистую воду. Время от времени комментатор как бы спохватывается и отметает подобные подозрения, возникни они вдруг у иного чрезмерно наивного читателя в связи с очередной пушкинской "задолженностью": "образ, заимствованный из книг, но блестяще переосмысленный великим поэтом, для которого жизнь и книга были одно..."

Искусство от века и занято содержательным переливанием из пустого в порожнее. Оно развивается, как неторопливое дерево, наращивая одно за другим — от автора к автору — свои "годовые кольца". Только человек совершенно "с улицы" может верить в непосредственность и полную оригинальность искусства и вздыхать о них.

Такая сложная, сугубо людская и "факультативная" отрасль жизни, как искусство, в принципе не может отвечать требованию буквальной непосредственности. Настоящее искусство не умеет быть неискушенным, хотя иногда, по замыслу автора, и прикидывается таковым. Клоун, "неумело" вихляющийся на канате, — разумеется, канатоходец высокой пробы.

Если существуют вечные истины, то есть и вечные заблуждения: одно из них — требовательное ожидание абсолютной авторской оригинальности, толкуемой самым расширительным образом. Оригинально только собственно дарование, как неповторим телефонный номер, но не его цифровой состав. Периодическое напоминание этой аксиомы необходимо, чтобы вредные предрассудки не мешали испытывать эстетическую радость и воздавать должное таланту автора.

Большой художественный прорыв "Лолиты" засосал, как черная дыра, многое из близлежащего и мало-мальски значимого, в том числе "Лолита", не колеблясь, "присвоила" и дилогию "близнецов" — так река присваивает приток.

Задание, с которым блестяще справился Набоков, состояло в том, чтобы перевести относительно мажорное звучание дилогии в минорный лад, подвергнуть полюбившуюся мелодию радикальной аранжировке. Творческая переделка (в обоих смыслах слова), милая сердцу многих классиков и сочувственно отмеченная Набоковым в комментариях к "Онегину": "Пушкин имел удивительное пристрастие черпать материал из комических источников".

Но и Пушкин не прост. Умение не брезговать низкими жанрами для него — отличительная черта настоящего поэта.

Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены.

Именно пушкинский Сальери шокирован и возмущен потугами уличного скрипача сыграть Моцарта, самому-то Моцарту такая профанация только в радость.

Само по себе “высокое” и “низкое”, по-настоящему смешное и действительно печальное принадлежат одной эстетической плоскости и могут сочетаться и меняться местами без принципиальных затруднений.

В “Лолите” заметны — иногда очевидные, иногда едва уловимые — следы полезного присутствия “гениальных близнецов”. Так при внимательном взгляде на пустую хорошо знакомую комнату чувствуется: здесь кто-то был — телефонная трубка еще замутнена чьим-то дыханием, блестит сливовая косточка в вазе с фруктами... И если постараться, можно угадать, *кто* этот кто-то.

Любитель литературы, подверженный воздействию набоковского магнетизма, плутает в декорациях писательской фантазии, как по лесу, а автор дразнит его и аукает с самой невероятной и непредсказуемой стороны. Набоков организовал “тайный сговор слов” и сделал читателя его признательной жертвой, готовой к любым внезапностям.

Писатель умер почти тридцать лет назад, а его вымысел продолжает вовлекать нас в свою оптически-обманчивую область, плодить убедительные галлюцинации, слепить блеском мастерства.

Кажется, имеешь дело с литературным вечным двигателем: слова расположены в таком загадочном порядке, что процесс самозарождения новых смыслов протекает автоматически и непрерывно — бесперебойное производство в абсолютно безлюдном цеху — впору перекреститься.

Что отвечает голому и намыленному Эрнесту Павловичу Щукину эхо пустынной лестницы, когда тот в отчаянье зовет дворника? Как же, оно отвечает ему: “Гум-гум!”

“В *поисках утраченной поэзии*”

Людям, следящим за современной зарубежной поэзией, многое в ней может казаться странным, даже раздражать, обманывать привычные ожидания: ни складу ни ладу, смысл темен, интонация едва различима... Будто поэты-современники не стихи пишут, а вяло медитируют, да еще и поворотясь к читателю спиной. Что произошло? Почему поэт и читатель разминулись и так ли это? Вправе мы говорить о серьезном кризисе в нынешнем поэтическом искусстве или причина массового охлаждения к стихам объясняется косностью читательского восприятия, не поспевающего за развитием поэзии? Или, коль скоро речь идет об иностранной литературе, дело в издержках перевода?

Если бы вина лежала исключительно на переводчиках, неблагополучие не ощущалось бы изнутри: поэтами и читателями, для которых иностранный язык — родной. А оно ощущается, чему свидетельство — резкая статья известного американского поэта Августа Кляйнзалера, ее мы публикуем наряду с другими материалами Литературного гида. А завершает Литгид обзорная статья Антона Нестерова, посвященная современному американскому поэтическому альманаху “Fulcrum”, который, кстати сказать, издается и редактируется нашими соотечественниками, поэтами-билингвами Катей Капович и Филиппом Николаевым.

Словом, проблема существует. Чтобы в первом приближении попробовать разобраться в ней, мы пригласили в редакцию активно сотрудничающих с “ИЛ” литераторов, мнению которых мы привыкли доверять. Предлагаем вниманию наших читателей запись состоявшегося в редакции разговора. Ведет круглый стол поэт, переводчик, кандидат филологии Антон Нестеров.

О *современной зарубежной поэзии*

Круглый стол

Антон Нестеров. Дорогие коллеги! Все собравшиеся здесь занимаются поэтическим переводом, но у каждого из нас есть какие-то другие роли: у кого-то — издателя, у кого-то — куратора, устроителя поэтических фестивалей, кто-то не только переводчик, но и поэт. И все мы, кроме того, читатели поэзии. По моим наблюдениям, в сознании среднего заинтересованного читателя современная западная поэзия ассоциируется с теми поэтами, которые были “на пике формы” в 70-е годы. Все знают, что Аллена Гинзберга нет среди живых, но воспринимается он как живой поэт. А дальше происходит обрыв. Об этом и хотелось бы поговорить. Конечно, мы знаем многих поэтов, которые работают сейчас,

но они в большинстве своем уже поэты-лауреаты. У кого-то есть Нобелевская премия, как у Шеймаса Хини, у кого-то — другая награда, а что мы знаем о тех поэтах, кто пока не отмечен премиями или не будет ими отмечен? Что происходило с переводом поэзии в течение последних 10—15 лет? Как образовалась эта лакуна между современной поэзией, как она есть, и представлениями о ней у читателя в России?

Борис Дубин. Дело в каком-то принципиальном разрыве с современностью. По-моему, современность то ли неинтересна, то ли не дается поэтам-переводчикам. Надо, чтобы она отстоялась, или чтобы появились поэты-лауреаты, или чтобы стили какие-то отстоялись... Оказывается, не только нет слов, чтобы говорить о современных вещах. Но я бы, возьмись я сейчас переводить совсем молодых современных поэтов, не только слов бы не нашел, но и способов смотреть на мир. Оптик, манер чувствовать, которые появились даже не сегодня, но которые там ими и их отцами, предками прожиты, а нами здесь — нет, и без этого их, сегодняшних, не понять. И все же разрыв, по-моему, начался не сегодня, а гораздо раньше. Я вот думаю: есть русский Гёльдерлин? По-моему, нет. А я знаю, каким событием был Гёльдерлин, переводы и издание его книг для французской поэзии. Лучшие франкоязычные поэты — прежде всего Жакоте, но и Дю Буше, Деги и многие другие — занимались тем, что собирали и издавали Гёльдерлина (как, кстати, примерно в это же время и Мандельштама). Поэты, не просто переводчики! Переводчики, само собой, влились в эту работу. Чем было для английских, французских, испанских поэтов (поэтов опять-таки, не просто переводчиков) собрать и издать Целана! Это была целая эпоха, которая подняла их национальные поэзии. Интересно современным русским поэтам разных поколений заняться такими вещами? Вопрос был адресован к нам — я переадресовываю его поэтическому сообществу. Потому что, мне-то кажется, переводческая поэзия и поэзия как таковая — это не разные страны, это — одна страна. Если это неинтересно поэтам, это не будет интересно и переводчикам; и наоборот. Когда и где началась эта потеря интереса? Я помню, у Исайи Берлина где-то есть рассуждение, что он пытался заговорить с Пастернаком о современных поэтах англоязычных, а Пастернак ему, знай, Рильке, Рильке, Рильке... Но Рильке, возразил ему Берлин, это все-таки начало века, а сейчас-то... Да неинтересно все это, сказал ему Пастернак, не важно, что они там делают. Разрыв начался, может быть, после символизма... Вероятно, с тех пор мы — на необитаемом острове; у нас свое отношение к пространству и времени. Я специально сгущаю краски, чтобы это позволило начать разговор.

Евгений Бунимович. Было сказано, что если говорить о поэзии, написанной не на русском языке, то под "современностью" обычно имеют в виду семидесятые годы. Но недавно левадовский ВЦИОМ провел исследование отношений современных студентов к современной поэзии. И надо сказать, что если их спрашивали про имена, а речь шла не о зарубежной поэзии, а о русской, то они останавливались ровно там же: на Вознесенском, на Евтушенко (мало кто назывался вообще — давайте не будем строить иллюзий); и последний, кто приходил студентам на память, естественно, Бродский — последняя такая, я бы сказал, монументальная фигура русской поэзии. И в этом смысле никакого отличия отечественной поэзии от зарубежной нет. Было бы странно для читателей,

которые не знают современную русскую поэзию и не слушают ее, чтобы они вдруг начали читать или слушать современную переводную поэзию. И в этом смысле мне кажется, что и поэзия себя соответствующим образом чувствует. Ведь семидесятые годы — неслучайная точка. Дело не только в том, были или не были стадионы поэтическими аудиториями — но восприятие поэзии, оно было в чем-то, может быть, похожим. Когда мы говорим "поэты-лауреаты", мы признаем, что нам нужны какие-то такие монументальные фигуры... Но давайте не будем себя обманывать: их нет, потому что эта монументальность превращается сегодня в ложную монументальность; если даже она есть, то это выглядит каким-то странным анахронизмом. Или Шеймас Хини и ему подобные чувствуют себя почти обычными современными людьми, которым почему-то дали Нобелевскую премию — и слава богу; или они застыли в той ложноклассической позе, и это вызывает недоумение. Я об этом говорю и как организатор, и как участник разного рода фестивалей. Эти небожители не всегда могут и участвовать-то в международной встрече поэтов, потому что им даже номер надо заказывать в другой гостинице и по другой цене. Мы смотрим со своей колокольни, а вот социология, посвященная тому же предмету, профессионально и грамотно сделанная, очень интересна. Когда нашу молодежь спрашивают напрямую, какой должна быть поэзия, в ответ слышатся какие-то школьные банальности: что она должна быть доступной, понятной, интересной и так далее... (Она на самом деле не должна быть доступной, потому что те, кому хочется доступности, никогда в жизни не придут на поэтический вечер. Вот в чем здесь парадокс.) Так вот, когда социологи попытались обойти такое шаблонное прямое вопрошание и спросили, а какой у вас образ современной поэзии, то образ оказался следующий. Закрытый город, с высокими стенами, с узкими неосвещенными улицами... То есть речь о замкнутости, о непонятности, о чем-то таком, даже о враждебности, опасности. С одной стороны — гетто, а с другой — нечто несущее опасность. По этим улицам страшновато ходить, непривычно уж точно, особенно в ситуации нынешнего отношения к искусству как к такому непременному удовольствию. Это дергает, это некомфортно. И в этом смысле иностранная поэзия некомфортна вдвойне: она еще и написана на другом языке, она требует еще каких-то других реалий... И эта маргинальность ощущается с обеих сторон: и общество так воспринимает поэта, и поэт себя сам так же воспринимает. Лев Рубинштейн рассказывал о том, что в Швеции был очередной поэтический фестиваль. Все происходило на окраине города, да еще ночью — с тем, чтобы просто ни один слушатель туда уж точно не добрался. И когда кто-то добрался все-таки, организаторы смотрели на них как на диковину, потому что слушатели просто и не предполагались. В этом году — может быть, потому, что фестиваль наш был уже не первый раз, — я позволил себе не делать ставку на имена семидесятых годов; я позволил себе обойтись без звезд в президиуме. И смотрел с большим изумлением, что залы кем-то заполнялись, и довольно активно. Если быть объективным, то из этого ничего не следует. Я стал устраивать фестивали поэтов, потому что у меня есть ощущение, что некоторая тяга к восприятию себя в международном — пусть и маргинальном — контексте, как некой суммы этих "городов", существует. Я не случайно назвал это не "фестивалем поэзии", а "фестивалем поэтов". Это потребно прежде всего поэтам. Может быть, мы и придем к ситуации, когда, как уже говорилось, поэты сообща будут переводить книгу кого-то — не знаю кого. Что будут делать при этом

читатели, я совсем не знаю. Может быть, сегодня поэты до этого уже доходят. Такая "ощупь" – я бы назвал это таким словцом – существует, иначе бы я не делал того, что делаю. Для поэта еще и очень важно послушать, услышать, увидеть. Мне не кажется, что здесь нужно какое-то сравнение с прозой – говорилось, что современная проза есть на книжных прилавках, – все-таки проза и драматургия довольно активно реагируют на законы рынка – не в смысле, что "все на продажу", а в прямом смысле слова. Отсюда и действенность премий, кстати говоря. Премии в области прозы совершенно очевидно влияют на тиражи, на рынок и на все остальное. С поэзией происходит что-то другое. Поэзия загадочным образом находится в странных взаимоотношениях с рынком. Потому что спрос и предложение никаким образом не коррелируют. Я думаю, что Марк Фрейдкин, некогда владелец книжного магазина, может подтвердить известное наблюдение, что от спроса на поэзию количество стихов, которое предлагается, никак не зависит. То есть количество жителей этого "города", о котором я сказал вначале, не уменьшается и не увеличивается от того, есть спрос на поэзию или нет. Это тоже интересный феномен. И последнее, что я хотел бы сказать. Появилась еще другая поэзия, которая изначально переводима – по авторскому замыслу. Она сразу написана на эсперанто. Она написана, например, по-русски, но она переводится на любой язык "на раз". Она написана по-французски, но она уже "написана" сразу и по-русски, и по-английски и так далее. Я не стал бы относиться к этому феномену только критически. Хотя меня это пугает: я такой литератор, которого больше всего интересуют извивы родного языка. А они ищут какие-то корневые системы – поразительно, но я это вижу на разных языках. Мне оттого и не нужно называть сегодня фамилии, связанные с русской поэзией, потому что это – международное явление. И с Интернетом вместе оно, мне кажется, распространяется тоже как сеть.

Григорий Кружков. Хочу сделать замечание о "небожителях", которым надо заказывать места в других гостиницах и так далее. То же самое происходит в музыке и в других сферах. Приглашенная звезда получает в сто раз больше, чем весь симфонический оркестр, с которым она играет, хотя, возможно, старший капельмейстер скрипок этого оркестра может сыграть тот же концерт не хуже. Мадонна получает за свои сказочки аванс в тысячу раз выше, чем любой другой начинающий автор детских книжек. Мы живем в такое время.

И второе. Мне кажется, что наблюдение Бунимовича касательно "поэтического эсперанто", то есть стихов, которые переводятся "на раз" и сознательно так написаны, – яркий пример тому, что рыночные законы проникли и в область стихописания. Стихотворец заранее позаботился о том, чтобы снять таможенные заслоны языка и облегчить себе продвижение на новые рынки.

Евгений Бунимович. Но я не вижу экономического эффекта от этого эсперанто, раз уж мы говорим про эти законы.

Марк Фрейдкин. Давайте плясать от печки. Был поставлен вполне конкретный вопрос: что́ есть современная иностранная поэзия и почему она не переводится на русский? Я думаю, что ответ прост – переводчик переводит: а) то, что ему заказали, или б) то, что ему очень нравит-

ся. Это совпадает довольно редко. Но иногда, на счастье, все-таки совпадает. Конечно, можно решить проблему административным путем: скажем, соберется какой-то, условно говоря, комитет культуры, получит под это дело финансирование и скажет, к примеру: "Давайте создадим русского Гёльдерлина". Этот комитет в административном порядке выберет переводчиков, заплатит им хорошие деньги, и сядут наши замечательные переводчики, благо они у нас есть, и в предельно сжатые сроки это дело осуществят. Но это же, как говорится, "антимарксистская утопия". Такого никогда не будет. Но естественный процесс на то и естественный процесс, чтобы протекать самому по себе. Кого-то переводят, кого-то не переводят. Скажем, мои интересы — это в основном XIX век и первая половина XX, как, я думаю, и у большинства здесь сидящих. Это значит, что мы сейчас находимся на таком этапе. И тут уж ничего не поделаешь. Мы же не можем бросить все, как говорится, и засесть за перевод современных поэтов. Никому из нас это не близко, уже хотя бы потому, что здесь собрались люди не очень молодые, а, наверное, переводить нынешних тридцатилетних должны тоже в основном тридцатилетние или, может быть, даже и ребята помоложе. Тем более что поэзия вообще в последнее время принимает несколько иные формы, новые какие-то... Мне иногда случается читать в том же Интернете, что пишут по-английски американцы, англичане, но с моим традиционным ощущением поэзии это никак не пересекается; то есть я это как поэзию даже и воспринимать не могу, хотя, наверно, это я такой урод, а не они не умеют писать. Они действительно пишут на "других" языках, используют другие художественные приемы, которые мне неведомы, рассчитывают на какое-то другое восприятие... Я думаю, что я бы, например, и не смог этого перевести, даже если за это очень хорошо заплатят.

Ирина Кузнецова. Работая в этом журнале, я довольно много имела дело с переводами французских стихов. Что приходит в редакцию так называемым "самотеком", то есть каких поэтов переводчики — как правило, начинающие — охотнее всего переводят и предлагают для публикации? Сплошным потоком идут Верлен, Рембо; Рембо, Верлен; Малларме. Крайне редко присылают вторую половину XX века. А если вдруг приходят совсем современные стихи — то это просто катастрофа, потому что их почти никто не умеет переводить!

Дело в том, что во французской поэзии годах в пятидесятых—шестидесятых произошла очередная революция, с которой, как мне кажется, и начинается, собственно, современная поэзия во Франции. Новое поколение поэтов объявило тогда войну наследию сюрреализма, обвиненного в "сплошной метафоризации реальности". Его эстетику Франсис Понж, например, назвал "романтико-лирической раковой опухолью" поэзии. И вот, стремясь очистить поэтическую мысль от лирических красивостей, новаторы слегка перестарались: отправили на свалку истории не только рифму и поэтические тропы, но едва ли не все поэтические средства вообще. Они загнали себя в такие жесткие рамки, довели дело до такого лаконизма, что в их стихах для поэзии как-то не осталось места.

Не помню точно, кто из французских критиков назвал те годы в поэзии "периодом оледенения". Он продолжался довольно долго и, как мне кажется, только недавно обозначилась оттепель.

Стихи состояли из двух-трех слов в строке, даже не всегда связанных между собой грамматически. И когда, уже в конце семидесятых, мы пы-

тались переводить новую французскую поэзию на русский — это уже здесь немножечко разрешалось и даже стали приезжать поэты из Франции, — мы их спрашивали: "А что за каждым вашим словом стоит? Мы-то чем должны наполнить такую пустоту? Что мы должны за этим прочесть?" Потому что за лаконизмом китайской или японской поэзии для китайцев и японцев стоят века традиции, множество ассоциаций, неизбежно возникающих у образованного человека. А тут, в каком-то смысле, пейзаж после битвы, tabula rasa. В России по сей день очень мало кто хочет и умеет это переводить. Потому что у нас пока не было "периода оледенения", слава богу.

Григорий Кружков. Вот что я слышал от Томаса Венцловы два или три года назад. На выступлении его спросили о французской поэзии (а вы знаете, что Венцлова — филолог, а не краснобай, его статьи о поэзии всегда написаны сухо, толково и по делу), так вот он ответил: "Коротко говоря, французская поэзия умерла".

Евгений Бунимович. Я хочу напомнить вам, что Булат Окуджава то же самое сказал про русскую поэзию. Это нормально для каждого поколения поэтов — считать, что вместе с ними поэзия умирает, и было бы странным и неестественным, если бы они реагировали иначе. Я не думаю, что наш разговор будет плодотворным, если мы будем считать, что все, кроме нас, умерли, и в этой гордой советской исключительности остановимся. Я хотел вот что сказать по поводу французской поэзии. Здесь есть большая проблема, мне кажется: существуют ли сегодня молодые профессиональные переводчики поэзии — я их с трудом находил для нужд фестиваля. Вместе с отсутствием заказов, видимо, должны исчезнуть и переводчики. Наверное, когда запретят всем печататься, все снова перейдут в перевод. Но современную поэзию все-таки должны переводить современные поэты. Проблема французской поэзии не в том, что французские поэты плохи, — я с этим не согласен абсолютно — есть и замечательные поэты; просто у нас нет соответствующего русского контекста поэзии, через который это можно было бы передать. Это неправда, что это только в японской поэзии богатый культурный контекст. Для интеллектуального француза за этими вроде бы простыми словами стоит довольно многое. Но когда мы будем передавать это теми же словами, то это не даст никакого эффекта, потому что нет этого самого контекста.

Ирина Ковалева. Я хотела бы вернуться к определению современной поэзии. Слушая уважаемых коллег, я пришла к выводу: все, видимо подсознательно, исходят из ощущения, что "современная поэзия" — это поэзия тех, кому тридцать лет или меньше. Но разве те поэты, которым за пятьдесят, не современны? В прошлом году я перевела книгу прекрасного, не побоюсь сказать — великого — греческого поэта Мильтоса Сахтуриса, который родился в 1919 году и — дай Бог ему здоровья — пишет еще и сейчас, и пишет великолепно, — разве это не современная поэзия? Разве перестала быть современной поэзия Бродского? Кроме того, мне кажется очень важным, что есть современность восприятия поэзии помимо современности написания текста. Это то, что, вероятно, имел в виду Борис Дубин. Если бы сейчас был сделан свежий "русский" Гёльдерлин, он стал бы нашим современным поэтом, потому что для тех, кто не

читает по-немецки, его отсутствие — огромная лакуна. Здесь существует какое-то наложение или неналожение, если можно так выразиться, звуковых волн. Такова особенность нашей истории, что даже своих собственных поэтов мы узнаем подчас совсем не тогда, когда они писали. В каком-то смысле можно сказать, что Мандельштам стал поэтом шестидесятых годов — когда его стихи получили широкое распространение в самиздате, а в семидесятых, после выхода его книги в "Библиотеке поэта", им зачитывалось целое поколение, и не случайно ближайшим продолжателем Мандельштама в русской поэзии стала Ольга Седакова, именно в семидесятые—восьмидесятые годы. То же и с Кавафисом, чьи стихи в русском переводе впервые были напечатаны в 1967 году, а потом в 1984 году вышла маленькая его книжечка, и она стала событием не только для поэтов, но вообще для читающего сообщества. Важно поэтому, чтобы было какое-то наложение звуковой волны, чтобы был опыт в русской поэзии, на который было бы можно ориентироваться. Я сейчас работаю над большим томом переводов греческих сюрреалистов. Греческий сюрреализм опирается, разумеется, на французскую традицию. А на русском языке, в русской поэзии все-таки в таких масштабах сюрреализма не было. Можно спорить об отдельных именах, можно называть обэриутов или Поплавского, но русского сюрреализма как явления не было и нет. Я читаю переводы французских сюрреалистов на русский язык и смотрю, как это сделано. Но достаточно ли этого, чтобы греческие сюрреалисты зазвучали по-русски? Зато я льщу себя надеждой, что, если мы это сделаем хорошо, может произойти что-то новое и в русской поэзии, и по-новому может пойти и развитие искусства перевода.

Асар Эппель. Переводческого успеха как такового не существует. Клонировать мы ничего не можем. Единственное, что возможно, это на основе заинтересовавших нас чужих стихов создать некие убедительные подобия, которые, по нашему мнению, привлекут читателя. Отсюда совершенно логично предположить, что нас — тех, кто трудится в стихии русской поэзии, — не может интересовать невнятная и вялая чепуха типа с претензией набранных на странице каких-нибудь трех-четырех слов — потому что за ними ничего нет, разве что некое присутствие автора в чужеземной литераторской тусовке, скажем во французской или в какой-то еще. Это все равно, что искать золото на глиняном косогоре, где накопаешь одну только глину, поскольку золота там нет и быть не может.

И тут я бы хотел указать на весьма важный поэтический феномен, о котором мы никогда, пожалуй, не задумываемся. Что меня, читающего, располагает к стихам? Во-первых, подключение к метафорам и прочим приемам устройства поэтической речи, являющих мне мир в большем обилии оттенков; во-вторых, сочетание этого с какой-то оригинальной мыслью или парадоксом, завораживающих и дополняющих мою мысль и мое отсутствие парадоксов. Но есть еще нечто — хорошие стихи обновляют лексику, гальванизируют язык. То есть затертое и серое в расхожей речи слово, помещенное талантливой рукой в стихотворную строку, как бы расчищается, обновляется, воскресает, и мы, сами того не осознавая, вовлекаемся в чтение поэтического текста, дабы увидеть наскучившие нам слова в удивительном бальном блеске. Это приключение особое. Простейший поход за прекрасным.

На Западе царит верлибр, почему – нам известно. В определенном смысле исчерпался язык. Штольни же языка русского не выработаны и не исчерпаны. Причем по совершенно объективным причинам: из-за подвижного ударения, из-за богатейшей флективной системы. Мы, скажем, спокойно можем исписать несколько страниц уменьшительными от имени Петя: Петюня, Петюля, Петюнчик, Петюлюнчик, Петяша – и так далее... Немцу же доступно видоизменить апостольское это имя максимум в трех-четырех вариантах. Русский язык – язык великий и замечательно приспособлен для делания поэзии. Другого такого языка в Европе, пожалуй, нет. И во многом поэтому современная русская поэзия все еще хороша, а в талантливых образцах просто отменна. И – обратите внимание – слово "отменна" по отношению даже к очень и очень качественным закордонным верлибрам почему-то неприложимо. Разве не так? Хотя все те, кто "освобождался" от оков рифмы и ритма, перекочевывая в стихию верлибра, делали правильное дело, уводя поэтическую мысль от формальной скованности, от почти полностью отслуживших в их языках форм стихосложения. И сделали. Корифеи нового слога прекратили вертеть бесперспективную шарманку.

В русском же стихотворчестве шарманка эта на всех поэтических перекрестках исправно играет берущие за душу мотивчики, ибо в нашей речи ничего не исчерпалось, а удающиеся некоторым поэтам верлибры выглядят просто шальной удачей... Ритм, темп, метр – по сути своей феноменальны. Вот мы смотрим фильм, который видели десятки раз. В фильме – погоня. Каков будет результат этой погони, нам известно. Но мы все равно вовлекаемся и горячимся – догонит или не догонит? Организатор нашего дыхания и сердцебиения – ритм. Именно он верховодит в традиционных формах стиха. Инверсии, употребляемые ради него, метафоры, сокращающие дистанцию между понятиями, крупные планы гипербол будоражат нас и "забирают". Именно тут нескончаемое множество преимуществ, и мы еще можем копать в этих шахтах (когда-то они, вероятно, исчерпаются, но близкой катастрофы я не вижу)... Так почему же надо принимать всерьез тиражируемый плохими поэтами свободный стих, его примитивные паузы и ничего не значащее суемудрие? Он же изготовляется незамысловато. На столе, скажем, стоит бутылка. Пишем: "На столе". Новая строка: "стояла". Новая строка: "бутылка". Новая строка: "Зачем стояла?". Получается якобы незаурядная рефлексия. Для безнадежных графоманов доступ к таковому сочинительству безграничен. Даже слово "метроман" в данном случае неприменимо, ибо метра никакого нет по определению. И что: сразу бросаться переводить?

В польской поэзии, – которой я занимаюсь, – по этой причине сейчас пустовато. О немногих мастерах я не говорю. И что же, перевоплощать пустоту в новую пустоту?

Антон Нестеров. Мне бы хотелось вставить реплику, которая немножко, может быть, внесет ясность. Можно говорить о двух типах современной поэзии. В какой-то критической статье мне попалась прекрасная саморазоблачительная формула: "производство поэтического высказывания" – такой сборочный конвейер. Мы привыкли читать подобное даже не вздрагивая. А как насчет "производства поэтического свидетельства"? Стоит формулу чуть переиначить, как она сразу выдает, сколь она фальшива. Настоящая поэзия – это свидетельство о мире.

Свидетельство о том мире, в котором мы живем и с которым каждому из нас, переводчиков, интересно вести диалог, платя временем жизни за удовольствие поделиться чужим поэтическим открытием с кем-то, кто этого не может прочесть на данном языке. А когда мы утверждаем, что сейчас переводить нечего, мы тем самым признаем, что современный мир о себе не свидетельствует. Или нам неинтересно говорить с миром вне ареала русского языка, и мы живем с ним в каких-то разных временных измерениях. Или у нас не хватает сил, энергии на то, чтобы расслышать в чужих голосах что-то очень важное, что касается нас самих, нашей жизни – здесь и сейчас. И не обязательно такой самой важной для нас вестью окажутся слова современника. Может быть, для кого-то ею будет слово Шекспира, для кого-то – Лорки. Но это свидетельство, услышанное на другом языке, объясняет нам нас самих сегодня...

Григорий Кружков. Поэзия – не магазин женских мод, она не может обновляться с каждым новым сезоном. Всегда находились азартные молодые (и не очень молодые) люди, которые кричали, что старая поэзия протухла. Бывают тухлые времена и тухлые мозги; но настоящие поэты обладают преимуществом ангелов Сведенборга, среди которых "наиболее старые кажутся самыми молодыми". Я против того, чтобы раздувать ажиотаж относительно современной поэзии, якобы непонятой и непереведенной. Не существует никакой "современной" поэзии, как не существует осетрины первой и второй свежести. Это – миф. Существует просто поэзия, которая нормально живет, питается традицией и обновляется, как все живое. Несмотря на все изгибы, она непрерывна. В общественном сознании – да, бывают разрывы, когда общество отказывается от наследия многовековой культуры и заменяет его симулякрами. Так было, например, в 1920-х годах, когда поэтами считались Жаров, Безыменский и прочие новосоветские рифмоплеты. Дореволюционную поэзию отвергли. О Мандельштаме и Ахматовой писали, что это живые мертвецы и они ничего не способны понять в новой действительности. Господи, зачем же мы сами себя унижаем и хороним, заявляя, как Марк Фрейдкин, что, мол, "я это как поэзию даже и воспринимать не могу, но это я, наверное, такой урод!" Впрочем, так уже было. Пастернак тоже называл себя "уродом", помните: "Иль я – урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста?" Видите, ситуация повторяется. Сейчас мы тоже наблюдаем деятельность весьма агрессивных симулякров, но уже в глобальном масштабе. Просто идеи коммунистической уравниловки сменились идеями рыночно-потребительской уравниловки. Но мне лично неохота, задрав штаны, бежать за этим новым комсомолом или "мериться пятилеткой" (как сказано у Пастернака). Тут прозвучали упреки в "гордыне" и "маргинальности". Я не считаю себя маргиналом, и, конечно, не считаю маргиналами Томаса Венцлову, Анатолия Гелескула, сидящего здесь Асара Эппеля и многих других, высказывающих сходные мысли. В соответствии с прямым значением слова маргинальными я считаю те явления, которые существуют на пограничье (margin) между вчера и завтра и живут не за счет своего собственного веса и значения, а за счет завихрений времени и пространства. Как пена на берегу. Известно, что она состоит из пузырей, довольно быстро лопающихся.

И еще – о нынешних французских поэтах, которых якобы никто не может перевести. Бунимович говорит, что это "замечательные поэты;

просто у нас нет соответствующего русского контекста поэзии, через который это можно было бы передать". Как это так? Баллады Франсуа Вийона перевели, даже те, что написаны на воровском арго XV века; Ронсара с Дю Белле перевели; "про́клятых поэтов", включая все хулиганства и озарения Рембо, перевели; неуловимого Малларме – тоже; сюрреалистов – только что вышел прекрасный том, составленный Михаилом Ясновым, – отлично перевели. Самые каламбурные и перчёные песни Брассенса – очевидно непереводимые – тот же Марк Фрейдкин переводит с блеском. А вот это самое – "бутылка – стояла – на столе" – не можем! То есть можем, но счастливая дрожь по хребту не пробегает. А нам говорят: надо перевести так, чтобы дрожь! А не можете, значит – "слабеющие силы вам начинают изменять и вы должны, как старожилы..." И прочее. В общем, требуют восхищения и покаяния. Но ведь речь-то идет о платье голого короля.

Конечно, сей предмет туалета – вещь интимная, и разговаривать о нем принято шепотом. Но вот американец Артур Кляйнзалер, с чьей статьи устроители сегодняшней дискуссии, по-видимому, предполагали начать разговор[1], решился, как тот андерсеновский мальчишка, нарушить приличия. Он пишет о кризисе американской поэзии, не щадя ни профессионального, ни национального самолюбия, доходя порой до весьма энергичных выражений. И я вполне понимаю его пафос. Поэзия в США и в Англии мутирует; школы, факультеты creative writing и – страшно сказать! – кафедры английской литературы устанавливают чудовищно низкие стандарты. От поэзии требуют прежде всего постановки каких-то социальных, гендерных, психологических и прочих вопросов, а вовсе не поэзии. Стихи пишутся на упрощенном, общедоступном языке. То, что было у Мильтона и у Китса многозвучным органом, превратилось в какую-то скучную пищалку. Начисто утеряна гармония, музыка, суггестивность поэтической речи. Те опусы, что печатаются в журналах, – стихи комнатной температуры. "О если бы ты был холоден или горяч!" – по слову ап. Иоанна. Поэзию, которая не волнует, хочется "изблевать из уст своих". У Михаила Эпштейна не так давно была замечательная статья о последствиях информационного взрыва для человеческой психики, о травматическом шоке, разрушающем нормальные человеческие эмоции. Эмоциональное обеднение современного человека впрямую сказывается на состоянии поэзии. Это – одна из причин, и, конечно, это явление глобальное. Кому-то, наверное, покажется, что это я разношу в пух и прах английскую поэзию. Нет, говоря о них, я прежде всего думаю о нас. Если я и потрошу сейчас западную поэзию, то лишь для того, чтобы, как авгур, по внутренностям жертвы угадать, какое будущее ожидает нас. Ведь опасности, в общем-то, те же самые.

Евгений Бунимович. Всего одна реплика. Асар Эппель закрыл польскую современную поэзию, Григорий Кружков закрыл англоязычную современную поэзию, до этого закрылась французская, я предлагаю дать слово Наталье Ванханен, чтобы она закрыла наконец испаноязычную, и Евгению Солоновичу так же поступить с итальянской, и в полном восторге от самих себя разойтись!

1. Помянутая статья публикуется после круглого стола. (*Прим. ред.*)

Наталья Ванханен. Мне вспоминается ситуация, с которой я столкнулась на одном зарубежном фестивале. Там поэты без бумажки не могут прочесть собственные стихи — они их просто не помнят: там нет ни рифмы, ни ритма, ничего. И я была единственная, кто читал что-то в рифму, на языке, не понятном никому в зале. И — слушали затаив дыхание. А потом подошли и спросили: "А скажите, что это было? Вы пели?" Не случайно же это.

Григорий Кружков. Да, поэтическое голосоведение — от этого они совершенно отвыкли. И по этому тоскуют. Ритм и музыка — то, что связывает человека с природой, с космосом.

Борис Дубин. Не знаю, мне такие разговоры кажутся борьбой с заведомо слабым противником. Если это о графоманах — то что о них говорить, "в рифму" они или "не в рифму"! Давайте говорить о стихах, которые — настоящие стихи! "Нашедший подкову" написано без рифмы, но это — гениальные русские стихи. Целан, за исключением первого сборника, никогда не писал в рифму — но когда я, не зная немецкого языка, слушаю, как он читает, — я слышу, что это волшебная музыка... Но это музыка не Вивальди, это — другая музыка, это музыка Берга или Уствольской... Не шаманство ли — держаться за рифму? Есть ведь музыка, по-другому организованная.

Асар Эппель. Я только хотел сказать, что современная поэзия быстро осваивается графоманами: там пишущий называет себя поэтом, ничего "поэтического" по сути не производя.

Григорий Кружков. Добавьте к этому, что при демократическом устройстве общества все решает большинство, а большинство всегда было и будет за графоманами. Там тоже свой рынок, люди воюют, конкурируют между собой. Свой бизнес, хотя и мелкий, — вроде собирания бутылок. Поехать на фестиваль, сшибить грант, пристроиться на теплое местечко в университет и т. д. — таковы их маленькие цели. Но понятие о поэзии как о чуде, которое одним своим присутствием в мире облагораживает и возвышает земную жизнь, понятие о поэтической чести и правоте — утрачено. Ныне каждый поэтический сверчок знает свой шесток. "И слава богу, — говорят, — поэзия стала частным делом, нам не нужно больше быть властителями умов, жрецами и так далее". Среди людей, которые так говорят, действительно есть одаренные поэты. И во Франции, где "поэзия умерла", и в Польше, где "пусто", — хорошие поэты есть повсюду. Но их мало, и их голоса заглушены.

Борис Дубин. А когда их было много?

Григорий Кружков. Согласен, но у всякого времени есть своя тенденция и уклон. И бывают эпохи, благоприятные для поэзии, например Серебряный век, а бывают времена (скажем, 1920-е годы), когда поэты настолько выбиты из колеи, что сами себя в зеркале не узнают. Я недавно перечитал "Козлиную песнь" Константина Вагинова. Какая горькая смесь лиризма и самоиронии! Его Тептелкин — обломок дореволюционной культуры — еще не Васисуалий Лоханкин, но все уже готово для его превращения в Лоханкина. Нужны лишь чужие глаза, и метаморфо-

за совершится (победители всегда превращают побежденных в чертей, замечает Вагинов). Друг Тептелкина, неизвестный поэт, рассказывает сюжет задуманной им поэмы: "в городе царствует метафизическая чума; сеньоры избирают греческие имена и уходят в замок... Но они знают, что осуждены, что готовится последний штурм..." Сейчас наступает та же самая метафизическая чума; мы говорим с большинством на двух взаимонепонятных языках – как в двадцатые годы люди, вышедшие из Серебряного века, говорили с новыми зощенковскими персонажами. Нужно не бояться и признать: да, это две культуры, которые враждебны друг другу. И не стоит сетовать, что мы якобы немножечко отстали, не знаем этого языка... Поэзия пишется – и всегда писалась – отнюдь не на "современном", а на особом, поэтическом языке, в котором материализуется связь поколений. На Западе, в том-то и суть, он почти забыт – произошел разрыв культур. Люди не знают того языка, на котором написана их великая поэзия. Они ее не читали, они не могут продолжить разговор. Здесь прямая катастрофа; а интеллектуалы разводят руками и спрашивают друг друга: "Может быть, в этом и есть великая сермяжная правда?"

Марк Фрейдкин. Мне кажется, что такие эсхатологические настроения были всегда. Во все времена была популярна фраза: "Бывали хуже времена, но не было подлее". Я думаю, что и в Серебряном веке люди говорили об общем кризисе поэзии и литературы, и в золотом веке об этом говорили – всегда об этом говорили, и всегда пишущим казалось, что поэзия находится в кризисе. Я готов с этим согласиться и сказать, что это нормальное состояние для поэзии. Поэзия всегда должна находиться в кризисе и всегда что-то такое искать, всегда быть недовольной и так далее. Многое меняется: и поэзия меняется, и люди меняются. В связи с пресловутым информационным взрывом меняется восприятие, меняются способы этого восприятия – он становится очень облегченным, но это вовсе не значит, что ничего не происходит. Если мы чего-то не видим и чего-то не знаем, это еще не повод для того, чтобы так огульно все отрицать. Простой пример. У меня взрослые дети. Они любят и читают совсем не то, что люблю и читаю я. Мне не нравится то, что они читают, причем не нравится активно. Еще меньше мне нравится то, что они слушают. Но, как говорится, "и пусть у гробового входа..."

Ирина Ковалева. Напомню, что в своей Нобелевской речи Одиссеас Элитис цитирует именно Гёльдерлина: "К чему поэты в скудные времена?" – "но времена, – продолжает Элитис, – всегда были 'скудные', а тем не менее поэзия всегда делала свое дело". И мне казалось, что один из смыслов нашей сегодняшней встречи не в том, чтобы подписать смертный приговор поэзии, а в том, чтобы тот, кто знает в современной французской или испанской поэзии трех, допустим, поэтов, которых, на его взгляд, стоило бы безотлагательно перевести, назвал бы их. Может быть, и не нужно учреждать всемирный клуб переводчиков, но вот такой обмен информацией мне видится очень нужным. И не обязательно ориентироваться на тридцатилетних. Дело не в возрасте – по возрасту мне тридцатилетние ближе, чем семидесятилетние, – дело в том, кто из серьезных современных поэтов не переведен или мало переведен и заслуживает такого разговора.

Ирина Кузнецова. Возражу Венцлове, а заодно и себе: французская поэзия не умерла, как казалось еще недавно. Просто был некий кризис, но он кончился. Возвращается не только эмоциональность, но и формальные признаки стиха. Прочту одну цитату из Мишеля Уэльбека, одного из самых модных французских авторов. Это обращение к начинающим поэтам (в несколько ерническом стиле, как все у него): "Если вам не удастся выразить свое страдание во вполне определенной, четко структурированной форме, вам крышка. Страдание сожрет вас живьем изнутри раньше, чем вы успеете что-либо написать. Структура – единственное спасение от самоубийства. Верьте в структуру, верьте в древние законы метрики. Версификация – мощный инструмент внутреннего освобождения".

Наталья Ванханен. Я согласна со многим из того, о чем говорил Григорий Кружков. Но согласна и с Асаром Эппелем, сказавшим, что у нас все благополучно в поэзии. Я подписываюсь: у нас сейчас очень хорошая русская современная поэзия. Ее не знают – это правда, – ее не знают даже круги интеллигенции, я уж не говорю про народ. Вот "Тату" я, например, знаю, хотя они меня совершенно не интересуют. Просто мне сто пятьдесят раз сказали: "'Тату', 'Тату', 'Тату'". Пропала сама мысль, что стихи можно читать. Все знают Макаревича, но книжку его на лотке в метро не берут, ее даже продавец засунул куда-то с глаз долой. А кто виноват в таком положении вещей? Не мы с вами, просто идет тусовка. Я думаю, что за границей тоже в значительной мере идет тусовка, то есть нам предлагают стихи не лучшие, а те, что в силу внелитературных причин оказались на виду, на плаву. Был поставлен вопрос: может ли переводная поэзия влиять на оригинальную? Да, может, но в разные времена по-разному. Была хорошая зарубежная поэзия, которая влияла на Пушкина, а через него повлияла на других поэтов и переводчиков, включая нас с вами. В России не было представления, что такое Шекспир... А Пушкин написал "Годунова", и мы узнали, как можно перевести Шекспира. А вот современная зарубежная поэзия, которую мы получаем, влияет плохо: вялые какие-то верлибры, которые в зубах навязли. И наши потом начинают писать так же мутно, так же скучно – и все это называется писать очень современно. Есть наверняка где-нибудь что-нибудь хорошее, но оно недоступно. Не каждый же пойдет, как Борис Дубин, и станет копать и найдет каких-нибудь двух-трех хороших иностранных поэтов. Это я говорю как читатель.

Евгений Солонович. От меня ждут (шутка) эпитафии на могиле итальянской поэзии. Эпитафии не будет.

На страницах "Иностранной литературы" разноязычные поэты, с легкой руки переводчиков заговорившие по-русски, сменяют друг друга. За редкими исключениями это представители современной поэзии.

Собираясь на нашу встречу, я снял с полки некоторые антологии итальянской поэзии последних ста лет и выписал их названия. Позволю себе познакомить коллег с той периодизацией, которую использует итальянская критика применительно к поэзии XX века. Примерное деление на периоды отражают заглавия ряда поэтических антологий:

"Послевоенная итальянская поэзия" (1958 г., составитель Сальваторе Квазимодо);

"Антология итальянских поэтов последнего столетия" (1963 г., составители Джузеппе Равеньяни и Джованни Титта Роза);

"Лирика двадцатого века" (1963 г., составители Лучано Анчески и Серджо Антоничелли);

"Поэзия двадцатого века" (1969 г., составитель Эдоардо Сангвинети);

"Итальянские поэты двадцатого века" (1978 г., составитель Пьер Винченцо Менгальдо);

"Поэзия семидесятых годов" (1979 г., составитель Антонио Порта);

"Итальянские поэты. 1945–1995" (1996 г., составители Маурицио Кукки и Стефано Джованарди").

Почти во всех случаях отправная точка в антологиях, содержащих в заглавии указание на XX век, совпадает с точкой отсчета, которой пользуются составители антологий, представляющие поэзию XX века как "современную" (contemporanea). Вместе с тем понятие "contemporanea" обычно соседствует в итальянской литературной критике с понятием "moderna", применяемым к литературе того периода, что непосредственно предшествует литературе "contemporanea", занимающей довольно широкое временно́е пространство. Сужение этого пространства позволяет пишущим о литературе и составителям разного рода антологий и хрестоматий возводить в статус термина также слово "oggi" (сегодня) для обозначения литературных явлений сегодняшнего дня. И тут понятие современности неизбежно приобретает новый смысл.

Мы можем говорить о поэтах-современниках и о современных поэтах. Для человека моего поколения поэтами-современниками могут считаться Пастернак и Ахматова, Кирсанов и Прокофьев, Заболоцкий и Твардовский, Берггольц и Алигер, Мартынов и Слуцкий, Самойлов и Глазков. По-разному относясь к их творчеству, могу ли я всех их назвать современными поэтами в том смысле, что художественные средства, которыми они пользовались, остаются современными – иными словами, актуальными – и в наши дни? Устарел ли их поэтический язык? Соответствует ли мое двадцати-, тридцати-, сорокалетней давности восприятие их поэзии нынешнему моему восприятию? И да и нет. Ранний Пастернак, как и ранний Заболоцкий, для меня современнее позднего, при том что поздний Пастернак, как это ни парадоксально в свете предыдущего признания, мне ближе, чем ранний. Поэтический язык Мартынова, многие стихи которого пятьдесят лет назад воспринимались мной как новое слово в поэзии, назвать сегодня современными я могу лишь с большими оговорками. А вот Слуцкий остается для меня не только поэтом-современником, но и современным поэтом.

Те же критерии применимы для меня и в отношении зарубежной поэзии. До каких пределов сужать отрезок времени, если Унгаретти, выступивший с первыми стихами в 1915 году, и Монтале, опубликовавший свои первые стихи в 1922 году, современны для меня еще и в том смысле, что их влияние на последующие поколения итальянских поэтов, включая нынешнее, остается плодотворным? То, как сформулирован первый вопрос, предложенный организаторами круглого стола, подсказывает, на мой взгляд, возможность, если не предпочтительность, другого определения: "поэзия наших дней".

Теперь о возможности (или невозможности) плодотворного влияния переводной поэзии на поэзию другой страны. Если из вопроса убрать слово "плодотворно", то ответить придется положительно: влия-

ние есть. Применительно к ряду новых русских поэтов можно употребить формулу Ирины Кузнецовой "период оледенения". Почитайте новых русских поэтов, часть которых активно участвовала в биеннале (о некоторых из них идет речь в специальном номере "НЛО", посвященном современной поэзии). Другой разговор, что "новый" зарубежный опыт сильно опоздал к нам. То, что делают сегодня наши молодые и не очень молодые поэты, делали, скажем, итальянские поэты пятьдесят лет назад. И тексты, вроде помянутого Асаром Эппелем стихотворения про бутылку, встречаются в современной русской поэзии. Когда я слышу, как Наталья Ванханен говорит, что она может назвать многих хороших, с ее точки зрения, русских поэтов, думаю, авторов стихотворения "о бутылке" среди них не будет. Но можно ответить утвердительно на вопрос о влиянии, и не выбрасывая слова "плодотворно". Я помню, как Парщиков на какой-то тусовке, если допустимо назвать тусовкой мероприятие, которое происходило тридцать лет назад, сказал мне: "Вы Солонович? Спасибо вам за Монтале". Это не было комплиментом в мой адрес, это было признанием возможного плодотворного влияния... Мне это было очень приятно еще и потому, что штучное дело, которым мы занимались и занимаемся, много раз заставляло нас спрашивать самих себя: кому это нужно? Потому что, когда мы начинали переводить: испанцев и латиноамериканцев – Павел Грушко, англичан и американцев – Андрей Сергеев, я – итальянцев, с той иностранной поэзией, которая была доступна русскому читателю, наши переводы вступали в решительное противоречие. Языков в то время молодые поэты почти не знали по той простой причине, что во времена "железного занавеса" отношение к иностранным языкам было как к мертвым: к английскому – как к древнегреческому или латыни. Зачем учить язык, на котором ты никогда не будешь иметь возможности разговаривать? И наша тогдашняя поэтическая молодежь вынуждена была знакомиться с образцами современной зарубежной поэзии, веря нам, переводчикам, на слово.

Для меня и Асара Эппеля поэты-современники отчасти другие, нежели, допустим, для Евгения Бунимовича: мы принадлежим к разным поколениям. Поэтому остается вопрос: что такое современная поэзия? Это поэзия, которая пишется, пока мы тут сидим и рассуждаем, или это поэзия, которая написана на современном поэтическом языке? Да, поэтический язык – это язык вечной поэзии, о чем говорил Кружков. Но тем не менее существуют и современные поэтические средства, современные изобразительные средства. Катастрофы в современной итальянской поэзии я не вижу. Хотя... вот одна тоненькая антология, вышедшая в Италии несколько лет назад, она называется "Поэзия двадцатилетних". Каждый из этих двадцатилетних, а их в книжке человек десять-пятнадцать, представлен двумя-тремя стихотворениями, и мне очень трудно было найти среди этих текстов тот, который мог бы меня заинтересовать. Среди авторов, включенных в сборник, не было того поэта, которого мне хотелось бы прочесть в большем объеме. Но тем не менее, повторяю, хоронить итальянскую поэзию я бы не стал. Не очень хорошо ориентируясь в сегодняшнем дне итальянской литературы, несколько интересных поэтических книг я мог бы назвать, если бы разговаривал с итальянцами. Итальянцы, кстати, поэтических книг не читают... Если у поэзии есть аудитория, то это – слушатели. Тридцать-сорок лет назад рассказы о том, что в России поэты собирают стадионы, вызывали у итальянских поэтов усмешку. Сейчас в Ита-

лии поэзию слушают. Поэты собирают аудитории. Не стадионы, правда... Поэты ездят по стране, но поскольку страна большая, им еще хватит на какое-то время.

Евгений Бунимович. Знаете, я бы хотел сформулировать социальный заказ. Мне нужна некая референтная группа, которая может сказать, кого же приглашать на фестиваль поэтов. Вопрос не только: кого переводить? Вопрос и в том, чей приезд сюда может оказать некоторое влияние, стать своего рода магнитным полем. Я видел, как порой такое поле работает. И такого рода встреча перед будущим фестивалем была бы интересна, чтобы понять: приглашать ли поэтов разных стран или сосредоточиться на одном каком-то языке. Это – своего рода "точка сгущения", попытка создания профессионального контекста. И хотелось бы, чтобы в этом участвовало профессиональное сообщество. Но для этого оно как минимум должно существовать. К слову сказать, номер "НЛО", о котором сегодня говорилось, был выпущен именно к биеннале поэтов. Серию переводной поэзии "ОГИ" выпустило тоже к последнему биеннале. Раньше такого не было. Кстати, Парщиков к фестивалю придумал очень интересный проект: поэты-билингвы. Люди, которые в современном многоязычном мире совершенно одинаково говорят на двух языках, находятся и в своем поэтическом опыте в этом межъязыковом пространстве.

Антон Нестеров. Я сам недавно столкнулся с этим же несколько раз на собственном читательском, переводческом опыте – и подумал, что это очень интересное, новое явление, которое формируется в современной поэзии. Первым таким открытием был для меня очень интересный англоязычный поэт, к сожалению, недавно умерший, – Ага Шахид Али: выходец из Кашмира – исламской его части, – человек восточной культуры, но инкорпорированный в американский "поэтический пейзаж", всю вторую часть жизни проживший в Америке. Пока он жил в Индии, он писал верлибры, а когда попал в Америку, то стал писать газеллы на английском. С одной стороны, это часть того явления в американской поэзии, которое ощущается как новое и очень мощное течение – так называемые "новые формалисты". Это поэты, которые заново, после верлибра, ищут жесткую форму – но опираются на иной опыт, не просто на силлабо-тонику, написанную рифмованными катренами, а на сложные, забытые формы. Что-то подобное делает в России Сергей Завьялов – он пишет стихи, которые непривычному уху покажутся верлибрами, но на самом деле там – сложнейшая, очень точная метрика древнегреческого стиха... В случае Ага Шахида Али речь идет и об особом явлении двуязычной поэзии. Пушкин, для которого первым языком был французский, по-другому чувствовал русский! Что-то подобное важно для Ага Шахида Али... Потом я встретил в Лондоне иранскую поэтессу Зибу Карбасси, живущую в Англии и пишущую на фарси и по-английски. Опять двуязычность – и это очень сильный голос! Недавно же в "Иностранке" была публикация немецкоязычного поэта, пишущего под псевдонимом Саид, – опять человек принадлежит двум культурам, и это – сильный голос. По англоязычной поэзии, которую я знаю лучше, я вижу, что это новое явление. Хотя – насколько новое... Ведь двуязычные поэты очень часто – вынужденные эмигранты, обживающие другую культуру. Я подчеркнул бы: не чужую – другую. И тут можно вспом-

нить Пауля Целана, родившегося в Буковицах, писавшего по-немецки — и жившего в Париже. Это тот же опыт многоязычия. Насколько похожая тенденция существует сейчас во французской, в испаноязычной поэзии, когда силовое поле двух культур работает на один голос?

Ирина Ковалева. Хочу вернуться к вопросу о плодотворном влиянии переводной поэзии на оригинальную. Блестящий пример — Кавафис, который оказал влияние на Бродского. Бродский неоднократно с благодарностью говорил и писал об этом. И это была именно переводная поэзия "в чистом виде", потому что если по поводу Элиота или Одена можно спорить, читал ли Бродский сразу этих поэтов в оригинале или читал переводы, скажем, А. Сергеева, то в случае Кавафиса несомненно, что тексты он знал сразу в переводе. Можно напомнить о влиянии Кавафиса на Милоша и на многих других... Благодарные греки в 2000 году издали книгу, которая называется "Беседуя с Кавафисом", и туда вошли по нескольку стихотворений тех поэтов, которые признавали над собой магию этого имени. Россию там представлял Бродский...

Антон Нестеров. Все много говорили об общем состоянии поэзии. А перевод — дело, наверно, слишком индивидуальное: тут каждый играет за себя и за того автора, которого ему хочется перевести. Но в современной русской поэзии есть диалог с переводной поэзией. Он неожиданный, странный, но эти влияния извне — подспудно меняют тех, кто пишет русские стихи. Приведу один пример. Андрей Левкин, хороший, тонкий писатель, — когда он представляет книгу поэта Сергея Тимофеева — а оба — это то поколение, которому сейчас 30—40 лет, — Андрей Левкин говорит: "стихи Тимофеева, то, что Тимофеев делает в поэзии, — это отчасти похоже на Яниса Рицоса. Вот, Рицос так останавливал время — как при вспышке мóлнии, — и что-то похожее делает Тимофеев". То есть опыт русской поэзии ее читателям, оказывается, проще объяснить, "кивнув" на опыт тех поэтов, которых они знают исключительно по переводам. Опыт иной, иноязычной поэзии в русской поэзии сейчас очень присутствует: как некая подпитка и провокация. Но не кажется ли вам, что проблема по сравнению с 1970-ми годами несколько осложнилась? Тогда поэты — не переводчики, а именно поэты, владевшие языками, — довольно много переводили для себя. То, что заведомо нельзя было напечатать. Так, Ольга Седакова переводила в те годы "религиозного" Клоделя, переводила Паунда, который для советских редакторов был persona non grata. Это был диалог поэта с поэтом. Так когда-то Пушкин перелагал Парни. Перелагал, по сути, для себя: это был диалог с современником, который ему интересен. А сейчас поэты, за редким исключением, ушли из зоны перевода, "на поле" остались только переводчики. Сыграло свою роль и то, что проекты вроде больших переводных антологий, которые фокусировали усилия, собирая под одной обложкой людей с разной переводческой манерой (а ведь среди них были и те, кто в первую очередь поэты и только потом — переводчики), — такие проекты отошли в прошлое. И поэтому перевод стал больше ремеслом, чем высказыванием, с этим приходится считаться. Но, как бы то ни было, в каждый текст переводчик вкладывает частицу себя — время жизни, в конце концов, — и в переводе он ищет что-то для себя, что-то, что эту "растрату" компенсирует. Предлагаю присутствующим под занавес, в режиме школьного опроса сказать, что хотелось бы каж-

дому перевести из поэзии других стран как интересное, настоящее — и покуда не имеющее в русской поэзии аналогов, просто отсутствующее как явление в "русском поэтическом пейзаже"?

Евгений Солонович. Может быть, мне следовало бы вернуться к Квазимодо, который не очень получился в русских переводах, в том числе и по вине вашего покорного слуги.

Григорий Кружков. Я думаю, что Йейтсом мне нужно еще заняться... Чем больше в него "влезаешь", тем больше понимаешь, что там есть много еще интересного.

Марк Фрейдкин. Я бы хотел переводить Раймона Русселя. Его здесь действительно не знают, а поэт, на мой взгляд, прекрасный. И, конечно, продолжать заниматься своим любимым Брассенсом — поскольку мне мало удалось сделать, а хочется сделать гораздо больше...

Ирина Ковалева. Большой лакуной является греческая литература XX века, которая ничуть не уступает испанской или итальянской, просто ее никто не знает. И мне бы хотелось по возможности эту лакуну заполнять.

Наталья Ванханен. И с испанской, и с латиноамериканской поэзией еще придется переводчикам потрудиться. Конечно, появятся новые имена, но и старые часто известны лишь узкому кругу любителей, да и прочтены они пока нами, переводчиками, плоховато. Нет хорошего русского Антонио Мачадо, нет Хорхе Гильена, нет Луиса Сернуды. А если есть, то мало. А уж Золотой век Испании просто неисчерпаем — где только сил взять на все это.

Ирина Кузнецова. Сама я хочу попробовать перевести этого скандалиста, Мишеля Уэльбека, который пытается всю французскую поэзию направить в другую сторону... Он сейчас решил писать в рифму — получается странная смесь: в форму, напоминающую классическую, он вкладывает содержание не то что неклассическое, а местами — хулиганское... и достаточно трагическое. Ему хочется сделать читателю больно. Установка Уэльбека такова: "Вот вы, общество, — вы поэтов травите и гнобите, а мы вам дадим сдачи".

Борис Дубин. Проще всего назвать упущения. С них и начну, ограничась регионами, которые немного лучше знаю. И не стану говорить о поэзии стран Балтии или Украины, Кавказа или Средней Азии, они ведь "зарубежными" до сих пор брезгливо не считаются.

Итак, страны испанского — кастильского — языка: не существует на русском практически вся поэзия второй половины XX века, после Лорки, Эрнандеса и Вальехо (исключения — Пас или Борхес — единичны и внесистемны, а потому не осмыслены). А там есть мировые величины: скажем, аргентинец Роберто Хуаррос. Из португальцев особенно жаль Антонио Рамуша Розу.

Из англоязычных поэтов практически совсем нет замечательных Джеффри Хилла и недавно умершего Роланда Стюарта Томаса; о сравнительно молодых по нашим меркам, Лавинии Гринлоу или Доне Па-

терсоне, уж и не говорю. Уолкотт представлен крайне отрывочно и, в общем, не прозвучал. Совсем дикий случай – голландец Мартинюс Нейхоф: он едва ли не весь переведен, но при этом, кажется, абсолютно неизвестен. Трудно сказать, что в русской поэзии существуют Эшберри и Эммонс, да что там – даже Олсон или Зукофски (либо – возьму другую линию – Элизабет Бишоп и Эми Кламмит).

С переводами из французских поэтов ситуация – благодаря билингвам издательства ОГИ, где Литву, кстати, считают заграницей и правильно делают, – стала в самое последнее время чуть-чуть выправляться, но таких крупнейших поэтов Франции старшего поколения, как Жак Дюпен или Мишель Деги, все равно почти что нет. А о следующих поколениях – от Анн-Мари Альбьяш до Марка Бланше – говорить не приходится.

Если говорить о новейших поляках, в поле зрения попадают три-четыре человека, и трудятся они исправно. Но мне жаль, что русский читатель не знает таких мастеров, как Богдан Задура и Януш Шубер, а русский переводчик не прошел по тем дорогам смысла, которые эти поэты прокладывают. Впрочем, их предшественники и соратники в поэзии 1960–1980-х годов – Ярослав Марек Рымкевич или Петр Зоммер – представлены пока лишь в хрестоматийных осколках.

Но, по-моему, дело даже не в отдельных досадных упущениях, не в вечном догонянии уходящего и ушедшего. Русской литературой не прожита и не пережита как собственная история вся эпоха модерна (от рубежа XVIII–XIX столетий до 1960-х годов), не прочитаны или почти не прочитаны, вглухую прочитаны лучшие – первые и последние – поэты модерна: от Гёльдерлина, Бодлера и Норвида до Целана и Кэмпбелла, Пилинского и Голана. Исключения – Рильке или Пессоа – единичны, они опять-таки не образуют систему: это, говоря метафорически, погода, но не климат. Между тем на Западе модерн уже несколько десятилетий как закончился. Отечественной же поэзии, оказывается, почти что нечем встретить собственную запоздалую, внезапно свалившуюся на нее безъязыкую "современность". И если бы дело было только в языке, – не пережит сам страшный опыт XX века, а то, что пережито, не только не признано, а, наоборот, вытеснено и запечатано. Представьте, что нет ахматовского "Реквиема", а ведь о войне ничего, соизмеримого с ним по масштабу, нет...

Поэтому вопрос для меня сегодня не в том, как "ликвидировать лакуны". Состав образцовой и не существующей по-русски поэтической библиотечки XX века, скажем в пятьдесят замечательных книг, я – да и многие другие из сидящих рядом – готов предложить, подумав час-другой, но кто ее будет переводить и кто станет издавать? И это первый вопрос: о состоянии творческого сообщества, мыслящего сословия в сегодняшней России, причем и об авторах, и об их – зачастую не существующей – публике, и о квалифицированной критике и герменевтике текстов. Литературное сообщество – в том числе переводческое – разделено и раздроблено, как бы в разных временах и пространствах существуют поэзия и проза, литература журнальная и книжная, бумажная и сетевая. Это состояние – новое, и осмыслено, даже просто осознано, оно крайне плохо. Второй вопрос: какой быть сегодня поэзии – в том числе переводам (а они после Пушкина и Жуковского, Лермонтова и Тютчева, конечно же, часть русской словесности, а не диаспорический обломок "зарубежных" литератур)? Ведь именно лирика – парадигма модерного, как назвал ее немецкий филолог Ханс-Роберт Яусс, – в XIX–XX веках

была первопроходцем и двигателем литератур мира. Чем ей сегодня жить? Каким быть — и быть ли — поэту (не тому или иному конкретному с фамилией, а вообще, фигуре поэта)?

Понимаю, что такие вопросы за самыми многоглавыми и представительными круглыми столами не решаются. Однако поставить или хотя бы просто назвать их за этим нашим столом не только можно, но, мне кажется, необходимо.

* * *

Редакция "ИЛ" захотела поближе познакомить уважаемых читателей с участниками круглого стола, материалы которого напечатаны в этом номере. Собеседникам было предложено рассказать о себе и, поскольку почти все они — профессиональные переводчики, мы попросили наших гостей показать товар лицом: выбрать и предоставить в распоряжение журнала по одному из последних переводов, если таковые имеются, и снабдить этот образчик ремесла краткой характеристикой "своего" автора. Надеемся, что мозаика автобиографий и переводческих стилей дополнит облик участников круглого стола.

Евгений Бунимович [р. 1954]

Фото Д. Белякова

Поэт, эссеист. Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства [2002], премии Союза журналистов России [1998], кавалер ордена Академических пальмовых ветвей [Франция]. Автор книг стихов *Просто нет такого города Парижа* [1989], *Потому что живу* [1992], *Стихи* [1994], *Естественный отбор* [2001], *Зал ожидания / La salle d'attente* [2002], сборников статей и эссе *Уроки и перемены* [1999], *Вверх по лестнице, которой нет* [2001] и др. Стихи переводились на английский, французский, немецкий, испанский, польский, датский и др. языки. Основатель и президент Московских международных биеннале поэтов.

* * *

Наталья Ванханен

Поэт, переводчик. Автор поэтических книг *Дневной месяц*, *Зима империи*, *Далекие ласточки*.

Переводчик многих испанских и латиноамериканских поэтов. Среди них Хорхе Манрике, Лопе де Вега, Кальдерон, Кеведо, Г.-А. Беккер, Гарсиа Лорка, Луис Сернуда, Х. Лесама Лима, Габриэла Мистраль и другие.

Драма Кальдерона *Молчанье – золото* идет в ее переводе в московском театре *Сопричастность*.

Лауреат премии *Инолитл* [2000].

За заслуги в области перевода награждена чилийским орденом Габриэлы Мистраль.

Густаво Адольфо Беккер

Струящиеся ризы
и крылья за плечами –
на золоте карниза
два ангела с мечами.

С той стороны ограды,
где черных прутьев кромка,
приковывая взгляды,
проходит незнакомка.

Мелькает смутной тенью,
уходит без возврата,
как призрак и виденье,
как бледный луч заката,

И сердце бьется чаще,
волнуясь без причины,
и тайна уходящей
влечет, как тьма пучины.

Но ангелов молчанье
предупреждает строго:
"Грань этого порога
не для тебя – для Бога!"

Густаво Адольфо Беккер [1836–1870] – испанский поэт-романтик. Автор многочисленных прозаических произведений: эссе, рассказов, легенд. Несмотря на количественный перевес прозы в творчестве Беккера, именно небольшая книга его стихов под скромным названием "Рифмы" оказала огромное влияние на всё последующее развитие испанской поэзии, повернув ее к ясности, простоте и смутному ощущению мистической тайны.

* * *

Борис Дубин [р. 1946]

Переводчик европейской и латиноамериканской литературы (наиболее крупные работы – стихи и проза Борхеса, афоризмы и эссе Чорана). Лауреат нескольких премий, в том числе премии *ИЛ* [1992] и *ИЛлюминатор* [1994]. Социолог.

Джерард Мэнли Хопкинс

Сокол

Господу нашему Иисусу Христу

Я следил на заре за любимцем зорь, чеглоком
Ало-крапчатым: как он, наследник всех царств луча,
Гонит стиснутый вихрь под собой и, стремглав скача,

Рвется выше и выше, уздою крыла влеком
В исступлении! Как, круглый воздух толкнув коньком,
Отлетает он, зали, по смертельной дуге кача-
Ясь и мчась от циклона. Билась кровь, горяча,
Вслед за ним в этом танце, державном и мастерском!

Грубость грации, страсть, расчет, гордость, буря, перо,
бросок –
Все слилось! И привольный пыл твоего огня
Чем грознее, тем неизбежнее, мой седок!

Чуда не было: лемех распарывал залежь дня
В ее блеске, лазурь обдавая наискосок
Искрой – желчью самою – и золото кровеня.

Джерард Мэнли Хопкинс [1844–1889] – священник-иезуит, преподавал греческий и латынь в университетском колледже Дублина. Его духовная лирика, до предела напрягавшая ритм и смысл традиционного стиха, была опубликована в 1918 году поэтом Робертом Бриджесом и в дальнейшем заметно повлияла на англоязычную поэзию.

* * *

Ирина Ковалева

Фото Д. Кузьмина

Свой первый стихотворный перевод я сделала в школе на уроке английского языка. Мы читали стихотворение Лонгфелло, и когда дочитали последнюю строку, у меня был готов перевод: его и сегодня мне не стыдно было бы напечатать, и до сих пор лучшие переводы, как и лучшие стихи, приходят именно так.

Мне интересно переводить такие стихи, которые менее всего похожи на то, что я пишу сама: поэтому я с удовольствием перевожу, например, греческих сюрреалистов, один из которых – Нобелевский лауреат Одиссеас Элитис.

По специальности я филолог-классик, предпочитаю греческий язык латинскому, но не делю его на древний и новый, живой и мертвый: для меня (как и для самих греков) это единый язык с трехтысячелетней историей, и я с равным удовольствием занимаюсь древней мифологией и современной поэзией. Хотела заниматься еще и Византией, но тут воспротивилась семья. От Византии пришлось отказаться, но есть еще одно направление моих интересов – русская поэзия. Из того, что мною сделано, более всего я дорожу книгой *Иосиф Бродский. Кентавры. Античные сюжеты* [2001], которую я составила и откомментировала, и книгой *Мильтос Сахтурис. Голова поэта* [2003], которую я почти полностью перевела, – а еще тем, что переводила на греческий стихи Бродского и Ольги Седаковой.

Эзра Паунд

Папирус

Май...
Как жаль...
Гонгила[1]...

Per Saecula[2]

Любовь, скажи, где я тебя встречал?
В каких обителях моих касалось щек
Твое дыхание, как розы лепесток?
Где я вкус губ твоих и тяжесть кос узнал?

Где взгляд желанья в сердце посылал
Всю алость страсти? Золотистый стог –
Посева изобильного итог,
Свершенного, покуда май сиял, –

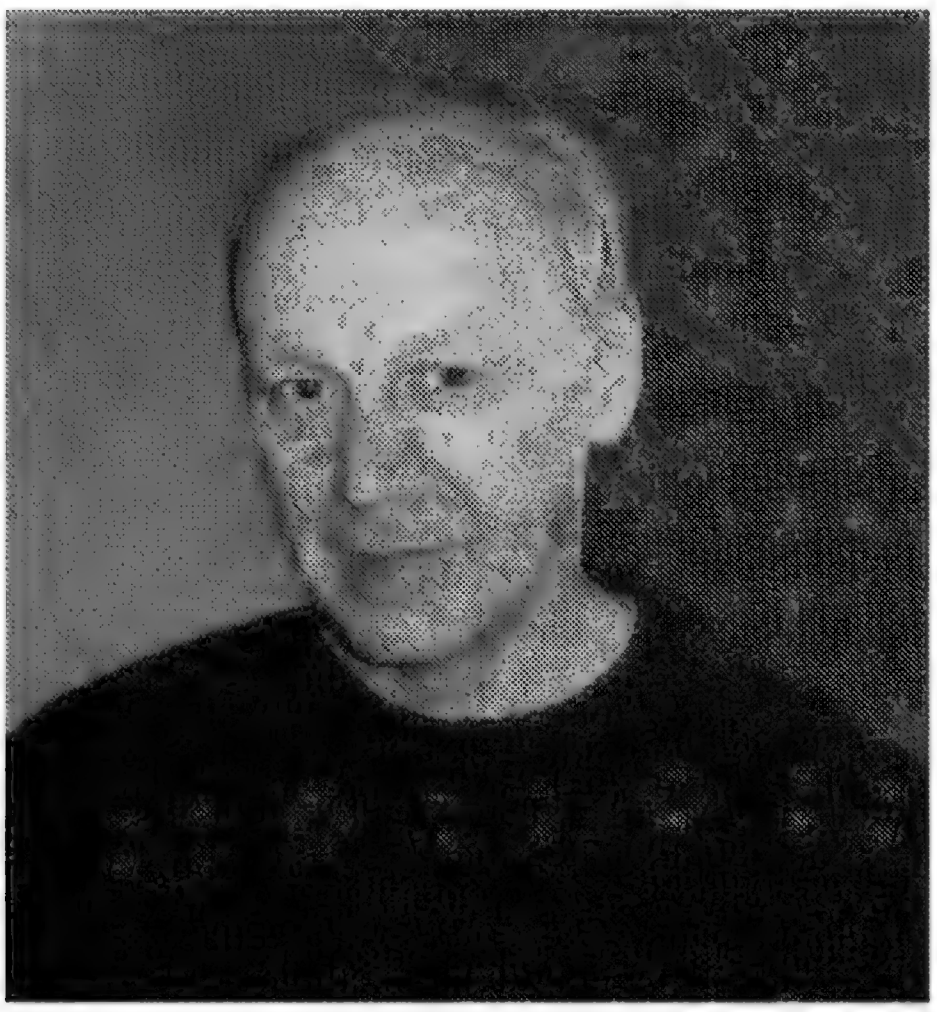
Вот наша жатва. Но о чем, ответь,
Весенний шепчет сумрак? – Я встречал
Тебя средь роз былого: в первый раз
(Он был последним) имя милых глаз
Мне поцелуй единственный сказал, –
То имя тайное, что в сердце будет петь.

Эзра Лумис Паунд [1885–1972] – американский поэт, центральная фигура американского модернизма.

1. Героиня лирики Сапфо. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Навеки (*лат.*).

* * *

Григорий Кружков [р. 1945]



Поэт, переводчик, эссеист, исследователь англо-русских литературных связей. Доктор философии (Ph. D.) по русской литературе [Колумбийский университет, Нью-Йорк, 2001].

Основные книги:

Ностальгия обелисков. Литературные мечтания [2001], Джон Донн *Избранное.* [1994], У. Б. Йейтс *Избранное* [2001], *Книга NONсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002], *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов* [2002], *Единорог: английские и ирландские стихи и сказки* [2003], а также Роберт Фрост *Другая дорога* [1999], Уоллес Стивенс *13 способов нарисовать дрозда* [2000] и др.

Награжден почетным дипломом Международного совета по детской книге [1996]; премией газеты *Известия* за книгу *Лекарство от Фортуны* [2002]; премией *ИЛлюминатор* журнала *Иностранная литература* [2002]; Государственной премией по литературе [2003]; премией *Венец* Союза писателей Москвы [2004].

Уоллес Стивенс

D*ezembrum*

I

Лишь зимние светила в небесах;
Вверху — уже не лавочка чудес,
Дешевый рай петард, стеклянных бус,
Мишурных лент и девичьих имен.

II

Строение вещей обнажено,
Мир делится примерно пополам:
Здесь человечья часть, а выше бог –
Воображенья нашего монах.

III

Сегодня звезды – словно сонмы лиц,
Поющих и водящих хоровод,
По всей земле разносится их смех
И пение, в котором смех звенит.

IV

Не ангелы, не толпы мертвецов –
Живые люди, но на небесах,
Смеются, радуются и поют
Во укрепленье тех, что здесь, внизу.

V

В суровой нашей тесноте земной
Что может разум предложить любви,
Помимо побрякушек и шутих,
В ответ на эту девственную страсть?

Небеса – не бесьи, небо же – не божье.

Уоллес Стивенс (1879–1955) – американский поэт XX века. Модернист, имажист, романтик и эксцентрик, он до сих пор остается для американцев фигурой притягательной, но абсолютно загадочной. Первый сборник Стивенса на русском языке – "13 способов нарисовать дрозда" (с параллельным английским текстом) издан в 2000 году. Название стихотворения *Dezembrum* – контаминация немецкого *Dezember* (декабрь) и латинского окончания существительных среднего рода *-um*. Почему? *Потомум*, что кончается на "ум".

Последняя строка-довесок, набранная курсивом, принадлежит переводчику. Она стилизована под "девиз" (*posy*), которым поэты XVI века, например, Джордж Гаскойн, иногда завершали свои стихи. Если г-н Стивенс играет со своим переводчиком в загадки, почему бы и переводчику с ним не сыграть?

* * *

Ирина Кузнецова

Переводчик французской поэзии и прозы, лауреат премии *Инолиттл* [1997] и премии им. Мориса Ваксмахера [1999]. Награждена французским орденом Академических пальмовых ветвей. Переводила стихи Г. Аполлинера, А. Рембо, Ш. Кро, Б. Ноэля, М. Уэльбека, прозу М. Пруста, А. Камю, Н. Саррот, П. Модиано и др.

Никола Бувье

Великая война

Меньше тысячи осталось дней до смерти
и нельзя терять ни часа боле
если слово стало воробьем
надо отпустить его на волю

На базар ступай где перепелки
суетятся в клетках на прилавке
обменяй – да не зевай, обвесят –
повседневные заботы на печали
и скорей возьми слоном, не мешкай,
грозную ладью на левом крае
не забудь что тень намного легче
чем ее откормленный хозяин

Началась великая война
снег ведет себя совсем по-детски
Коль уходишь – то с серьгою в ухе
и ученым вороном на перстне

Горностаем обернулся снег
расставаться нам приспело время
твой Король смеется на доске
началось великое сраженье

Женева, март, 1979

Никола Бувье [1929–1998] – швейцарский франкоязычный поэт и прозаик. Объездил десятки стран – от Японии до Ирландии – и прославился как автор эссе о путешествиях *Знание света* [1963], *Японская хроника* [1975], *Сова и Кит* [1993] и др. Книга *Внутри и вокруг* [*Le Dehors et le Dedans*, 1997], в которую входит публикуемое стихотворение, – его единственный поэтический сборник.

* * *

Антон Нестеров [р. 1966]

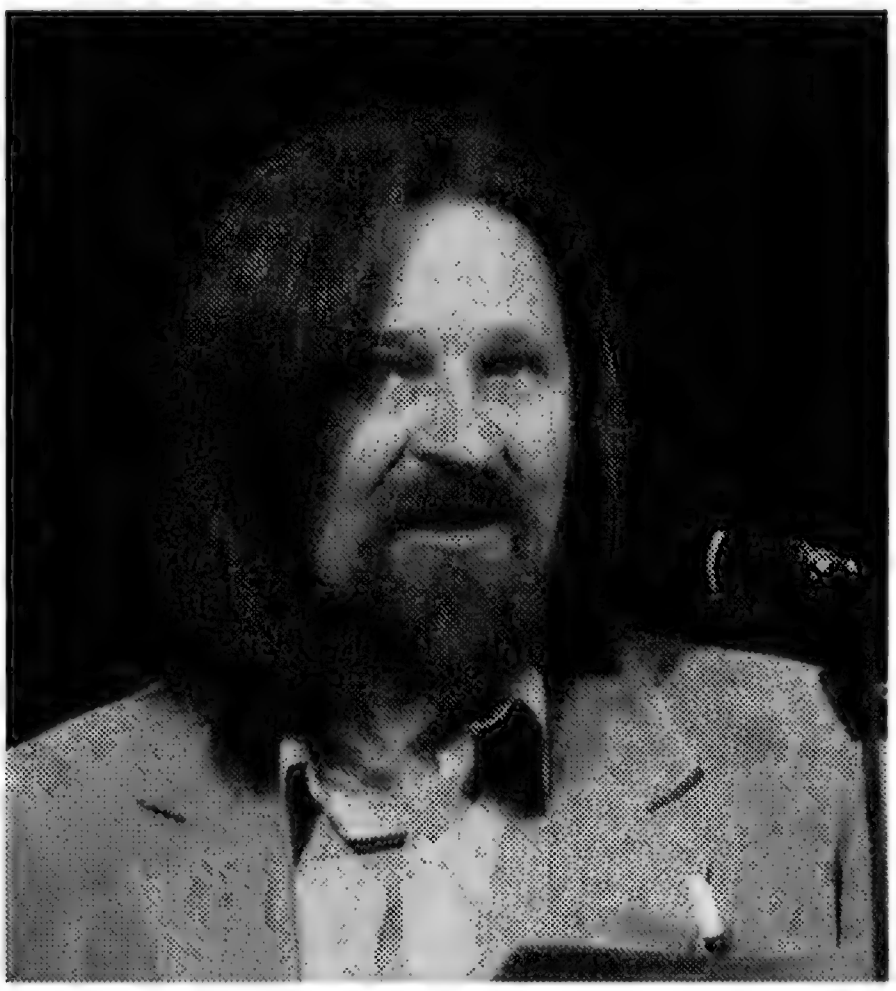


Фото Д. Кузьмина

Переводчик, филолог, немного – издатель. Кроме занятий переводами успел подобывать нефть в Сибири, поработать строителем в Смоленске и Казахстане, несколько лет зарабатывал на жизнь радиожурналистикой. Защитил диссертацию по поэзии Джона Донна. Побывал стипендиантом Британской академии, за что той – спасибо. Опубликовал ряд статей о творчестве Мандельштама, Бродского, о неподцензурной русской поэзии 70-х гг., об английских поэтах-метафизиках и др. Переводил Ага Шахида Али, Антонена Арто, Джона Донна, У. Б. Йейтса, Артура Мейчена, М. Бредбери, Стейна Мерена, Эзру Паунда, Уолтера Рэли, Тибора Фишера, Лоуренса Ферлингетти, Мирчу Элиаде... Но больше всего из того, что доводилось переводить, любит детские книжки: Терри Притчетта *Угонщики* и сказку Р. Дала *Потрясающий мистер Лис*, которую перевел для новорожденной дочери; вот уже 12 лет ее читают друзья (в машинописи, а потом и в Сети), но до сих пор издать ее на бумаге не получается. Напечатал книгу стихов *Сон рыбы подо льдом.*

Кэрол Энн Даффи

Валентинка

Розу? Сердечко из шелка? Ну нет.

Луковицу. В подарок.
Чем не Луна в бумажной обертке?
А в ней — обещание света,
как в раздеванье любимой.

На вот, держи.
Заставит залиться слезами,
как любовь, что ушла:
а в глазах отразится
дрожащая фотка горя.

Я ведь не вру, не кривляюсь.

Что?! Открытку?! Вырезной поцелуйчик?!

Луковицу в подарок.
Луковый вкус горит на губах поцелуем,
одержимостью, верностью —
правда, на нас похоже?
Горит, покуда мы вместе.

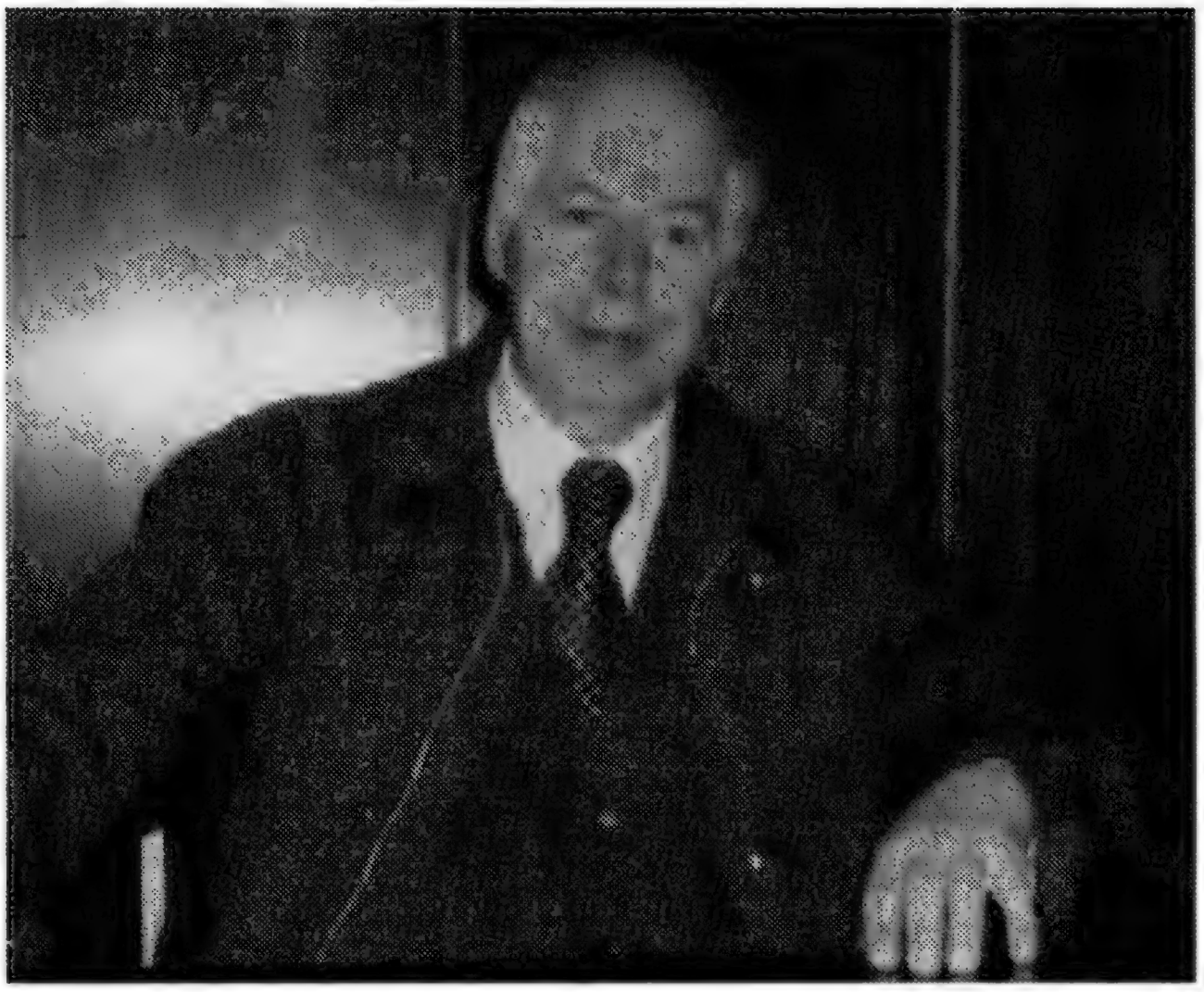
Ну же, держи колечко
луковое, на палец. Это тебе на свадьбу.
Если свадьбы захочешь.

Знаешь? Это... смертельно.
Запах въедается в пальцы,
нож, и тот не отмоешь.

Кэрол Энн Даффи. Поэт, драматург. Долгое время была редактором поэтического журнала *Ambit*. Сборники стихов: *Голая натурщица* [1985; премия Шотландского совета по искусствам], *Манхэттен на продажу* [1987; премия Сомерсета Моэма], *Другая страна* [1990], *Плохие времена* [1993; премия Whitbread в номинации "поэзия" и премия за лучший сборник года Forward Poetry Prize], *Жена мира* [1999], *Женские евангелия* [2002]. Пьесы: *Возьми моего мужа* [1982], *Пещера снов* [1984], *Маленькие девочки, большие мальчики* [1986], *Потеря* [1986]. Также лауреат премий Эрика Грегори [1984], Дилана Томаса [1989], фонда Ланнан [США; 1985]. С 1999 г. — действительный член Королевской литературной академии Великобритании. Живет в Манчестере.

* * *

Евгений Солонович [р. 1933]



Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996], премии *ИЛлюминатор* [2000], кавалер ордена Звезда итальянской солидарности [2004]. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, XVII, XVIII, XIX и XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича.*

Мария Луиза Спациани

Терпение, поэтика

Отдельное слово (быть может, любое слово) –
бездонный колодец, хранящая клад пещера.
Слоги и буквы –
глаза, подмигивающие из темноты.

Не звякает цепь, не бьется ведро о стенки колодца.
Приходится вглядываться в темноту – без устали, долго.
Иные бросаются вниз головой.
Не знаю таких, кто хотел бы вернуться обратно.

Мария Луиза Спациани. Итальянская поэтесса, автор сборников *Польза памяти* [1966], *Центр циклона* [1970], *Геометрия беспорядка* [1981], *Крапивные дни* [1996], *Путешествие через оазис* [2002]. Президент международного центра *Эудженио Монтале.*

* * *

Марк Фрейдкин

Родился 14.04.1953 в городе Ленинабаде (ныне Худжанд) Таджикской ССР. Живет в Москве. Женат, двое детей.

Высшего образования не получил. За годы бурной молодости и легкомысленной зрелости побывал киномехаником и преподавателем литературы, музыкальным работником в детском саду и диспетчером ДЭЗа, приемщиком заказов на фирме "Заря" и дворником, актером и вахтером, завхозом и Дедом Морозом, музыкантом на свадьбах и педагогом-организатором, заведующим игротекой и председателем товарищеского суда, взрывником и экспедитором, завклубом и агентом по доставке железнодорожных билетов, заливщиком катков и типографским бракером. Вкусил и горького, как полынь, хлеба журналистики. Художественным переводом занимался в свободное от основной работы время. Переводил для различных издательств английских и американских поэтов (Б. Джонсона, Р. Крэшо, Э. Марвелла, О. Голдсмита, Р. Бернса, П.-Б. Шелли, Ч. Лэма, Т. Кэмпбелла, Э. Лира, Т. Харди, У. Гилберта, Х. Беллока, Э. Паунда, Дж. Оруэлла, Р. Дала, Г. Честертона и др.) и прозаиков (Х. Лофтинга, Дж. Робинсона, Р. Даля и др.), а также французских поэтов А. Шенье, С. Малларме, А. Жарри, Р. Русселя, Ж. Брассенса. Отдельными изданиями вышли книги переводов: Э. Лир *Книга бессмыслиц* [1992], Х. Беллок *Избранные назидательные стихотворения* [1994], *Английская абсурдная поэзия* [1998], сборник повестей Р. Дала *Детские бестселлеры* [2002]. Опубликовал сборники оригинальной прозы *Главы из книги жизни* [1990], *Опыты* [1994], включающие повести *Записки брачного афериста*, *Из воспоминаний еврея-грузчика*, *Больничные арабески*, *Эскиз генеалогического древа*, *Книга ни о чем*, а также сборник избранных песен *Песни* [2003].

С 1989 года директор небольшого издательства Carte Blanche, специализирующегося на "высоколобой" литературе. С 1992-го по 1997 год был директором элитарной книжной лавки *19 октября*.

В последнее время занимается преимущественно песенным творчеством. Первый "самопальный" альбом был записан в 1987 году. Начиная

с 1997 года вышло 4 профессиональных альбома: *Эта собачья жизнь* [1997], *Песни Ж. Брассенса и запоздалые романсы* [1997], *Меж еще и уже* [2000], *Последние песни* [2002].

Жорж Брассенс

Будь *хотя бы она милашка*

Будь хотя бы она милашка,
Я не стал бы на стенку лезть:
Ну, стервоза — что есть, то есть, —
Зато смазливая мордашка.
Но она же с лица страшна,
Как водородная война!

Будь хотя бы она толстушка,
Я не стал бы на стенку лезть:
Морда набок — что есть, то есть, —
Зато уж ляжка — как подушка!
Но и здесь мне удачи нет:
Она костлява, как скелет!

Будь хоть нрав у нее не склочный,
Я не стал бы на стенку лезть:
Ну, не в теле — что есть, то есть, —
Зато не пилит днем и ночью.
Но она ж, бутерброд ей в рот,
Скандалит сутки напролет!

Будь хотя бы она не дурой,
Я не стал бы на стенку лезть:
Ну, мегера — что есть, то есть, —
Зато в ладах с литературой.
Но она же — козой коза,
Ни в чем не смыслит ни аза!

Будь хотя бы она стряпуха,
Я не стал бы на стенку лезть:
Ну, тупая — что есть, то есть, —
Зато обед — сплошной пир духа.
Только после ее стряпни
Нектаром кажется стрихнин!

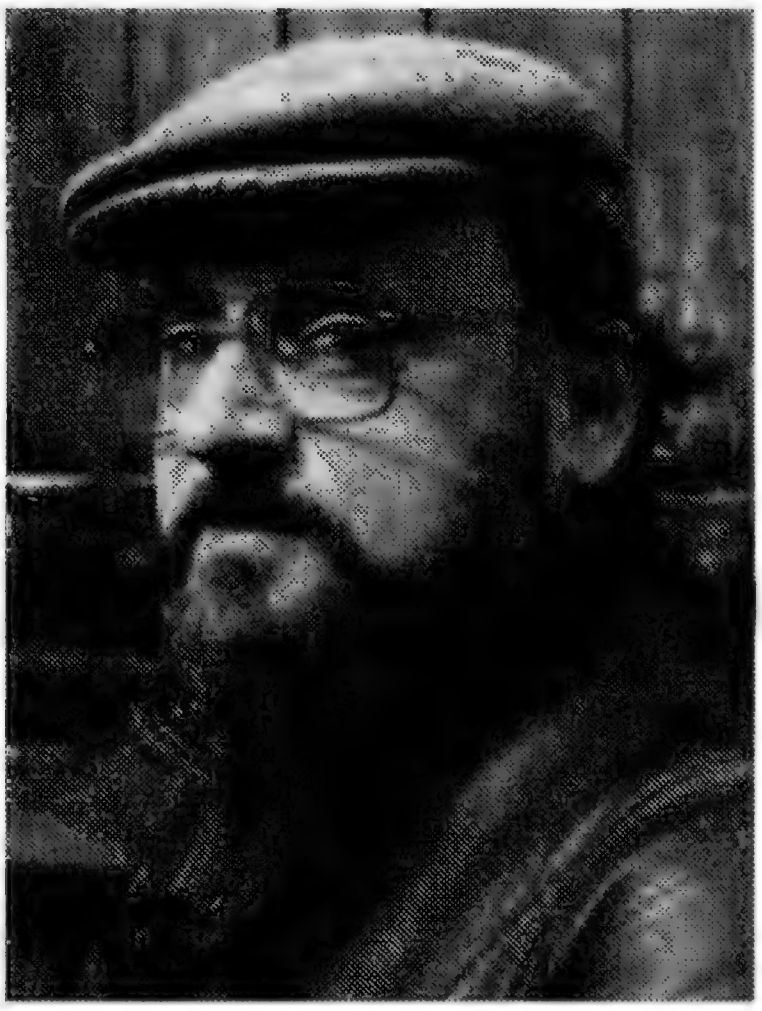
Будь хоть верной она супругой,
Я не стал бы на стенку лезть:
В гроб вгоняет — что есть, то есть, —
Зато не спит со всей округой.
Но она ж норовит с любым —
С седым, с рябым и с голубым!

Будь хотя бы она болящей,
Я не стал бы на стенку лезть:
Ну, шалава — что есть, то есть, —
Зато вот-вот сыграет в ящик.
Но и хворь ее не берет —
Она нас всех переживет!

Жорж Брассенс [1921—1981] — французский поэт и шансонье. В 1966 году Французская академия присудила ему Гран При в области поэзии. Тонкий лирик, виртуознейший версификатор, изысканный сквернослов — он стал классиком еще при жизни. Будучи невероятно сложен для перевода, тем не менее переведен на 12 языков, включая иврит и армянский. В России известен только весьма ограниченному кругу любителей.

* * *

Асар Эппель [р. 1935]



Прозаик и переводчик с польского, лауреат премии *Инолитт*л [1998] и премии им. Ю. Казакова за лучший рассказ года [2003], лауреат премии польского ПЕН-клуба [2003].

Автор книг рассказов *Травяная улица* [1994], *Шампиньон моей жизни* [1996], *Дробленый сатана* [2002], сборника статей и эссе *In telega* [2003]. Опубликованы переводы книги Вислава Шимборской *Мгновение* [*Октябрь*, 2003, № 2] и поэмы Юлиана Тувима *Бал в опере* [*Новая Польша*, 2004, № 2] и др. В *ИЛ* в его переводе напечатаны поэмы *Ниобея* К. И. Галчинского [1971, № 7], *Totentanz in Polen* С. Гроховяка [1985, № 11], *Фрэнсис Бэкон, или Диего Веласкес в кресле дантиста* Т. Ружевича [1998, № 7], папы Иоанна Павла II *Римский триптих* [2003, № 10], рассказы Ю. Тувима [1975, № 1], Б. Шульца *Коричные лавки* [1990, № 12] и *Комета* [1998, № 12].

Леопольд Стафф

Любить и терять, и желать, и жалеть,
И встать, чтоб упасть и удариться больно,
Печаль проклинать и вверяться ей впредь —
Вот жизнь: и не всласть, и куда как довольно.

В пучину кидаться за перлом бесценным,
К миражу пустыни влачиться в тоске,
Затем чтоб оставить, ушедши со сцены,
Круги на воде и следы на песке.

Леопольд Стафф [1878–1957] – крупнейший поэт и гордость польской литературы XX века. Безусловный поэтический авторитет поколения.

Август Кляйнзалер

Нет поля для игры, или Мир как кондоминиум по-американски

Перевод с английского Антона Нестерова

Сочинение стихов (прошу не путать это занятие с потугами на сочинение стихов и тем паче – с производством продукта, который стихами лишь прикидывается) по самой своей сути сопряжено с одиночеством и отдает патологией. А учитывая, что сила, стоящая за поэтом, не что иное, как Эрос, – занятия поэзией с неизбежностью разрушают или опустошают стихотворца. Можно без особого риска провоцировать молодых людей лепетать что-то невнятное, подражая сезонной моде, и рядиться во взрослые одеяния – "вот какие мы большие!" Весьма скоро эти занятия набьют им оскомину, и они вернутся к своим компьютерным бродилкам и общепринятым шаблонам поведения. Но подталкивать на поэтическую стезю тех, у кого есть дар – или просто неодолимая склонность к поэзии, – все равно что подсаживать на сильнодействующий наркотик или вовлекать в любовную связь с маньяком. Наркотики или безумный роман оставят по себе массу сильных впечатлений и послужат довольно поучительным опытом, даже, может быть, подтолкнут писать стихи. Но, скорее всего, они же вас и убьют.

Тут нет поля для игры, вот в чем дело. Настоящих поэтов – в любой стране, в любую эпоху – слишком мало. Их не хватит, чтобы заполнить какой-нибудь светский салон – не говоря уж об университетской аудитории или спортивной арене. А если вам удалось-таки свести нескольких стоящих поэтов в том самом салончике – вряд ли из этого выйдет хоть что-то достойное внимания. Разве что весьма скоро вы почувствуете удушье: присутствующие настолько заняты собой, настолько одержимы паранойей и взвинчены, что, кажется, из помещения буквально выкачали воздух. Может, предложить им пропустить по рюмочке и они расслабятся? Бесполезно. Знаете, что бывает, если в камин плеснуть спирта?

Да, у поэтов бывает в жизни период – лет так до 35, – когда они не без пользы для себя общаются с одним-двумя единомышленниками, "обкатывая" в таких разговорах свои идеи и взгляды, критикуют сделанное. Но такие "союзы" – при том, что посторонних в них не пускают, – быстро перегорают: все кончается какой-нибудь жалкой неловкостью, если не гадостью, ибо нет двух поэтов в равной степени одаренных, в равной степени оригинальных; и со временем становится очевидно: один из партнеров необратимо ушел вперед, оставив другого прозябать там, где тот остановился. Искусство жестоко. И речь не о "подсиживании", столь обычном в жизни и карьере. Речь идет о таланте, а талант – либо он есть, либо его нет. Как в спорте, здесь не бывает справедливого воз-

© Kleinzahler A., 2002
© А. Нестеров. Перевод, 2004

даяния за усилия. Здесь не дают форы слабейшему — это не гольф. В искусстве нет скидок на пол, этническую принадлежность, расу. Всё, что встречает поэт на своем пути, будет пущено в дело: использовано, выжато — и оставлено в прошлом.

Поэзия совершенно бесполезна обществу. Поэты — не "антенны расы"[1], не те, "кем жив язык"[2]. Поэзия — не терапия. Пусть себе дети в школе сочиняют стишки — риска тут нет никакого, оно даже мило — как хоровое пение на уроках музыки или игра в ручеек на переменке. Возможно, из поэзии могут извлечь некую пользу потрепанные жизнью дяди и тети, сочиняя невнятные вирши о том, что им пришлось вынести, — при условии, что сии тексты будут храниться в закрытом на ключ ящике стола. Но я не припоминаю ни одного общества, где была бы распространена практика намеренного вовлечения молодых людей в занятия поэзией, для чего существовали бы некие формальные институции, пройдя которые юные адепты поэзии достигали бы поэтической зрелости, научались быть поэтами — и в конце получали бы соответствующий подтверждающий их статус сертификат[3].

Такого общества просто не существует. За исключением общества, в котором мы живем. "Призвание Америки — все ставить на деловую основу". И индустрия "Creative Writing" — феномен чисто американский. Феномен, породивший целую популяцию не отягощенных иными занятиями упертых молодых людей в возрасте от 25 до 35 лет, у которых на руках удостоверение, что они — "патентованные поэты", закончившие специальные курсы, — и теперь эти "вьюноши" с остервенением и проныpливостью сетевых торговцев, ищущих, где бы добыть стартовый капитал, принялись изо всех сил друг с другом соперничать, превратив соперничество в свое призвание. Не знаю, право, отражается ли эта их деятельность на чем-либо кроме публикаций, распределения премий, признания и, возможно, конкуренции за преподавательские места в колледжах. Но я точно знаю, что этих поэтов — тысячи, и если кто-то из них озабочен тем, как бы *написать хоть одно стоящее стихотворение*, то вряд ли их наберется с дюжину, а остальные думают лишь о том, как бы *продать* все, что тоннами выходит из-под их пера, — и *продать по максимальной цене*. Типично американский подход, и тут воистину "Боже, храни Америку".

Когда на вас извергаются тысячи тонн специфического продукта — будто прорвало канализацию, — не стоит удивляться, что в воздухе разлит некий нездоровый запах. Фактически именно выпускники курсов "Creative Writing" и их циничные наставники, эти повитухи бездарности, ответственны — будем называть вещи своими именами — за повисший в воздухе аромат, а в результате — поэзию больше не считают за литературу, литература — это романы, пьесы, а поэзия — это мир в себе, интересный только тем, кто непосредственно в нем вращается и делает на этом свой маленький бизнес. И стоит ли удивляться, что серьезный читатель, когда-то интересовавшийся поэзией наряду с прозой, документалистикой, сочинениями по истории, биографиями, исключил

1. Выражение Эзры Паунда. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Отсылка к У. Х. Одену, многие из положений которого о роли поэта и поэзии были повторены И. Бродским в Нобелевской лекции и других текстах.
3. Оставим данное утверждение на совести автора: институции такого рода существовали, например, в древней Ирландии, где священный поэт — олам — проходил специальное обучение и инициацию.

стихи из круга серьезного чтения? То, что он видит на страницах литературных журналов, — дерьмо.

Для поэзии утрата читателя означает если не летальный исход, то катастрофу. И худшего времени для этой коллизии трудно представить: питательная среда существования современной поэзии — город, но растущая плата за жилье гонит горожан в пригороды, обрекая на своего рода изоляцию; прибавьте к этому уход подрастающего поколения в "виртуальное заэкранье" — скоро наши дети пропадут там, как Алиса в Зазеркалье, — для этого поколения язык постепенно теряет свой устный характер, звучание — то, что составляло саму плоть и кровь стиха.

Среда отравлена, а это влечет за собой целый ряд патологий. Одно из главных проявлений патологического состояния поэзии — глубокое отчаянье серьезных поэтов или тех, кто ревностно пытается овладеть искусством поэзии. Каналы взаимодействия с читателем перерезаны или пережаты, привратники, допускающие в "поэтическое собрание", — либо ограниченные невежды, либо мошенники, либо то и другое сразу, квалифицированная аудитория — почти отсутствует, а что до эрзац-аудитории "Creative Writing", то она не обладает необходимыми навыками чтения, одержима недоброжелательностью и при этом не способна хотя бы в минимальной степени уловить, что на самом деле происходит в пространстве стихотворения, стоящего наособицу от гималаев чепухи, заслонившей собой "поэтический пейзаж".

Молодым поэтам недостает решительности, сил и таланта, и они стремятся укрыться в резервациях, сбиться в кучку — так что вскоре даже их облик и манера одеваться становятся униформой группы. Сторонники "Поэзии языка" — по большей части студенты, подвизающиеся в изучении истории искусства, архитектуры, или мученики Я-З-Ы-К-А — напоминают своим обликом контингент концлагеря. Кто из них играет при этом роль охранников, а кто — заключенных, по виду определить невозможно: одинаково изможденные, стриженные под бобрик, на лицах — очечки без оправы и выражение неизбывной серьезности. Они вечно чем-то раздражены: по их мнению, суровость и нелицеприятность идут рука об руку с неприятием и ниспровержением таких буржуазных ценностей, как синтаксическая структура предложения и внешняя референция высказывания. Ничем не лучше выглядят и "Новые формалисты"[1], разве что у их поэтесс стрижки посимпатичнее. Что до поэтов из этого лагеря — как и их антагонисты, отстаивающие постмодернизм, они привыкли на все смотреть с мрачным подозрением. (Да и как не быть угрюмым, когда ты пытаешься изгнать свободный стих из современной культуры: та еще работенка!) Но "Новым формалистам" свойственна и некая отличительная черта, запечатленная в самом облике этих поэтов: их отличают нахмуренные брови и сморщенный нос, будто они вошли в помещение, где кто-то испортил воздух, да только они никак не сообразят, кого же это угораздило. Есть еще "нью-йоркская школа" — эти кругами ходят вокруг церкви Святого Марка[2], всем своим видом выражая почтение и трепет, будто пришли на поклонение ко Гробу Господню. Затрудняюсь сказать, насколько есть что-то общее в выраже-

1. Мощное течение в современной американской поэзии, ориентирующееся на возрождение в поэзии строгих форм и тяготеющее к "экзотике" вроде сестин или газелл.
2. Церковь Св. Марка в Боури — старейшая церковь Нью-Йорка, один из символов "добрых старых традиций".

нии лица у членов этой группы, однако они вовсе не стремятся демонстрировать свою неприязнь по отношению к "антагонистам". На выгороженной этими поэтами "священной территории" продолжает бытовать традиция некой насмешливой веселости и поверхностности, чего не избежали даже самые воинственные из "охранителей традиции".

Что же в итоге? Увы: слушатели "Creative Writing" из Айовы шлют e-mail за e-mail'ом стипендиатам программы Уоллеса Стайнера в Стэнфорде[1], которые, как и они, презирают стипендиатов фонда Брауна, — последних, в свою очередь, начисто игнорируют хьюстонцы. Следить за этим — увольте! В конце концов, весьма скоро все они займутся зарабатыванием денег, нарожают детей, а о годах, отданных "Creative Writing", будут говорить шепотом — как мои родители о годах своей юности, когда они состояли членами Партии (коммунистической, разумеется). Я же хочу только одного. Пусть все эти "юные дарования" заткнутся и разбредутся по домам. Но что с того? Посмотрите на горизонт. На подходе новые орды. Они еще многочисленнее, еще бездарнее — и еще агрессивнее.

1. Уоллес Стайнер — американский романист, чей пик известности пришелся на вторую половину 50-х гг. Стипендиатами программы, основанной Стайнером, были в свое время Кен Кизи, Дин Кроуфорд, Роберт Пински.

Антон Нестеров
Поэзия и картография

Fulcrum. An Annual of Poetry and Aesthetics. A map of English-language Poetry. 2002, № 1.
Fulcrum. An Annual of Poetry and Aesthetics. Philosophies of Poetry. 2003, № 2.
Fulcrum. Ежегодник поэзии и эстетики. Картография англоязычной поэзии. 2002, № 1.
Fulcrum. Ежегодник поэзии и эстетики. Философии поэзии. 2003. № 2.

Выходцы из России Катя Капович и Филипп Николаев затеяли в Америке издание альманаха "Fulcrum", посвященного поэзии. Двум эмигрантам удалось то, что последнее время не удавалось ни американским, ни английским любителям словесности, прочно интегрированным в систему западной культуры, уверенно чувствующим себя среди ее институций, тем, за чьими плечами стояли престижные университеты, связи в литературных кругах, знание, как общаться с фондами, готовыми поддерживать культурные инициативы. Издатели "Fulcrum" смогли выпустить два провокационных, крайне насыщенных и неожиданных тома, объединивших под своей обложкой стихи, интервью поэтов и статьи о современной англоязычной поэзии. Первая книжка "Fulcrum" (2002) посвящена "картографии" современной англоязычной поэзии, вторая (2003) — отношениям поэзии и философии. Готовится третья, темой ее будет "Война и поэзия".

"Fulcrum" означает на латыни "точка опоры". И редакционная статья, которой открывается "пилотный" выпуск альманаха, называется "Дайте мне точку опоры".

"Самое сложное для поэтов — найти общий язык... Поэты слишком погружены в себя... Лишь немногим хватает энергии на вылазки в иные области поэтического мира... — пишут редакторы альманаха Катя Капович и Филипп Николаев. — Современная англоязычная поэзия живет в неведении о себе самой... Она поделена на 'кружки' — больше они известны как 'поэтические лагеря' — это весьма строго организованные сообщества, сформированные по принципу взаимного восхищения участников; границы сообществ жестко очерчены рамками той или иной эстетики и политики, но в основе всего — вопрос о степени влиятельности соответствующей группы. Освященная веками, агрессивная, подробно документированная враждебность, пронизывающая любые отношения между 'лагерями', — данность, но не она повод для беспокойства... Повод для беспокойства — иное: по мере того как принадлежность к тому или иному поэтическому лагерю становится повсеместным требованием, предъявляемым к поэтам... стихи их имеют одно общее свойство: все они написаны в одной поэтике — поэтике конформизма... Нам же нравятся экстремисты, нас не пугают партизанские взгляды и крайние мнения. Наша цель — высечь искру между противоположно за-

© А. Нестеров, 2004

ряженными полюсами... Нужно ли говорить, что мы не обязательно согласны со всем, что публикуем; порой мы резко не согласны. Но 'Fulcrum' не ищет 'золотого сечения' и 'общих платформ'. Мы просто печатаем то, что интересно нам самим..."

Когда что-то по-настоящему интересно авторам, это интересно и читателям.

Статьи, собранные под обложкой альманаха, — отнюдь не только о стихах. Это и тексты о политике поэзии, экономике поэзии, антропологии поэзии. Поясняя намерения редакции, составители пишут: "'Fulcrum' намерен публиковать поэзию, написанную по-английски, во всем многообразии ее местных форм, регистров и акцентов, а также переводы, интервью и эссе о поэзии, поэтах, стихах, поэтической форме и технике, субстанции поэзии, ее политике, институциях, философии и эстетике". И читатель первого номера альманаха получает представление о ситуации в поэзии Великобритании, борьбе поэтов за влияние на издательства в Австралии, различиях в политике экономической поддержки поэтов в разных странах, политических аспектах поэзии модернизма в Южной Африке, о поэтах из Сингапура, Новой Зеландии, Шотландии и Уэльса и множестве других вещей.

Первый номер альманаха после отчасти цитированного здесь манифеста издателей и стихов австралийки Пэм Браун, продолжает статья поэта и критика Дэвида Кеннеди "Поли-Альбион, странный подвиг Геракла, или Набросок карты *поэзий* Британии". Прежде всего в этой статье о современном состоянии английской поэзии обращает на себя внимание тот "гринвичский меридиан", от которого строит свою картографическую сетку автор статьи: поэма Майкла Драйтона "Поли-Альбион", написанная в самом начале XVII в. Поэма, насчитывающая тридцать песен, была попыткой фиксации истории Англии, неразрывно слившейся с географией: описания природы и достопримечательностей отдельных городков и графств перетекали в повествование о событиях прошлого, образуя в итоге пространный национальный эпос.

Сравнение состояния современной английской поэзии с веком Драйтона — не риторический ход критика: эта поэзия до известной степени на слуху, а у поэтов XVI–XVII вв. (будь то Филип Сидни, Джон Донн, Генри Воэн или Эндрю Марвелл) читателей в Англии не меньше, чем у Байрона и Китса или Элиота и Одена. Это поэзия, актуально присутствующая в сознании и современных английских поэтов, и их аудитории. И доказательство тому — не социологические опросы, а то, что все эти авторы регулярно переиздаются; достаточно посмотреть на полки английских книжных магазинов, где стоит поэзия, чтобы заметить: состав классических авторов на них почти всегда один и тот же, а вот издания меняются год от года.

В своей статье Д. Кеннеди пытается проанализировать феномен сосуществования в Англии двух поэзий, подчеркнуто друг друга игнорирующих. Создается впечатление, что поэты, принадлежащие к мейнстриму, и поэты-экспериментаторы живут если не на разных планетах, то в разных измерениях. Так, две солидные поэтические антологии, из тех, что подводят итоги десятилетия: "Новая поэзия" (1993, составители М. Халс, Д. Кеннеди и Д. Морли) и "Другие: Британская и ирландская поэзия после 1970" (1999, составители Р. Каддел и П. Квотермейн), претендуя на некую обобщающую картину английской поэзии конца XX века, предлагают читателям совершенно разный список авторов.

По Кеннеди, это разделение английской поэзии на два текущих в разных направлениях потока произошло в середине 1950-х годов. В качестве ориентира Кеннеди предлагает 1956 год, когда выходит "программная" антология "Новые направления" ("New Lines"), авторы которой подчеркнуто отказывались от опыта модернизма. В их глазах тот был не более чем досадным отклонением от основной линии развития английской поэзии, отклонением, спровоцированным чужаками, приехавшими из-за океана, вроде Элиота и Паунда.

Модернисты обвинялись в том, что их поэзия перегружена теоретическими построениями, логическими несообразностями, навязчивым мистицизмом. Взамен предлагалась "поэзия простых вещей". Сторонники этого направления – Кингсли Эмис, Том Ганн, Филип Ларкин, Элизабет Дженнингз, Джон Уэйн – получили название "Движения". Отчасти "Движение" было реакцией на распад Британской империи. Утрата имперского величия порождала поэзию мелочей, отказ от серьезной рефлексии, тягу к вещественному, к данности. (Заметим, что сходные тенденции можно было наблюдать и в русской поэзии 1990-х годов. В России "поздний модернизм" сформировался только в 1960–1970-е годы, с ним можно отождествлять И. Бродского, О. Седакову, Е. Шварц; а поколение, вступавшее в литературу в 90-е годы, демонстративно отказывалось от опыта этих поэтов, противопоставляло им себя. Разрыв шел под знаменем постмодернизма, но характерно, что во многом "новая поэзия" 90-х в России была поэзией мелочей, приземленности, тяготела к аморфности – и именно последнее ее качество говорит о том, что на самом деле от постмодернизма она была далека.)

Английские поэты 1950-х годов, ассоциировавшие себя с "Движением", довольно быстро завоевали признание публики. Из бунтарей, выступивших против "модернистских умствований", они превратились в литературный истеблишмент, на целое десятилетие задавший тон в английской поэзии. И одним из краеугольных камней их эстетики было представление о том, что бывает поэзия "здоровая" и поэзия "упадочная". Публикой эта идея была воспринята на ура. Если в 1920–1930-е годы читатели поэзии были готовы делать усилие для понимания сложных текстов и именно сложность, новизна ассоциировались с "настоящей литературой", то после 1950-х почти все эксперименты, выходившие за рамки мейнстрима, стали восприниматься как маргинальные.

К началу 80-х годов этот разрыв между поэтиками, отринувшими опыт модернизма, и поэтиками, так или иначе его впитавшими, оказался настолько велик, что перестал ощущаться читателями – по той простой причине, что о существовании поэзии, отличной от мейнстрима, средние читатели стихов просто не подозревали.

Почти вся экспериментальная поэзия в Англии выходит в небольших (а если точно – в совсем маленьких) издательствах, рассыпана по журналам, печатающимся тиражами в несколько сотен экземпляров, таких как "Slow Dancer" (существовал до середины 90-х годов), "Bête Noir" (в настоящее время судьба журнала не совсем ясна, однако он не объявлял о своем закрытии), "Palantir", "The Wide Skirt", "The North". И Дэвид Кеннеди чувствует себя картографом, когда пытается обрисовать этот пейзаж английской поэзии за пределами мейнстрима. Достаточно сказать, что в приложенном к статье списке современных английских поэтов, представляющих, по мнению критика, интерес, рядом с выходными данными того или иного поэтического сборника стоит адрес

независимого поставщика или адрес сайта, на котором можно заказать книжку: эту поэзию бесполезно искать в больших книжных магазинах или заказывать по Amazon.com.

Но не стоит забывать: радикальным поэтикам изначально присуща определенная узость, ориентация на решение какой-то одной выразительной задачи. Представить читателя, живущего только экспериментальными текстами, сродни тому, как представить человека, питающегося одними лишь специями: перцем или, скажем, корицей. Самое интересное в поэзии происходит в той мерцающей зоне, где поток мейнстрима соприкасается с экспериментальными, новаторскими эстетиками — и образуются странные завихрения, водовороты. (Так в русской поэзии мы видим, что настоящие открытия начала прошлого века принадлежали не радикальным футуристам вроде Бурлюка или Крученых, а... Пастернаку, лишь по краю коснувшемуся футуризма.)

Своеобразная "рифма" к размышлениям Дэвида Кеннеди — статья "Конец стихотворения..." Пола Малдуна, одного из лучших современных поэтов Ирландии. Статья эта выросла из лекции, прочитанной Малдуном в Оксфорде, и это прекрасный образец размышления *поэта* о стихах перед университетской аудиторией: тонкое, взвешенное сочетание академизма и поэтической интуиции, демонстрация умения работать с текстами и при этом очень корректно касаться биографии автора. Читателю предлагается развернутый комментарий к стихотворению Теда Хьюза "Литературная жизнь", напечатанному в его сборнике "Письма ко дню рождения" (1998). У этого сборника особая история. Женой Хьюза была американская поэтесса Сильвия Плат: звездная пара, два лучших поэтических голоса своего поколения. Потом они расстались. Плат покончила жизнь самоубийством. Хьюз остался жить с грузом вины, к тому же активно навязываемой ему журналистами. Хьюз отмалчивался до конца своих дней. А почти перед смертью издал сборник "Письма ко дню рождения" — то были стихи, написанные для Плат, — продолжение разговора, не законченного при жизни поэтессы, горькое признание в любви, приношение памяти. Он писал их из года в год — и складывал в стол.

Пол Малдун говорит, по сути, лишь об одном из этих стихотворений, озаглавленном "Литературная жизнь". Собственно, Хьюз вспоминает, как в 1958 году он и Сильвия Плат — оба еще молодые, оба еще в самом начале пути — явились с визитом вежливости к Марианне Мур — поэтессе, само имя которой к тому времени стало синонимом модернизма в американской поэзии. Хьюз был отчасти обязан Мур публикацией своего первого сборника ("Ястреб под дождем", 1957): поэтесса, вместе с У. Х. Оденом и Стивеном Спендером, входила в жюри программы "Центр поэтов", при поддержке которого и была издана дебютная книжка Хьюза. Плат же в ту пору страстно увлекалась поэзией Мур и тоже считала за честь лишний раз встретиться с великой поэтессой, тем более у нее дома. Однако визит не очень-то удался: Мур встретила молодых поэтов настороженно; а неделей позже она вернула Плат ее стихи, сопроводив их весьма недоброжелательным письмом. Причем и Плат, и Хьюз подозревали, что отчасти причиной этой недоброжелательности была сущая мелочь: Плат послала Марианне Мур не первый экземпляр машинописи, а одну из копий, и поэтесса обиделась на то, что "ей не оказали должного уважения". Но она не могла не чувствовать и того, что

Плат развивает ее, Мур, поэтику, однако движется дальше и при этом во многих решениях значительно радикальнее своей "наставницы"...

И вот – трое поэтов: счастливый, упоенный, но и ошарашенный успехом Тед Хьюз; неуверенная в себе, но и чувствующая свою силу и... снедаемая амбициями Сильвия Плат ("Думаю, я написала стихи, которые дают мне право быть Поэтессой Америки... Кто мои соперницы? В прошлом: Сапфо, Элизабет Браунинг, Кристина Россетти, Эми Лоуэлл, Эмили Дикинсон, Эдна Сент Винсент Миллэй – все они мертвы. Сейчас: Эдит Ситвелл и Марианна Мур, две стареющие великанши... И еще – Адриенна Рич... но вскоре я заставлю ее потесниться..." – пишет она в дневнике 20 марта 1957 года); ощущающая себя "живым классиком" Марианна Мур...

Можно увидеть ситуацию и иначе – двое влюбленных, оба – со своим опытом потерь, у каждого за спиной – свои руины, и другой для него – и спасение, и страх зависимости (Плат, в дневнике: "я слишком зависима от Теда..."). Влюбленность – требование абсолютной искренности, но такая искренность безжалостна, как огонь, и может выжечь все вокруг. Тут не до конвенций литературного поведения и прочих мелочей... Хьюзу и Плат в их состоянии слишком многое в Марианне Мур – и в ее поведении, и в ее поэзии – *не могло не показаться* натужным, искусственным. (Напрашивается параллель с английскими поэтами, принадлежащими к "Движению", с "литературой развалин", возникшей после войны в Германии. Юность того поколения, к которому принадлежал Тед Хьюз, прошла на фоне руин. Воздух, которым дышали эти молодые люди, был слишком пропитан пылью зданий, рухнувших под бомбежками... И отсюда – отказ этого поколения от умствований, его тяга к простым вещам: хлеб, ночлег, чья-то близость. Им было просто не до мифологических лабиринтов "Улисса" и подтекстов элиотовской "Бесплодной земли"...)

Верлен в "Искусстве поэзии" настаивал, что поэзия алчет только того, что есть "другое небо и любовь... Все прочее – литература" (перев. Б. Пастернака). "Литературная жизнь" Хьюза – об этом. Об искушении литературой и обо всем, что с ней связано: слава, влияние... И о необходимости этому искушению противостоять. О сладострастном, до дрожи, желании известности – и о понимании того, что как только она придет – все настоящее пойдет прахом, о прозрении того, что слава всегда отбрасывает тень, и тень ядовитую...

Пол Малдун виртуозно сополагает "Литературную жизнь" Хьюза – и стихотворения Мур, Плат, У. Б. Йейтса, дневники и письма Плат, которые являются для него подтекстами. Каждый поэт – данник традиции, и ярлык на княжение он вынужден получать у предшественников – хотя порой восстает и пытается "выделить" собственное царство... И вот из строк стихов, дневниковых проговорок, писем постепенно проступает жизнь – с ее амбициями, горечью, нежностью, неспособностью к пониманию, – чтобы, преображенное поэтическим даром, все это стало поэзией. Читатель сталкивается не с "каталогом параллельных мест", замеченных автором у разных поэтов, а с очень тактичным рассказом поэта о том, "из какого сора растут стихи...". Стихотворения и биографии поэтов комментируют друг друга: так два зеркала, поставленных друг против друга, создают иллюзию бесконечности распахнутого пространства...

Если Малдун говорит об оторопи, которую поэт испытывает при столкновении с механизмами власти и влияния, то австралиец Кен Болтон непредвзято пытается посмотреть на борьбу поэтов за влияние на издательства. Девяностые годы прошлого века для австралийской поэзии ассоциировались с "Войной поэтов", когда "консерваторы" во главе с Лесом Мурреем и "новаторы" (Джон Трантер, Лори Дагген и др.) — поэты, отчасти ориентированные на опыт "нью-йоркской школы" (ассоциируемой прежде всего с Дж. Эшбери), — вступили в борьбу за то, кто займет ключевые посты в редакциях нескольких крупных издательств и журналов, публикующих поэзию. Тогда победу одержали "консерваторы": Лес Муррей стал редактором журнала "Поэтическая Австралия", а большинство крупных издательств стало ориентироваться на традиционную поэзию. Но, как показало время, "война" не пошла на пользу обоим лагерям: поэзия, защищаемая Мурреем, не вызывала у читателей особого интереса, и постепенно почти все серьезные издательства перестали печатать поэзию вообще, а "Поэтическая Австралия" растеряла подписчиков. История довольно поучительная...

"Экономике поэзии" посвящена статья Рэндольфа Хили о современной ирландской поэзии. Рэндольф Хили всерьез оперирует цифрами: он приводит суммы, которые тратит правительство Ирландии на поддержку поэтических книг и проекты, связанные с искусством в целом. Так, в 1997 году на финансирование художественных (в широком смысле слова) проектов в расчете на душу населения больше всего тратила Швеция (62 ирландских фунта), за которой следовали (в порядке убывания): Финляндия, Квебек, Шотландия, Австралия, Англия, Северная Ирландия, Ирландия и США (чуть меньше 4 ирландских фунтов). И тут невольно у читателя напрашивается вывод: чем меньше финансирование, тем лучше для искусства. Современная поэзия США, Англии все же ярче и разнообразнее, чем Швеции или Австралии... Однако вывод этот не совсем верен: и в США, и в Англии поэзию ощутимо поддерживают университеты. Они устраивают поэтические чтения на кампусах, издают поэтические книжки... В Ирландии эта система не работает хотя бы потому, что университетов в стране несравнимо меньше, чем в соседней Англии... Но есть еще и силовое поле традиции: в Ирландии поэтов на душу населения, наверно, больше, чем где бы то ни было... Собственно, Рэндольф Хили больше задает вопросы, чем на них отвечает. Но это — свойство журнала "Fulcrum" в целом, и свойство очень притягательное.

Не менее притягательно и то, что теоретические размышления о поэзии, как правило, сопровождаются стихами автора соответствующего эссе, и читатель имеет возможность тут же "проверить" свои впечатления, решить, насколько он готов доверять тем или иным "общим" высказываниям. Стихи и прозаические тексты в "Fulcrum" работают друг на друга: если читателю понравилось какое-то стихотворение, он наверняка заинтересуется и тем, а что этот человек думает о поэзии в целом; с другой стороны, эссе помогают восприятию далеко не всегда простых поэтических текстов, собранных под обложкой журнала. Читатель найдет в номере стихи: ирландцев Пола Малдуна, Джона Кинселлы, американца Августа Кляйнзалера, шотландца У. Г. Херберта, индианки Менку Шидасвани, когда-то уехавшего из России Матвея Янкелевича и других. Но кроме поэтов, представленных подборками, есть еще масса "вкусных" цитат в текстах *про* поэзию. Чего стоит описание стихотворения канадского поэта bpNichol, которое выложено на дорожке одного из

парков в Торонто! BpNichol занимается так называемой конкретной поэзией. Некоторые его произведения впору назвать даже "ландшафтной поэзией" – есть же "ландшафтная архитектура"! Посетители парка, идя по дорожке, ведущей к озеру, могут прочесть у себя под ногами следующий текст:

a
lake
a
lane
a
line
a
lone

Буквально: "озеро / тропинка / строчка / одиночество". Стихотворение как бы всего лишь указывает на предмет, называет очевидно-данное, причем само это называние – избыточно: и так ведь понятно, что водяная гладь сбоку – это озеро, что под ногами – тропинка. Но, называя очевидное, стихотворение управляет вниманием прохожего, постепенно подчиняя себе его сознание, чтобы в конце заставить праздно фланирующего "читателя" задуматься: а не одинок ли он сейчас и хорошо это или плохо? Последнее слово в стихотворении только прикидывается существительным: alone – это прилагательное, "одинокий", и пишется оно слитно, нет у него и быть не может никакого неопределенного артикля... Так среда парка, текст и читатель становятся единым произведением...

И при размышлении о том, что же такое этот текст bpNichol – стихотворение в подлинном смысле слова? некая иная форма искусства? просто кунштюк, шутка? – напрашивается странное определение: "Поэзия – это операции с человеческим сознанием посредством слов, организованных так, что смыслы и эмоции уплотнены в них до предела". Определение, возможно, несколько корявое и неточное, как, собственно, всякое определение поэзии.

Именно попытке определить, что же такое поэзия, как-то очертить ее границы, посвящен второй выпуск "Fulcrum": "Философии поэзии". Сама тема его сформулирована таким образом, что подразумевает множественность ответов – как и множественность позиций. Редакторы "Fulcrum" не боятся сталкивать под одной обложкой разные, часто – взаимоисключающие мнения.

Так, в номере есть два интервью, формально объединенных тем, что оба интервьюируемых когда-то были поэтами-лауреатами США. Один из них – поэт-лауреат 2002 года Билл Коллинз, другой – Иосиф Бродский, представленный интервью 1992 года, до этого напечатанным в труднодоступном "Plum Review". Но дело не только в библиографической редкости второго материала. Между одним и другим интервью пролегает десятилетие. И это накладывает на ход того и другого разговора не меньший отпечаток, чем разница двух авторов, их поэтик. Изменился сам мир, изменились отношения поэта и общества.

Так, интервьюер спрашивает Бродского: не считает ли тот, что если бы пресса уделяла больше внимания поэзии, то у поэтов было бы намного больше читателей. На что поэт отвечает: "Дело не в прессе!.. Я бы ска-

зал, страшно инертен сам издательский мир. И на мой вкус, это – глупость, идиотизм. Но я полагаю, все это поправимо... В среднем цена поэтического сборника – 15 долларов. Кто его купит? Но если делать дешевые издания, в мягких обложках, то цена им будет два доллара за книжку. И тогда можно продать 200 000 книг за пару долларов, а не как сейчас, 20 000 по 15. И прибыль издателя будет побольше... Поэзия станет доступней. Я считаю, люди вполне готовы читать поэзию. Ведь это – короткий, очень сжатый, концентрированный текст, это вам не длиннющий романище, который еще надо одолеть..." В этих словах поэта – вера в индивидуальность выбора каждого из живущих, в независимость сознания, свободу от предвзятости оценок. Все эти качества были бесконечно присущи самому Бродскому – но и мир не был заражен конформизмом до такой степени, как сейчас.

Коллинз говорит из ситуации, какова она есть на данный момент. Говорит с усталой интонацией человека, видевшего, как энтузиазм его предшественников ни к чему не привел: "Иосиф Бродский, благослови его Бог, будучи поэтом-лауреатом, верил, что поэтическая антология должна ждать вас на столике в каждом номере мотеля. Все это прекрасно. А 'поэзия в метро' – это же была просто замечательная идея! Я поддерживаю любой способ популяризации поэзии. Ведь никогда не знаешь: вдруг кого-то 'зацепит' стихотворение из антологии, что лежала на столе в мотеле, вдруг строчка в метро кому-то спасет хотя бы день... Но когда я об этом думаю, мысль о человеке, который, сидя в чем мать родила на кровати в мотеле, читает 'Апокалипсис', кажется мне куда более поэтичной, чем если бы он читал Карла Сэндберга... Я ничего не имею против того, что у поэзии – немного читателей. Это – культурная элита, небольшой слой людей, у которых есть образование и которые могут себе позволить покупать дорогие книги... Мне нравится, что у поэзии мало читателей. В этом есть что-то уютное... А разве многие ходят в оперу? Многие ли слушают джаз?.. Мне не по нутру слушать Майлса Дэвиса в качестве фона в супермаркете. Я хочу слушать его дома..."

Полярность позиций Бродского и Билла Коллинза предстанет явственнее, если привести следующий фрагмент из того же интервью Бродского: "Россия вошла в XX век. Викторианская эра кончилась. Дело идет к тому, что Россия становится похожей на любую другую страну. Коллеги в России жалуются, что никто их больше не читает. Никто больше не читает поэзию. Все читают журналистику, которая, к слову, – хороша. Приходится сойти с котурнов. Надо пройти не только крещение огнем или водой, надо пройти и крещение вульгарностью человеческого сердца, массовостью. Эта вульгарность человеческого сердца... Это когда ты полагаешь, что ты – лучше других.... Именно здесь таится корень всякого зла".

Сополагая разные точки зрения, составители "Fulcrum" заставляют читателя не солидаризироваться с одной из них, а думать дальше, "поверх барьеров", искать собственные ответы. Вернее, задавать собственные вопросы и пытаться найти на них ответы.

Так, Билл Коллинз по ходу разговора вспоминает расхожее определение поэзии: "Поэзия – это дверь, открытая в пространства души"... и задается вопросом: "Применима ли эта формула к овидиевской 'Науке любви', являющейся 'пособием для соблазнителя'? А к 'Гипериону' Гёльдерлина? Вряд ли..." По мнению Коллинза, мы все еще безотчетно исходим из представлений о поэзии, сформированных поэтами-романтика-

ми. Романтики декларировали внимание к жизни сердца, стремились воздействовать в первую очередь на чувства читателя... Но ведь так было не всегда. В XVII в. в поэте ценили не чувствительность, а остроту ума, парадоксальность взгляда... Изменились требования к поэзии, изменились поэтические формы. И тут ловишь себя на мысли: а легко ли представить искрометно-остроумное, насыщенное неожиданными ходами мысли стихотворение, написанное свободным стихом?.. Приходится признать, что для выражения этого строя чувств регулярный рифмованный стих был приспособлен куда лучше, чем формы, доминирующие сегодня в западной поэзии...

Тут же, рядом с интервью Коллинза, присутствует текст Сергея Гандлевского "Критический сентиментализм", где декларируются иные представления о поэзии. "Тайна – первопричина лирической поэзии, – настаивает Гандлевский. – Дело поэта не раскрытие тайны, а воспроизведение ее в неприкосновенности, чтобы человек, причастный той же тайне, со страхом и восхищением узнал ее по твоим словам, как внезапно досказывает собеседник, оборвав твою историю на полуслове, твое же сновидение".

Заметим, что российские поэты присутствуют в обоих выпусках "Fulcrum": в первом номере – живущий попеременно в США и России Матвей Янкелевич, во втором, кроме Гандлевского, – Алексей Цветков, Лев Рубинштейн. И тут же – статья коллекционера Михаила Ковнера о Добужинском, философа Михаила Ямпольского – о художниках Комаре и Меламиде. И в этом присутствии – не стремление составителей познакомить англоязычную аудиторию с русской культурой, а органичное ощущение уместности каждой такой реплики в общем разговоре о современном состоянии поэзии. Не пропаганда, не культуртрегерство, а владение материалом и вкус, в сочетании с чувством такта.

Ряд материалов в обоих номерах журнала – эссе, являющиеся переработкой лекций, читанных поэтами по тому или иному случаю в каком-нибудь университете. Тут всего интересней напечатанные во второй книжке "Fulcrum" "Обязательства поэта: разговор о ничто, имевший место в университете Темпл" Майкла Палмера. Палмер – один из самых ярких современных поэтов, связанных с нью-йоркской "школой языка". Кое-что из его стихов переводилось на русский, выходила даже книжечка избранного, так что здешнему читателю он несколько знаком. И он действительно хороший поэт. И вот Палмер говорит об отношении с прочитанными текстами, о переживании чтения. О вживании в текст и его понимании. Вспоминает, как ему довелось в университете Бордо комментировать для студентов факультета изящных искусств собственные стихи о войне, пытаясь перебросить мостик между текстом и визуальными образами. Но перед этим друг, пригласивший его, показал Палмеру документальный фильм о Жиле Делезе, снятый незадолго до смерти философа. "Больше всего меня поразили не размышления Делеза – надо сказать, очень яркие, а то, что в конце фильма Делез погружается в молчание: уходит от философии, уходит от себя самого. Он оказывается 'на открытом пространстве', если пользоваться словом, которое часто употреблял Целан, – и перед ним ничего нет, пустота. Так мы начинаем и, может быть, заканчиваем этот разговор с пустотой, с ничто. С 'Пустотой во мне'. С 'Пустотой, которая не здесь'. С 'Пустотой, которая сущее'". Палмер пытается описать этот диалог. Мысль кружится, как спугнутая птица: то сужая, то расширяя круги, отклоняясь, пики-

руя вниз, чтобы, осознав ошибку, — фальшивая приманка, а не добыча, — в последний момент отпрянуть и взмыть вверх. Пульс мысли, бьющийся в висках.

Он рассказывает, как ему довелось писать текст для каталога выставки художника Ирвинга Петлина и как он не увидел, о чем на самом деле были работы, о которых идет речь, — только получив уже напечатанный каталог со своим предисловием, осознал ошибку. Всякий запечатленный на бумаге текст оказывается такой ошибкой, отклонением от внутреннего курса...

И при этом — совершенно невольно — Палмер проговаривает важную вещь, касающуюся "неправильности" самого существования поэта в современном обществе. Поэт читает лекции в университетах. Выступает на фестивале. Участвует в телепередаче. В конференции. Это — его социальная роль. Его хлеб и его способ общения с миром. Только... Общение опосредовано: он касается страниц книг, он впитывает слова, чтобы они вернулись уже другими. Но где у современного поэта опыт физической усталости, опыт победы над неподатливой материальностью мира? Роль, отведенная поэту современным обществом, — роль наблюдателя, описателя, но не участника. Во времена Гомера, как и во времена викингов или трубадуров, поэт точно так же кормился при дворе, развлекал публику — но когда властитель отправлялся на битву, поэт брал меч и отправлялся сражаться вместе с дружиной, чтобы потом воспеть победу или оплакать поражение. Поэт был ратником, а ратный труд в те времена был куда ближе труду землепашца, чем мы склонны ныне думать: сам "рисунок" физических движений человека, опускающего меч на врага, и человека, вонзающего в землю плуг, чтобы провести первую борозду, почти идентичен. (Еще одна социальная ниша для поэта: жрец, священник или монах — но и здесь он должен исполнять иную работу, кроме поэтической.) Современный же поэт ведет квазисуществование, почти не подходя к "точке смерти". (Вспоминается фраза, оброненная Мандельштамом: "Россия — единственная страна, где за стихи — расстреливают".) "Точка смерти" — там, где происходит столкновение с пустотой, с необходимостью противопоставить ей максимальную полноту бытия...

Эссе Палмера состоит из двух частей. Первая часть — собственно лекция о поэзии и языке описания пустоты. Со всеми подобающими цитатами из Гадамера, Целана, с упоминаниями Хлебникова и Маяковского, Марселя Дюшана и т. д. А вторая часть, озаглавленная "Язык и смерть", — фрагменты дневника, который Палмер вел, когда умирала в больнице его мать. Дневник, где описание дежурств у постели умирающей, разговоров с матерью, которая уже не узнает его, принимая за другого, перемежается набросками стихов, рабочими выписками, заметками об эстетике. И выписки эти — всего лишь попытка удержаться на грани вменяемости, сохранить хоть толику "обычного" сознания. Контраст с "лекционной частью" — фантастический, контраст между "mind games" и сгустком боли. А где-то в зазоре между ними — поэзия. Может, именно в этой пограничной зоне и пребывает поэзия.

У книжной витрины

с Константином Мильчиным

Перес-Реверте А. *Капитан Алатристе*: Роман / Пер. с исп. А. Богдановского. — М.: Эксмо, 2004. — 240 с. 30000 экз. (п)

Первая книга из цикла про капитана Алатристе, бравого вояку, лучшего фехтовальщика Испании начала XVII века. Мрачноватый солдат удачи Диего Алатристе по прозвищу Капитан — оживший персонаж картины Веласкеса "Сдача Бреды". Другие герои книги тоже словно сошли с картин великого художника. Поэт и дуэлянт дон Франсиско де Кеведо. Могущественный министр герцог Оливарес. А также наследник английского престола Карл Стюарт и герцог Бекингем, инкогнито являющиеся в Испанию. А также таинственные люди в масках, "заказывающие" англичан. А также благородство капитана Алатристе, достойного наследника "трех мушкетеров", в котором человеколюбие одерживает верх над профессиональным долгом киллера. А также "разборки" испанца Переса-Реверте с родной Испанией, ленивой и простодушной. Все это написано пером ироническим и изящным — и так же переведено.

Александропулос М. *Сцены из жизни Максима Грека*: Роман / Пер. с греч. С. Ильинской, М. Подземской. — М.: ОГИ, 2004. — 372 с. (Греческая библиотека) 1000 экз. (п)

Роман современного греческого писателя Мицоса Александропулоса про знаменитого соотечественника. Печальная история Максима Грека, в миру Михаила Триволиса. Греческий монах со Святого Афона был призван в Россию на несколько лет для перевода Толковой Псалтыри, а остался в России навсегда. Для новой родины Максим сделал очень много, его вклад в русскую средневековую литературу сложно переоценить. Однако благодарности Максим от современников не увидел: его ожидали заточение, побои и пытки.

Мейсон М. Что мужчины думают о сексе: Роман / Пер. с англ. М. Кононова. — СПб.: Амфора, 2004. — 430 с. (Фишки) 7000 экз. (п)

После такого названия можно ожидать клубнички, однако как раз этого-то в книге совсем мало: герой — законченный ханжа. Что не помешало ему ввязаться в соревнование, которое они затеяли вместе с другом. Оба положили глаз на симпатичную коллегу по имени Клара. Чтобы не ссориться из-за женщины, друзья решили, что право ухаживать за ней получит только победитель специального Кубка, по условиям которого нужно переспать либо с пятью девушками, чьи имена называются на К, Л, А, Р и А, либо с любыми девушками, но в местах, начинающихся на эти буквы. Возьмись за такой сюжет кто-то из законченных эротоманов, вышло бы уныло и предсказуемо, но поскольку автор такой же ханжа, как и герой, получается забавно.

Гавриков Ю. *Че Гевара. Последний романтик революции.* — М.: Вече, 2004. — 384 с. (Досье без ретуши) 7000 экз. (п)

Название серии "Досье без ретуши" подразумевает беспристрастный и лишенный всяких приукрашиваний рассказ о герое, однако Юрий Гавриков, наоборот, переборщил с ретушированием. Наверное, из всех гимнов Команданте — а их создано немало — этот самый глупо-

восторженный. Истерическое обожание и объяснения в любви и преданности на каждой странице – хотя автор не юный лимоновец, а матерый советский литератор, успевший лично пообщаться с Че. Отсутствие даже намека на объективность несколько компенсируется тем, что в книге есть письма Че, ранее никогда не публиковавшиеся на русском языке.

Виньи А. де. *Дневник поэта. Письма последней любви* / Пер. с фр. Е. В. Баевской и Г. В. Копелевой; издание подготовила Т. В. Соколова. – СПб.: Наука, 2004. – 646 с. – (Литературные памятники) (п)

В течение сорока лет, с 1823-го по 1863 г., французский романтик Альфред де Виньи вел дневник, в котором запечатлевал не события повседневности, но события своей внутренней жизни: размышления о современной французской истории, наброски ненаписанных произведений, впечатления от прочитанных книг. Кроме того, в сборник включены: переписка последних четырех лет жизни с юной возлюбленной Августой Бувар, которая была моложе поэта на сорок лет, речь Виньи при вступлении в Академию и его письма к русской знакомой Александре Ивановне Коссаковской (урожд. Лаваль), сестре "декабристки" Екатерины Ивановны Трубецкой. Чтение толстого тома Виньи – все равно что беседа с умным, пристрастным и неординарным человеком. Портят книгу только отсутствие именного указателя – совершенно недопустимое в таком издании – и очень неудобно расположенные комментарии.

Гроссман Д. *С кем бы побегать*: Роман. / Пер. с иврита Г.-Д. и Н. Зингер. – М.: Фантом Пресс, 2004. – 480 с. (Зебра) 6000 экз. (п)

Большое путешествие по маленькому Израилю. Шестнадцатилетний мальчик Асаф нанялся на летние каникулы работать в иерусалимскую мэрию, в отдел пропавших животных. Он должен найти хозяина собаки, которую недавно доставили в питомник. Чего проще, нужно просто бежать за собакой и она приведет тебя к дому, а потом вручить хозяевам извещение о штрафе и прочитать нотацию. Только поиски оказываются очень долгими... Может быть, хозяйка собаки – это загадочная девочка, которая побрилась наголо и живет в пещере? Мы привыкли, что Израиль – мечта туристов и паломников или источник трагических сообщений о взорванных автобусах; в романе Гроссмана Израиль – совсем другой; обычная страна с обычными людьми.

Важнер Ф. *Госпожа Рекамье* / Пер. с фр. Е. В. Колодочкиной; вступ. ст. А. П. Левандовского. – М.: Молодая гвардия, 2004. – 369 [15] с.: ил. – (Жизнь замечат. людей: Сер. биогр.; вып. 885)

Биография замечательной француженки, которая не была ни писательницей, ни художницей, ни актрисой – просто красивой и умной женщиной. Ее любили многие, она сама страстно полюбила лишь в сорок лет, но зато не кого-нибудь, а великого писателя и столь же великого обольстителя Шатобриана. Жюльетта Рекамье прожила долгую жизнь (1777–1849), и рассказ о ней оказывается одновременно рассказом о более чем полувековом отрезке истории Франции. Французская книга о госпоже Рекамье – прекрасный пример умного биографического повествования, где автор не пересказывает источники своими словами, а дает слово разным персонажам, широко цитируя их письма и мемуары. К сожалению, в русском издании многие цитаты без всяких оговорок сокращены. Да и перевод оставляет желать лучшего.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Эпистолярное наследие Шарлотты Бронте

Значительным событием называет обозреватель газеты "Индепендент" выход трехтомного собрания писем Шарлотты Бронте (1816—1855). В результате многолетних кропотливых трудов исследовательнице Маргарет Смит удалось собрать и прокомментировать 950 писем, написанных в течение 26 лет — с 1829-го по 1855 год. Возможно, на фоне обширнейшей корреспонденции Диккенса эпистолярное наследие автора "Джейн Эйр" выглядит достаточно скромным, однако эти документы незаменимы для понимания жизни и творчества английской писательницы, тем более что оказались утраченными почти все письма сестер и брата Шарлотты.

Во вступительной статье к первому тому М. Смит рассказывает предысторию издания. Незадолго до смерти Шарлотта Бронте передала архив своей старинной подруге Эллен Насси, с которой была знакома еще со школьных времен и переписывалась более двадцати лет. В конце 1880-х Насси задумала опубликовать письма, но в последний момент не только отказалась от своего замысла, но и сожгла готовый набор. Об этом стало известно некоему мошеннику по имени Т. Дж. Вайз, который выкупил у Насси письма всего за 125 фунтов, якобы для того, чтобы передать их в музей. Однако вскоре стало ясно, что полученные документы Вайз по частям распродал на аукционах.

Маргарет Смит предстояло отыскать разлетевшиеся по миру письма — задача, по прошествии стольких лет казавшаяся почти невыполнимой. Она находила их в частных коллекциях и на аукционах, а одно послание, разрезанное охотниками за автографами, ей в буквальном смысле слова пришлось собирать по частям.

Первый том, опубликованный в 1995-м, охватывает период с 1829-го по 1847 год, то есть заканчивается выходом "Джейн Эйр". Второй — появился четыре года спустя, в 1999-м, и содержит письма 1848—1851 годов. В жизни Шарлотты Бронте этот временной отрезок связан с тяжелыми утратами: смертью сестер Анны и Эмили и брата Брэнуэлла.

Последний том открывают письма 1852 года. Писательница больна, ее послания пронизаны тоской, спасение от которой она находит в работе над романом "Городок". Но, несмотря на недуги, жизнь ее полна событиями. Она активно переписывается со своим издателем Джорджем Смитом, к которому, по ее собственному признанию, питает более нежные чувства, чем позволяет разум; правда, после внезапной помолвки Смита в конце 1853 года в их отношениях наступает охлаждение. В эти же годы крепнет ее дружба с романисткой Элизабет Гаскелл. И наконец в 1854 году, приняв повторное предложение пастора Артура Белла Николса, она выходит за него замуж. Последнее ее послание написано примерно за месяц до смерти — 31 марта 1855 года.

Портрет Вирджинии Вулф

Недавно в музее английского городка Чарльстон был выставлен портрет Вирджинии Вулф (1882—1941), который на протяжении 70 лет считался утерянным. Автор картины — сестра писательницы, известная художница Ванесса Белл. Стоит пояснить, что Вирджиния Вулф не любила позировать и даже отказала представителям Национальной портретной галереи, которые хотели запечатлеть ее облик для потомков. В письме к племяннику Квентину Беллу она так объяснила свое решение: "Они положат рисунок где-нибудь на чердаке, а через десять

Портрет Виржинии Вулф работы Ванессы Белл

лет после того, как я умру, вытащат его и скажут: кто-нибудь хочет знать, как выглядела миссис Вулф? Нет, ответят все, и тогда рисунок порвут".

В последний раз портрет работы Белл выставлялся в 1934 году в одной из лондонских галерей. Затем он был продан в частную коллекцию и на долгие годы исчез из виду.

Выставку организовал Чарльстонский благотворительный фонд. С 1980 года в его ведении находится дом-музей, где собирался "блумсберийский кружок" английских интеллектуалов, в который входила Вирджиния Вулф.

Италия

Головоломки Джорджоне

Творчество венецианского живописца Джорджоне (1478—1510) всегда привлекало к себе внимание любителей изящных искусств. Даже Байрон, который неоднократно заявлял о своем равнодушии к живописи, был настолько потрясен его картиной "Гроза", что посвятил ей восторженные строки в поэме "Беппо".

На выставке, недавно проходившей в Венеции, посетители смогли не только полюбоваться произведениями знаменитого мастера, но и узнать нечто новое о методах его работы.

Исследовав несколько полотен с помощью инфракрасных лучей, специалисты обнаружили под слоями краски наброски, которые существенно отличались от окончательных вариантов. "Это открытие показало, — говорит Я. Андерсен, автор монографии о живописце, — что Джорджоне, совсем как некоторые современные художники, заранее не продумывал композицию".

Почему Джорджоне так часто менял первоначальные фривольные сцены на менее откровенные? Почему, например, на картине "Гроза" он превратил женщину у ручья в мужчину, одетого в странный костюм? Быть может, таковы были пожелания его заказчиков?

Венецианская выставка не дает ответа на эти вопросы. Искусствоведам очень мало известно об итальянском мастере, он был и остается для них тайной. Однако устроители экспозиции предлагают по-новому взглянуть на его искусство.

Патриции, собиравшие картины Джорджоне, ценили их прежде всего за поэтичность. Художник отдавал предпочтение сюжетам, навеянным фантазией, и они имели скорее аллегорический, чем буквальный смысл. Джорджоне не перенял манеру своего наставника Джованни Беллини, для картин которого характерна спокойная торжественность и лирическая созерцательность, его живопись более абстрактна, музыкальна, мифологична и эротична.

В кругу венецианских коллекционеров, к которому был близок художник, истолкование его работ и разгадывание аллегорий превратилось в своеобразный ритуал. Но то, что им казалось интеллектуальной игрой, для последующих поколений стало неразрешимой головоломкой. Поэтому суждение Байрона о том, что в "Грозе" "сама любовь воплощена", столь же правомерно, как и любая из версий, объясняющих смысл этого загадочного творения великого венецианца.

Картина Джорджоне "Гроза"

США

Несостоявшаяся карьера Владимира Набокова

Как сложилась бы научная карьера В. Набокова, оставь он литературу и всецело посвяти себя изучению бабочек? Возможно, поклонникам его писательского таланта покажется нелепой сама постановка вопроса. Никто ведь не обсуждает, каким актером был бы Шекспир, не трать он

время на сочинение сонетов.

Тем не менее авторы книги "Голубянки Набокова. Научная одиссея литературного гения" энтомолог Курт Джонсон и сотрудник "Нью-Йорк таймс" Стив Коутс не сомневаются в ценности набоковского вклада в науку. Впрочем, и сам Набоков не считал ловлю бабочек эксцентричным хобби. "В отношении множества человеческих чувств — надежды, мешающей заснуть, роскошного ее исполнения, несмотря на снег в тени, тревог тщеславия и тишины достигнутой цели — полвека моих приключений с бабочками, и ловитвенных и лабораторных, стоит у меня на почетнейшем месте. Если в качестве сочинителя единственную отраду нахожу в личных молниях и посильном их запечатлении, а славой не занимаюсь, то — признаюсь — вскипаю непонятным волнением, когда перебираю в уме свои энтомологические открытия..." — писал он в "Других берегах". Шесть лет Набоков проработал в Гарвардском музее сравнительной зоологии, изучая голубянок, мелких бабочек, напоминающих "голубые снежинки", и эти годы сохранились в его памяти как счастливейшее время. Первой его публикацией на английском языке была статья о крымских бабочках, а в 1945 году он даже предложил радикальным образом изменить систему классификации всего вида голубянок.

У Набокова-натуралиста нашлись и последователи. Так, например, некий израильский инженер вместе со всем семейством — женой, тремя детьми и тещей — отправился охотиться за бабочками в Боливию. Здесь он обнаружил более шестидесяти новых разновидностей голубянок, которым дал имена набоковских героев, при этом тщательно следя за тем, чтобы бабочки "гумберт" обитали за сотни миль от "лолит".

Вне зависимости от того, правы или нет авторы, давая высокую оценку набоковским энтомологическим изысканиям, "их книга в очередной раз напоминает о той огромной роли, которую бабочки сыграли в жизни писателя", — замечает рецензент еженедельника "Нью-Йорк таймс бук ревью". Они научили его по-особому видеть мир — качество, необходимое в равной степени литератору и ученому.

Швейцария

Храм книги

Недавно в пригороде Женевы открылся уникальный Музей истории книги. Он расположился в двухэтажном доме, возведенном архитектором Марио Ботта на территории бывшего владения Мартина Бодмера, обладателя одного из крупнейших в мире частных книжных собраний.

Приобретать редкие книги Мартин Бодмер начал в период между двумя мировыми войнами. После его смерти в 1971 году коллекция перешла в руки фонда, который продолжил дело ее основателя. Сейчас она насчитывает более 160 тысяч томов.

Однако вплоть до недавнего времени в павильон, отведенный Бодмером под библиотеку, наведывались по преимуществу специалисты. Да и им из-за недостатка места приходилось работать не в самых комфортных условиях. По той же причине значительная часть книг и рукописей хранилась в закрытых фондах и была недоступна читателям, а выставки проводились в двух небольших залах, расположенных в полуподвале.

Мартин Бодмер хотел, чтобы его коллекция представляла различные культуры, отражая духовное развитие всего человечества. Среди экспонатов музея, рассказывающих об искусстве древнего Востока, — старинные рукописи: арабские, китайские и японские. Увидят посетители и жемчужины собрания — самый старый из дошедших до нас экземпляр Евангелия от Иоанна, первые издания "Опытов" Монтеня и "Дон Кихота" Сервантеса, партитуры, написанные рукою Моцарта и Бетховена, а также гранки романа "В поисках утраченного времени" с пометками Пруста.

По материалам информационного агентства "Би-би-си ньюс" [Великобритания], газеты "Индепендент" [Великобритания], еженедельника "Нью-Йорк таймс бук ревью" [США], журналов "Экономист" [Великобритания] и "Лир" [Франция].

Авторы номера

Амели Нотомб
Amelie Nothomb
Бельгийская писательница.

Автор романов *Гигиена убийцы* [*Hygiène de l'assassin*, 1992], *Пеплум* [*Péplum*, 1996], *Преступление* [*Attentat*, 1997; рус. перев. 2003], *Ртуть* [*Mercure*, 1998; рус. перев. 2003], *Страх и трепет* [*Stupeur et tremblements*, 1999; Гран-при Французской академии; рус. перев. 2002], *Метафизика труб* [*Métaphysique des tubes*, 2000], *Косметика врага* [*Cosmetique de l'ennemi*, 2001], *Словарь имен собственных* [*Robert des noms propres*, 2004] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *Antéchrista* [Paris: Éditions Albin Michel, 2003].

Эдгар Лоренс Доктороу
Edgar Lawrence Doctorow
[р. 1931]. Американский писатель. Лауреат Национальной книжной премии, двух Национальных книжных премий общества критиков, премии ПЭН/Фолкнер и др.

Автор романов *Вступление в тяжелую пору* [*Welcome to Hard Times*, 1960], *Большой как жизнь* [*Big as Life*, 1966], *Книга Дэниэла* [*The Book of Daniel*, 1971], *Гагачье озеро* [*Loon Lake*, 1980], *Всемирная выставка* [*World's Fair*, 1985], *Гидротехнические сооружения* [*The Waterworks*, 1994], *Град Божий* [*The City of God*, 2000, рус. перев. 2002], сборника рассказов *Новеллы о чудесной земле* [*Sweet Land Stories*, 2004] и др. В *ИЛ* напечатаны его романы *Регтайм* [*Ragtime*, 1978, № 9–10], *Билли Батгейт* [*Billy Bathgate*, 1991, № 6–7] и повесть *Жизнь поэтов* [*Lives of the Poets*, 1988, № 5].
Публикуемый рассказ *A House on the Plains* взят из сборника *Best American Short Stories* [Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2002].

Бернардо Ачага
Bernardo Atxaga
[р. 1951]. Испанский прозаик, поэт, переводчик. Лауреат многих национальных премий. Пишет на двух языках – испанском и баскском.

Автор повестей *О городе* [*Ziutateaz*, 1976], *Эти небеса* [*Zeru horiek*, 1995], сборника стихов *Эфиопия* [*Etiopía*, 1978], романов *Одинокий человек* [*Gixona bere bacardadean*, 1993], *Сын музыканта* [*Soinujolearen semea*, 2003] и др.
Рассказы *Saldria a pasear spero lucem*, *Esteban Werfell* и *Mister Smith* взяты из сборника *Obabakoak* [Barcelona: Ediciones BSA, 1994].

Пабло Неруда
Pablo Neruda
[1904–1973]. Чилийский поэт и публицист. Лауреат Нобелевской премии по литературе [1971].

Автор поэтических сборников *Сумерки* [*Crepusculario*, 1923], *Двадцать поэм о любви и одна песнь отчаяния* [*Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, 1924], *Местожительство – Земля* [*Residencia en la tierra*, 1-й том – 1933, 2-й – 1935], *Всеобщая песнь* [*Canto general*, 1950] и др., а также поэм, книг очерков и публицистических статей. На русском языке опубликованы четырехтомное собрание его сочинений [1978], двухтомник *Избранные произведения* [1958] и др. В *ИЛ* напечатаны фрагменты книг *Камни Чили* [*Las piedras de Chile*, 1963, № 3], *Мемориал Черного острова* [*Memorial de Isla Negra*, 1964, № 7], драматическая кантата *Звезда и смерть Хоакина Мурьеты* [*Fulgor y muerte de Joaquín Murieta*, 1968, № 2], а также стихи из разных сборников [1974, № 7; 1984, № 7].
Публикуемые фрагменты книги печатаются по изданию *Una casa en la arena* [Barcelona: Editorial Lumen, 1966].

Войцех Тохман
Wojciech Tochman
[р. 1969]. Польский репортер, автор документальных книг, в 1996–2002 гг. вел авторскую программу на телевидении.

Автор книги *Лестниц не жгут* [*Schodów się nie pali*, 2001]. Публикуемый текст печатается по изданию *Jakbyś kamień jadła* [Sejny: Pogranicze, 2002].

Сергей Александрович Романенко
[р. 1956]. Историк, политолог и журналист, специалист по истории Средней Европы и Балкан XIX–XXI вв. Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН.

Автор двух монографий и многочисленных научных и публицистических статей.

Герман Гессе
Hermann Hesse
[1877–1962]. Немецкий писатель, большую часть жизни прожил в Швейцарии. Лауреат Нобелевской премии [1946].

Автор повести *Под колесом* [*Unterm Rad*, 1906; рус. перев. 1961], сборника повестей *Последнее лето Клингзора* [*Klingsors letzter Sommer*, 1920; рус. перев. 1986], романа *Игра в бисер* [*Das Glasperlenspiel*, 1943; рус. перев. 1963]. В *ИЛ* публиковались его романы *Степной Волк* [*Der Steppenwolf*, 1977, № 4–5], *Демиан* [*Demian*, 1993, № 5] и поэма *Сиддхартха* [*Siddhartha*, 1994, № 9].
Публикуемые пять эссе о книгах и читателях взяты из книги *Эссе о литературе* [*Schriften zur Literatur I. Gesammelte Werke*, 11 Bd. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1970], эссе *Акварель* [*Aquarell.* Франкфуртер цайтунг от 4 июля 1926 г.], фрагменты писем – из книги *Магия красоты* [*Magie der Farben.* Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1980].

Сергей Маркович Гандлевский
[р. 1952]. Поэт, прозаик. Лауреат нескольких литературных премий.

Автор книг стихов, эссе, прозы, среди которых – избранное *Порядок слов* [2000], роман *<НРЗБ>* [2002], стихи и эссе *Найти охотника* [2002].

Константин Аркадьевич Мильчин
[р. 1980]. Литературный критик, журналист.

Автор рецензий, обзоров, статей, публикуемых в различных периодических изданиях; ведущий ежедневной передачи *Книга на завтра* [Радио России].

Переводчики

Наталья Самойловна Мавлевич
Переводчик с французского. Лауреат премии *Инолиттл* [1999] и премии имени Мориса Ваксмахера [2002].

В ее переводах издавались произведения М. Эме, Б. Виана, М. Юрсенар, Э. Ионеско, Лотреамона, Л. Арагона, М. Жакоба, М. Шагала, Б. Шагал, А. Жарри, Э. Чорана, Э. Ажара и др. В *ИЛ* печатались *Песни Мальдорора* Лотреамона [1993, № 1], романы *Перелом* А. Сарразен [1993, № 10, 11], *Голубчик* Э. Ажара [1995, № 7], миниатюры Ф. Делерма [2002, № 7], пьеса *Гость* Э.-Э. Шмитта [2004, № 6] и др.

Ольга Евгеньевна Федосеева Лингвист, переводчик с английского.	В *ИЛ* публикуется впервые.
Надежда Федоровна Мечтаева Переводчик с испанского, кандидат филологических наук.	В ее переводе опубликованы романы Х. Мариаса *Белое сердце* [2001] и *В час битвы завтра вспомни обо мне* [*ИЛ*, 2002, № 5], рассказ Ш. Мендигурена *Фетиш* [*ИЛ*, 2004, № 9].
Элла́ Владимировна Брагинская Литературовед, переводчик с испанского.	В ее переводе напечатаны повести *Похороны великой Мамы* Г. Гарсиа Маркеса, *Право на политическое убежище* А. Карпентьера, *Чур, морская "змеюка"* К. Фуэнтеса, книга мемуаров Пабло Неруды *Признаюсь, я жил*. В *ИЛ* в ее переводе публиковались роман *Площадь Диамант* Мерсе Родореды [1981, № 11] и рассказы Л. Сепульведы [2002, № 8].
Юрий Николаевич Гирин [р. 1946]. Литературовед, переводчик с испанского.	Автор монографии *Поэзия Хосе Марти* [2002] и статей по истории латиноамериканской литературы и теории культуры. В его переводе вышла книга Л. Сеа *Философия американской истории*.
Ирина Евгеньевна Адельгейм Литературовед, переводчик с польского, автор работ о польской литературе.	В ее переводе печатались романы М. Гретковской, Ф. Байона, рассказы Г. Херлинга-Грудзинского, сценарий трилогии К. Кеслёвского и К. Песевича *Рай. Ад. Чистилище*, воспоминания К. Янды. В *ИЛ* в ее переводе публиковались повесть П. Хюлле *"Мерседес-бенц". Из писем Грабалу* [2004, № 1], автобиография К. Кеслёвского *О себе* [1998, № 11—12], стихотворения В. Шимборской [совместно с А. Хованским; 2003, № 5] и др.
Галина Владимировна Снежинская Филолог, переводчик с немецкого.	В ее переводах публиковались философский трактат Ф. Ницше *Сумерки кумиров*, воспоминания Б. Шагал *Горящие светильники*, роман Г. Майринка *Белый доминиканец*, повесть Г. Гессе *Конская круча* и его рассказы, новелла Э. Т. А. Гофмана *Приключения в новогоднюю ночь* и др.
Наталия Геннадиевна Васильева Переводчик с венгерского и немецкого языков.	В ее переводе публиковались новеллы М. Бабича, Й. Е. Тершанского, Э. Кестнера, А. Мушга, *Сказка о Рейне и мельнике Бееколёсе* К. Брентано и др. В *ИЛ* напечатаны ее переводы рассказов Р. Леттау, Х. Блюменберга [1994, № 9], Г. Фрайтага [2002, № 7] и обзорные статьи, представляющие мюнхенский журнал *Акценты* и австрийский журнал *Манускрипты*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
- оптимальные условия подключения,
- бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ (– В ЦЕНТРЕ ГОРОДА –) В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использованы фрагменты картин Германа Гессе [1877–1962]. На первой стороне: *Часовня* [1919]. На четвертой стороне слева – *Зима* [1933], *Муццано* [1921], *Красный дом* [1920]; справа – *Ясный день* [1919], *Ферма в лесу* [1929], *На пути к Арасио* [1925].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolitrinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

По вопросам оптовых закупок обращаться в отдел распространения и рекламы:
тел. 8–926–528–51–48,
факс (095) 953–50–61,
e-mail: journalinostranka.ru

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 22.09.2004
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2548
Тираж 7900 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

[11] 2004

ЛИТЕРАТУРА ГЕРМАНИИ СЕГОДНЯ: ФРАГМЕНТЫ РОМАНА ТОМАСА БРУССИГА "ГЕРОИ ВРОДЕ НАС" / АНТОЛОГИЯ РАССКАЗА — МОЛОДЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПИСАТЕЛИ / ПОВЕСТЬ УВЕ ТИММА "НА ПРИМЕРЕ БРАТА" / "ЧЕРТУ ПОД ПРОШЛЫМ ПОДВЕСТИ..." — СОВРЕМЕННАЯ НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ / ВИНФРИД ГЕОРГ ЗЕБАЛЬД В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ПЕТЕРА ХЭРТЛИНГА "УЧИТЬСЯ ЖИТЬ. ВОСПОМИНАНИЯ" / ЭССЕ КРИСТОФА ХАЙНА, ДУРСА ГРЮНБАЙНА, ЭМИНЕ ЭЗДАМАРА/

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2004, №10, 1-288

ИНДЕКС 70394